

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

10

---

1985

10

НОВЫЙ МИР

1985



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1985 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РИММА КАЗАКОВА — Из цикла «Панорама», стихи	3
НИКОЛАЙ СТАРИЛОВ — Самый трудный день, повесть. Предисловие Владимира Карпова	5
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ — Лирика	39
ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВИЧ — На работе и дома. Записки рабочего человека. Предисловие Аркадия Сахнина	41
МИХАИЛ БЕЛЯЕВ — На подлодке, стихотворение	85
ИБРАГИМ КЭБИРЛИ — На сегодня опирался я, стихи. Перевел с азербайджанского Владимир Цыбин	86
ТАМАРА ПОДОРОВА — Баба Гутя, Бурлов и другие, повесть. Предисловие Евг. Евтушенко	88

### ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕННАДИЙ ЛИСИЧКИН — За ведомственным барьером	167
---	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДИМИР ЦВЕТОВ — Пятнадцатый камень Сада Рёаядзи. Окончание	191
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЛА МАРЧЕНКО — Обещает встречу впереди	229
ИВАН ПАНКЕЕВ — Как в кино говорят. (Актуальный вопрос)	242

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	246
Игорь Волгин. «Только дух скрепляет мирозданье...»	
А. Лебедев. Движение души.	
Г. А. Соловьев. Книга о Твардовском.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>Андрей Василевский.</b> Залог долговечности.	
<b>Евгений Симонов.</b> Так любите театр...	
<b>А. Парии.</b> Дар письма и вечных превращений.	
<i>Политика и наука</i>	263
<b>Леонид Шинкарев.</b> «Я бы аннексировал планеты...»	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Н. Ткачук.—Борис Олейник. В зеркале слова. Стихотворения. Поэмы. ◆	
Лев Разгон.—В. Порудоминский. Друг бесценный, или Восемь дней на пути в Сибирь. Повесть про декабриста Ивана Пущина. ◆	
Т. Мотылева.—Л. Зонина. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60—70 гг.). ◆	
Д. М. Брудный.—А. Закушняк. Вечера рассказа. ◆	
И. Белоус.—Александр Шмаков. Азиат. Документальная повесть. ◆	
В. Френкель.—В. Крайнин, Э. Крайнина. Человек не слышит ◆	
А. В. Ушаков.—А. А. Формозов. Историк Москвы И. Е. Забелин	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

---

---

## РИММА КАЗАКОВА



### ИЗ ЦИКЛА «ПАНОРАМА»

#### Нотр-Дам де Африк

В городе Алжире на соборе, воздвигнутом вдовами тех, кто погиб в море, под скульптурным изображением мадонны высечена надпись: «Мария, храни католиков и мусульман!»

Собор Нотр-Дам де Африк —  
как женский замученный крик.

Он всем, кто загинул в морях,  
сияет в нездешних мирах...

Так верили жены, когда  
мужей забирала вода,

и грошик к грошу с давних пор  
копили на этот собор.

Мария на море глядит,  
и взгляд не по-женски сердит

и так сострадателен взгляд —  
в нем души живые болят.

И ей все равно, кто они,  
чьи морем оборваны дни,

к Христу ли, к'Аллаху ли плыл  
последний молитвенный пыл...

Мария, как светел твой лик!  
Ты — дух Нотр-Дам де Африк,

ты — вера без разницы вер,  
ты — мера поступков и мер.

Ведь все мы — вблизи и вдали —  
лишь дети воды и земли.

Везде, как ни переиначь,  
едины улыбка, и плач,

и радость, и тяжесть вериг...  
Собор Нотр-Дам де Африк!

В алжирское небо взмывай,  
к сердцам иступленно **взывай!**

Внушай, что везде, как ни прячь,  
едины улыбка и плач,

едины надежда и боль,  
единственны жизнь и **любовь!**

Алжир. Май 1984.

#### Мехико-Морелия, 1933

Мексиканская деревня.  
Мощь деревьев. Тихий храм.  
Многokrатным повтореньем  
горы лепятся к горам.

Я хочу, чтоб ты осталась,  
Мексика, в душе моей,

чтобы вкус твой жег, как такос<sup>1</sup>,  
крепко, терпко память ей.

И, как гор лесистых знамя,  
что летит все ввысь и ввысь,  
повторись в моем сознание,  
многократно повторись!

---

<sup>1</sup> Острое национальное блюдо.

## Памяти Фаиза Ахмад Фаиза

Фаиз,  
ты был призывною трубой,  
что для других неслышно в сердце пела.  
Не все понять и перенять успела,  
но помню, как легко, не оробело,  
как было хорошо молчать с тобой!

О время долгих громовых тирад!  
Рождались шумно, канули неслышно.  
Фаиз, ты был таким нам близким, ближним,  
что вымолвить, назвать — казалось лишним.  
Как звучно ты молчал, мой мудрый брат!

Так молча поднимается трава,  
молчит цветок, свой раскрывая венчик,  
безумием любви такой заверчен  
сюжет, что чувство измереньем в вечность  
само — безмолвно жгучие слова.

Фаиз,  
на этом дне — беды печать.  
Ты был бойцом и пал на поле боя.  
Всем сердцем помню, всей безмерной болью,  
как было хорошо молчать с тобою!  
Теперь нам навсегда с тобой — молчать...

Так, значит, как с живым поговорим  
молчанием высокого накала!  
Не раз найду в нем все, чего искала.  
Всегда. Фаиз. его нам будет мало.  
И каждый день наш станет и твоим.

## Из лирики

Размышляя про тебя,  
я всю душу измотала —  
как об стену из металла  
что-то хрупкое дробя.

Ты — пролет, насквозь, без дна,  
бездна, джунглевые дебри,  
Эверест или Хан-Тенгри,  
неземная высота.

Размышляя о тебе,  
отдала метельной ночи  
сердца маленький комочек,  
отогревшийся в тепле.

И, как вызов высоты  
и тоски высокогорной,  
страх и счастье стиснут горло  
оттого, что это — ты!



---

---

НИКОЛАЙ СТАРИЛОВ



## САМЫЙ ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

Повесть

О Великой Отечественной войне написано немало художественных произведений, авторы их, как правило, участники боев и событий тех грозных и трудных лет. Как очевидцы, а нередко и сами отважные воины, эти авторы создали достоверные литературные полотна со множеством батальных и будничных фронтовых деталей, известных только им.

Но поколение фронтовиков уходит, свершив свои великие дела на поле брани (а кое-кто в меру сил и таланта и в литературе). И вот порой глумается: что будет дальше с военной темой? будут ли вообще к ней обращаться в будущем, и кто, и как? ради чего и о чем?

Из опыта предшествующей литературы мы знаем, что о войне писали и те, кто изучал ее уже по историческим документам. И у нас новое поколение литераторов, вступающих в строй, не остается равнодушным к смыслу и значению того, что перенес, пережил наш народ в годы лихолетья. Выходят коллективные сборники, посвященные военной теме («Шел отец...» — «Современник» 1985; «Солдатская судьба» — «Молодая гвардия». 1985), все авторы которых родились после войны.

К числу таких молодых литераторов принадлежит и Николай Старилов, чью рукопись редакция отобрала из так называемого самотека. Кстати, в этом номере печатаются еще две повести — не на военную тему — людей, не причастных профессионально к литературному труду: рабочего В. Леоновича и служащей Т. Подоровой.

Старилову тридцать лет, по профессии он инженер-экономист. Работая по специальности, он в свободное время много писал, но никогда раньше не печатался. Присланная им в редакцию повесть «Самый трудный день» привлекла правдивостью, достоверным ощущением боевой обстановки, убеждающим даже фронтовиков. И еще: есть у автора верное понимание психологии человека в бою и, что особенно, на мой взгляд, ценно, умение почувствовать и описать людей непоказного, естественного героизма. Ну и, конечно же, чтобы все это показать в живых фронтовых картинах, нужен и талант, который, дабы не портить автора, назовем пока хорошим воображением и способностью разобраться в душевном состоянии своих героев.

Повесть называется «Самый трудный день», но, читая ее, понимаешь, что не только в судьбе Алексея были очень трудные дни войны и что вообще таких дней было ровно столько, сколько продолжалась война. И то, что это удалось показать человеку, не нюхавшему пороха, интересно не только как литературное явление, а еще и как знак той своеобразной эстафеты в военной теме, на которую мы, уходящие, смотрим с надеждой.

Владимир КАРПОВ.

I

С талинград уже не горел, он трудно, тяжело дымил — гореть в нем было уже нечему, разве что вступающим в бой танкам.

Вымазанное копотью, взлетающей вверх от горящей Волги, в которую вылилась нефть из разбомбленных немцами хранилищ, а в просветах ярко-голубое небо бесстрастно смотрело на умирающих в смертельной схватке людей.

Стояла прекрасная погода — не по-сентябрьски сильное солнце жарко светило на землю, и от этого проклятого солнца быстро гноились раны и пересыхало во рту.

От каменной пыли, шуршащей под ногами и ложащейся серым налетом на губы, некуда было деться, и единственное, что тут можно было сделать, так это не замечать ее, как будто она и не скрипит на зубах и не встает колом в горле.

Старший лейтенант Алексей Никольский, вот уже второй месяц командовавший ротой — сначала в степях под Сталинградом, а теперь в самом городе, — думал, переживая очередной артоналет немцев, лежа на битом кирпиче, о том, какой молодец его ординарец Сашка, что притащил ему два дня назад крепкие сапоги (наверное, снял с убитого немецкого офицера) взамен его старых, сгоревших на горячих и острых здешних камнях.

Алексей уже второй час искал в развалинах штаб своего батальона, а его нигде не было, и он уже начал подумывать о том, что напрасно теряет время: нет штаба. Может быть, комбат перенес его в другое место, а может быть, лежит он в полном составе у него под ногами, хотя бы вот в этом подвале, заваленном глыбами расколотых стен.

Сейчас, когда Алексей не был в привычной обстановке последних недель, так как не делал того, к чему привык и что уже стало его новой жизнью, потому что другой жизни у него сейчас не было и не могло быть, — не отдавал приказы, не стрелял из пулемета, заменяя раненых, не поднимал бойцов в атаку, — в голову ему начали лезть всякие неприятные и суеверные мысли о том, что, пожалуй, не следовало бы надевать на себя сапоги, снятые с убитого. Он, собственно, и не снимал их и даже не мог быть уверен, что они сняты с убитого, но где еще мог Сашка достать в этом городе — вернее, в том, что не по инерции, а сознательно, несмотря на то, что города уже не было (были дымящиеся развалины и скелеты домов), называлось городом Сталинградом, — ношенные, но еще совсем крепкие сапоги? На вопросы ординарец улыбался и терпеливо рассказывал, как встретил солдата, потерявшего после контузии винтовку, и поменял у него сапоги на трофейный автомат. На вопрос, не стыдно ли ему, что оставил человека босым, он пожимал плечами. Сашка врал хорошо, с энтузиазмом, но Алексей видел, что это немецкие офицерские сапоги и вся история с пехотинцем выдумана Сашкой, знавшим брезгливость молодого лейтенанта.

Алексею не хотелось бессмысленно погибнуть в этих поисках, и он решил возвращаться в роту — может быть, комбат сам уже прислал им связного. Во всяком случае, подумал он, если связного нет и не будет в ближайшие часы, придется послать бойца искать штаб батальона или хоть какой-нибудь штаб. Мимоходом он пожалел, что сразу не послал связного искать штаб батальона, забыв, что не мог заранее знать о том, что не найдет его на прежнем месте.

Камни врезались в грудь, сверху сыпались осколки, и при ударе в спину поднятого взрывом камня в первое мгновение сжималось сердце — ведь это мог быть осколок, страшный, ощеренный зубринами, как пасть акулы, похожий на те, которые в первые дни войны он часто поднимал с земли еще горячими и никак не мог привыкнуть к мысли, что этот кусок металла предназначен убить и выполняет свое предназначение, рвет чье-то тело, тихо прошелестев в предсмертной тишине, и человек, тот, которого двадцать лет назад родила в муках женщина, а потом за эти двадцать лет положила столько труда и забот, чтобы его вырастить и воспитать, умирает, и все. Он давно уже не интересовался ни в кого не попавшими, не выполнившими своего предназначения осколками, но привыкнуть и сейчас не привык, только все это отодвинулось куда-то, все эти мысли.

Алексей махнул рукой Сашке, и они двинулись к развалинам, где закрепилась его рота. Пока они добивались, уже начало темнеть. }

Младший лейтенант Сырцов, ставший вчера его заместителем, подошел к нему, шепотом сказал:

— Связной принес приказ из штаба батальона — нашей роте занять дом.

Сырцов не сказал, какой дом, но Алексей сразу понял, о каком доме может идти речь.

— Где? — Алексей протянул руку.

Сырцов торопливо, как будто считая, что совершил непростительную оплошность, полез в полевую сумку.

Алексей с невольной — и хорошо, что неприметной в темноте, а то обидится, — улыбкой наблюдал за лейтенантом. Из пополнения, прибывшего в их батальон две недели назад, из семи лейтенантов остались в живых трое. Это было вчера. А сколько останется сегодня к вечеру? Две недели...

Они почти ровесники, но Алексей воюет уже восемь месяцев... восемь лет, всю жизнь и даже не одну жизнь — если бы новая жизнь началась после каждой смерти, пролетевшей совсем рядом, так, что волосы, захваченные поднятым ею ветром, тянулись ей вслед. Пять месяцев с начала войны — 6 декабря его ранило на Истре, когда он переплыл ее на бревне и, выскочив на землю, побежал вперед, еще ничего не видя перед собой, кроме свинцовой, пульсирующей перед глазами, перемешанной с осколками льда воды, а шинель и все, что было на нем, быстро покрывалось коркой льда, а он бежал, стреляя, пока его не толкнуло в ногу и что-то теплое и неприятное потекло по ноге. Потом госпиталь и тишина белых палат была как бы сама по себе, и в ней, словно в другом измерении, стоны и крики раненых, потом училище с ускоренным курсом, который оказался слишком медленным для войны, и через год после начала войны он начал свою войну во второй раз. И сразу, как в сорок первом, попал в самое пекло.

## II

...Два месяца назад, в июле сорок второго, вокруг него была донская степь, уже начавшая выгорать и желтеть.

Алексей, командовавший тогда взводом, стоял в окопе и смотрел, как начинается немецкая танковая атака.

Сначала на горизонте появляются дымки пыли, похожие на те, что бывают, когда бросишь камешек на пыльную дорогу, очень смешные и безобидные, они выются, выются над землей, но не поднимаются высоко, а потом видишь в них танки и понимаешь, что это идут танки, и понимаешь, что эти танки не просто идут, а идут на тебя, и земля начинает дрожать, и становится слышен грохот железа, и эта пыль начинает лезть в глаза и в горло, и так хочется вылезти из окопа и бежать по широкой, заканчивающейся вдали, на горизонте, голубоватым ободком, как на большом блюде, степи. Когда видишь клыки на лобовой броне танков, всегда почему-то кажется не только что надо бежать, но и что сможешь убежать, хотя одновременно разумом понимаешь, что это глупо и невозможно.

Две полковые пушчонки похлопывали не страшно и почти бесшумно, неслышные в рокоте моторов и разрывах снарядов, но два танка они все-таки подожгли, а третьему разбили гусеницу, и он беспомощно завертелся, напоминая издали сломанную детскую игрушку.

Одно орудие накрыло прямым попаданием, и только изогнувшийся ствол остался торчать, как рука мертвеца. Второе продолжало стрелять, пока зашедший сбоку немецкий танк не смял его. В это же время с фронта на окопы пошли остальные танки.

Когда они шли по степи, Алексей насчитал девятнадцать штук, но одновременно на линию окопов вышло меньше — считать их было уже некогда, он успел только окинуть их взглядом, и ему показалось, что танков около десяти. Остальные были на подходе.



Один шел на позиции его взвода. Немцу приходилось сейчас взбираться на пологий холм, близко к вершине которого сидел взвод Алексея, и шел он не так уж и быстро — если бы можно было посмотреть со стороны и представить себе, здесь и сейчас, какого-нибудь «стороннего» наблюдателя, — километров пятнадцать в час, то есть всего раза в три быстрее идущего пешком человека, но глаза наблюдавших за нею людей стальная машина наполняла ощущением стремительности продвижения к ним, потому что каждый из них понимал, а вернее, в этот момент интуитивно чувствовал, что это приближается почти осязаемая смерть и, возможно, сейчас проносятся последние мгновения его жизни. Поневоле покажется, что все вдруг убыстрилось и завертелось в бешеном темпе.

Алексей прислонил к стенке окопа винтовку так, чтобы в дуло не насыпалась земля, и взял из ящика бутылку с горючей смесью.

Он видел, как в танки летели гранаты и бутылки, но знал, что это бессмысленно — кидать гранату издали или бутылку в лоб танку, он и сам в начале войны грешил этим, но потом убедился, что самое большее, что так можно сделать — при удачном стечении обстоятельств, — это разбить гусеницу у танка, а бутылка скорее всего вообще не причинит никакого вреда, даже если попадет в смотровую щель. Для пехоты у танка есть только одно уязвимое место — решетка мотора, но она находится сзади, и поэтому танк надо пропустить, и если он пройдет через окоп, и если танкисту не придет в голову примять его гусеницами, и если тебя не завалит землей и не перемелет гусеницами, считай, что ты победил.

В своем взводе Алексей не раз и не два подробно объяснял бойцам, как бороться с танками, но он знал, что его объяснения — это только правильные слова, а вот выдержат ли ребята, многие из которых еще и в глаза не видели танков, он не был уверен и даже был готов к этому.

Когда «их» танк еще только начал вползать на высоту, стоявший в окопе через пять человек от него Мирошкин не выдержал и сделал то, что хотелось сделать всем и что все сдерживали в себе. Трусость молодого бойца могла привести к цепной реакции, и хотя Алексей был уверен, что бывалые солдаты не побегут, но кто знает? — в первые месяцы войны он видел всякое, да и за эти три недели насмотрелся. Нужно было подавать панику в зародыше. Алексей закричал: «Назад! Убью!» — и бросился к солдату, но не успел: Мирошкина за ноги стянули с бруствера, и сваленный наземь кулаком сержанта Прибылова, он теперь лежал, нелепо разбросав ноги, ошалело поводя широко открытыми глазами и тяжело дыша.

Некогда было проводить беседу и в трибунал посылать, и говорить было некогда. Алексей наклонился и сказал Мирошкину в лицо коротко и тяжело:

— Кровью смоешь.

Мирошкин судорожно попытался отодвинуться от лейтенанта, но отодвигаться было некуда, и он только вжался в стенку окопа так, что сверху тонкой струйкой пополз светло-желтый, высохший на солнце песок.

Бросив Прибылову: «Сержант, займитесь бойцом», Алексей вернулся на свое место и передал по цепи:

— Пропускать танки! Бить по моторам! Отсекать пехоту!

Поглощенный приближением танка, он все же краем глаза видел, как сержант рывком поставил на ноги Мирошкина и сунул ему в руку гранату.

Черный раздвоенный крест, чуть колеблясь в струящемся к небу знойном воздухе, приближался, и Алексею казалось, что этот символ смерти растет не вне его, а в самых его глазах и вонзается в них своими острыми углами.

Танк был уже совсем близко, так близко, что был виден рваный след срикошетившего на броне снаряда, сорвавшего краску и вырвавшего кусок металла из тела этого зверя.

Танк вздыбливался, вползая все выше, и сектор обстрела его пулемета оказался над линией окопов.

Алексей встал на правое колено на дно окопа и напряг тело для рывка, сжимая в руке бутылку. Он еще видел, как засуетились бойцы, или это ему показалось, а через бруствер уже перевесилась облепленная землей и блестящая на стыках, быстродвигающаяся куда-то вверх гусеница, и он перестал что-либо видеть и воспринимать, кроме черной массы танка, отгородившего от него мир. Он не слышал криков солдат, на голову и за воротник гимнастерки сыпалась земля, вонь бензино-масляной гари наполнила легкие, и, несмотря на всю нелепость этого, ему почудилось в этом запахе что-то специфически немецкое, вражеское, что так пахло от тех немцев, которых он видел близко — в рукопашной две недели назад у колодца на степной дороге, у деревни, названия которой он так и не узнал, он увидел, как проседает и дает трещины земля, он понял, что сейчас умрет, и закричал от ненависти и злости, что ему не удастся поджечь этот танк, который сейчас раздавит его; мелькнули гусеницы уходящего танка, и обрезавшая все тишина на мгновение заполнила его мозг, но сразу он услышал удаляющееся рычание мотора, и его готовое к прыжку тело само рванулось вверх, на бруствер, и он, с пронзительной ясностью ощущая в себе уверенность того, что непременно попадет, метнул бутылку с горючей смесью.

Бежавшие метрах в ста за танками автоматчики поливали окопы длинными очередями, то и дело наклоняясь к своим коротким и широким голенищам сапог за новыми магазинами.

Пули веером просвистели у него над головой, но, прежде чем броситься в окоп за винтовкой, Алексей успел увидеть, как бесшумно исчезла бутылка, а на ее месте мягко и нехотя поднялись невысокие и слабые языки пламени, и еще он успел увидеть, как брошенная кем-то другим бутылка ударила в боковую броню танка, и понял, что дело сделано.

Его взвод уже вел огонь по автоматчикам, и Алексей снова повернулся к танку. Тот горел ярко и мощно, вздувалась пузырями и лопалась краска, из башенного люка вылез один танкист — наверное, командир, он как раз спрыгивал с гусеницы на землю, а из того же люка уже высунулся по пояс второй немец. Алексей застрелил обоих, и второй фашист так и остался висеть на башне, свесившись вниз головой, как тряпичная кукла.

Больше из танка никто не успел выйти — взорвался боезапас, и подкинутая чудовищной силы взрывом башня вместе с мертвым и, как показалось Алексею, взмахнувшим руками танкистом отлетела в сторону.

Они отбили эту атаку. Семь танковых костров осталось гореть на высоте, остальные танки отступили.

Сколько осталось после этого боя от полка, от батальона? Алексей не знал, но интуиция повоевавшего человека говорила ему по едва заметным пока признакам, что потери у них очень тяжелые, тяжелее, чем в его взводе, оказавшемся чуть в стороне от острия немецкой атаки, — из восемнадцати бойцов он потерял только троих убитыми и четверых ранеными, причем двое были ранены, по видимости, легко — оглушенный разрывом Мирошкин мотал головой и пытался вычистить из ушей несуществующие затычки, не сообразив еще, что получил контузию.

В этот день немцы больше не наступали. Ночь прошла обычно и спокойно — светящиеся пулеметные трассы летели с немецких позиций, но наши окопы почти не отвечали, берегли патроны на завтраш-

ний день,— тогда немцы еще не воевали по ночам, тогда они еще воевали по расписанию.

Алексей догадывался, что скорее всего фрицы больше не полезут на их высоту — перенесут направление своего главного удара куда-нибудь в сторону, где позиции нашей обороны слабее или вообще нет сплошной обороны, где-то в стыке дивизий или армий, но могло случиться, что они опять попрут в лоб, предугадать наверняка это было, конечно, нельзя, и если будет еще одна такая атака — здесь мало кто останется в живых.

Но утром все произошло не так, как думал Алексей.

На рассвете его разбудил странно знакомый гул, как будто рой пчел вдруг залетал у его уха. Он увидел, как на горизонте появились черные и какие-то острые мошки. Они быстро приближались, вырстая в большебрюхие «Ю-87», и он понял, что им предстоит.

Кто-то закричал: «Воздух!» — а рядом кто-то с горьким, задвленным и нервным смешком сказал:

— «Музыканты» идут, целый оркестр. Сейчас они нам сыграют фугу Баха.

Алексей узнал голос Кошелева, своего земляка, москвича, студента консерватории, но чему именно он там учился, Алексей не знал, знал только, что осенью сорок первого он пришел в ополчение, вернуться в консерваторию после победы под Москвой отказался и теперь стоял рядом с ним в окопе под Сталинградом.

В том, как это было сказано про фугу Баха, Алексей почувствовал ненависть музыканта ко всему немецкому, даже к своей музыке, и хотел сказать: «При чем тут Бах, Кошелев? Не надо путать», но не сказал ничего, он знал, что такое фуга, но еще лучше знал, что через полчаса от остатков их полка не останется и половины, а потом то, что останется, будут утюжить немецкие танки, а немецкие автоматчики будут добивать тех, кто еще и после этого останется.

Алексей схватил горстями землю с бруствера и сжал до боли в суставах, чтобы не сорвать злую беспомощность на каркающем Кошелеве. «Интеллигент вшивый», — со злостью про себя выругался он, хотя был точно таким же интеллигентом, и крикнул:

— Сивашкин, «дегтяря» сюда!

Сивашкин принес пулемет, второй номер, Алябин, тащил за ним запасные диски.

Алексей проверил пулемет и поставил его на бруствер почти вертикально к небу.

Он стрелял по «юнкерсам», пока взрывной волной его не бросило на дно окопа, а пулемет легко и чуждо вывернулся из рук, ударил прикладом в лицо, сверху посыпалась земля, и все поплыло, потемнело, и как будто зазвонили какие-то колокола очень близко, почти рядом...

— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант!..

Алексей почувствовал, как его трясут, и понял, что голос знакомый. Он открыл засыпанные землей глаза и увидел над собой лицо Прибылова.

— Что... что? — Алексей неожиданно для себя захрипел, хотя ему почему-то казалось, что он сможет говорить.

Сержант приподнял его и прислонил спиной к стенке окопа. Лицо его с пушистыми светлыми усами под красиво очерченным носом не было тем спокойным и надежным, каким привык его видеть Алексей. Вместо обычной мужицкой уверенности на нем сейчас была явственно написана тревога.

— Отступаем, отступаем, товарищ лейтенант!

— Как отступаем? Ты что, Прибылов, приказа наркома не знаешь? Да я...

— Да что там «я»! Вы посмотрите вокруг, товарищ лейтенант! — крикнул Прибылов.

С тупой неизбежностью смерти опять напоздали танки. «Почему они опять идут?» — со странным спокойствием подумал Алексей, как будто они шли не на него. Взглядом он быстро охватил позиции — все они были изуродованы до неузнаваемости, изрыты воронками бомб. Кто-то где-то шевелился, но ясно было сразу, что та горсть людей, которая осталась от полка после бомбежки — без артиллерии и ПТР, с одними винтовками и гранатами, — не сможет продержаться даже до темноты. Надо было умирать. «Вот и конец моей войне», — подумал Алексей.

— Ты что, сержант, контуженный? Или ополоумел от бомбежки? Куда это ты отступать собрался от танков днем, по чистому полю? Стыдно, ведь ты не первый день воюешь.

Несколько смущенный и почти выведенный из прежнего лихорадочного состояния словами Алексея, Прибылов кивнул в сторону и спросил:

— А эти?

Алексей оглянулся — несколько серых согнутых фигурок удалялись с высоты в сторону Сталинграда.

— Эти? Если мы сейчас отсюда драпанем — переутюжат и тех и этих, и нас в том числе. Жаль мне на них патроны тратить, лучше еще хоть одного фрица положить! Да, может, и помощь подойдет — ведь мы на главном направлении к Сталинграду, думаешь, командование этого не понимает?

От обсуждения того, что понимает и чего не понимает командование, сержант уклонился, но проворчал, машинально снаряжая гранаты и глядя в сторону немецких танков:

— Да, придет она, держи карман шире.

Алексей руками откапывал засыпанный пулемет. Он отбрасывал горстями землю, и у него дрожали пальцы от невольного ожидания, что вот сейчас выглянет из земли ствол пулемета и окажется погнутым или пробитым осколком — и будет он тогда сидеть тут и ждать немцев почти как голый: винтовки своей он вообще не видел — так ее хорошо тут завалило. Правда, кое-где торчали из земли дула и приклады винтовок, и ему почему-то показалось, что одну из них, с примкнутым за чем-то штыком, держит там, под землей, в оцепеневших руках убитый боец. Может, это было и не так, но ему почему-то пришла в голову такая мимолетная мысль, пока он раскапывал пулемет.

Никаких повреждений, кроме царапин, на пулемете не было, только ствол был так заполнен землей, как будто второй номер старательно набивал ее в дуло шомполом. Надо было прочистить ствол, и сделать это надо было очень быстро. Алексей положил руки на пулемет, но так и застыл, сжимая сведенными пальцами ствольную коробку и приклад.

Со свирепым, ни с чем не сравнимым и радостно знакомым воем ударили «катюши».

Прибылов вертел головой, и зрачки его зеленых глаз сузились от непонимания — что это? как? почему? откуда? Неужели не придется здесь, вот сейчас умереть и остаться, раскинув руки, как вот тот парень на бруствере?

Алексей, ориентируясь по звуку, заметил во время второго залпа, что «катюши» бьют из балки, примерно в километре от них.

Пламя от взрывов, смешанное с землей и дымом, заслонило полнеба, и драпануть пришлось немцам, оставив перед их высотой еще несколько подбитых танков.

Что это было, откуда появились эти негаданные гвардейские минометы? Случайно они оказались рядом именно с позициями их полка и в нужную минуту, или командарм предусмотрел такой оборот событий, или все это произошло как-то иначе — Алексей не знал, но они получили передышку, а вечером пришел приказ, и всю ночь они отхо-

дили к городу и после получасового отдыха, когда каждый поел то, что у него было в вещмешке или кармане, начали окапываться.

Серая тонкая пыль оседала на лицах, на гимнастерках, на волосах, она забивала горло, а воды не было.

Алексей копал наравне со всеми. Он втыкал штык лопаты в засохшую землю донской степи, с хрустом прорезая лезвием стебли ковыля — единственного растения, выдерживающего эту жару, хотя и он уже гнулся к земле в надежде, наверно, найти поблизости от нее хоть немного прохлады.

Этой ночью комполка Хлебников, обходивший позиции, назначил его командиром роты. В распоряжении Алексея осталось семь человек, те, с кем он отходил, а позицию им отвели как полнокровной роте, но он, конечно, ни слова не сказал комполка, это было бы просто глупо, да и не нужно. Что тот мог ответить? Ведь ему тоже дали участок для полка, а не для того, что от него осталось, и винить тут было некого — что делать комдиву или командарму, если они должны перекрыть путь немцам, а чем? А хоть собой — так сейчас стоит вопрос.

Хлебников торопливо проговаривал то, что Алексей должен теперь делать, лицо его в сером свете начинающегося летнего утра, которое обещало такой же яркий и солнечный день, как вчера, будь он неладен, припорошенное серой пылью, было смертельно усталым. Он кивнул на прощание и, сказав: «Давай, лейтенант, командуй», ушел. Алексей проследил за ним взглядом и увидел, что он подошел к группе отходящих бойцов и что-то сказал им — они нехотя остановились, потом зашагали в сторону его роты, и он понял, что в роте будет столько бойцов, сколько он сам соберет...

### III

Алексей кончил читать приказ и передал его Сырцову, терпеливо стоявшему рядом все это время.

Огромная «катушка», сделанная из гильзы стопятидесятимиллиметрового снаряда, освещала шатающимся, слабым светом середину подвала. У стен на шинелях лежали раненые, и плавной тенью от одного к другому переходила санинструктор Вера.

Острозубый скелет дома, который его роте, уже несколько раз за эти два месяца пополненной, было приказано — во что бы то ни стало! — захватить до завтрашнего утра, одиноко возвышался среди развалин, и это делало их задачу особенно трудной — здесь не обойтись молодецкой атакой, да и вообще такие атаки чаще всего оставляли после себя много трупов и невыполненную боевую задачу.

Надо было крепко подумать, а тактику уличных боев, к сожалению, на ускоренных курсах им не преподавали. Но кое-чему их все-таки научили, и, соединяя это кое-что с опытом первых месяцев войны и с опытом трехнедельных боев в городе, он должен был что-то придумать, что-то такое, что сохранит жизнь многим его бойцам, даст им возможность захватить этот дом и потом брать за каждую свою жизнь как можно больше жизней фашистов.

— Как ваша рука, товарищ лейтенант?

У Веры было простое русское лицо и фигура не из самых изящных, да и какая, к черту, может быть фигура у девушки, если на ней надеты галифе и кирзовые сапоги, но она была здесь единственной женского пола и для бойцов его роты была самой красивой девушкой на свете, а самое главное — единственной, которую им осталось увидеть в этой жизни, и они если и не понимали или не хотели ясно осознавать это, то нутром чувствовали, что им отсюда не уйти, хотя в то же время каждый надеялся, что уж он-то останется жив. Такова человеческая природа — не может человек до самого конца смириться с тем, что убьют и его, ну а если смирился, это все равно что убить.

— Пустяки, Вера,— спокойно ответил Алексей, потому что действительно так думал, но тотчас же понял, что мог обидеть ее таким ответом, ведь она беспокоилась за его болячку, а получалось, что ее беспокойство — пустяк, и он добавил, улыбаясь, хотя мысли его сейчас были далеко и он хотел бы, несмотря на все свое расположение к этой добросовестно и заботливо делающей опасное и часто, наверное, неприятное ей дело — что же может быть приятного, например, в осмотре бойцов на шивость — девушке, чтобы она поскорее отошла от него, но он не хотел и не мог ее обидеть, наоборот, ей нужна была поддержка, пусть самая незначительная, та, которую он мог ей сейчас дать и обязан был дать,— простое доброе слово.— Классно ты меня перевязала. Сколько уже повалялся, а руки ни разу не почувствовал, как будто она у меня целехонькая.

Вера грустно улыбнулась ему и, кивнув, отошла к раненым.

Он сказал неправду — он отлично чувствовал свою руку, когда искал с Сашкой штаб батальона и падал на месиво из кирпича и железа, но и правда была в его словах — перевязка была сделана хорошо, плотно и в то же время так, что не ощущалась на руке, и если бы не было нужды особенно ее беспокоить, то рука и впрямь была бы как здоровая. Его царапнуло сегодня утром, обидно, что не в бою, просто шальная пуля, но он легко отделался — дыркой в мясе, по нынешним временам все равно что царапина на коленке в полузабытое время казачьих разбойников, в таком далеком сейчас детстве, что даже и не верится, что оно когда-то у него было.

Когда Вера ушла, Алексей повернулся к Сырцову:

— Иван, надо разведать подходы к дому, пока темно.

Сырцов с готовностью кивнул, и Алексей понял, что тот воспринял это как приказ ему, и покачал головой:

— Пойду я. Не обижайся, но это такое дело, которое я никому не имею права передоверить.

— Можно послать разведчиков.

— Можно,— согласился Алексей. Он и сам решил, что пойдет с разведчиками, но сейчас сделал вид, что это Сырцов навел его на эту мысль. Он хотел, чтобы лейтенант постоянно ощущал свою нужность и чувствовал себя уверенно, если вдруг ему придется заменить его, Алексея...

— Фомин, Ляхов! — позвал Сырцов.

Они подошли быстро, почти сразу, оба плотные, невысокого роста, с проворными движениями, его разведчики, хотя роте разведчиков и не полагалось, но раз они были нужны, они должны были быть, и Алексей отбирал их сам из тех, что покрепче и посообразительней.

— Документы, флаги и что там у вас еще есть гремящего — оставить.

Алексей сказал им то, что было уже много раз сказано прежде, но он все же каждый раз говорил это вновь, зная, что из-за таких мелочей гибнут люди. Правда, о том, чтобы они взяли с собой побольше гранат, он не сказал, это они и так знали, у них это уже вошло в кровь — в развалинах гранаты были основным оружием, «карманной артиллерией», как шутили солдаты.

— Останешься за меня,— сказал Алексей Сырцову.— В случае чего... — «Черт, зачем я это говорю?» — тут же с досадой подумал он и закончил: — В общем, пока. Вернемся часа через два, а ты помозгуй, как лучше взять этот дом.

Они выскользнули из подвала по разбитой, усыпанной кирпичной крошкой лестнице, полежали немного, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте, и, согнувшись, стали осторожно пробираться к дому, занятому немцами. Дойдя до площади перед домом (так Алексей мысленно называл это пространство перед ним — площадь, хотя не знал, была ли это действительно площадь, сквер или часть дороги; в нагромождении развалин трудно было разобрать, чем это было в действительности

раньше, и не верилось вообще, что когда-то здесь что-то было и жили люди), они легли, и Алексей несколько минут напряженно вглядывался в темноту. Он сейчас окончательно понял то, в чем почти не сомневался и раньше: роте не одолеть эту площадь засветло; даже им втроем сейчас, ночью, не так-то просто ползти по ней — над ними ежеминутно загорались немецкие ракеты, и немцы для профилактики при их свете расстреливали из пулеметов каждый подозрительный бугорок. Да он, собственно, потому и пополз сюда, что понимал невозможность этого броска днем и понимал, что нужно искать что-то другое, потому что, как бы там ни было, боевой приказ должен был быть выполненным к шести ноль-ноль утра.

— Фомин, ты давай налево и прикидывай, как пойдут бойцы, за поминай ориентиры,— вполголоса сказал Алексей разведчику (шепота его среди разрывов ракет и выстрелов боец просто не расслышал бы), а сам с Ляховым пополз направо.

Он зацепился за какую-то торчащую проволоку и никак не мог отцепить от нее брюки. Нервно, сгоряча попытался выдернуть ее из кучи обломков, но только поранил себе руку — видно, проволока была длинной и уходила далеко в глубину.

Ляхов, уползший вперед, вернулся и, увидев в темноте какие-то странные движения лейтенанта, бросился на помощь, подумав, наверно, что он с кем-то борется. В это время зажглась зеленая ракета, и их шевелящиеся тени, может быть, заметил немецкий пулеметчик — пули веером разметали вокруг них кирпичную труху, но скорее всего это была обычная пристрелка, и надо было поскорее уползть с этого места.

Бросившийся на помощь командиру Ляхов споткнулся и упал на Алексея, который только что вырвался из проволочного капкана. Не было бы счастья, да несчастье помогло — как раз в этот момент немец выпустил в них пулеметную очередь, и это неожиданное падение спасло им жизнь. Фейерверк кирпичных брызг ожег им лица, и все.

— Ты что?! — зашипел в ярости Алексей, выпутываясь из обутых в тяжеленные солдатские сапоги ног Ляхова, он хорошо почувствовал, какие они тяжелые.

Ляхов смущенно молчал и зачем-то ерзал и ворочался рядом с ним, как будто медведь-шатун рыл себе яму в снегу. Некогда здесь было выяснять отношения, поэтому Алексей быстро остыл и, коротко бросив: «За мной», молча пополз дальше.

Несмотря на это происшествие в самом начале, их разведка удалась — они добрались незамеченными почти до самых стен дома и также незамеченными вернулись назад, разведав подходы.

Политрук Захаров сел на ящик рядом с Алексеем.

— Алексей Иванович, я понимаю, что сейчас, может быть, не самое удобное время для такого разговора.— Политрук на секунду замолчал словно бы в раздумье — продолжать или действительно сейчас не начинать свой разговор — и продолжил: — Но дело в том, что...

Алексей обеспокоенно посмотрел на Захарова — что могло случиться перед самым началом такого важного боя?

Политрук заметил этот взгляд командира роты и улыбнулся:

— Алексей Иванович, дело в том, что у меня,— Захаров положил ладонь на свою брезентовую полевую сумку,— здесь два заявления от бойцов нашей роты с просьбой принять в партию.

Алексей по-прежнему не понимал, для чего все это рассказывает ему политрук, и нетерпеливо сказал:

— Так, и что же?

— Не спешите, Алексей Иванович... Так вот, мы с вами воюем вместе уже третий месяц. На передовой этого времени больше чем достаточно, чтобы узнать, что за человек перед тобой. В общем, Алексей

Иванович, если вы сочтете нужным обратиться ко мне, я дам вам рекомендацию для приема в партию, вот что я хотел вам сказать.

Алексей, ошеломленный словами политрука, не знал, что отвечать.

Партия?! Алексей не мог поверить так сразу, что этот пожилой человек, почти ровесник его отца, считает его достойным стать членом партии большевиков. В его представлении коммунист должен быть похожим на таких людей, как его отец, воевавший в гражданскую, а сейчас он был комиссаром полка где-то на юге, или на Захарова, умудренного жизненным опытом, все понимающего человека. Как же может он в свои двадцать лет встать рядом с ними? Имеет ли он на это право?

— Семен Георгиевич, я даже не знаю, что вам ответить, я считал, что слишком молод, чтобы вступать в партию, и, откровенно говоря, не заслужил еще эту честь.

— Вы не правы. Дело не в годах, а в том, что вы успели за них сделать. Вы воюете с июля сорок первого. Хорошо воюете — от рядового вы за этот год прошли путь до командира роты. Партии нужны такие люди, как вы. Их нет нужды проверять, именно поэтому кандидатский срок на передовой сокращен до трех месяцев. Я уже сказал вам прямо свое мнение. Я не льщу вам, а говорю правду и думаю, что ваша скромность не пострадает от этого. Но дело не только в этом. Когда вы станете коммунистом, то повысится ваш авторитет как командира, а это уже важно не только лично для вас, а главное — важно для дела, для того, чтобы еще успешнее бить врага.

Алексей задумался на мгновение, потом решительно вырвал из блокнота листок бумаги.

— Спасибо, Семен Георгиевич, я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие.

Захаров помолчал, потом, улыбнувшись, сказал:

— Выбьем сегодня утром фрицев из дома, тогда и проведем партийное собрание. А для вас пусть это будет не только боевым приказом, но и первым партийным поручением.

Алексей молча пожал Захарову его широкую уверенную руку, и это крепкое пожатие сказало политруку больше, чем любые громкие слова, которые сейчас и здесь были бы неуместны.

Оскальзываясь, спотыкаясь о битые камни, уже не таясь, в рост, рота ударила с флангов по дому, занятому немцами.

Алексей перед началом атаки лежал среди бойцов, сжимая в руке свой «ТТ», его била мелкая дрожь, во рту пересохло, хотя рассвет был хмурый и сырой, серый воздух обволакивал все липкой паутиной.

Перед глазами торчала волчьим клыком стена дома, который они должны были во что бы то ни стало, как говорилось в приказе комбата, взять к шести утра. В их распоряжении было еще три часа.

Это были минуты обычного ежедневного затишья — кто не спал ночью, тот сейчас уже не мог бороться со сном, кто спал, тот еще не проснулся, даже артиллерийская канонада затихала в это время.

Алексей сильно рассчитывал на эту внезапность, на то, что немцы не должны ожидать в это время атаки с нашей стороны. Он переложил пистолет в левую руку и вытащил из-за пояса ракетницу. Взвилась вверх ракета, лопнула в небе и красной звездой, странной в рассветное время, предвестницей кровавого дня, медленно полетела к земле.

Алексей отбросил ракетницу, вскочил и, оглядываясь на бойцов, закричал:

— За Родину! За Сталина! Вперед!

Все в роте знали, что сейчас все зависит от их быстроты и решительности — чем быстрее они ворвутся в дом, тем меньше их ляжет навсегда перед домом.

Бойцы резко поднялись с земли и бросились вперед. Почти никто



из них не стрелял — попасть на бегу в цель практически невозможно, и если обычно в атаке стреляют, то делается это больше для устрашения противника, для того, чтобы он не мог показаться из укрытия и вести прицельный огонь, а они, кроме всего прочего, должны были еще беречь боеприпасы. Поэтому Алексей в обеих полуротах выделил по пулеметному расчету, которые должны были прикрывать атакующих и давить огнем на обороняющихся немцев. Им был дан приказ патронов не жалеть — пулеметные очереди неслись к дому, бились в стену, рвались в окна.

Они одолели те двадцать — тридцать метров, что отделяли их от цели, за несколько секунд, за это время немцы успели только проснуться, а их охранение открыло жидкий огонь — им мешали пулеметы, — к тому же рота Алексея почти сразу оказалась в мертвой зоне у стен дома. С этого мгновения начиналась главная часть дела.

Алексей не мог знать этого точно, но предполагал, что в дом рота ворвалась без потерь или почти без потерь, впрочем, сейчас он и об этом не думал, об этом он думал раньше, когда составлял план боя. Благодаря внезапной атаке даже не на рассвете, а почти в темноте он сразу решал главную задачу — войти в соприкосновение с противником, и она переставала быть главной; главной задачей становился бой в самом доме, но благодаря этой же внезапности немцы были сразу лишены возможности отступить, они должны были драться за свою жизнь, а драться они умели.

Впереди бежали два бойца: один высокий, худощавый, гимнастерка висела на его плечах, как на вешалке, — Леселидзе, другой ниже его на целую голову и налитой, гимнастерка мощно обтягивала его лопатки и плечи — Бондаренко.

Они ворвались в то, что когда-то было проемом для балконной двери — руины громоздились уже до уровня второго этажа.

Разрывы гранат, близкий свист пуль, взрывающих воздух в замкнутом пространстве бывшего дома, — это был ад, но привычный уж ад. Надо было работать.

Леселидзе упал, а Бондаренко только дернул плечом — его задело той же очередью — и повел автоматом.

Алексей не мог и не хотел оставаться сзади бойца, тем более сзади раненого бойца, и прыжком вырвался вперед.

Перерезанный очередью в упор из ППШ немец сползал на пол, цепляясь спиной за стену и тяжело и нехотя подгибая ноги. Он еще жил, и в глазах его застыло обычное удивление смертельно раненого человека, который не может поверить, что вот только что он жил, а вот его уже убили и его не будет, совсем не будет, и тут же было удивление оттого, что враги вот они, стоят рядом с ним, и у него в руках автомат, а стрелять он не может, а они на него даже не смотрят, а ведь он еще живет...

Гитлеровец был готов, и, не останавливаясь около него, Алексей пошел вдоль коридора, прижимаясь к стене и выставив вперед пистолет, но недалеко, чтобы его не могли выбить неожиданным ударом из какого-нибудь дверного проема. Оглянувшись, он увидел, что за ним идет Бондаренко, держа палец на курке автомата, на левом плече у него темнело расплывающееся пятно крови.

По всему дому от подвала до разбитых верхних этажей шел бой — рвались гранаты, гремели автоматные очереди и раздавались крики, от которых раньше у него застыла бы кровь в жилах.

Алексеем показалось, что впереди мелькнула какая-то тень, он сорвал с пояса лимонку и, прижимая рычаг к ее ребристому телу, сделал еще два шага и увидел над собой у края огромной дыры в потолке ствол немецкого автомата. Он подкинул в дыру гранату и отскочил в сторону. Грохнул взрыв, и на пол перед ним в облаке пыли упал окровавленный «шмайссер». Наверху закричали. Алексей бросился назад и налетел на Бондаренко. Нельзя было терять ни секунды, и он повалил бойца

на пол и упал рядом с ним. Мгновением позже разорвалась немецкая граната. Взрывная волна толкнула его в бок, и Алексей понял, что его не задело. Пыль стояла столбом, лезла в глаза, но Алексей не целясь выстрелил несколько раз из пистолета, одновременно раздался стук сапог рухнувшего сверху немца и его дикий крик. Оставалось надеяться, что наверху больше никого не было.

Алексей потряс Бондаренко за здоровое плечо, тот застонал, но не пошевелился и не открыл глаз. Подхватив его автомат, Алексей бросился вперед.

Еще слышны были выстрелы и разрывы гранат, но они звучали все реже, и чувствовалось, что бой затихал. Из тех немцев, что занимали дом, вряд ли кто успел уйти, все были перебиты, десяток пленных отправлен в тыл, конвоиры получили приказ — как только сдадут пленных, немедленно вернуться назад.

За те минуты, что шел бой в доме, противник не успел опомниться и помочь подразделению, занимавшему дом.

На первом этаже Алексей увидел Сашку, устанавливающего в бойнице окна немецкий «МГ-34», хотел было позвать его, но махнул рукой — зачем ему сейчас ординарец? А вот еще один пулемет ему куда важней.

Все понимали, что немецкую контратаку не придется долго ждать, и спешили занять места для скорого боя, и не прошло и часа как на немецких позициях поднялись цепи серых мундиров и пошли в атаку при поддержке огня легких минометов, малоэффективных в данной обстановке: роту Алексея хорошо защищали стены.

Алексей лежал у пролома в стене на третьем этаже. В отличные цейсовские стекла трофейного бинокля он отчетливо видел лица бегущих на них немцев. Сигналом для начала ответного огня должна была стать его автоматная очередь. Он прицелился, и два строчивших на ходу из своих «ручных машин» арийца ткнулись носами в битый кирпич. Алексей больше не стал стрелять, сейчас в этом не было необходимости, он стал наблюдать за тем, как проходит бой.

Огонь, который повела его рота, в несколько секунд выбил бреши в цепях атакующих, они залегли и начали медленно отползать назад.

Было, конечно, хорошо то, что они сейчас уничтожили еще несколько десятков фашистов, но по тому, как проходил бой, Алексей понял: про то, что сейчас произошло, нельзя даже сказать, что это было только начало, — это не было даже началом, у немецкого майора или капитана, отвечавшего за эти позиции, просто сдали нервы, и он бросил своих людей в неподготовленную атаку на верную смерть, может быть, и он сам сейчас лежит среди них.

Теперь донесение о происшедшем должно поступить в вышестоящий штаб, там его проанализируют, разработают условия, при которых (как они подумают) они смогут вернуть себе дом, придадут подразделениям, выделенным для атаки, средства усиления — артиллерию, танки, а может быть, и вполне возможно, авиацию, как раз условия хорошие: дом стоит посреди площади, значит, своих не заденет, — на все это потребуется несколько часов, значит, у нас есть время, прикинул Алексей. Он распорядился о посменном отдыхе — половина роты спит два часа, вторая половина занимает позиции.

Захаров встал, оглядел расположившихся на полу коммунистов, остановил взгляд на сидевших отдельно Алексее и двух бойцах и сказал:

— Товарищи коммунисты, поскольку секретарь парторганизации нашей роты товарищ Петров Иван Герасимович погиб в сегодняшнем бою, разрешите мне предложить следующую повестку дня. Первое — выборы секретаря ротной партийной организации. Второе — прием в ряды ВКП(б) товарищей Никольского, Рогожина и Костенко. Третье — текущий момент.

Со стороны могло показаться, что Алексей внимательно наблюдает за ходом собрания, на самом же деле хотя он и видел все, что происходило перед ним, но как-то не осознавал этого — он сейчас находился примерно в том же состоянии, какое бывало у него перед боем.

Он вздрогнул, услышав свою фамилию, непонимающе огляделся и нерешительно встал.

Политрук прочитал его заявление.

— Какие будут вопросы, товарищи?

Бойцы с сочувствием наблюдали за своим смущенным командиром. Пулеметчик Чупачин по привычке встал.

— Товарищ старший лейтенант, расскажите о себе... автобиографию, одним словом.

Алексей зачем-то сдернул с головы пилотку и, смяв ее в кулаке и старательно откашлявшись, начал:

— Биография у меня, товарищи, очень короткая. Родился в тысяча девятьсот двадцать втором году в семье военнослужащего. Мать — учительница. Окончил школу, поступил в художественный институт. Ушел на фронт. Воевал под Смоленском и Вязмой. Два раза выходил из окружения. Во время наступления под Москвой был ранен. Лежал в госпитале, потом учился на пехотных курсах. С июля снова на фронте. Ну а остальное сами знаете.

— А за что вы получили боевые награды, товарищ Никольский? — спросил Захаров. Сам он отлично знал это, но хотел, чтобы именно сейчас узнали и бойцы.

— Орден Красной Звезды в июле этого года за бой, который вы все... — Алексей запнулся, обвел взглядом сидевших и подумал: как мало осталось тех, кто мог помнить тот бой с немецкими танками, когда их спасли неведомо как появившиеся в степной балке «катюши»; но ничего не сказал об этом и продолжил: — Который вы все, я думаю, помните. Медаль «За отвагу» в октябре сорок первого — ходил за линию фронта в разведку, привел языка. Не я один, конечно, ходил. Всех наградили, в том числе и меня.

— Да что там, и так все ясно.

— Правильно, что мы, комроты своего не знаем? Голосовать!

Третий вопрос Алексей уже мог обсуждать вместе со всеми, но он молчал, и только счастливая улыбка, которая, несмотря на все его старания, вдруг набегала на губы, говорила о том, что он сейчас чувствует и почему молчит.

Обсуждение третьего пункта повестки дня было коротким — постановили записать в протокол собрания единогласное решение коммунистов: «Стоять за дом насмерть!»

#### IV

...Алексей еще прыгал по госпиталю на костылях, оберегая простреленную на Истре ногу, когда его вызвал комиссар.

Алексей остановился перед окрашенной белой масляной краской дверью, упер в подмышку правый костыль, толкнул от себя рукой дверь и вошел в кабинет комиссара.

Пожилой, лет пятидесяти, человек с нездоровым желтым и одутловатым лицом просматривал какие-то бумаги.

— Сержант Никольский прибыл по вашему приказанию, товарищ комиссар, — стараясь настроить голос как можно бодрее, отrapортовал Алексей.

— Здравствуйте, товарищ сержант. — Комиссар вышел из-за стола и подвинул стул Алексею.

Чтобы сесть, Алексею пришлось упереться в стол левой рукой, правой он держал оба костыля и одновременно тоже опирался на них.

Комиссар неожиданно крепко взял его за локоть.

Раздосадованный тем, что его принимают за того, кто нуждается в помощи, и одновременно смущенный, что ему помогает сестра и поддерживает за руку батальонный комиссар, Алексей поспешил опуститься на стул, и нога отозвалась стремительной болью, рванувшейся вниз, к колену, а потом вдруг куда-то вверх, к сердцу.

Заметив исказившееся лицо раненого, комиссар нахмурился. Сев за стол, он достал пачку «Беломора», вытряхнул из нее на свою массивную ладонь папиросу и после некоторого колебания протянул пачку Алексею.

— Что, врачи разрешают курить?

Алексей пожал плечами и взял папиросу.

— Спасибо, товарищ комиссар. Что врачи — у меня нога, не легкие.

Он полез в карман пижамы за спичками, но комиссар уже чиркнул колесиком зажигалки.

— Так что же врачи говорят, товарищ сержант? Ногу обещают стопроцентную или как?

— Да. Сазонов говорит — будет лучше прежней. Самое большее через месяц уже буду на передовой, товарищ комиссар.

Алексей терялся в догадках, этот странный разговор уже начинал ему не нравиться: «Куда гнет этот человек, что ему далась моя нога? Я ведь не сам себе ее прострелил».

Комиссар, видимо, и сам понял по встревоженному лицу раненого, что тянуть больше не следует.

— Вот что, сержант... — Взгляд комиссара был внимательным, даже каким-то оценивающим. — Личное дело я твое читал, не будем ходить вокруг да около, ты парень умный. А ногой твоей я вот почему интересуюсь... Мы получили приказ: лиц, имеющих среднее образование, отправлять на курсы комсостава или в военные училища. Это первое. И второе... — Комиссар затянулся дымом, папироса после этой затяжки догорела у него до мундштука, и он придавил ее в пепельнице. — Лиц, ушедших на фронт из высших учебных заведений, вернуть в эти самые учебные заведения. Ты ведь с третьего курса ушел на фронт? Так что ты теперь у нас один в двух лицах, — усмехнулся комиссар. — Времени у тебя еще много, давай решай, думай и решай, куда твоя дорога. Не тороплю. Думай. Когда надумаешь — скажешь.

От таких неожиданных новостей Алексей растерялся и только машинально, из вежливости, кивал, слушая последние слова комиссара.

Вернуться в учебные классы художественного института, снова взять в руки тяжелую, жирную глину, впиться в нее пальцами и снова испытывать каждый день, каждый день испытывать эту ни с чем не сравнимую радость покорного и загадочного чуда воплощения наяву твоих мыслей. Неужели это возможно? И разве он не имеет морально-права воспользоваться этим приказом, изданным людьми, думающими о будущем после войны? А Лена... Он каждый день будет ее видеть, будет рядом с ней. Да что тут думать — приказ есть приказ, надо его выполнять, и все. Того, что он пережил, хватит на десятерых, и никто никогда не посмеет его ни в чем обвинить — он выполнил свой долг, и точка, хватит, теперь пусть другие повоюют.

Алексей уперся костылями в пол и поднялся на руках со стула.

— А что тут думать, товарищ комиссар, приказ есть приказ.

Батальонный комиссар опустил глаза, его рыхлое лицо неожиданно отвердело, и ровным равнодушным голосом он сказал:

— Ну что ж, сержант, идите.

— Где эти курсы-то находятся?

Комиссар удивленно посмотрел на Алексея и машинально отвел:

— В Москве, в...

— Отлично, я ведь москвич, товарищ комиссар.

Комиссар встал из-за стола, хотел что-то сказать, потом подошел к Алексею и, положив руку ему на плечо, сказал:

— Спасибо, сынок.— И улынулся.— А я было подумал... Прости...

## V

Немецкая атака началась в три часа дня. Она началась артиллерийским и минометным налетом на дом, потом из-за развалин выползли танки с облупленной пулями темно-зеленой краской. Стреляя с ходу, они на небольшой скорости, чтобы не оторваться от пехоты, медленно поползли к дому.

Пули единственного в роте противотанкового ружья с алыми искрами рикошетили от лобовой брони и рассыпались малиновой окалиной, немецкие автоматчики прятались за танками, и достать их там было почти невозможно — несмотря на сильный огонь, который вела рота, только несколько распростертых фигур застыло на битом кирпиче площади, остальные упрямо шли вперед.

Надо было ждать, когда танки подойдут к самому дому, тогда можно будет отбиваться гранатами, а немецкая пехота будет в эти мгновения боя как на ладони, особенно с верхних этажей дома.

Пэтэровцы все же попали одному танку в смотровую щель, механик-водитель, наверно, был тут же убит наповал — пуля должна была снести ему череп, раз уж она влетела в эту узкую глубокую прорезь в броне, потом она, должно быть, заметалась в тесном пространстве кабины танка и угодила в снаряд — танк еще катился по неровному пространству площади, а в нем раздавались глухие удары, от которых он вздрагивал, как умирающее животное, потом взрывы прекратились — каким-то чудом не сдетонировал весь запас снарядов, или там был неполный боекомплект, башню не сорвало, и снаружи как будто целый и невредимый танк уткнулся в холмик битых кирпичей и застыл.

Танков было пять, теперь нужно было подбить еще хотя бы один, чтобы они прекратили атаку и дали задний ход.

Немецкие танки уже были совсем близко, и, как всегда бывает в бою, один из них оказался впереди. Еще несколько секунд — и можно будет расстреливать автоматчиков, если после того, как протекут эти секунды, будет кому их расстреливать.

Надо было подрывать танк, но людей на такое приказом не посылают, а напряжение боя, понятное своим дальнейшим развитием для Алексея, еще не достигло такого накала, когда люди и без приказа идут на смерть. Надо было ждать, но и ждать было уже нельзя.

Алексей не заметил, как из окна выскочил Кошелев. Кошелев знал, на что идет, и поэтому, когда пули пулеметной очереди рванули его тело, он не согнулся и у него хватило сил бросить связку гранат под левую гусеницу танка. Кошелев упал, и Алексей подумал, что эту тяжелую связку гранат он бросил на двадцать метров, будучи простреленным, уже фактически мертвым...

Танк с перебитой гусеницей завертелся было на месте, но экипаж остановил мотор; танк застыл в мгновенной нерешительности и открыл огонь из орудия и пулемета, но он был отличной мишенью, и расчет ПТР зажег его. Один из танкистов выбрался через нижний люк. В это время оставшиеся три немецких танка остановились: чтобы обойти мертвый танк, им пришлось бы подставить дому бока, да и вообще им, наверно, уже не хотелось лезть на рожон. Рота перенесла огонь на автоматчиков, залегших за остановившимися танками. Немецкий танкист черной тенью скользнул из-под танка и пополз к своим, умело используя каждую кучку камней. По нему стреляли, но он полз уверенно, и пули в него не попадали.

Отвлечшийся от того танка, с которым было покончено, Алексей вдруг заметил ползущего танкиста, и ему показалась чудовищной мысль, что после такой смерти Кошелева один из тех гадов, что сидели в машине, уйдет живым. Это было невозможно, потому что было бы слишком несправедливо, хотя Алексей привык уже к несправедливостям войны, — по сути своей несправедливости войны те же, что и просто несправедливости жизни, но они удесятрены в своей силе и суть их обнажена, потому что жизнь на войне сгорает быстрее, чем гаснет след от ракеты.

Танкист полз расчетливо, ему уже осталось всего несколько метров до вала из битых камней, за которыми стояли танки.

Автомат здесь не годился, у него плохой прицельный огонь. Алексей отодвинул плечом бойца и прицелился из его винтовки в то место, где, по его расчету, танкисту негде будет спрятаться и пусть на мгновение, но он подставится под его выстрел.

Алексей плавно нажал на курок и увидел, что попал. Он не почувствовал ни радости, ни удовлетворения, увидев, как корчится фашист, — он просто не мог дать ему уйти.

Немцы еще суетились, их танки еще не дали заднего хода, но уже было ясно, что атака не удалась и им остается только отойти.

## VI

...О своем ранении и о том, что лежит в госпитале на окраине Москвы, Алексей ни матери, ни Лене в своих письмах не сообщал, а догадаться они не могли — адрес госпиталя был такой же полевой почтой, как у любой воинской части. Правда, от Лены давно уже не было ответных писем — с октября сорок первого, но Алексей все же упрямо писал на ее старый адрес, хотя мать сообщила ему, что Лена с родителями в эвакуации и нового их адреса она не знает.

При выписке ему дали недельный отпуск для долечивания — мама, конечно же, догадается, за что он получил свой отпуск, но теперь это было не страшно. Он не хотел, чтобы мама, выматывающаяся на заводе, ездила к нему в госпиталь через весь город, да еще отрывала бы от своего скудного пайка кусок раненому сыну. Лене он не сообщал о своем ранении по другой причине — боялся, что может остаться калекой, и не хотел заранее связывать ее своей судьбой.

Он отвык от дома и почти забыл его за этот год и теперь со странным интересом оглядывал привычную и забытую квартиру. Его свежий взгляд скользил по вещам, узнавал их, и в то же время они казались ему какими-то новыми, не совсем теми, какими он их знал раньше. В прихожей в углу за дверью по-прежнему стояла пудровая гиря, перешедшая к Алексею по наследству от брата, когда Мишка уехал поступать в артиллерийское училище. В большой комнате, которая была и гостиной и рабочим кабинетом отца, на его письменном столе все осталось так, как будто он только что встал из-за него.

Алексей провел рукой по висевшему над его кроватью наивному коврику, на котором были вышиты бабушкой медведи Шишкина. На пальцах осталась серый налет пыли, и после этого он обратил внимание на то, что все вещи в квартире покрыты слоем пыли, и с внезапной тревогой подумал, что мама давно уже не была здесь. Может быть, она постоянно ночует на заводе и здесь бывает очень редко, а он, дурак, не написал ей, что приедет в отпуск, — думал нагрнуть неожиданно-негаданно, ведь ключ-то у него в кармане, прошел вместе с ним все передраги. Что же теперь делать — ведь он даже не знает, где находится мамин завод.

Он вышел на лестничную площадку и позвонил в дверь Марии Николаевны, соседки и маминой подруги, — они познакомились семьями, как только отцу дали квартиру в новом доме, они въехали сюда в один день. С дочкой Марии Николаевны он даже дружил — то ли в шестом,

то ли в седьмом классе,— но потом эта дружба как-то исчезла и забылась, а вот матери их как подружились, так и остались добрыми подругами. Если есть счастье на свете и Мария Николаевна дома, она непременно должна знать, где мамин завод или, по крайней мере, бывает ли она дома.

Дверь открылась почти сразу, как только замер звук звонка,— Алексей не слышал шагов, соседка как будто ждала под дверью его прихода. От этого лицо Алексея на мгновение приняло выражение удивления, и оно не сошло, а застыло на нем, когда он увидел Марию Николаевну.

Она смотрела полубезумными глазами, и не узнавала его, и резко, отрывисто, тем нервным тоном, когда не хотят услышать ответа, быстро спрашивала и повторяла:

— Кто вы? Вы кто? Что вам? Зачем? Никого нет. Кто вы? Что вам?..

Алексей не выдержал и почти закричал:

— Мария Николаевна, это я, Алеша... Никольский! Вы меня не узнаете? Что с вами, Мария Николаевна? Где мама? — Он с чувством смущения и неловкости поймал себя на том, что невольно сошел на полубезумный тон соседки, и замолчал.

— Я не знаю, ничего не знаю! — крикнула Мария Николаевна, и Алексей схватил ее за плечи.

— Мария Николаевна, да что же вы?! Это я, Алеша!

Она вдруг обвисла в его руках, ее мутный взгляд остановился на его лице, и Алексей увидел, как медленно, переливаясь через нижние веки, у нее потекли слезы, и он инстинктом, каким-то шестым чувством понял, что случилось что-то страшное, и обнял ее. Женщина положила голову ему на грудь, ее плечи и спина вздрогнули под его ладонями, и Мария Николаевна сквозь слезы забормотала:

— Алеша... обоих, их обоих, это невозможно, ты понимаешь, они где-то там, в земле... Наденька, милая, родная моя, Алеша...

Алексей почти не знал мужа Марии Николаевны Сергея Александровича, но он прекрасно знал Надю, и его зрительная память художника сама собой показала ему ее: невысокого роста, с некрасивым лицом, курносый нос, слишком широкий подбородок, а глаза были хорошие, добрые — доброй девочкой была девочка Надя, которой уже нет. Алексей видел тысячи смертей, а вот представить себе сейчас Надю мертвой не мог. Он не видел ее смерти, и ее смерть была для него абсурдом.

Алексей отвел Марию Николаевну в комнату. Она не плакала больше, просто замолчала.

Алексей понял, что здесь бессмысленно проявлять участие, тем более расспрашивать. Но он не мог уйти, потому что это значило бы, что он может не увидеть мать совсем. Может быть, это было жестоко, но он не мог не попытаться еще раз спросить о матери. Он сел рядом и попросил, как просят детей и сумасшедших:

— Мария Николаевна, дорогая, я очень прошу вас, скажите, как мне найти маму. Ведь она бывает здесь?

— Не знаю.

У Алексея перехватило сердце.

— Не может быть, Мария Николаевна, вы должны знать, вспомните, вы обязательно вспомните, только постарайтесь, я очень прошу вас, Мария Николаевна, подумайте, не торопитесь.

Женщина как будто и правда задумалась, словно пытаясь вспомнить, потом она с каким-то мимолетным просветлением посмотрела на него и сказала:

— В пятницу она приходит ко мне, я точно помню. Помогает. Адрес. Нет... нет.

Она встала, прошла на кухню. Алексей пошел за ней и увидел, что она начинает как будто что-то готовить. Некоторое время он

смотрел, как она перебирает полусгнившие остатки пищи, потом вслушался в ее шепот. Она говорила:

— Гости, пришли гости. Надя, подай что-нибудь.

Алексею стало страшно, он вышел из квартиры и тихо закрыл за собой дверь.

Он был сейчас настолько не в себе, что даже не смог вернуться в свою квартиру — его потянуло на улицу, на свежий, еще сохранившийся холод зимы воздух.

Прохожих на улице почти не было, редко проезжала полуторка или «эмка».

Сегодня четверг, и если верить (а что ему остается?) больной (у него уже не было в этом сомнений) соседке, то завтра должна прийти мама. Значит, в лучшем случае ему предстоит еще по крайней мере сутки до встречи с ней. Алексей закурил и пошел по улице. Голые зелено-серые тополя далеко разбросали ветки, которые этой весной никто не подрезал.

Алексей резко остановился. Как он сразу не подумал об этом? Ведь он может съездить к Лене и попытаться что-нибудь узнать о ней у соседей — наверное, не все уехали в эвакуацию, а может быть, кто-нибудь уже и вернулся.

На трамвае Алексей доехал до стадиона, а потом минут десять пешком шел до четырехэтажного, из темно-красного кирпича дома, где до войны жила Лена. Где же ты сейчас, Лена? Он подошел к такой знакомой двери на втором этаже с большой цифрой «18», выведенной по трафарету. Он осторожно поднес палец к звонку и, уже нажимая на него, понял, что в квартире никого нет — об этом говорила сама дверь, которую явно давно никто не открывал. Звонок не работал. Ну что ж, все правильно, а чего он ожидал — Кузьмины уже полгода в эвакуации. Кому здесь быть — отец Лены, инженер, если не на фронте, то где-нибудь на Урале, мать работала в заводууправлении, детей у них больше не было, одна Лена, ни дедов, ни бабок.

Алексей стоял, опустив голову, — несмотря ни на что, он все-таки ожидал чего-то. Но сегодня, в первый день своего отпуска, у него был не самый счастливый день, даже прямо надо сказать — паршивый денек у него выдался. все словно сговорились и, как медленные тени, расплываются перед ним, стоит протянуть к ним руку, — мать, Лена, несчастная Мария Николаевна.

За спиной, как затвор карабина, щелкнул замок, и Алексей вздрогнул от неожиданности, а рука его машинально дернулась, как будто хотела вскинуть не существующий сейчас автомат. Этот невольно проявившийся рефлекс еще больше расстроил Алексея. «Во что я превратился? — подумал он. — Зачем согласился на предложение комиссара — разве для того мои руки, чтобы нажимать курок?» И он почему-то вспомнил профессора, прибывшего к ним в окружении под Смоленском. Впрочем, он не знал, был ли тот старичок действительно профессором, — он сокрушался, когда ему дали винтовку, что его никто не научил раньше стрелять, тогда, может быть, осталась бы живы его дочь и жена. Его убили в первом же бою. Алексею случилось пробегать мимо него, когда они пошли в атаку, некогда было под пулями что-то там рассматривать, но эта слабая, белая и то ли старческая, то ли детская рука навсегда осталась в его памяти. Так же как мертвая девочка с бантом в белокурых волосах и ярком красном платье на котором была почти незаметна кровь, лежавшая на обочине дороги рядом с матерью. «Мессер» убил их одной очередью, а они тогда уходили на восток, отступали и ничего не могли сделать. Алексей уходил, а девочка продолжала лежать в пыли — и все-таки она шла за ним. шла, и ему пришлось взять ребенка на руки. и он понял, что будет нести ее до самого конца войны...

Он обернулся. Из двери напротив вышла пожилая женщина, посмотрела с интересом и тревогой, захлопнула дверь и, глядя на Алек-



сея, как будто чего-то ожидала от него и в то же время не хотела, чтобы ее ожидание сбылось, подошла к лестнице.

— Я к Кузьминым.

— В эвакуации они.

— И вы ничего о них не знаете?

— Откуда же? Писем они мне не пишут.

Алексей почувствовал, что за голосом женщины, за ее интонацией, с которой она говорит о Кузьминых, что-то есть, и стал спускаться по лестнице рядом с ней, но она замолчала. Алексей тоже терпеливо молчал. На улице женщина сказала:

— А ведь я тебя помню, сынок.

Алексей бросил внимательный взгляд на ее лицо — нет, он ее совершенно не помнил, хотя память его профессионально хранила лица множества людей. Может быть, он и видел ее, но мельком, как случайную прохожую, а она почему-то запомнила его.

— Ты ведь к Кузьминым ходил.

В этом не было ничего странного, почему соседка должна по имени называть девушку, но Алексей насторожился.

— Что с Леной?

— Замужем она. — Женщина замолчала, с жалостью смотря на Алексея.

Это было как разрыв снаряда рядом — ни один осколок не задел его, но он как будто выпал на какое-то время из течения жизни и, оглушенный, не понимая и не чувствуя ничего, стоял с нелепо вылезшими из глазниц от взрывной волны глазами и открытым ртом.

— Ты вот что, сынок, может, это и не мое, конечно, дело, да у меня двое на войне, и ты, я вижу, оттуда, не могу я тебя обмануть, а ты на правду не обижайся.

— Да-да, спасибо.

— Не за что спасибо-то. Да не я тут виноватая. Забудь про нее, не стоит она тебя. Тыфу ты, господи, вспоминать противно — повадилась к ней какой-то хрыч, лысый весь, отцу ее ровесник, но зато кульки все носил. На сладкое ее, стало быть, потянуло. Ленку-то твою...

— Да-да, спасибо, — прохрипел Алексей, зачем-то улыбнулся, сказал «до свидания» женщине и быстро пошел прочь от нее.

Он ненавидел себя за эту улыбку и ненавидел эту женщину, потому что не верил ей и потому что уже поверил, но еще не мог слушать, как с презрением говорят о его Лене, о той, что всегда была в его памяти, потому что перед боем и после него она была ему как свет вдалеке, как надежда на жизнь.

«Ленку-то твою...»

Алексю хотелось закричать, ударить кого-нибудь до смерти, и он пожалел, что сейчас не в окопе, из которого можно броситься вперед под немецкие пули. Но окопа не было, и немцы уже были в трехстах километрах от Москвы, и даже отзвуки канонады не были слышны здесь.

Дома Алексей потрошил свои папки с рисунками, разбрасывая их по полу, он ходил по ним сапогами, оставляя следы на гипсовых головах, мускулистых телах натурщиков и некрасивых телах натурщиц. Выхватывая из груды рисунков листы с портретами Лены, он в ярости рвал их на мелкие куски и бросал к двери. Часа через два он уже не смог найти ее лица, сколько ни перелопачивал руками гору помятых и истоптанных листов.

Он присел на диван и закурил. Он устал и успокоился, хотя пальцы его немного дрожали, но дрожали они не от гнева, а оттого, что устали, разрывая в ничто прекрасное лицо и тело. Он невольно посмотрел в угол, где несколько раз, когда они оставались в квартире одни, она позировала ему обнаженной — любимая, любовница и натурщица, идеальная жена художника, как он думал тогда в своем щенячьем восторге.

— Все.— Алексей встал с дивана.— Наплевать и забыть. Все. Он вспомнил, что скоро, может быть, придет мать и надо выбросить мусор до ее прихода.

Потом он сел за накрытый стол и стал ждать маму. Она пришла поздно вечером. Она не могла с улицы за светомаскировочной шторой увидеть свет в квартире, но открыв дверь, заметила сразу и свет в прихожей, и открытую дверь в освещенную комнату, и шинель на вешалке и бросилась в комнату.

Она целовала лицо сына солеными, влажными от слез губами, и Алексей стоял растерянно и ошеломленно под натиском материнской любви, прижимая ее к себе, как ребенка.

Мать размотала с головы шерстяной платок, которого раньше Алексей у нее не видел, в такие кутались все деревенские бабы от молодых до старух,— видимо, в новой, другой жизни для матери теперь это была необходимая и удобная вещь — распахнула пальто и села в кресло, не спуская счастливых глаз с сына.

— Алешенька, как же так, вдруг? Не написал, не предупредил... А ведь я не хотела сегодня домой ехать, да Марья Николаевна, знаешь, у нее ведь...

— Знаю, мама, я у нее был, но, по правде говоря, не верю до сих пор, что Нади нет. Она-то как же?

— Все правда, Алеша. Две похоронки в один день, а были они на разных фронтах и погибли-то в разные дни, а вот почта как будто подгадала. И ничего уж теперь не поделаешь. Погибли двое, а теперь можно считать, что все твое.

Алексею хотелось спросить маму, правда ли, что Лена... Но он пересилил себя — успеется, не надо портить ей настроение.

— Ну, про отца ты знаешь и про Мишу тоже — я тебе писала. Папа на юге, комиссар полка, а Миша на Карельском фронте, командует батареей, уже два раза был ранен, орденом его наградили — Красного Знамени.

Тут мать внимательно посмотрела на Алексея и дрогнувшим голосом спросила:

— Почему не написал? Это что, отпуск тебе дали после ранения?

Алексей смущенно пожал плечами и кивнул.

Мать печально и с давней горечью сказала:

— Ты всегда был скрытным, сынок, но разве от меня надо такое скрывать?

— Не обижайся, мам,— желая предупредить дальнейшие упреки, сказал Алексей.— Не хотел тебя расстраивать, я ведь знал, что Мише уже дважды досталось.

— Насколько я понимаю, у тебя было тяжелое ранение?

— Мам, ведь все уже позади, все нормально, давай забудем об этом, тем более что у меня впереди недельный отпуск, а потом — меня посылают на курсы здесь, в Москве, так что мы с тобой еще несколько месяцев будем видеться.

— Тогда давай праздновать! — С неожиданной живостью мама вскочила с кресла, сбросила пальто и залетала по квартире.

На столе появились скатерть и хрусталь, на кухне что-то зашипело, а к накрытому, теперь уже действительно накрытому, столу мама вышла в платье из черного тяжелого шелка, сверкающего в электрическом свете, любимом платье отца.

Она — Алексей не знал, когда она могла успеть это, — сделала что-то со своей прической, и он невольно встал из-за стола ей навстречу и вдруг как-то — теперь уже не по-детски, когда каждый ребенок знает наверняка, что его мама самая красивая, — понял, как красива его мать и как она еще, в сущности, молода. Сам не зная, откуда это в нем, Алексей взял ее руку и поднес к губам. Мама покрас-

нела и со смущенным смехом быстро отняла свою руку — с потрескавшейся, исцарапанной кожей, с обломанными ногтями, — но он опять взял эту женскую руку, накрыл ее своей большой мужской ладонью и сказал:

— Твоя рука самая прекрасная из всех, мама.

Она быстро провела пальцами по его волосам, не зная, что отвечать, и чувствуя, что сейчас не нужно ничего говорить.

Мать, наверно, давно уже не видела того, что было сейчас на столе, хотя тут не было ничего особенного — тушенка, сахар, белый хлеб, бутылка водки, банка американского паштета (это, пожалуй, было единственное экзотическое блюдо), — и все это терялось среди довоенного хрусталя и фарфора.

— Дурачок ты мой милый, что же ты не предупредил, что приедешь в отпуск? Я бы хоть на сутки отпросилась, а теперь завтра в шесть утра — моя смена. Ну да ничего, теперь я каждый день буду дома ночевать.

— Мама, ты очень похудела. Я знаю, вас тут не очень закармливают, но ведь папа и Миша высылают тебе свои офицерские аттестаты. Почему ты ими не пользуешься?

Мать горько усмехнулась:

— Некогда мне, Алеша, по рынкам расхаживать, на спекулянтские рожки любоваться, отстоишь у станка четырнадцать часов, добредешь до казармы и свалишься на койку, а то и не добредешь, прямо в цеху на ящики ляжешь...

Лицо ее при этих словах потемнело, мягкие скулы вдруг стали будто грубо вырубленными из серого гранита, но она сразу оборвала себя, улыбнулась, поняв, что не следовало этого совсем говорить сыну, и мысленно ругая себя за то, что прорвалась ее боль и усталость.

— Ничего, скоро легче будет, на востоке заводы уже заработали, а к осени и вы немцев погоните.

— Конечно, мама, ты только береги себя. Но зачем ты пошла на завод, ведь ты учительница музыки?.. — Алексей замолчал и посмотрел на ее пальцы.

Все улыбаясь, мать спрятала разбитые работой руки под скатерть.

— Когда говорят пушки, музы молчат. И ты не беспокойся — конечно, мне тяжело, но не мне одной, нас много, женщин, на заводе, почти все, и если бы мы не помогали друг другу, мы бы не выдержали...

— Жизнь не должна останавливаться, мама, для того мы и воюем, чтобы даже сейчас наши дети учились, в том числе и музыке. Не знаю, может быть, я и не прав, но я так думаю, и, наверно, не я один, иначе не стали бы возвращать с фронта недоучившихся студентов, специалистов... — Алексей опомнился и замолчал, но мать ничего не заметила, или его слова только упали пока в ее память и она осознает их смысл спустя время.

«Бедный Алеша. Идеалист, художник, чистый мой мальчик. Как же он воюет на этой страшной войне, среди крови, грязи, разорванных снарядами трупов?» И она вдруг подумала, что он не доживет до конца войны, не сможет дожить, — такие не доживают до конца войн, они погибают, рано или поздно, но они погибают всегда, и она задохнулась от ужаса за него, и только материнский инстинкт удержал ее от бабьего причитания, и она улыбнулась ему.

Мама ушла в пять часов утра и, к своему стыду, он не услышал ее ухода, хотя за четыре месяца в госпитале, кажется, отоспался на три года вперед, но оказалось, что сон дома, в своей тихой и мягкой постели — это совсем не то, что сон в палате, где иногда ночью с хрипом умирал сосед по койке, с которым ты разговаривал еще днем.

## VII

Приходилось ждать атаки с минуты на минуту и, несмотря на то только что закончившийся тяжелый бой, нельзя было дать людям расслабиться, надо было поддерживать в них постоянную готовность к бою. и Алексей и политрук Захаров переходили от бойца к бойцу.

Но прошел час, другой, немецкая артиллерия методично посылала снаряды в развалины дома, и не было никаких признаков скорой атаки. Начались сумерки, и стало ясно, что немцы отложили атаку до завтрашнего утра.

Выставив охранение, Алексей спустился в подвал, куда сносили раненых, сел на пол и привалился спиной к стене. В полутьме подвала отдыхали уставшие за день, запорошенные пылью глаза. У стены напротив рядом с перевязанным ею только что раненым сидела Вера, и в позе ее было столько усталости, что Алексею стало стыдно за свою усталость.

Откуда-то из темноты появился Сашка.

— Поешь, командир.— Сашка сунул ему в руки вскрытую банку.

Алексей поискал за голенищем ложку.

— Ложку потерял,— огорченно, но почти равнодушно сказал он, потому что, несмотря на голод, потребность в сне была больше, и он уже почти не мог бороться с закрывающимися сами собой глазами.

— Возьмите, товарищ лейтенант.— Сашка сунул ему в руку свою ложку.

Алексей давно уже привык к тому, что ординарец обращается к нему то на «вы», то на «ты», и не обращал на это внимания, понимая, что это происходит не из-за отсутствия уважения к нему, а из-за Сашкиного характера и недостатка воспитания. А здесь и сейчас это вообще не имело никакого значения.

Он быстро съел половину и отдал банку.

— Я уже ел, это все вам, товарищ командир,— смущенно сказал Сашка.

Алексей поел бы еще, но странная гордость не позволила ему снова взять тушенку, и как можно мягче он сказал:

— Спасибо, Саня, больше не могу, спать хочу. И ты иди отдыхай — завтра нас фрицы рано поднимут.

— Да они теперь неделю к нам не сунутся! — шепотом вскрикнул Сашка, чтобы не побеспокоить раненых.

Алексей посмотрел на радостно-убежденное лицо Сашки, хотел спросить его, когда он начнет умирать, но только махнул рукой. У него спалились глаза, и сквозь быстро наваливающийся сон он еще услышал голос раненого:

— Помру, да, сестренка? А? Помру...

Ответа Веры он уже не услышал — за последние двое суток он спал не больше трех часов.

Алексей, перед тем как спуститься в подвал, приказал Сырцову разбудить его на рассвете, а если что-нибудь случится, то в любое время, но так как ничего особенного не случилось и только по-прежнему немецкая артиллерия долбила дом, то Сырцов и политрук договорились не будить его и дежурить по очереди наверху.

Он проснулся сам от разрывов бомб.

В льющихся с потолка ручьях кирпичной пыли и трухи в подвал вбежал Сырцов. Он что-то кричал, наверное звал наверх отбивать атаку, но в громе бомбежки ничего не было слышно и был только виден его раздираемый криком рот.

Алексей вскочил — наверху сейчас нечего делать, немцы под свои бомбы не полезут,— грубо зажал рукой рот своему заместителю и заорал ему прямо в ухо:

— Всех вниз!

Сверху, с неба, несется смерть, и самое страшное, что нельзя угадать, куда она упадет. Падающая как будто на тебя бомба разрывается метрах в пятидесяти, не причинив тебе никакого вреда и разлетаясь в клочья тех, кто уже был уверен, что это не в них.

Когда пристреливается артиллерия, можно угадать, куда полетит следующий снаряд, если есть свое орудие, можно пытаться подавить противника. А когда лежишь под бомбежкой, можно только в бессилии ждать, это самое страшное и унижительное, что есть на войне,— возникающая необходимость бессильно ждать смерти, не имея средств бороться с ней.

«Юнкерсы» улетели неожиданно скоро. Откуда-то сверху свалился сияющий Сашка и в показавшейся этим людям необыкновенно тихой тишине, хотя вокруг, везде в действительности гремел бой и никакой тишины не было, крикнул:

— Наши «ястребки» раздолбали «музыкантов» к ... матери! — И опять побежал наверх, как будто хотел досмотреть интересное кино под названием «Воздушный бой в небе Сталинграда».

Алексей бросил окурочок самокрутки, которую скрутил и курил во время бомбежки, чтобы отвлечься, и приказал:

— Всем, кто может стрелять,— наверх!

Этот бой шел весь день, не затихая ни на минуту,— только в четыре часа дня немцы отвели свой первый эшелон на обед и ввели в бой свежие части.

Еще два танка горели на площади, и вокруг них неподвижно лежали серо-зеленые фигурки.

Из роты Алексея в строю осталось девять человек. Внизу, в подвале, от жажды и голода медленно умирали раненые, и среди них санитар Виктор Вера, которая никому уже не могла помочь — пуля попала ей в живот, когда она тащила от пролома в стене захлебывающегося кровью политрука.

Алексей и два бросившихся на помощь бойца снесли обоих в подвал. На пол они положили уже мертвого Захарова и пришедшую от боли в сознание Веру.

Бинтов давно уже не было. Алексей снял гимнастерку, потом нательную рубашку и протянул ее солдату постарше: «Перевяжи!» Он попросил это сделать пожилого бойца, потому что видел по лицу Веры и по ее дергающимся рукам, что, несмотря на боль, она стыдится, что сейчас ее разденут. Он махнул рукой молодому солдату, помогавшему перенести Веру и политрука, и пошел с ним наверх, но у самой лестницы повернулся и подошел к Вере, опустился перед ней на колени, совсем об этом не думая, погладил ее покрывшийся испариной лоб и, глядя в серые, такие обыкновенные глаза, улыбнулся и как можно ласковее сказал: «Все будет хорошо, милая, потерпи...» — зная наверняка, что скоро все они умрут и, может быть, он окажется счастливее этой девочки, и смерть его будет мгновенной, и ему не придется мучиться, как ей, а может быть, все будет не так, и через час он будет лежать рядом с ней и умирать с о е й смертью. Эти мысли о смерти сейчас не заставляли вздрагивать от холодного страха — они были теперь так же просты и обычны, как раньше была естественной и обычной для них жизнь.

Кончались боеприпасы, и, несмотря на то, что людей можно было пересчитать по пальцам, Алексей послал уже двух связных в батальон. Они не вернулись.

Алексей не знал, что батальон перестал существовать еще вчера — мощным ударом немцы разрезали надвое армию и прошли по их батальону, по их полку к Волге. Алексей не знал всего этого, хотя и знал, что со вчерашнего вечера его рота ведет бой в окружении, и решил послать еще одного бойца.

— Федор, ты должен дойти, понял? — сказал он, **обращаясь к Фомину.**

Сибиряк утверждающе кивнул.

— Надо дойти, Федор, чтоб хоть узнали, что мы здесь...— Алексей хотел сказать «погибли», но почему-то не сказал, **вырвал из блокнота листок с написанным от спешки лесенкой и крупными буквами донесением, свернул его вчетверо и отдал бойцу.**

Фомин скользнул по развалинам. Алексей за пулеметом был наготове прикрыть его в случае необходимости.

Разведчик уползал все дальше, вот он перебросил свое сильное тело через выступ разрушенной стены, и тут же что-то произошло. Алексей, не понимая еще, что случилось, нажал на гашетку пулемета, и короткая очередь веером пронеслась над стеной, но он сразу вспомнил, что это последняя лента, и отдернул палец. Раздался крик. Алексею показалось, что он узнал голос Фомина, над выступом стены, торчащей из развалин, мелькнула чья-то рука, и все затихло.

В бессильной ярости Алексей ударил кулаком в кирпичи — выходит, он сам послал бойца в плен, а здесь он, может быть, уложил еще хотя бы одного фашиста.

— Кончай, старшой,— услышал он голос Сашки.— Ты тут ни при чем. Теперь надо думать, что он им скажет.

— Ничего он им не скажет,— зло оборвал Сашку Алексей и перетащил пулемет на прежнее место.

Сашка пожал плечами и пополз к своей амбразуре.

Потом немцы перестали стрелять, и огромный, заполнивший все, картавый, как у вороны, голос старательно и деревянно проорал каждую букву:

— Немецкое командование предлагает вам сдаться. Немецкое командование гарантирует вам жизнь и нормальное питание! — Голос умолк, как будто ожидая, что ему ответят.

У восьмерых людей, занимающих развалины дома на площади, было всего по несколько патронов на каждого и одна пулеметная лента, и они не могли ответить так, как им хотелось.

— Рус, сдавай! Волга буль-буль! Карош еда! Сдавай!

У Сашки лицо стало таким, что Алексей невольно рассмеялся. А Сашка еще шире раскрыл свои синие глаза и с искренним изумлением сказал, тоже почему-то улыбувшись:

— Вот сволочи, а? Командир, дай хоть пяток патронов по гадам.

— Тихо, Саня. Жди и надейся,— усмехнулся Алексей.

— Да, тут дождешься,— неопределенно сказал Сашка.

Не слыша в ответ выстрелов, вообще ничего, немцы зашевелились и начали потихоньку вставать.

— Не стрелять! — приказал Алексей шепотом, как будто немцы могли его услышать и как будто было чем стрелять, и почувствовал, как его охватывает дрожь, потому что он уже все понял.

Немцы поднялись и, горланя что-то, нагло пошли к их дому, прямо на его пулемет.

— Эсэс! — сказал Сашка и бросил в рот свой последний патрон то ли чтобы удержаться и не выпустить его в толпу эсэсовцев, то ли затем, чтобы немного похолодить рот, в котором уже много часов не было ни глотка воды.

— Рослые ребята,— задумчиво сказал боец, ставший вторым номером Алексея, он лежал рядом с ним и бережно держал на ладонях жирную, блестящую пулеметную ленту.

— Да, рослые,— подтвердил Алексей и нажал гашетку.

Ему казалось, что он слышит, чувствует сквозь рев пулемета этот чмокающий, как от прилипшей к глине подошвы, звук, когда пуля впивается в тело, и чувствовал, как злая радость наполняет его от каждого попадания, а не попасть он не мог, это было просто невозможно, **стреляя из пулемета на таком расстоянии. И падали, па-**

дали и орали, падая и убегая и снова падая и падая, рослые, отборные арийцы, которым теперь-то уж точно не придется попробовать волжской воды.

Алексей жал и жал на гашетку, видя редкие уже фигурки убегающих эсэсовцев, не понимая, что жмет зря, лента уже кончилась, а боец Семенов, второй номер, смотрит на него непонимающе и с испугом.

Наконец он отпустил гашетку, и ему на мгновение показалось, что это все, что сейчас все силы ушли из него в эти несколько секунд и он никогда не сможет оторваться от этого пулемета, шевельнуть пальцами, приваренными к гашетке, но прошла минута, и он пришел в себя.

Немцы прекратили стрелять и зловеще замолчали, но тех, кто остался еще в живых в этом доме, давно уже нельзя было ничем запугать — ни тишиной, ни громом.

— Ну, старшой, ты и наворотил, — с восхищением сказал Сашка. — Я уж было сдрейфил — здорово ты их подпустил.

«Хороший ты парень, Сашка, но что же нам теперь делать, с голыми руками?» — подумал Алексей и промолчал.

— Смотрите, товарищ командир! — толкнул Алексея в бок Семенов.

Алексей нехотя поднял голову над стволом пулемета.

На гребне развалин, где внизу лежали только что перебитые эсэсовцы, над ними стоял Федор Фомин. Он был без каски, и ветер трепал его волосы. Федор вдруг пригнулся, как будто хотел прыгнуть вперед, и, выбросив вверх кулак, крикнул коротко, зная, что больше ничего не успеет:

— Бейте гадов!

И одновременно сухо и едва слышно в грохоте идущего по сторонам боя ударила очередь «шмайссера».

Алексей понял все, как только увидел Федора, потому что ждал этого и ждал этой очереди, но все равно вздрогнул, когда она раздалась, и опустил глаза, когда пули заставили Фомина выгнуться назад, и не видел, как он размашисто упал лицом на острый битый кирпич, а больно ему уже не было.

Сашка откашлял что-то и сказал:

— Он, значит... сказал фрицам, что у нас патронов ни хрена нет, то-то они шли как к мамке.

— Заткнись! — крикнул ему Алексей, сжимая руками затвор пулемета.

Сашка удивленно посмотрел на командира:

— Ты что, старшой?

— Ладно, Саня, не обижайся. — Алексей взял себя в руки. — Зачем я его послал? Ведь ясно же было, что он не сможет пройти, по-глупому он погиб, ни за что.

— А зачем нас сюда послали? Ведь ясно же было, что нам здесь каюк, а, старшой? А погиб он не глупо, совсем не глупо — вон их сколько валяется! Он их на твой пулемет навел, командир. Нам бы всем такой смерти пожелать — давно бы в России ни одного живого фрица не осталось и война бы кончилась.

— Ну ты философ, Саня. Тебе бы в политруки надо, — с изумлением сказал Алексей.

Сашка смутился и, скрывая это смущение под смехом, захопал по карманам в поисках давно кончившегося табака. Алексей протянул ему свой кисет.

— Пошли вниз, там докурим, а то нам сейчас немцы дадут здесь прикурить, костей не соберем.

— Погоди, старшой, дай на свежем воздухе напоследок покурить, они еще только снаряды подносят.

Вообще-то уже было все равно, и Алексей не стал спорить. Они

сидели, как будто не было войны, и спокойно курили, как в мирное время где-нибудь на скамейке в скверике, а по бульвару катили в разноцветных колясочках своих бутузов хорошенькие мамыши, стреляющие по сторонам глазами и похожие на кур, только что снесших яйцо, такие они горделивые и смотрят заносчиво: вот, мол, я какая — родила, и будь здоров.

А немцы и правда что-то не стреляли.

— Ну ладно, все, пошли вниз, встанем у входа со штыками и повоюем напоследок. А, Саня?

— Само собой, товарищ старший лейтенант, вот только дадут ли...

Они спустились в подвал. Из одиннадцати тяжелораненых семеро уже умерли. в том числе и Вера. Алексей переходил от одного раненого к другому и отдергивал руки от похолодевших уже тел.

Заработала немецкая артиллерия, размеренно всаживая снаряды в остатки дома.

При каждом разрыве вместе с землей вздрагивал, то поднимаясь, то опускаясь, подвал — летели из стен кирпичи, и потолок с каждым разрывом как будто все приближался к ним.

— А хорошо бы, товарищи, красное знамя вывесить, чтобы все видели, что мы погибаем, но не сдаемся, — мечтательно сказал Семенов.

Сашка только хмыкнул и посмотрел на него как на полоумного, а Алексей спросил:

— Семенов, вы кем были прежде?

Боец опустил голову, как будто смутившись.

— Учителем... истории, а что? — И снова поднял голову на последних словах, даже как будто с каким-то вызовом.

— Так. Интересно, — спокойно ответил Алексей. — А что в рядовых? У вас ведь высшее образование?

— Я добровольцем пошел. Из-за зрения в училище меня не взяли.

— Понятно.

— Эй, слышь, браток...

Они недоуменно посмотрели вокруг.

— Браток!

Говорил раненый, вся его грудь была обмотана грязными бинтами с проступившим сквозь них кровавым пятном.

— Правильно ты сказал, браток, — сипел раненый наклонившемуся Семенову. — Мне все одно как, будь другом, сними бинты, рубашку намочи — и будет нам знамя.

— Ты что?! — отшатнулся Семенов.

— Эх! — негодуяще прохрипел раненый, и в горле его что-то заклокотало. Он начал срывать с себя сильными пальцами бинты.

Семенов хотел его остановить, но Сашка оттолкнул его и стал снимать свою пропотевшую нательную рубашку.

Под бинтами показались клочья матросской тельняшки.

Алексей взял в углу винтовку, примкнул штык и помог Сашке привязать к прикладу липкую от крови рубашку, и тот побежал наверх.

Алексей с тревогой ждал его у входа в подвал, вслушиваясь в разрывы. Семенов пытался перевязать моряка обрывками бинтов, Алексею показалось, что он плачет, но в полутьме подвала нельзя было сказать наверняка.

Сашка вернулся очень быстро и радостный. Он пробежал мимо Алексея, на ходу кивнул ему и бросился к моряку.

— Морячок, слышь меня? В лучшем виде, на самой верхотуре вбил.

— Спасибо, парень, — улыбнулся моряк синими губами и закрыл глаза. Он еще жил.

И в это мгновение немцы словно взбесились — интенсивность их огня резко возросла, подвал заходил ходуном.



— Заметили, суки! Заметили, гады! Во как лупят! — радостно орал Сашка.

Он еще кричал что-то, почти прикасаясь губами к лицу Алексея, но Алексей ничего не слышал за грохотом разрывов, а потом он уже не мог ничего слышать, потому что что-то ударило его, вспыхнул яркий свет, и все погасло, исчезло, растворилось и понеслось куда-то далеко и исчезло совсем.

### VIII

...В июне сорок второго года его учеба на курсах подходила к концу — через неделю или чуть больше, точной даты им пока не говорили, их должны были отправить в действующую армию, присвоив звание младший лейтенант, но по некоторым намекам преподавателей Алексей догадывался, что несколько наиболее успевающим курсантам, в том числе и ему, должны были присвоить сразу лейтенанта. Особой радости у него это не вызывало, но все равно было приятно.

В это воскресенье все, кто хотел, получили увольнение в город — первое (и скорее всего последнее) за три месяца. Расчет Алексея бывать дома не оправдался — занятия шли от темна до темна, без выходных и увольнительных, и с матерью они общались только в письмах. Он предупредил ее, что придет домой перед отправкой на фронт, чтобы она смогла заранее отпроситься с работы в этот день. Она ответила в письме, что сможет вырваться домой только на вечер.

На фронте опять происходило что-то неладное, последний месяц это чувствовалось по сводкам и по самой обстановке на курсах, наверное, и на заводах было то же самое, и отпроситься с трудового фронта даже для прощания с уходящим на фронт сыном было не так-то просто.

Как бы там ни было, у Алексея был целый день — с утра и до самого вечера.

Из окна трамвая он увидел работающий кинотеатр, а на афише знакомые лица Ладыниной и Зельдина и сошел на ближайшей остановке. Ему вдруг захотелось окунуться в прежнюю мирную жизнь, вспомнить такие близкие и такие невозможно далекие школьные годы, когда с одноклассниками они беспрерывно ходили то на «Детей капитана Гранта» и «Пятнадцатилетнего капитана», то на «Волгу-Волгу» и «Комсомольск»... Эх, да разве мало их было, этих отличных фильмов! Они смотрели их затаив дыхание, следя за необыкновенными приключениями прекрасных людей или смеясь до слез над Бываловым и капитаном, знающим все мели.

Алексей шел по улице к кинотеатру, с наслаждением набирая в грудь воздух, переполненный запахом зелени. Он увидел телефон-автомат и остановился, удивляясь неожиданно пришедшей мысли: почему в этот выпавший ему, может быть, последний его мирный день он должен болтаться один по городу?

Он не привык знакомиться с девушками на улицах, но ведь были же у него знакомые девушки — просто знакомые одноклассницы, сокурсницы. Он достал записную книжку. Несколько телефонов он когда-то записывал, но когда это было? Они, наверно, уж и не помнят его, да и где они сейчас, война так разбрасывала людей, что он уже перестал удивляться. А если они вышли замуж? Хорош он будет со своими идиотскими звонками.

У него было семь телефонных номеров. По трем никто не брал трубку. Про двух девушек ответили, что они в эвакуации. По шестому номеру раньше жила Ксения из их институтской компании, к ней иногда полушутливо ревновала его Лена. Он слушал долгие телефонные гудки и не верил, до сих пор не верил, что Ленка вышла замуж за какого-то лысого мерзавца, который носил ей какие-то кульки. Хотя почему мерзавца? Может быть, он вполне приличный человек, полюбил ее. Не может быть приличным человек, «полюбивший» девушку,

годящуюся ему в дочери? Может. Любовь зла. Он понимал, что это правда, что она замужем за этим лысым, но все-таки не верил, хотя, когда он спросил об этом маму, она принесла ему единственное письмо, пришедшее от Лены из эвакуации. Рукой Лены химическим карандашом все было ясно написано, и особенно то, что она просила его мать сообщить Алексею обо всем, подтверждало, что все кончено и навсегда.

Наконец трубку сняли, и женский голос спросил: «Кого вам?» Алексей ответил и после секунды молчания услышал какие-то звуки и не сразу понял, что это плачет женщина, подошедшая к телефону. Что он мог сказать? Утешать?

Он вышел из будки и купил билет в кино. Ему предстояло еще раз посмотреть кинокомедию «Свинарка и пастух».

«Может быть, подойти к какой-нибудь девушке, объяснить, что ухожу на фронт?.. М-да...» Он представил себе, как будет это делать, и только усмехнулся. Нет.

Он снова пошел к телефону, у него есть еще один номер, надо довести дело до конца. Телефон был занят, и он постоял, ожидая, когда кончит говорить интендант второго ранга. Интендант, продолжая говорить, прижал трубку плечом к уху и, сняв фуражку, стал протирать большим клетчатым платком свою просторную вспотевшую лысину. На лице его было добродушно-виноватое выражение. По обрывкам разговора, которые доносились из будки и которые Алексей хоть и не старался слышать, но слышал невольно, ему было понятно, что у интенданта происходит довольно тяжелый встречный бой с женщиной.

Лысина и брюшко навели Алексея на мысли о Лене, и этот человек стал ему сразу неприятен — слишком он был похож на того, кто купил Ленку. «Да что она, голодала? Сама продалась», — жестко подумал Алексей, с ненавистью глядя на покрытую каплями пота лысину ни в чем не повинного интенданта.

Эх, если бы на них была гражданская одежда, он бы хоть мог постучать монетой в стекло, а теперь сержант Никольский должен стоять и терпеливо ждать, когда кончит трепаться со своей лялечкой этот тыловик.

Отдуваясь, интендант вывалился из будки. Алексей козырнул ему, но тот не обратил на это никакого внимания, кажется, даже и не видел его, что еще больше разозлило Алексея, и он хлопнул дверью будки. Он быстро набрал номер. «Если опять неудача, пойду домой, — решил он про себя. — Завалюсь на диван и буду читать до маминого прихода».

— Алло...

— Таня, это ты?

— Я... А кто это?

— Это Алеша... Никольский, помнишь? — Он усмехнулся в трубку.

— Припоминаю, — с заметным интересом отозвалась трубка.

— Я рад, что ты меня помнишь.

Голос хотел что-то сказать, но Алексей опередил.

— Танюха, я сегодня вечером ухожу на фронт, — соврал он, но, в общем-то, это было правдой. — Давай встретимся. Что-нибудь придумаем.

Голос молчал, потом решительно ответил:

— Сомневаюсь, что сейчас можно что-нибудь придумать — не то время. Но раз уж ты меня вспомнил, всеми забытую, знаешь что — приезжай ко мне. Адрес-то помнишь?

Она была натурщицей. Студенты говорили ей Танюха, а преподаватели уважительно Татьяна Павловна. У нее была бесподобная фигура, не очень красивое лицо, и она была старше Алексея лет на десять.

Он вышел от нее, когда уже начала спадать жара и он немного протрезвел от выпитой днем водки. Она его не пускала, говоря, что его заберет первый же патруль, он только смеялся в ответ, но не над тем, что она сейчас ему говорила — это-то как раз было вполне реально, — а вспоминая то, как клялся ей пару часов назад в любви, а она ему поддакивала, помогая раздевать себя. Зачем он ей это говорил, он не верил тому, что говорил, и знал, что она не верит ни одному его слову, знал, что ей и не надо этих слов, — так зачем же он это говорил и даже, кажется, плакал от жалости к самому себе, лежа потом рядом с ней?

Ему было стыдно не столько за то, что пришел к ней, он не видел в этом ничего такого — после того, что сделала Лена, он был свободен и имел право хотя бы на такую любовь, быть может, последнюю в его жизни, а много ли ее было в его жизни и много ли у него будет этой жизни вообще?

Он думал, что ему сейчас стыдно за то, что он так вел себя с ней, не понимая, что ему сейчас было бы стыдно все равно, как бы он себя с ней ни вел, потому что, несмотря на все оправдания и даже на то, что он теперь хотел бы смотреть на все это как на мсть с его стороны то и Лене. его приход сюда был не тем поступком, который он должен был совершить перед уходом на фронт. Его никто не мог бы (и не стал бы) упрекать за то, что он пришел сюда, наверно, даже мать, и все-таки он чувствовал, что не должен был приходить сюда, хотя не мог, а вернее, не хотел понять этого, потому что что случилось, то случилось, изменить уже ничего нельзя было, и он стремился за своей неестественной веселостью скрыть стыд и нетерпение побыстрее уйти.

Он улыбнулся ей на прощанье, уверенный, что никогда больше не увидит ее, даже если останется жив, и невольным профессиональным взглядом охватил ее точеную фигурку, просвечивающую сквозь тонкий ситцевый халат, и нелогично подумал, что хорошо было бы, если он вернется с войны, вылепить эту фигуру, а лицо сделать с Лены и отлить эту идеальной красоты — в его понимании — статую из нежно-золотистой бронзы, хорошо передающей фактуру тела, одновременно с этими мыслями понимая, что такой статуи с таким лицом он уже не сделает никогда.

Понимая, что не надо бы этого делать, Алексей подошел к ней, обнял и, поцеловав в губы, сказал: «Спасибо» — и увидел, что на глаза женщины навернулись слезы, она вдруг оттолкнула его, вскрикнула: «И что вы... все!» — и уткнувшись лицом в его гимнастерку, заплакала настоящими слезами.

Растерянный Алексей, прижимая Таню к себе, неловко гладил ее по голове, по распущенным густым каштановым волосам.

Их эшелон шел на юго-запад, проскакивая узловые станции и останавливаясь на забытых богом полустанках. Постепенно по вагонам стало звучать все громче одно слово: «Сталинград».

Но не доезжая города, их эшелон выгрузили прямо в степи, и они походной колонной по пылящему ковылю пошли к месту назначения.

После полудня они проходили через село. Объявили пятнадцатиминутный привал, и все обступили колодец и набирающую из него воду девушку. Солдаты смеялись, отпускали шутки, и она, тоже улыбаясь, успевала отвечать и наполняла из ведра солдатские кружки. Когда ведро опорожнилось, двое солдат стали на ворот, а остальные ждали своей очереди, когда она нальет им воды. Она была укутана платком по обычаю казачек — так, что видны были одни сверкающие глаза, — но скоро ей стало жарко, и то ли от этого, а может быть, для того, чтобы покрасоваться, она с невинным девичьим кокетством сдернула с головы платок.

Алексей стоял в стороне, с улыбкой наблюдая солдат, отталкиваю-

щих друг друга, чтобы донская красавица напоила их, и горько думал, почему ему не встретилась в жизни такая девушка, как эта, и хотя он ничего не знал о ней, но почему-то был уверен, что она необыкновенная и чистая, как эта колодезная вода, которую она щедро сейчас дарит изнемогающим от жажды ее защитникам, думал так, как будто жизнь его уже подошла к концу и ничего уже не может в ней быть, потому что времени осталось слишком мало и некогда исправить свои и чужие ошибки.

## IX

— Командир! Старшой! Очнись!

Знакомый голос звал его, но Алексей никак не мог понять, что это за голос и где он сам.

Его первой мыслью было: «Убит?!» — и даже мелькнула еретическая мысль о том свете, но как раз света-то и не было.

Он был в кромешной тьме, в памяти загорались и гасли картины, казалось, только что закончившегося боя, но голос настойчиво звал, а чьи-то руки тормозили его. Алексей узнал Сашкин голос и вспомнил, где он.

— Эх, черт, видно, сильно его вдарило. Крови нет, сердце бьется, должно, контузия — а куда мы с ним?

Алексей понял последние Сашкины слова и сразу подумал, что не будет обузой ему и тем, кто остался жив, и постарался пошевелиться. Ему это удалось, и, хотя тело ныло, как будто его долго и тщательно били, он почувствовал, что не ранен и может двигаться.

— Сашка, где ты?

— Здесь, здесь, товарищ командир. Завалило нас тут на...

Сашкин мат, который в его устах давно уже был привычен и обыден Алексею, сейчас прозвучал ему сладчайшей музыкой.

— Кто жив, кроме тебя?

— Кроме меня?— Алексей почувствовал Сашкину усмешку.— Кроме меня — я да Семенов. А теперь вот вы.

— Что же, всего трое?— как бы не поверив, спросил Алексей.— А наверху ведь пятеро еще оставалось, я помню, они в подвал спустились, Грибанова, правда, принесли раненого...

— Где он, тот подвал, лейтенант? Всех завалило. Меня по башке так трахнуло, до сих пор круги перед глазами, у Семенова рука сломана, очки потерял, правда, ему тут все равно. А ты, старшой, совсем в рубашке родился, — с какой-то завистью сказал Сашка.— Балка свалилась, рядом с твоей головой упала, на ладонь не достала, а что сверху сыпалось — все на нее падало, я еще лежал и думал: вот повезло комроты, — засмеялся Сашка.— Пока меня по кумполу не садануло, все завидовал.

— Погоди-ка, а раненые... моряк тот?..

Сашка промолчал. Алексей не стал больше спрашивать, и так было ясно.

— Почему так темно?

— По времени ночь, а по другому по всему — капитально нас завалило — чуешь, дышать тяжело.

Алексей машинально вздохнул, и ему правда показалось, что воздуху как будто не хватает и он какой-то вязкий. Ощупывая вокруг себя руками, он осторожно сел и решительно сказал:

— Ищите лопаты, штыки — будем откапываться.

— Куда откапываться, старшой? Кругом немцы, чего зря дрыгаться?

— Кончай болтать. Дырку к воздуху пробьем, тогда подумаем, а не успеем пробить — и думать не придется.

Они старательно ощупали каждый сантиметр окружавшей их козявой поверхности, натываясь друг на друга.

— Ничего нет, товарищ командир,— грустно сказал Семенов.

— Ищите, ищите, Семенов,— упрямо повторил Алексей, но скоро стало ясно, что там, где они оказались, действительно ничего нет.

— Кроме моей финки, никакого саперного инструмента у нас нет,— невесело пошутил Сашка.

— Погоди,— остановил его Алексей.— Мы сейчас примерно в центре подвала, я помню, где сидел, когда потерял сознание, в левом от меня углу лежало оружие раненых, и там было несколько лопаток, но нам к ним не добраться, а вот справа метрах в трех сел боец, не помню кто, кажется, Маландин, но я отчетливо помню, как он положил рядом с собой малую саперную лопатку. Надо сориентироваться.

Алексей достал из нагрудного кармана трофейную немецкую зажигалку и в свете едва живущего в спертom воздухе огонька быстро и внимательно огляделся. Даже после этого слабого света тьма показалась невозможной, но она была, и была непроницаема.

Обдирая пальцы, они стали разбрасывать обломки, где, как полагал Алексей, сидел боец с лопаткой. Они чувствовали, что идут последние минуты их жизни, и это удесятерило их силы.

— Нашел! — сдавленным от радости шепотом сообщил Сашка.

Сменяя друг друга, они прорывались наверх, к воздуху, тяжелыми хрипами добирая остатки того воздуха, что был еще у них в этой приготовленной для них войной братской могиле. Семенов помогал им, здоровой рукой отбрасывая в сторону то, что сыпалось сверху.

Алексей одергивал себя и Сашку, все время напоминая, что откапываться надо как можно тише, но чем дальше, тем меньше они могли себя сдерживать, чувствуя, как душит их смрадный мрак, хватая железными пальцами за горло.

Пот заливал глаза, внизу тяжело дышали Сашка и Семенов, и Алексей ворочал лопаткой где-то впереди себя, уже почти ничего не чувствуя и не понимая, что они делают.

Что-то острое и холодное ударило ему в лицо, и он невольно отшатнулся, не поняв, что это был воздух. Алексей припал ртом к отверстию, через которое тонкой струйкой, как вода в роднике, бил воздух, отвалился и съехал вниз.

Внизу тоже почувствовали воздух, он услышал, как они вскочили на ноги, и сказал им:

— Готово.

Осторожно, пальцами они расширяли отверстие, вслушиваясь в каждый звук, раздающийся снаружи, но ничего особенного не слышали, кроме редких ночных разрывов снарядов и мин и постоянного, не прекращающегося ни днем, ни ночью треска выстрелов.

Смерть отошла от них, но была совсем рядом, а они были беззащитны, и первое, что нужно было сделать,— вооружиться хоть чем-нибудь, чтобы по-глупому не попасть в плен и не стоять беспомощно перед смеющимися над ними «белокурами бестиями».

Алексей высунул наружу голову. Небо над городом полыхало и дымилось, и где-то совсем рядом раздавались чужие довольные голоса, слышалось пиликанье губной гармошки. Снизу его подтолкнул Сашка, и Алексей выбрался наверх. Под рукой что-то блеснуло, он жадно обхватил пальцами грани винтовочного штыка.

Они лежали, прижавшись к обломкам стены, и шепотом решали, как им быть.

И влево и вправо от них шел бой, так что нечего было и думать пробраться через боевые порядки немцев к своим. Оставался только один путь — к Волге. Вряд ли фашисты очень уж строго охраняют подходы к реке со своей стороны — от кого им их охранять? А прочную передовую линию на берегу им было просто некогда еще создать. Это было как раз на руку: ночь и ликование немцев по поводу выхода к великой русской реке, к которой так стремился их фюрер, и вот они выполнили приказ своего вождя, они пьют из нее во-

ду, зачерпывая боевыми шлемами тевтонов. Правда, вышли они к Волге на довольно узкой полосе, но они думали, что это только начало. В известном смысле они были правы, хотя сами об этом и не догадывались.

Алексей обмотал штык оторванным рукавом гимнастерки, сделав подобие рукоятки. Это, конечно, было безумием — идти с голыми руками триста метров до реки через немцев, но другого выхода не было.

Первым шел Сашка, за ним, поддерживая Семенова за здоровую руку, шел Алексей.

Алексея наполняло странное ощущение чужой жизни вокруг, похожее на то, когда он выходил из окружения год назад, примерно в это же время, но тогда оно было не таким острым, это ощущение, — тогда он шел днем, с десятками своих, а сейчас их было только трое, и они шли фактически по открытому пространству, небольшому куску земли, наспигованному войсками и техникой немцев.

Слева послышались голоса и шум принаемого сапогами кирпичного крошева. Они залегли за углом разрушенной стены. Семенов упал неловко и скрипнул зубами от боли. Этот скрип можно было услышать только совсем рядом, но они затаили дыхание.

Немцы — их, судя по всему, было двое — должны были пройти почти рядом с ними, но вряд ли они заметят их, если не начнут осматривать развалины, а по ленивой интонации их разговора было понятно, что они не собирались заниматься таким бессмысленным делом.

Алексей посмотрел на Сашку. Тот показал ему финку и повел головой в сторону приближающихся шагов.

Алексей кивнул и стиснул в руке штык.

Сашкин немец не успел закричать.

Алексей ударил штыком, но острие попало то ли в пуговицу мундира, то ли в медаль и скользнуло в сторону, его немец ахнул, но не закричал, мгновенно оценив свое положение и то, что его жизнь этот крик не спасет, и ударил Алексея кулаком в лицо, но тот устоял и вцепился в его горло мертвой хваткой.

Семенов тихо вскрикнул:

— Саша!

Сашка, снимавший с убитого автомат, обернулся и недолго думая дал пинка немцу, который удивленно крикнул, невольно повернул лицо к новой опасности, и Сашка ударил его автоматом.

С минуту они стояли, приходя в себя и прислушиваясь, потом оттащили немцев в сторону, чтобы их нашли как можно позже, и снова стали пробираться к реке.

Наконец среди запахов гари и смерти им показалось, что они почувствовали свежий, чуть отдающий тиной запах реки, и впереди и внизу блеснуло что-то большое и черное.

Увязая в песке, они подползли к Волге и, ни о чем не помня в эти мгновения, опутив лица в катящуюся мимо реку, пили ее прохладную воду.

Порвав свою одежду, они связали несколько бревен и, привязав к ним поясным ремнями Семенова, оттолкнулись от берега.

Чем дальше они плыли, тем яснее понимали, что вода в Волге не прохладная, а холодная, у них уже зуб на зуб не попадал, а Семенов от испытанной и испытываемой боли, от холода потерял сознание и безжизненно лежал на плотике. Сашка подложил ему под голову свои сапоги, чтобы он не захлебнулся.

Могучее волжское течение сносило их в сторону. Алексею казалось, что они плывут уже многие часы, он машинально греб правой рукой, и на него все больше накатывало какое-то оцепенение, в котором соединились усталость и голод с переохлаждением в осенней реке, и он не заметил, как оторвался от плота. Обнаружив, что плы-

вет один, он хотел было крикнуть, но не стал — у Сашки, тянущего сейчас бревна с привязанным Семеновым, сил не больше, чем у него, и он не имел права просить помощи. Сжав зубы и трезвея от опасности, Алексей из последних сил поплыл туда, где должен был быть берег.

Вязкая и упругая вода тяжело поддавалась взмахам его рук, и с каждым взмахом он все меньше верил, что выплывет.

Он не заметил, когда начало светлеть небо, но вдруг берег оказался совсем рядом, и он ощутил под ногами легкий, как тополиный пух, песок, ему показалось, что он сейчас может выбежать на берег, но как только скатывающаяся вода с плеском отпустила его, он тут же снова рухнул в нее и, захлебываясь, пополз по дну. У него давно уже не было сил, и он сам не мог бы объяснить, как он плыл под конец, но сейчас силы оставили его вовсе, и, медленно рухнув у речного плеса, он потерял сознание.

Он пришел в себя оттого, что почувствовал кого-то рядом с собой. Он дернул пальцами, забыв, что автомат лежит на дне реки, увидел над собой опасливо-настороженное молодое лицо бойца и успокоился.

Его заметили с береговой зенитной батареи. Посланным за ним двум бойцам, в недоумении стоящим сейчас около него, он казался каким-то странным и необыкновенным пришельцем из другого мира.

Он улыбнулся и прошептал, думая, что говорит громко и его могут слышать:

— Сашка?.. Семенов?..



---

---

## АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ



### ЛИРИКА

\* \* \*

По той причине пуст и неприютен дом,  
Что по законам двух сторон одной медали  
Я слишком подпускал вас близко, а потом  
Вы слишком быстро мне, друзья, надоедали.

И только помню скрип разошедшихся дверей,  
Прощанье и уход навеки, без возврата.  
А кто кому, друзья, надоедал быстрей,  
Нам было все равно давным-давно, когда-то.

\* \* \*

И в жизни и в письмах — роман,  
Уже недалеко до брака —  
И все же какой-то изъян,  
Какая-то порча, однако.

Хлопочет рачительный сват,  
И свадьба как будто бы близко —  
А в жизни и в письмах скрипят  
Кооператив и прописка.

\* \* \*

Что может разглядеть незрячий?  
Тем более провидеть...  
Но  
Я знал, что так, а не иначе  
Судьбой predetermined,  
Что в жизни суетной и шумной  
До гроба верность сохраню  
Патриархальному огню  
И женщине полубезумной.

\* \* \*

Он везде появлялся лет сорок, а то и поболее подряд  
И совсем не состарился. Но почему-то, на взгляд,  
Помнят все на лице у него, проходящего с неумолимой  
надменностью **МИМО**,  
Выраженье обиды жестокой и неумолимой.



И поэтому в этой обиде таится беда,  
 И в надменности неумолимой опасность таится,  
 Тень бросая на встречные и безразличные лица.  
 Что поделаешь, если никто никогда  
 Не обидел его, не потратил на это труда,—  
 И на это обижен и с этим ему не дано примириться.

\* \* \*

С любой утратой сердце примиряю,  
 В них никого на свете не виню,  
 Всегда легко терял и потеряю  
 Последнее, что все еще храню.

Опять разверзлись небеса — и ныне  
 Легко потерю перенес опять  
 По той одной-единственной причине,  
 Что духом нищ и нечего терять.

\* \* \*

Нету лютей, добродушней и жарче оскала,  
 И в Первоюну, обиженно так гомоня  
 Всем, кто ее отвергал от велика до мала,  
 Эта собака прилежно и долго искала  
 Двор и хозяина, не исключая меня.

Вид у собаки такой не особо приметен,  
 Слышу, опять у забора она гомонит,  
 Вижу, пластается над острями штакетин,  
 Выше ворот, навсегда убегая, летит.

\* \* \*

Он сорок лет грозитя написать  
 Воспоминанья обо мне, злодее,  
 И о своей навязчивой идее  
 Напоминает снова и опять.

Он своего добьется все равно,  
 Мои злодейства обнажит пред миром  
 И выразит при этом лишь одно —  
 Что я все время был его кумиром.

\* \* \*

Безостановочных дней и годов  
 Безостановочный пейс<sup>1</sup> иноходца.  
 А по счетам расплатиться готов,  
 А после этого время прервется.

Страшного мне не избежать суда,  
 И прегрешений моих вереница  
 Вытянется бесконечно, когда  
 Время прервется, пространство продлится.

---

<sup>1</sup> Прохождение лошастью дистанции.

---

ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВИЧ



## НА РАБОТЕ И ДОМА

*Записки рабочего человека*

- О чем это?
- О жизни.
- Широкое понятие...
- Широко и берет: об отношениях между людьми на производстве, в семье, о том, как вырастают настоящие люди, и о негорослях тоже... О литературе, о молодежи... Трудно пересказать.
- Владислав Леонович? Что-то не встречал такого писателя.
- Он не писатель. Рабочий. Просто рабочий, сварщик, уже не молодой, скоро полсотни стукнет.
- Что же вдруг за литературу взялся?
- Едва ли он претендует на писательское звание. Видимо, тот случай, когда не мог человек не написать о том, что его волнует. И порою образно очень. Вот, например: «Я человек, в общем, не злой. Про таких говорят: «Мухи не обидит». Правильно, если эта муха на меня не садится...» Много за этими словами.

Я прочитал публикуемую ниже повесть Владислава Леоновича. О себе он пишет мало, скупое. Но весь он виден. Рядовой рабочий, не зачинатель каких-либо движений, но ему интересно все, что происходит вокруг него, в стране, в мире. И ко всему он небезразличен, на все у него своя точка зрения, своя оценка. И встает облик человека широкого кругозора, масштабного мышления, передовых взглядов. Человек неторопливый, благожелательный, гордый своим трудом, убежденный в силе своего класса.

*Рядовой советский рабочий, каких у нас миллионы.*

Аркадий САХНИН.

**СЯ** сварщик, и давненько. Правда, сейчас на газорезке. У нас в цеху это просто — совмещение профессий. Все железогрызы. Сварщиков, конечно, раз-два и обчелся, но когда перешли на бригадный метод, решили дать поработать на сварке молодым. Сварщик всегда станет резчиком, а сварное дело надо уметь схватить, хоть на дуге, хоть автогеном. В ПТУ в основном теория, тоже вещь необходимая, но учат варить на производстве...

Короче, я просто сварщик, вот и вся моя биография. И все же... И все же, когда за плечами почти полвека, хочется к «просто сварщику» кое-что добавить. И не столько уже о себе, сколько о близких людях, товарищах, с которыми живешь...

Два недавних дня из моей жизни, на работе и дома. Мне они кажутся характерными. И в то же время как сказать — характерные? Каждый день и характерный, и что-то новое в нем. Какие-то сдвиги. Может, у меня и зачесались руки именно на эти два дня потому, что в них были новые ощущения, впечатления?

Не удержаться, наверное, и от некоторых замечаний общего характера — слабость людей поживших. Замечаний сугубо личных, решительно без каких бы то ни было обобщений.

## 1

Хорошо, когда на рабочем месте все необходимое под рукой, когда, что называется, порядок. А как не задастся день с утра, всю смену и прокопаешься. Смотришь, другой, вместо того чтобы делом заниматься, то инструмент настраивает, то ищет что-то. Да оно и в жизни так. Конечно, жизнь сложнее, но, наверное, каждому хочется к старости, как к концу смены, сказать себе, что не впустую отмахал, не на чепуховую суету ушли годы...

Хорошо начинать рабочий день, когда на душе спокойно. Вообще-то, такое бывает редко, всегда какая-нибудь закавыка есть.

На сегодняшнее утро было три закавыки. Две домашних и — вот на тебе! — еще на работе. Металла нет, подвезти некому, но это ерунда, главное, с мастером нелады, вот это беспокойство не на одно утро...

А вот и он. Дал мне чертеж, две позиции, по восемьдесят пять деталей — работа знакомая, дня на полтора.

— Лист во дворе, сейчас на каре подвезут, а под кран сам, братишка, застроишь.

— Для кого братишка, а для кого — Василий Сергеич, — поправил я. — Почему сам?

✓ Я знал, конечно, как и все, что Шорникова он отстранил от работы.

— Потому что стропальщика я направил к начальнику цеха.

— А за что ты его направил? — вкрадчиво спросил Данила, вдруг оказавшийся рядом.

— От него разит живым перегаром. Только что, наверное, стакан принял. Я его предупреждал, он с краном работает. Отвечать за него не хочу.

— Значит, ты отвечать не хочешь. А за что тогда деньги получаешь? — уже другим тоном спросил Данила, глядя прямо в глаза мастеру.

Взгляд мастера сделался холоднее обычного.

— За то, чтобы шла работа и был порядок.

— Ты перевел его на три месяца в стропалю на девяносто рублей, теперь совсем сожрать хочешь? Ты у нас без году неделя, а он больше десяти лет... — начал горячиться Данила. — Снял человека! А у бригады спросил? А то «бригадный метод, бригадный метод», а сам колы в колеса вставляешь... Нет! Надо делать собрание, надо решать! Сейчас закон есть о трудовых коллективах... Сколько бригада потеряет времени... «От него пахнет»... Да он пашет за двоих, а теперь каждый сам себе листы подтаскивай!

— Надо наконец принимать меры, — повысил голос и мастер, — партия взялась за дисциплину...

— Да партия вас учит, дураков, и никак не научит.

— Не забывайся, Данила а то и тебя сейчас отправлю.

— Да куда отправишь-то? В Америку, что ли? Ты инженер, ты должен думать по-государственному... Он здесь уже притерся, он здесь работает. Понял? «Принимать меры»... Принимает меры милиция. Что тебя сюда поставили — выгонять, штрафовать, выселять?

— Чувшь городишь Куда выселять?

— Тебя сюда не городом поставили, а мастером. Не меры принимать, а работать. Работать с людьми. Со взрослыми, не с пэтэушниками — выставлять из класса и родителей вызывать...

— Приступай к работе!

— Давай мне лист. Я стропить не буду, у меня нет удостоверения, — категорически заявил Данила.

Подошел Шорников.

— Роберт, — обратился он к мастеру, — Григорий Семенович сказал: «Иди работай, разберемся».

— Раз он тебя задействовал, я с себя ответственность снимаю.

Подавай металл. Сначала Даниле, а то у него истерика, потом Дер-жакову и так далее.

— Мне можно попозже, — сказал я. — Мне еще резак налаживать. Мастер отошел. Данила обратился к Шорникову:

— Ты подержись, Серега, ведь выбросят. Их тоже можно понять... Сегодня уже вмазал небось?

— Затирухи ввинтил баночку, с праздников оставалась, теперь все, — сплюнул он.

— Переломи ты себя с месячишко, — сказал я, — на совете бригады поговорим, будем ходатайствовать, чтоб вернули тебя обратно в бригаду, на резку. Девяносто или двести пятьдесят — есть разница?

— Только остановиться, зазорчик бы денек-другой, а там полегче пойдет... С двух концов гложут, ты же, братишка, знаешь. — Он быстро ушел.

Я знал. Двое сыновей женатых, внучка, жена. Когда он пьет, все против него. «Что самое обидное — хоронятся от меня, если выпивают, — жаловался он. — А пьяному подносят!» Сыновья у него лбы здоровые. После их подношений он на следующий день на работе говорит кратко: «Упал». Так и поведось. Вначале у него были неприятности дома, потому что пил, потом уже пил, потому что неприятности дома.

— Слышал? «Задействовал»... — перебил мои мысли Данила, закуривая. — Пусть он меня слопает, но я рад, что высказал ему все. Я с этим Бобом не примирюсь. Надо собрание. Сегодня же. Раз мы бригадой работаем, нам мастер не нужен. Терроризирует всех такой мастер.

Данила сердито удалился. Он терпеть не может нашего мастера. Особенно после того как Роберт прошлый месяц лишил его прогрессивки. За язык в основном. Не то чтобы Данила лишнее говорил, нет, он по делу, но уж как-то он критически настроен к начальству. Я иногда думаю: может, потому что сам не вышел в начальники? Из него бы толк получился, башка у него варит. Он, кажется, в молодости учился где-то. Недоучился. Но сейчас Данила прав. Роберта не любит никто. Как проводили Поликарпыча на покой, а вскорости и на вечный покой, не везет нам на мастеров. Прислали прямо после института одного южного человека. Как он окончил институт, один аллах ведает, ничего не знал. Мы после поняли: и знать не хотел. Делому-то прозвали его. Он делал вид, что постоянно занят, постоянно ему надо было куда-то, исчезал часто и надолго. Словом, инородное тело, но на него никто не обижался. Он никогда не докладывал на рабочих, не лез в наши дела, был занят своими, но работа шла... А вот Роберт не только инородное тело, но и зловредное. Тот южный человек вскоре совсем пропал из виду, хотя надо было отрабатывать два года после института. Говорят, он принес такие справки от врачей, что по ним выходило срочно менять климат, ибо у нас ему прямо-таки смерть... После него приставили к нам девчонку. Ну какой из нее мастер заготовительного цеха, если здесь одно матерое мужичье, ежедневно ворочающее десятки тонн металла? Она втихомолку плакала у Наташки в инструменталке... Перевели к малярам на покраску.

Когда же у нас, интересно, кончится такая практика: если у человека диплом, пусть по другому профилю, но диплом, его обязательно в руководители, обязательно командовать. Это все равно, например, как меня сейчас поставить к программному станку или к пульту. А их можно.

Роберта прислали к нам из ПТУ — преподавал ребятам контрольно-измерительные приборы и что-то по автоматике. А у нас бригадир скажет ему, какой чертеж кому, он и разносит. Наводит дисциплину своими школьными методами, так, что начальник цеха, мужик немного психованный, но разумный, сказал ему: «Роберт, не лезь ты

ко мне с этими мелочами, ты мастер, разбирайся с людьми сам».

Роберт парень спортивный, с гонором, его любимые слова: «Вот когда тебя поставят на мое место...» Однако сам он явно не на своем месте. По-моему, надо в первую голову думать о работе сообща, дело-то одно, а не подчеркивать на каждом шагу, кто мастер, а кто рабочий.

Так... Резачок пора менять, вчера минут двадцать возился с инжектором, да и сопло уже не того... Пока подкачу пропан и кислород в запас, а то народу у Наташки много... Ага, Сережа уже листы тащит, молоток! Сейчас разложим, всегда поможет, золотой мужик...

— Серега, давай сюда два листа под резак, остальные сбоку... Правильно... Значит, Боб на тебя катит?

— С них тоже спрашивают. У начальства житуха, братишка, — не позавидуешь. Какие-то планерки до ночи. Но человеком всегда надо быть — и им и нам...

Я достал из шкафа линейку, шнурку, мел, начал размечать... Не годится! В масле металл, надо просушить резачком. Это масло, черт бы его побрал, так тормозит всегда. Что бы придумать? Надо менять резак.

— Здорово, Наташ! Смени, этот в наладку, давай другой, дай новенький по старой дружбе. Как поживаешь?

— Не жалуюсь.

— Жалуются, когда уже вообще невтерпеж. Толик пишет?

— Пишет, приветы вам передает. Я не отвечаю.

— Угу... Смотри, освободится — придется ответить.

— Ну? Ты знаешь мое кредо, мы с тобой объяснялись на эту тему.

Когда Толик сел на два года, поколотив ее из ревности, она сразу взяла развод, решив никогда больше не иметь мужа, обходиться приходящим — «чтоб за ним портков не стирать». И тому подобное. Видимо, она так и делает. Дочка волковая стала, на мужчин исподлобья смотрит... До чего же бабье легкомысленно! Толика я знаю, для него официальный развод не закон. Жалко мужика, влип. А она, как артистка, разодетая и раскрашенная ходит... Свернет ей Толик кредо на сторону.

— А как же девчонка?

— С ним лучше было? Одни скандалы да драки. Меня учить не надо.

— До прихода Толика годок остался небось? Меняй местожительство или кредо.

— У меня развод. Печать. Я его и прописывать не буду.

— «Развод, печать»... Одни не расписавшись живут отлично, другие с печатями поврозь. Если бы печать на сердце ставили... Толик малый сердечный, дерзкий... Тени навела... Вот он придет, наведет тебе тени и губы раскрасит...

— Все вы, мужики, кобели. Найдет кого-нибудь.

— Хорошая теория... Кем же по ней вам-то остается быть?

— Если я с тобой откровенна, не пользуйся этим, не лезь в душу. Бери резак и проваливай, братишечка.

Я так и сделал.

«Братишечка»... На этот завод я пришел из ремесленного, после армии тоже сразу сюда. Лет пять носил на работе тельник и бушлат — служил на флоте, — так и прилипло ко мне это — «братишечка».

Размечая лист, потом полосую его, я думал о Толике, Наташке, их девчонке, о Сергее. Вот он говорит: «А чем заниматься, если не пить?» Процентом семьдесят пьющих могут ответить так же... Пьянка от неполноты жизни. Свободное время... Нет, незанятое время дает ощущение неполноценности, а водка веселее всего заполняет этот вакуум. Шорников из деревни. В городе ему так и не привились ни ки-

но, ни книги, ни театр... Да, много незанятого времени у людей, особенно летом, в то же время продуктов питания пока не в избытке. Ему бы клочок земли или поросенка. А так что? Пьет. Дома — тема для ругани, на работе — тоже зависимость нездоровая. Словом, теряет мужик свой вес в обществе.

И все же он пьет. И мы пьем. Только ли от безделья? Пьем... Это серьезно. Настолько серьезно, что подчас боимся сказать об этом прямо и во всеуслышание. Литература как-то деликатно обходит такие вопросы — то ли они слишком низменны для изящной словесности, то ли она не хочет усугублять положение своим влиянием на массы, отображая пьющих... Ну насчет влияния, по-моему, слегка нескромно с ее стороны. Если бы литература имела такое огромное влияние на массы, то они давно бы состояли только из положительных героев.

Как мне думается, чтобы пить, необходимы две вещи: время и средства. И ведь стоит по сравнению с прошлым недешево, и работаем по восемь часов, однако выпить есть на что и есть когда. Не будь пьянки, насколько мы лучше бы стали жить... Выпивка по сравнению с другим времяпрепровождением имеет свое преимущество — общение с ближними. Ну как в пятницу или с получки не выпить в скверике по стакану с родной братией, с которой вместе потеем? Разговор сразу получается или душевный, или на отвлеченные темы... Словом, без стакана такого разговора не было бы. От другого за неделю слова не добьешься, а тут разговорится так, что заслушаешься. Смотришь, кто-то посторонний прищвартуется, расскажет что-то свое, поделится наблюдениями...

Но вот в чем беда, черт бы ее побрал все-таки, эту водку: затягивает она. Пьют уже в любой компании, пьют в одиночку. А в тех компаниях одна и та же трепотня, одни и те же жалобы — и на то, что не круглые сутки ею торгуют, и на то, что жены пошли стервы и управы на них нет... Скучно. Да уже и не для бесед они собираются, а просто выпить...

Есть же у нас институты по общественным вопросам, по отношениям между людьми, есть же ученые, умные головы, которые должны работать в этом направлении. Работать. Пора подумать по-настоящему. Мы сыты, обуты, одеты (большинство даже разодеты), в основном устроены с жильем, а вот с досугом, видимо, не устроены.

Случаются у нас в обедуемый перерыв собрания, лекции. Говорят о том, что пить не следует, пить плохо. Но разве тот же Шорников с похмелья меньше их, говорунов, понимает — даже не понимает, а чувствует всеми своими жилами, — что пить плохо? По-моему, тут одними разговорами, что хорошо, что плохо, не сладишь. У каждого человека в душе горит жизненный огонек и требует работы. Для него что-то такое пресное не годится. Особенно сейчас, когда так неотвратимо стоят международные проблемы и свои, насущные. Не надо обходить острых углов, спорных ситуаций — больше жизни, работы для ума. Ведь мы все свои, сообща надо. И работать и думать. Вот как. А дискуссии, споры как раз и есть воспитание. Если бы я своему парню только читал нравоучения, он бы, наверное, сбежал из дома.

Сейчас много пишут о проводимой школьной реформе. Своевременно и примечательно. Вот и пусть ученые головы смелее, откровеннее, всенароднее займутся вопросами морали. Конечно, это дело в первую очередь каждого в отдельности. Если я, к примеру, выпивоха, кто за меня должен ломать голову, как мне выбраться из бочка? Да, но если бы я один... Так что есть о чем подумать и им...

Ко мне подошел Соколов.

— Держак, Данила говорит, разговор будет в обед, ты в курсе?

— В курсе...

Вот Соколов пил пострашнее Сереги, а сейчас лет шесть уже в рот не берет. Ни грамма. Он и раньше был любитель природы, а бросив пить, занялся ею вплотную. Правда, любовь к природе у него довольно своеобразная. Собирает ягоды, грибы, рыбачит, охотится. Неделью он живет как бы подготовкой к выходным дням. Налаживает снасти, запасается наживками, ладит какие-то ловушки, капканы, флажки и тому подобное. Чтобы просто пойти в лес погулять, отдохнуть — для него такое непонятно. Отпуск берет глубокой осенью, когда разрешена охота на зверей, ездит куда-то в глушь.

Однажды он вытащил меня поохотиться в выходные дни. Ружья у меня, конечно, нет. Я поехал наблюдателем. Подстрелил он трех уток и зайца. Я сделал вывод, что наблюдать на охоте — самая незавидная роль. У охотника азарт и, в общем-то, он занят делом: вынюхивает, выжидает, преследует. Времени у него для сентиментальных размышлений нет, в то время как я, кроме жалости к диким птицам и бедняге зайцу, ничего не чувствовал. Мне хотелось одного — чтобы он промазал. Но Соколов стрелял метко. Сынишка его находился со мной, но был с рогаткой и тоже пытался кого-то выцелить, глазенки его горели.

«Ну ладно, — думалось мне, — едим мы кроликов, домашнюю птицу, свиней. Но они все-таки сидят на всем готовом, они для еды предназначены. За что их и кормят. Но те-то зверьки и птицы добывают себе хлебушек вроде нас — трудом и потом. Не всегда сыты, и жилья им никто не строит, пусть бы себе жили. По-моему, нет такой необходимости убивать их...»

Соколов добывал их совсем не от жадности. Он предложил мне зайца или пару уток. На мои возражения по части охоты он только усмехнулся и посоветовал обратиться в Министерство сельского хозяйства. По его словам, химикатами и удобрениями мы скоро так удобрим нашу землю-матушку, что на ней не то что зайцы — лягушки переведутся. И мальчишку своего он не зря берет иногда на охоту — пусть растет не слюняжем.

Есть вещи, которые я попросту не принимаю. Я не против охотников, но сам, наверное, охотиться никогда не стану.

У Соколова и в работе есть что-то охотничье. Высматривает, где понаваристее, хотя хапугой никогда не был. Таков у человека характер. Когда мы сбивались в одну бригаду, он возражал больше всех. Твердил одно: «Я работать ни за кого не буду». И не будет. Зорко следит, чтобы кто-то меньше его не сделал. Так сказать, добровольный народный контроль в бригаде. Но его уважают. Он зря не скажет, вообще лишнего никогда не скажет, хотя на язык остер. Работает без суеты, движения выверены. Четко, красиво работает. У него и в лице есть что-то такое от фамилии, соколиное. Худощав, острый нос, обтянутые скулы, глаза карие, живые, во всяком случае, я их никогда не видел сонными, даже после обеда...

Ко мне подошли двое молодых ребят, Володя и Иван. Два друга. Подождали, пока я закончил деталь.

— Дядь Вась, мы к тебе. Пойдем посмотришь. Припуск получается три миллиметра. Оно вроде и в допуске... Сам знаешь, мы на капирах недавно.

Я загасил резак...

Иван и Володя работают у нас больше года. Отслужили, женились. Живут по соседству, в одном квартале. Все время на пару и на работу ездят, и с работы и в цеху рядышком держатся. Старательные, дисциплинированные. Служили они тоже вместе.

Приятно смотреть, когда люди дружат. Детская и армейская дружба самая светлая, с годами не тускнеет. Был у меня друг Игорь, вместе росли, учились в школе, в ремесленном. Пять лет как его не стало. Сердечная недостаточность. Захожу к нему на могилку, когда своих провеждаю. Есть у меня и флотский друг

Сашок с Украины. Бывает у меня, и я гостил у него. Работает бригадиром в колхозе, живет, как туз. Работяга, держит скотину, птицу, пчел. Отношения у нас братские до сих пор. А Игорьька жаль! Толковый был, душевный. И так рано ушел... Если суть жизни в самоотдаче, то почему зачастую умирают молодые способные люди, и по большей части те, кому есть что отдавать?..

Я подрегулировал сопла на капирах Володе и Ивану, вырезал по детальке.

— Не спешите. Заработайте лучше на пятнадцать, двадцать рублей меньше, но сделайте чисто. Ведь на фрезе такой же рабочий стоит, ваш товарищ. Ему или полтора сантиметра сгонять или три, разница есть? Тебя же крыть будет, психанет, тоже не дотянет полмиллиметра. А там сборщик: «Сгодится!» — лишь бы по-быстрому. И пошло-поехало... Приходят к нам станки, а сколько мы их еще доводим до кондиции... Ведь вам работать всю жизнь. Привыкайте делать так, чтобы у самого настроение было хорошее.

— Да мы, дядь Вась, поняли...

— Я вам это повторял и повторять буду.

— Да Боб стоит над душой: «Давай, давай...» Что у него за манера на хвосте висеть...

Подшел Боб.

— Что возитесь? Опять завязли? Сниму с капиров!

Я отошел с мастером в сторону.

— Роберт, дай ты ребятам самостоятельно поработать, не тереби их, не дергай, они не лодыри. Пойми, когда у человека стоят за спиной и подгоняют, как ленивую лошадь, он хуже работает.

— Ты, Василий Сергеич, меня не учи, что мне делать. У них во время работы одни разговоры да хаханьки. Салаги, а огрызаются... Они могут больше дать, чем дают.

— Ты же мастер. Мас-тер! Ты обязан учить их работать хорошо, грамотно.

— А ты у них наставник. Официально. Вот и наставляй, учи. А мое дело — план.

— План — это еще не все, далеко не все... Ну к концу месяца, когда зашиваемся, понятно, но сейчас-то пока не горит.

— Поговорим после работы, а сейчас давай на свое место.

— Да нет, милоч, поговорим раньше, в обед. Вот у тебя-то наставника не было, сразу видать.

Мой резачок снова запел свою гнусавую песню, а я продолжал не спеша думать...

Мне нравятся Володя и Иван своим серьезным отношением к труду. И хотя они кончили по десять классов, но видно, что в цехе они люди не случайные и не временные. Рассуждают не шаблонно. Например, они считают, что быть рабочим и в то же время иметь широкий кругозор куда интереснее, чем кем-нибудь еще, но кроме своей норы ничего не видеть. Ходят в театр, смотрят новые фильмы. Зимой бегали на лыжах за наш цех, посещают секцию каратэ. Начитаны, нам кажется, даже чересчур. Однажды в обед я видел, как Володя читал Байрона на английском языке и тут же переводил Ивану. Держатся они особнячком, разговоры у них свои. Ходят на встречи с поэтами. Разбираются в политике. Да, начитаны они исключительно, но разговаривать с ними не очень интересно. Своего, индивидуального, чего-то ярко выраженного у них нет. А может, их начитанность и есть их ярко выраженное, и мне неинтересно с ними попросту потому, что я меньше их знаю? Отрадно видеть это у молодых рабочих. Они грамотнее нас. А то и иного инженера. И что ценно — они именно рабочие и ими останутся. Им нравится быть рабочими. В наше время, бывало, учились, получали знания, чтобы расти, так сказать, для карьеры. А этим нужны знания ради знаний, бескорыстно. Для них уже мало быть просто хорошими рабочими. В



этом они лучше нас. И когда я другой раз слышу: «Простой рабочий»,— всегда думаю: «Поговори-ка ты с этим простым рабочим».

Иван и Володя уважают старших. Уважают тех, кто, конечно, того заслуживает, но все-таки у них есть что-то такое... Трудно подобрать этому название. Вот, к примеру, наблюдаю я у некоторой части молодежи (иным кажется, что молодежь вся такая, потому что плохое первым бросается в глаза) какую-то вальяжность в жестах, в манере разговаривать. Они обнимаются и целуются в толпе. Что мы, меньше их любили? Это не откровенность или сильная любовь, а пренебрежение к окружающим, даже какое-то презрение, я бы сказал. Особенно отвратительно такое видеть в девчонках — наглых, курящих, полностью игнорирующих ваше мнение о них. Бесцеремонностью это не назовешь. Есть исчерпывающее русское слово — бесстыдство. Может, это не так уж и страшно и возрастное, но, по-моему, такой юноша и такая девушка (эти слова как-то им не совсем подходят) уже повернуты лицом не к лучшему, что есть в жизни.

Был со мной случай лет семь тому назад, а обида до сих пор не проходит. Глухая, немая, тупая обида. Отдыхали на озере, приехали на заводском автобусе. Я с женой и сыном забрался подальше в чащу от гомона и шума. Банда сопляков по шестнадцать — восемнадцать лет окружила нас. Начали вызывать на драку, приставать к жене. Сынишку толкнули, тот головой об дерево. Я попал первому неплохо. зубов, наверное, половины не осталось. Они схватились за палки — и пошло. Меня сбили с ног. Жена подняла такой крик, что сбегались все наши. Эти гаденыши исчезли в зарослях, они храбрые вдесятером на одного. Ну а если бы свои не подоспели? Изувечили бы. И за что? Жена неделю простояла у раскаленной печи, выбралась полышать свежим воздухом, а тут какая-то пакость лезет грязными лапами. Нам с Павликом фонарей навешали... Как я тогда жалел, что не успел кому-нибудь из них что-нибудь посущественнее, чем зубы, выбить. Черт с ним, отсидел бы положенное. Я человек, в общем, не злой. Про таких говорят: «Мухи не обидит». Правильно, если эта муха на меня не садится... Но их-то я не цеплял. Откуда у них такая беспричинная ненависть к людям?

Я понимаю: в этом возрасте дает себя знать стадный инстинкт. Может, там было всего один-два выродка, но в той компании ведь рядом с ними и остальные вырождаются.

Мне было стыдно перед сыном за людей.

Конечно, Володя и Иван совсем другие, развитие их получит хорошее, трудовое направление. И все же у них, как и у своего сына, замечаю отголоски общей небрежности, невнимательности к людям. Им кажется, то, что делают они,— это самое главное, а прочие занимаются пустяками. Они очень снисходительны к самим себе и нетерпимы к другим. Мой паренек, который, как мне казалось, излишне отзывчив к людям (известно, в своих детях мы всегда видим больше хорошего — больше, чем в них есть, я хочу сказать), но и он может пять минут болтать по телефону, когда у будки нетерпеливо топчется очередь.

«Молодежь, молодежь!» — сетуем мы. Да ведь молодежь-то наша, нам ее не переправили откуда-то из-за моря в готовом виде. Мы сами воспитали в ней какую-ту глухоту по отношению к ближнему своему. К ближнему... И слово-то это почти вышло из обихода.

Наблюдал я как-то в электричке: молодая мать читала детскую книжку дочке, иногда прерывалась, чтобы поговорить с соседкой, и тогда девочка хлопала (а точнее, била) ее ладонью по щеке, требуя: «Читай!» Мать спохватывалась, быстро и громко читала. Но ей очень хотелось, а может, и нужно было поговорить с товаркой, она снова начинала перебрасываться с нею отдельными репликами, торопясь, боясь требовательного окрика «читай!» и хлопка по щеке... Девочке только годика четыре, но безошибочно можно сказать, кого мать из

нее сделает... Какой толк в том, что слова в той книжке хорошие, стишки учат доброму? В общественном транспорте мать зачастую считает нужным обязательно усадить своего малолетнего отпрыска, даже если рядом стоят пожилые люди, мало того, сама будет стоять, а его усадит, хотя ему и не сидится, да и постоять полезнее.

Был у меня года два назад ученик. Маменькин сынок, никуда не годился. И жалко парня, да что сделаешь — родители кормили, одевали, давали на обед. Никак не хотел работать. Только отвернешься — уже сидит курит. Про него наш украинец Котляр так сказал: «Абы шо, ни воровать, ни сторожить». Устроил его отец служить по охране порядка, на проходную — так и оттуда вытурили. Сейчас банщиком работает. Зато какой, говорят, командир дома!..

— Вась, чего вы там с Данилой затеваете в обед? — спросил бригадир Миша.

— Поговорить с мастером. Скажи людям, чтобы в столовой долго не задерживались.

— Говорите. — Он пожал плечами и отошел.

Миша бригадиром недавно, как бригаду организовали. Помоложе многих из нас, но уже полностью человек состоявшийся. Ясный человек. Работает за двоих, отменно работает. Немногословен, без разговора поможет товарищу. Спокоен, как большинство людей могучих. Если кто-то не прав, он укоризненно посмотрит на человека — и все понятно, словами, кажется, и добавить уже нечего. Есть такие люди, которые своей мягкостью, добротой действуют на окружающих больше, чем другие окриками, убеждениями, нотациями. У них совестливость настолько велика, что они невольно будят и твою, маленькую... Он и в семье, как я понял, пользуется безоговорочным авторитетом. Шли мы как-то рядом на демонстрацию. Он тоже с женой, а между ними мальчик и девочка постарше. Уж как его мальчишке хотелось поскакать и попрыгать, глядя на своих сверстников, так и дергало, но он старался идти степенно и спокойно, как отец, кося глаза в его сторону и держа равнение. Потом все-таки не выдержал: «Папа, можно я помогу катить транспарант?» «Такой клоп, — подумал я, — а уже знает, что такое транспарант, вот ребятня пошла...» «Помоги», — разрешил отец.

Когда произошел в Чили фашистский переворот, Миша, тогда еще молодой, говорил на митинге, и у него дрожал голос. Это, сколько я знаю, было его единственное выступление. Говорят, сытый голодному не товарищ. Да нет, такое к нам не относится. Если где-то рабочие голодают, если им на дыбе рвут мышцы, они нам товарищи, хотя мы сыты и в безопасности. Помню, тогда Данила, еще более горячий по молодости, ходил по цеху и все возмущался: «Куда же они смотрели! Да разве обойтись полумерами, когда революция... Феликса им надо, ведь с ними же не чикаются...»

Тяжело было на душе у каждого.

## 2

Обед я беру с собой. Отдохнешь часок, постучишь костяшками, послушаешь трепотню — все лучше, чем в столовой толкаться. А потом привычка с юношеских лет, когда еще мать снаряжала тормозок, стараясь положить туда повкусней и побольше, щупала меня за ребра, приговаривала: «Худой-то какой растешь, тебе есть и есть надо, как гусенку...»

И Данила разбирает свою сумку, у него всегда с собой термос с кофе или с чаем. Без Данилы обед не обед. Ему прямо-таки необходимо высказаться, а сказать у него всегда есть что.

— Вась, давай стакан, чайку налью с лимончиком.

— Сейчас ребята молоко принесут из буфета.

— Забирай и мое. Не идет оно мне. В детстве его не видел, а потом как-то желудок не принял. Сто раз объяснял... А у меня вчера,

братцы, интересно получилось. Прихожу с работы, девка моя дома, сама никогда не догадается пойти мать встретить, а мне документальный фильм охота посмотреть по телевизору про Америку...

— Ты политику любишь, а баба пусть надывается, сумки тащит...

— Соколов, с каких это пор ты мою жену стал жалеть?.. Так вот, говорю: «Нюрка...» «Я не Нюрка!» Ишь! Благородная какая, на модистку учится... Придет на фабрику, будет какой-нибудь один рукав шить. Или воротник... «Нюрка,— говорю,— мать на работу звонила, чего-то говорила, я не понял, шапку какую-то мерить из норки, что ли, зайти куда-то после работы...» Смотрю, шустро так засобиралась: «Я маму встречу». Являются обе, жена сумки прет: «Ну отец...» Вот такие дети: ты на них душу, а они плевать на тебя хотели, хоть надорвись...

Данила, как всегда, преувеличивает. Дома у него порядок, и девочка хорошая. Это он так.

Островский подсунул ему и мне по ватрушке.

— Наложил целую сумку... Баба у меня печь может.

Антон Островский — белорус. Грузноватый, но потеет редко. Не потому что ленив, а так, никогда не торопится. Не любит работать сверхурочно, по выходным. «Это вам,— говорит он,— надо на хрусталь зарабатывать, на золото, детей одевать по-модному, а мне нет. Барахла с собой все равно туда не загребешь, дети нехай сами зарабатывают, чего хотят, то и покупают, в их дела не встречаю, а домой сколько ни принеси, все будет мало, как в болото, сколько ни кинь — сгинет, только пузыри пойдут...» Какую бы ему тяжелую работу ни дали, он сделает не спеша и аккуратно. Конечно, и в субботу иной раз выйдет, когда действительно необходимо. Любит работать один, чтобы ему не мешали, может, поэтому неохотно пошел в бригаду. Не курит, пьет редко и мало, но за кружкой пива может простоять с ребятами хоть час. Молча. Стоит и слушает, благо говоруну хватает. Он не лодырь, хотя, сказать откровенно, мне порой лодырь симпатичнее иного шустрого. Лодырь делает только необходимое, без чего обойтись невозможно. И уж лишнего делать никогда не станет. По-моему, человечество из сделанного могло бы половину не делать. Войны, вся промышленность, связанная с ними, промышленность на роскошь и многое другое. А сколько написано лишнего? И все это результат деятельности «энергичных», «волевых», «деловых». Конечно, если бы им не противостояли люди с еще большей энергией и настойчивостью, то давно бы от лесов остались одни пеньки, а может, и от планеты — пепел... Нет, уж лучше быть лентяем, чем деловым в ущерб окружающим, вреда меньше.

— Да, дети,— продолжал Данила.— Замкнутый круг получается. Отдаем себя им, надеемся, мечтаем, а они никогда такими, как нам хотелось бы, не получаются. Трагедия беспросветная. Потом просвет — появляются внуки. Снова надежды, тревоги... Умные люди не уходят в детей, не стараются из них выпестовать что-то из ряда вон... А дети, глядишь, нормальными людьми вырастают... Островский со своим не носился, а сын инженер, в деревне величина немалая... Сноха его обижается, что внучке год, а дед ее в глаза не видел... Антош, так еще и не ездил к внучке?

Островский, задумчиво глядя в окошко и не спеша прожевывая ватрушку, ответил:

— Чего ехать? Она не хвораю. Сноха ее сюда не хочет везти, дюже умная. А ехать туда самому... на электричке, потом на автобусе... Проведаю еще. Что она мне, чужая? Не свидимся?

Данила смеялся, улыбались и другие.

— Да, ты не избалуешь...

— Правильно делает,— сказал Юшкин.— Вы Устина все знаете со сборочного? Пацана хоронит завтра...

— Ну?!

— Да ты что?!

— Точно. Мы с ним в одном подъезде живем... Напились и соревнований устроили на стадионе за церковкой: летят друг дружке навстречу и кто позже свернет. «Каскадеры»... Так врезались — оба в лепешку! Второго парня не знаю... Мать ему купила мотоцикл и сбрую всю... А теперь волосы на себе рвет...

— Жалко Устина, мужик смиренный, пахарь...

— Сколько парню?

— Четырнадцать.

— Еще неизвестно, что из него дальше бы получилось, — сказал Махалочкин. Он только вошел, отдуваясь, с покрасневшим лицом. — Может, его бог вовремя прибрал... Вот у нас в ЖЭКе одного дармоеда вчера судили товарищеским судом. Орясина, не работает, у матери отбирает деньги, бьет ее, с дому шмотье пропивает... Мать у соседки ночует... И главное, судят такую подлюгу товарищеским судом! Родную мать гоняет, а товарищей, значит, он постесняется... Ха!

— Махалочкин! А ты никак сходил за ворота? Втер стаканнице?

— Я с похорон никак не отойду. Зятю сорок один год был...

— Хлопцы, да что за мор на мужиков напал? До полста не дотягивают — валяются.

— Вася, — обратился ко мне Данила, но говорить стал для всех, — вот скажи, почему мы еще в мошгах, не болеем, работаем, даже с бабами пока справляемся, почему? — Но моего ответа он не стал дожидаться. — А потому, что мы раньше красного не пили, гнилуху всякую... А нынешние? Что с ними-то в наши годы будет? Почему государство не ликвидирует эту отраву?

— Данила, в «Литературке» есть отдел «Если бы я был директором». Пиши туда. У тебя постоянно в голове реформы.

— Не, ему этот отдел узкий, — возразил Соколов с ехидцей, — ему «Если бы я был министром».

Данила и Соколов постоянно возражали друг другу, и не потому, что по-разному всегда думали, скорее всего, каждый считал себя умнее другого.

Если два ровесника выглядят приблизительно одинаково, то каждый из них кажется другому старше, как я заметил. А вот Данила мне всегда виделся моложе меня. Как мужчина он, пожалуй, красив. Зачесанные напрямую черные с проседью волосы, слегка вздернутый нос, в самый раз губы, черные густые брови, карие глаза — и все это живет, постоянно в движении. Правда, когда он начинает говорить особенно возбужденно, то глаза его несимпатично округляются.

Начальство Данилу недолюбливает. Беспокойный. Грамотный. Носился с идеей об ОТК. Высчитал, какая польза была бы государству, если бы на заводах были ОТК не свои, заводские, а от заказчиков. Писал куда-то по этому поводу. Работы выполняет сложные, товарищи побаиваются с ним спорить. Все, кроме Соколова.

Вот и сейчас Соколов возразил Даниле:

— Нужен сухой закон. Иначе мы выродимся. Наша нация.

— Вот ты на сухом законе и радуйся, за других не расписывайся, — сказал Махалочкин.

Но Данила задумчиво проговорил:

— Начальство бы поумнело. Сколько умных, образованных спиваются. Они бы заняли свое место.

— Нужен сухой закон. Больно, но нужно, — упрямо повторил Соколов. Девочка у него растет недоразвитая. Как он мне однажды признался: «Крест до гроба». Что ж, с крестом, может быть, виднее...

— Если бы мы все бросили пить зараз, Америка разоружилась бы с перепугу, — заметил Островский.

— Побольше бы кинотеатров, эстрадок и показывать там пьяниц, пусть лучше там пьют, а мы бы, трезвые, смотрели и показывали бы пальцами: вот какие мы были дураки, когда пили...

— Да, из-за водки в последнее время бабьих слез пролито больше, чем в войну,— сказал Котляр.— А в самом деле, хлопцы, что же мужики-то себя совсем не жалеют? Я забыл, когда видел дедка. Вот так чтобы встретить на улице дедушку, старичка... Нет уж их, перемерли, только по телевизору и увидишь. Не доживаем мы до дедков...

— Одни бабки, как шпионы, по лавкам у подъездов: когда пришел да какой пришел — все докладывают,— сказал Махалочкин.

— От них в поликлинике не пробьешься, выдумывают себе болезни.

— А вы заметили, как бабы спят? Тут ворочаешься, пока уснешь, а она — бух! На одном боку может двенадцать часов проспаться...

— Конечно, она, кроме работы, еще по магазинам, сумок натакает, на кухне наворочается.

— Как-то в троллейбусе еду, две развалины базарят,— не унился Махалочкин.— У одной какой-то резус в крови, а у другой рой какой-то. А дальше, значит, одна жалуется: у нее, дескать, аллергия от апельсинов... «Ах ты,— говорю,— старая, забыла, как во время войны картофельные очистки жрала, аллергии не было...» А другая, значит, сообщает: «Жолото подорожает...» Говорю: «Старая ты карга, тебя в тундру отправить, чтобы слухи не распускала, там ты себе «жолота» вдоволь намоешь...» Такой хай подняли, милиционер на остановке прибежал, чуть в отделение не упер.

— Ладно, братцы, старухам нашим досталось, нечего языки чесать... Послушали бы они, что вы о них говорите.

— Послушал бы ты, что они о нас говорят,— возразил Махалочкин.— Кому досталось, тех уже нет. У меня у самого язва такая... Теща... Всю жизнь мазалась, старая вешалка, а под конец совсем спятила, волосья чернилами выкрасила...

— А у меня на теще весь дом держится. Мальца вынянчила и на ноги поставила,— сказал Островский.

— Еще бы,— заметил Данила,— кому-то же надо.

Впрочем, в разговор о старухах он не вмешивался, мурлыкал мотивчик популярной песни.

Соколов усмехнулся неопределенно и так, ни к кому не обращаясь, сказал в пространство:

— Как начинают эту песенку по телевизору, так отключаю. Забывают голову людям какой-то бессмыслицей... Ну вот что она поет? Какой-то идиот, выживший из ума, продал свое шмотье, чтобы купить миллион роз обезьяне, которая его и звать не хотела... Да его, осла, повесить за это надо.— Он сердито сплюнул.

— Вот ты как раз осел и есть, если не можешь понять, что у того человека, может, и был один день в жизни человеческий, порыв любви, потому и песня про это,— пояснил Данила не без яда в голосе.

— Я понимаю порыв выпить с товарищами... Такие порывы и у меня бывали раньше.

— Про тебя-то песню не сложат.

— Поэтому я эти песни и не слушаю... Песни на один мотив, кто громче крикнет. Раньше, бывало, и басни рассказывали с эстрады, и куплетники, и стишки смешные, а сейчас одни ансамбли. И все хрипят, подражают за границе, гундосят под них... Дома то телевизор, то сама тараторит, то пацан на гитаре, на работе Данила своей болтовней памарки забивает... Только в лесу и отдохнешь...— Он вздохнул.

— Да если бы ты там отдыхал! Ты же все живое уничтожаешь. Вот посадят за браконьерство — отдохнешь,— сказал Данила.

Далее он не счел нужным продолжать разговор с Соколовым, но тот его, видно, поддел чувствительно, потому что на замечание Поздняева он, возбужденно округляя глаза, сердито возразил целой речью.

А Поздняев сказал что-то о продуктах, о том, что в деревне, откуда он приехал из отпуска, в магазинах не все есть.

— Оставь, Николай, работать надо. Раз живешь в селе, то, будь добр, милый, живи по-сельски. Жил бы я там, я бы поросят развел, кур, скотину, я бы не ездил в город за продуктами, я бы две семьи еще кормил городских... Как-то в универмаге пожилая женщина, деревенская видно, спрашивает, где ей можно купить женские сапоги. Показываю на прилавок — не годятся. Ей, видишь ли, для дочки заграничные нужны. «Заграничные»... Тьфу! Кто спорит, что импортные лучше? Так это понятно. Мужик яблоки везет на рынок — и то выбирает какие получше... Но ведь кидаются на ярлыки, как овцы, не разбирая...

— Все эти ихние пластинки, шмотки, наклейки... — задумчиво протянул Соколов.

— Да, империализм зверь хитрый и сильный... Мы им — кость поперек горла. Такие богатства — и у коммунистов...

Однако Соколову то ли газетное слово «империализм» не понравилось, то ли свое временное согласие с Данилой, и он, как бы спохватившись, сказал:

— Как вдарисься в политику, так Данила начнет: «Империализм, империализм...» Есть у нас дипломаты, люди, которые этими вопросами занимаются и, слава богу, справляются со своими делами. Но мне вот что интересно. Все у нас стали заниматься политикой. Другой, смотришь, ладу ничему не может дать, с женой скандал, дите от рук отбилась, с работы чуть не гонят, а он о государственных делах печется. В своей собственной семье с тремя человеками не разберется, зато в мировом масштабе все вопросы запросто решает. Прямо не работяги пошли, а одни государственные деятели. Ну Данила ладно, он все-таки работает и с бабкой пока не разводится, хотя когда-нибудь у нее терпение лопнет слушать его проповеди, но ведь другой, глядишь, и в самом деле ни для чего в жизни не годный, а лезет в политику. Тебе предназначено работать, ты и работай, вот твоя политика... Нет, ребята, жить можно, только работать надо. Сейчас взялись, но еще покруче, покруче бы... Порядочек у себя навести немного. И отсечь бы всю эту заграничную заразу разом! А то барство какое-то снова разводится. Замашки такие нехорошие — жить на широкую ногу... Вот насчет этого китайцы молодцы, у них строго. Взял взятку — расстрел.

— Моя девка три года назад поступала в институт, я семьсот карбованцев выложил, — сказал Котляр. — На одних репетиторов четыре сотни.

— И тебя к стенке. Из-за таких вот, как ты, толковый малый какой-нибудь не пробьется... Посмотришь, одни только работяги план выполняют. Вот эти, скажем, которые должны ловить жуликов, взяточников. У них же по плану не должно быть жульи. Да и все эти парикмахерские, бани, магазины... Везде очереди!

— Ну да, — возразил Данила, — ты хочешь, чтобы и пиво без очереди. Так оно же пропадет, скиснет через два дня. Тут уж никуда не денешься, постоять надо и в магазине и в парикмахерской, чтобы мастер не сидел, а вот что бань не настроят — это ты правильно говоришь. В Болгарии услуга на высоте, и не только с нами, туристами, я присматривался, вообще мирового...

Иван и Володя, сидя по обыкновению рядышком, вели свои разговоры, обсуждали биографию поэта Гумилева. Но и нас слушали, смеялись, отрываясь от своей беседы.

Соколов их недолюбливал, может, потому, что говорили они между собой, именно между собой только, как, к примеру, двое другой национальности говорят на своем языке, игнорируя окружающих. И сейчас все время косился в их сторону.

— Что с бабами делать? Как возьмусь своего учить, так она заступается. Да какую моду взяла?.. «Мы без тебя проживем!..»

— А моя жалуется: ты мне не помогаешь, а вот по телевизору показывают, а вот в газетах пишут...

— Ага, ты ей помоги раз, так она на тебе потом ездить будет... Господи, раньше бабы по восемь человек рожали и управлялись с делами.

— Раньше они на производстве не работали.

— Зато у них и декретных не было.

— Раньше бабы были, а теперь большей частью женщины,— начал было Махалочкин, но тут поднялся Данила.

— Стоп! Хорош базарить!.. Вроде все в сборе... У нас, товарищи, есть наиболее важный вопрос. Решим его в семейном кругу, так сказать, а потом уже будем думать, как нам поступать дальше.

— Ты садись, чего стоять,— сказал ему Соколов,— раз мы по-семейному.

Я оглядел своих товарищей. Все сидели серьезные, знали, о чем будет разговор, думали. Дома они другие — кто строг, кто ласков, а здесь как-то вроде бы все одинаковые, на одно лицо. Но нет, не на одно... Мне они чем-то напоминают ребятишек в садике, играют в домино, в шашки, все это с прибаутками, с присказками, с насмешками, но с уважением и своего рода деликатностью, хотя если и послушает посторонний человек наш разговор между собою, то подумает, что тут сплошные оскорбления... Да, скучаю я по этой публике, особенно к концу отпуска, и, в общем-то, ни в какой другой компании я не чувствую себя так легко и свободно. Даже незатейливым шуткам тут смеешься охотно и от души...

— Мы шепчемся по углам, высказываем недовольство один другому, а надо вот так собраться и честно поговорить. На работе мы проводим треть своей жизни, поэтому на работе должен быть порядок, чтобы не тратить нервы попусту...— продолжал Данила.— Так вот, товарищи, раз у нас бригадный подряд, работаем в общий котел, у нас должна быть сознательность особая. Мы можем обойтись без мастера...

— Я с вашего котла не имею,— заявил Роберт. Он единственный из всех стоял, прислонившись к стенке, и, поскольку не курил, жевал мятную резинку.

— Роберт, государство — это тоже общий котел...

— Ближе к делу, Данила,— отозвался Соколов.— Упразднить штатные единицы нам не поручали, не имеем такого права... Правильно, сознательность должна быть, раз одним нарядом трудимся. И она, думаю, в общем-то, есть, подхлестывать, следить за нами нет надобности, а в производстве Роберт ни бум-бум... А гонор показывать, казенщину разводить нам ни к чему! Начальник цеха ладно, у него нет времени с рабочим за руку поздороваться, но ты-то с нами все время. Сколько нос ни задирай, от этого выше не станешь...

— Я стремлюсь к одному: чтобы план был выполнен. И чтоб дисциплина при этом...

— До тебя план тоже выполнялся. Его же за нас никто не будет выполнять...

— Мы сами за дисциплину двумя руками, но плохой тот начальник, который на подчиненного ходит жаловаться...

— Я с вами не пил, поэтому...

— Да упаси бог, мы с тобой сами не станем...

— Тебе никто и не предлагал...

— Ты молодой, ищи свое место в жизни, а нас ослобони...

— Кончай! — сказал Данила.— Мы тебе, Роберт, плохого не хотим... Тебе надо карьеру делать, а с нами ты ее не сделаешь, поверь нам, у нас по тридцать лет стажа... Раньше как говорили? Отцы-командиры. Во! Отца с тебя не получится. Ты на нас, как на чушки металлические, смотришь.

— А мне противно пьяную морду на работе видеть!

— Ее везде видеть противно,— сказал Соколов.— Ты молодой, а работать с людьми уже устал.

— Иди-ка ты в КБ, с чертежами у тебя дело лучше пойдет.

— Ну уж я сам знаю, куда мне идти... Сказано наладить дисциплину — наладят. Придет другой, он вам еще не так гайки подкрутит.— И Роберт вышел.

— Вот пусть другой, а не ты,— крикнул вдогонку Махалочкин.

— А что толку? — махнул рукой Островский.— Другой лучше будет?

— Да тебе-то все едино,— сказал Соколов.— Держаков, чего молчишь? Или не согласен с нами?

— Нет, я за.

— Да зачем нам вообще мастер, а? Если прикинуть...

— Оставь, Данила,— перебил я его.— Нет такого закона, чтобы мастеров упразднить. Хочешь к начальнику цеха бегать за каждой мелочью? Или прямо к директору?

— Освобожденный бригадир и наряд выпишет и требования на материалы,— возразил Данила.

— Бригадир должен быть в бригаде... Я вот что хочу сказать. Вот такая тенденция тоже существует — звать со стороны. Варягов. Мол, новый придет — наведет, подтянет. А новому надо полгода в производство входить и людей узнавать. Людям — его. Как будто в другом месте других каких-то специалистов пекут.

— Так-так, Сергеич, я тебя начинаю понимать...

— Короче, предлагаю настаивать перед начальством... Тебя, Данила, в первую очередь касается, ты профорг... Убедительно настаивать, чтобы мастером назначили нашего бригадира Михаила. А бригадиром тебя, Данила.

Предложение показалось неожиданным, все молчали.

— А если тебя бригадиром, дядь Вась? — отозвался мой подопечный Ванюша.

— Отпадает. Командовать не могу. Да и подчиняться особенно не подчиняюсь...

— А чего? Даниле хоть сейчас горловые плати, за бригаду он больше всех горло дерет... Может, и государственные дела оставит. Потихеет. Я не против,— сказал Соколов.

— Данила грамотный...

— Ну ты, Сергеич, даешь. Мог бы со мной поговорить сначала...

— И со мной,— вторил Даниле Миша.

— Вот мы и говорим. Помолчите, пусть общество решает. Миша учится в техникуме — раз. Можно сказать, вырос в цеху — два. Имеет среди нас авторитет — три. Данилу, думаю, рекомендовать не надо...

— Миша потеряет в зарплате, а у него двое.

— Мы будем вести себя смиреннько. Квартальные и премиальные ему обеспечены.

— Мне еще два года учиться,— возразил Миша.

— Ты видишь, какая ситуация в цехе? Ты как член партии должен пойти к парторгу и все ему объяснить...

— Вы с ума сошли? Самого себя выдвигать? Как я скажу?

— Хорошо. Еще раз соберемся в обед, пригласим начальника цеха и парторга. Только, ребята, не надо на Боба переть, пусть сам подаст заявление. У него семья, ребенок, о производстве он все-таки печется...

— Брось, Данила, он о себе печется.

— Все-таки что-то тут есть не того... Мы все-таки коллектив, мы обязаны воспитывать...

— Вот мы и воспитываем. Получил в нюх — на другом месте не занесется, а то такие всегда в командиры рвутся. А тебя, Данила, не поймешь: то на него пер, теперь на нас... Будешь бугром — меньше говори, вот тебе первый наказ.



— Да брось ты, каким бугром, кто еще решил, кто согласился?

— Решили, решили!

— Согласишься...

— Я с Бобом попробую поговорить, — сказал я.

— Еще минуточку, ребятки... Маленькая информация, — поднял руку Данила. — Нам выделили на цех две дачки, два участка. В первую очередь ветеранам труда, но, в общем-то, помозгуйте, кто больше нуждается. На той неделе данные должны быть в завкоме. Поехали!

После обеда в перекур ко мне подошел Данила.

— Вась, ты тридцать лет на заводе, отец твой на войну пошел отсюда... На дачку ты в списке будешь первым.

— О, моей крестьяночке только дай в земле покопаться, так и мечтает... Нет, меня в список не заноси. Пролетарий я коренной. Привяжет этот клочок на все лето. К сыну надо ехать. Нет. Я вот что думаю... Давай один огород спроворим Сереге. Работяга он золотой, стаж лет десять. Вроется в землю — пить не будет.

— Это точно. Навоз — его стихия... Серега! — позвал он Шорникова и, когда тот подошел, спросил: — Ты не против участок иметь? Глаза у Шорникова загорелись.

— Если бы вы смогли мне такое удружить! Братишка, я бы вас овощами и ягодами завалил. Я бы взял внучку и целое лето пропал там. В шалаше спал бы, на электричке ездил бы. Кроликов бы завел. Да что вы! Своих дармоедов приучил бы немного к хозяйству. А то вместе с девчонкой все выходные могут перед телевизором просидеть. Ну прямо как недоразвитые, одно и то же по сто раз...

Мы посмеялись и разошлись.

Вторая половина смены проходит быстрее. Как и жизни. Вторая половина прямо-таки летит, во всяком случае, чувствуешь быстротечность времени. И чем дальше, тем острее.

Вот, кажется, совсем недавно было много разговоров о бригадном методе, а работаем бригадой уже полгода. Сейчас все убедились в правильности решения работать вместе. Например. Раньше мы помогали друг другу — где подскажешь, где подхватишь, — но теперь это прямо-таки твои прямые обязанности. Каждый газорезчик должен после резки зачищать кромки от шлака. Нудная работа. Теперь повеселей: у кого выпадает свободных пятнадцать — двадцать минут, подходит к товарищу постучать зубилом. И разговоры теперь — кого куда — реже. А распределение работы много значит. Бывает пара заказов в месяц особенно «жирных», скажем резать швелера, двутавровые балки, уголок. Старались их выполнять поочередно, а сейчас ими занимается в основном Островский. Он любитель поворочать, поработать на отшибе, чтобы ему не мешали. Меня посадили на фланцы. Данила настраивает полуавтоматы и гонит на них. Много было споров в конце месяца, во время завалов, кому идти во вторую смену. Работали в таких случаях в две смены. Иногда я был не против, если жена во вторую, но не всегда — из-за принципа. Сейчас выхожу чаще и охотнее. Принцип отпадает. Как и эта мышьяная возня с нарядами. Бывало, все корешки подсчитываешь — уже двадцатое, а их только на сотню, посматриваешь на соседа... Это тоже кануло. Дружнее стали люди. Пример тому — сегодняшний обед. И с дисциплиной лучше. Прогулов вообще нет. Быстро подтянулись. А раньше прогулял — никого не колышет, у него свои наряды, у тебя свои.

С прогулами да опозданиями проще. А вот с общей дисциплиной... В масштабах государства тут еще работать да работать! Сказано предельно ясно: кто не работает, тот не ест. А сколько едят не работая? Едят, обжирают нас да еще посмеиваются. Главное, их пример заразителен. От безделья все пороки.

Но дисциплина — это еще и качество. Я, к примеру, дам продукцию быстро и сверх плана — по количеству. Но где-то в другом ме-

сте моя некачественная продукция отнимет много времени у других рабочих, в нашем случае — у сельских тружеников. В конечном счете мои сверхплановые показатели обернутся для государства убытком, а для села — нервотрепкой. Когда показывают по телевизору, что такой-то завод, цех сдали на три месяца раньше срока, я не очень рад этому. Можно бы три месяца и подождать до натурального срока, но уж сдать цех так, чтобы завтра люди начали там работать в полную мощь. Получается, что от этих сверхплановых, сверхсрочных сдач государство зачастую только теряет. И еще один ущерб, который в рублях не учтешь. Молодые рабочие, те, что только становятся на ноги, тоже начинают гнать и подсчитывать зарплату. Вряд ли это способствует развитию у них рабочей гордости, совести...

Когда я начинал работать, условия труда были куда хуже, дисциплина жестче, а вот отношение к работе было добросовестнее, да и отношение к рабочему было несколько иное. На него не смотрели только как на производителя... Открыли, например, у нас два года тому назад лечебный профилакторий при заводе. Дело хорошее. И сразу объявили, что он повысит производительность труда. Ясно, что государству от меня, здорового, пользы больше, чем от бюллетенщика, но получается, открыли это заведение не для меня, а для железок, которых надо больше нарезать. Профилакторий, мол, даст отдачу, уже и подсчитали даже, когда он себя оправдает. Обидно как-то. Да вы просто подлечите человека, потому что ему надо подлечиться, а он вам по совести долг вернет, и, может, больше, чем рассчитано. Добро, оно всегда всходы даст.

Но рассуждать легко, а вот делать...

Много эгоистического сидит в нас. Другой раз наберется к вечеру столько упреков самому себе, что перебираешь, лежа в кровати, прожитый день, и совестно перед самим собой...

По литературе, в прошлом веке люди, передовые люди, занимались самоусовершенствованием. Мы, конечно, тоже занимаемся, но больше выражается это в гимнастике, беге, диете, каратэ... В остальном мы, видимо, совершенны...

Хорошо бы у молодежи больше развивать гордость, не гонор — это развито уже достаточно, — а гордость за хорошо выполненное дело. Если человек хорошо исполняет работу, да к тому же хорошие товарищи (а товарищи всегда хорошие, если ты сам человек), то работа никогда не в тягость, хочется на работу.

Хорошо бы еще начальство с умом назначали. Лучше бы одного толкового, чем троих бестолковых. И платить ему больше. В раздутых штатах — большой резерв. В этом направлении, я думаю, бригадный метод — тоже шаг вперед...

Хорош, перекур, ко мне идет Соколов.

— Держаков, люблю я тебя за это...

— Ну? — Я знал, что бригадирство Данилы ему — нож острый.

— Молчишь, молчишь, потом как ввернешь что-нибудь... Ей-богу, я не против Данилы. Он не рыбак, не книголюб, дома у него порядок, куда ему свою суету деть? В общем, я считаю, ты прав.

— Ну если и ты считаешь, то тогда все.

— Ну, ну, не будем...

Подошли еще ребята.

— Поговорили по душам, и все стало ясно, — сказал Володя Коноплев, добрый, отзывчивый, хороший, веселый человек. — А знаете, мне Боба уже жаль, ходит как уделанный...

— Чудак, это ему же на пользу. Он только начинает жить.

— Вась, ты дачку будешь брать? Тебе-то небось первому предложат, — спросил Митрофанов.

Его я знаю давно. Вроде ладный мужик, рассудительный, но скуп до невероятности. Жена работает маляром в камерах на распылителях. Работа адская, вредная, но он ей оттуда уходит не раз-

решает, там заработок под триста. Домашний бюджет ведет сам. Бригадный метод лишил его радости в конце месяца браниться с мастером за каждую копейку в нарядах... Я у него ни разу не попросил сигареты — боязно. Ему участок давать нельзя, замордует там семью, будет по два урожая снимать. Он уже, наверное, и доход подсчитал...

— Не знаю, надо с самой посоветоваться.

— А тебе зачем дача? — спросил Митрофанова Махалочкин.

— У меня трое.

— Купи ребятам в сезон ягод на сто рублей, наедятся.

— Он купит... — засмеялся Соколов.

— Да он уже на три машины накопил, куда их девать, гроши-то...

— Я не считаю, сколько ты пропил.

— Ха-ха-ха! — захохотал Махалочкин. — И я не считаю... Но, братцы, пора тоже прикрывать эту лавочку, сегодня всю ночь с печенью на ты разговаривал...

— А что? Он бросит, — посмотрел на меня Данила. — Надо — бросит.

— Если такой бросит, я ему памятник поставлю при жизни. Из снега, — ядовито засмеялся Митрофанов.

— Только не из своего, — посмотрел Махалочкин в упор на Митрофанова. — У тебя-то и среди зимы снега не выпросишь.

— Если с моего, положим, огорода бы... не дал. Снег — дело для земли полезное. Влага.

— Во-во... Будь я таким жмотом, давно б удавился. Такому кощею, как ты, сколько ни дай, все мало, больше хочется. Семью родную, жмот, со свету сживаешь.

— Тебя слушать, Махалочкин, — Митрофанов презрительно подчеркнул — Махалочкин, — и то позорно. Ты же пустой человек.

— Лучше пустой, чем дерьма полный...

— Кончайте! — оборвал их Данила. — Обоих противно слушать. Оба хороши — один все пропивает, другой все в чулок кладет...

— Может, ему родители внушили с детства, что он человек, а остальные все букашки. Теперь один за это отдувается. Родители у него какие-то не простые, говорят, — вздохнул Коноплев.

— Ты про кого, Конопель? — не понял Митрофанов.

— Про мастера.

— Катись ты вместе с мастером отсюда...

Иногда думается: чтобы следующее поколение избежало наших предрассудков, злых привычек, его надо оторвать от нас. Организовать интернаты, где были бы отличные воспитатели. В некотором роде идеалисты. Главное, привить детям привычку к труду (привычку, а любовь к профессии сама потом придет). Без родительского потворства... Но опять-таки и у нас есть хорошее, в общем-то, мы все труженики. Никто не учит свое дитя бездельничать и пить. Как государству не нужны бездельники, так же они и семье не нужны. Каждый тунеядец, не говоря о преступнике, горе своим родителям... Сложный вопрос, сложный и серьезный, а главное — общий...

Что-то спину начинает поламывать... К старости? Или к выходному и к отпуску?

Я разогнулся несколько раз и вышел из цеха покурить.

Май стоит замечательный. Между стеллажами с металлом забурлила травка, а по ней желтые звездочки самых первых цветов. Нет, это не одуванчики. Стебельки короткие-короткие. Я сорвал один — запаха нет, а все-таки тянет зеленью, свежестью... Воздух пронизан солнечным светом, голубизной небесной, не надышишься... Как иногда хочется тишины! В выходной поехать на природу, особенно куда-нибудь поближе к воде, упасть в траву и лежать. Отойти от цехового металлического скрежета, городской толчеи, грома всевозможных приемников. Слушать птиц, смотреть на небо, на про-

зрачных стрекоз... Чуют кожей, как печет солнышко... Упасть и лежать. Рядом с Лидой. Она любит природу, да как ей и не любить ее после недельного жара у печи!

Все-таки человек где-то в самой глубине своей души не открытвенен полностью ни с кем. Даже с самим собой. В какой-то степени он всегда одинок, всегда отдален от друзей, от близких, от жены. И только с природой единение полное, стоит ему остаться с нею с глазу на глаз...

Иногда просыпаешься ночью в тревоге: назревает что-то в мире — ужасное, неотвратимое... Неужели человечество способно убить себя, природу? В сердцах хочется крикнуть на весь мир: «Люди! Если вы это сделаете, значит, вы стоите того!» Начинаешь успокаивать себя: должен же разум переломить безумие, а любовь, которая породила все лучшее в жизни и саму жизнь, победить слепую ненависть и алчность... Но кто застрахован от случайности? Все больше и больше оружия, и чем его больше, тем вероятнее роковая случайность. И думается: как отвратительно преломляются достижения науки, техники в современных варварах. Варвары древние, они натуральные были варвары, они другими не могли быть. Но ведь современные варвары образованны, колледжи кончали, проповеди святош слушают, а злодеи, хладнокровно рассчитывают, какую часть людей спалить, а сколько оставить. Имеет ли кто право, кем он ни будь, даже на одну невинную душу?

Я иду в цех. Надо перед выходным убрать рабочее место. Мне нравится цех в предпраздничные дни. Везде убрано, кругом чистота, стоят кучками ребята, ведут веселые разговоры, настроение у всех приподнятое. В пятницу уборки меньше. К концу смены мысли больше о доме, тем более перед выходным.

Мастер обиделся, не показывается. Ну ладно, утром у меня было три закавыки. Одна решена. Осталось две домашних.

## 3

Жена одну неделю работает в первую смену, другую — во вторую. Утром ездит к семи, встает в половине шестого, а со второй прибывает в половине первого ночи. Так что одну неделю я недосыпаю утром, а вторую — вечером. Хорошо, что во вторую встречать не приходится, из нашего дома с нею работают еще две женщины. Когда она в первую, неделька проходит веселее и домой стремишься побыстрее попасть...

Эту неделю она в первую.

Открываю дверь, встречает. Обняла, улыбнулась, поцеловала. В хорошем настроении, значит. Скорее даже в отличном настроении...

— Письмо?

Улыбается. Прикрыв глаза, кивнула.

Так, письмо... Вторая закавыка долой!

— Сегодня у нас в буфете пельмени давали, взяла три пачки, сейчас будут горяченькие. Разбирайся.

— Чего — разбирайся... Сходить, или у тебя есть?

— Есть, есть.

Умница, у нее всегда к делу есть.

— Что же он долго не писал?

— Вот такой поросенок.

Письмо лежало на кухонном столе.

— Читай вслух.

— Небось уже раза два прочла.

Я начал читать вслух. Письмо как письмо, для постороннего скучноватое. У него всегда все отлично и, главное, «не беспокойтесь».

Сели ужинать. Когда мы от сына получали письмо, день у нас был вроде праздничного. Правда, не так уж часто приходили они,

ну да кто охотник писать письма без особых новостей?

— Слава богу, живы-здоровы...

— Да нет, не слава богу...— Закавыка все-таки остается...— Порожня, значит, раз про это не пишет. И что они все ловчат? Хотят жизнь перехитрить? Ее не перехитришь, она тебе потом все равно дулю покажет... Ты с нею по-бабьи говорила или нет? Ты мне правду скажешь?

— Стесняюсь сказать.

— Мне или ей?

— Вася, ну как сказать, если они еще двух лет не живут? И ви-дела-то я ее один разик.

— Мать называется... Ты ей объясни, натворит делов, потом хватится... А с лесоводом я сам поговорю. Главное, девка-то вроде ничего, не совсем дура.

— Хорошая. Аккуратная, вежливая...

— Видите ли, ей институт важнее закончить. Так и засохнет без детей, зато с дипломом. Она прежде всего жена и должна быть матерью. С дипломами вон их штампуют сколько. Хвалятся, что у нас женщин с высшим образованием больше, чем мужчин. А рождаемость падает... Дураки они с Пашкой. Ну я с ним поговорю...

— Вася, ты поаккуратней. Попрешь, как слон... Не верится, что через два месяца будем у них, не дождусь... Иди на балкон, покури, не мешай убираться.— Она обняла меня и вышროвала из кухни.

Балкон смотрит на глухую стену нашего завода. Сборщики работают в две смены, так что бухает и сверкает в будни до полуночи. Зато от балкона и до самой стены палисадник и бурьян. Сирень, липы, фруктовые деревья. Весной все опушено цветами, аромат, птичьи голоса... Хорошо!

Получил я квартиру, когда сын пошел в четвертый класс. По тем временам нам крупно повезло. Тогда еще первые пятиэтажки у нас начали строить, сборные. Как мы радовались отдельной квартире, да еще с балконом, рядом с работой! Довольны ею и по сей день. Живут и сейчас по четверо в комнате.

Мать у меня умерла, когда я был на службе. Прилетел с Дальнего Востока на похороны. Тяжко ей досталось во время войны и после было не легче. Простыла, тяжело болела... Вот где долг-то неплатный и боль в душе по гроб... После демобилизации год гулял холостяком. Матросик был вообще-то brave, мог загуляться начисто. Жениться вроде случая не выходило. Сверстницы — кто замужем, кто уже побывал замужем, а кто уже и не годится замуж. Нахваливала мне сестренка свою напарницу по работе, деревенскую девчушку, и таким это материнским манером выговаривала, когда я не ночевал дома. Познакомился я с ее подружкой Лидой. Сказать, что влюбился, неверно, но — понравилась. Я ей тоже вроде. Подкралась ко мне любовь незаметно, когда женился на ней и год прожил. Хворала она после родов сильно. Я понял, что люблю эту женщину и больше мне никто не нужен. Хоть и было потом пару заскоков по молодости, но я всегда знал, что то заскоки, а это судьба. Поначалу меня возмущала привязанность ее к тряпкам, желание заставить комнату всякой ерундой, привычка чепуриться перед зеркалом, но потом я понял, что все они таковы. Просто у других это не так заметно — они не твои жены. Лида по-крестьянски скуповата, практична по сравнению со мной, но в семье нельзя, чтобы оба были душа нараспашку. Я не был пьяницей, но, если выдавался случай, считал зазорным выпить меньше кого бы то ни было. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ей, конечно, такое не нравилось. А кому понравится? Бывал вспыльчив, мог наговорить ей грубостей при людях. Мог оставить в компании одну и проболтать с приятелем весь вечер. Был уверен в ней... Но со временем эти углы в наших отношениях пообтесались. Или мы к ним притерлись. Я по-

лагаю, она довольна своим замужеством. Что уж, почти четверть века бок о бок. А мне, считаю, просто-напросто повезло. У нее много замечательных качеств и прямо-таки талант по устройству быта, уюта. В ее присутствии я ощущаю душевный покой. Она так вошла в мою жизнь, что я ее порой не замечаю. Так человек не замечает своей руки, ноги, но попробуй лиши их его — калека... С годами я стал как-то плотнее к ней притуляться душой. Раньше с товарищами больше занимался — морячок, дружба прежде всего. А сейчас «иных уж нет, а те далече»... Душой далече. У них свое, у нас с нею свое. Подруг у нее нет. Да и не припомню, чтобы она дружила с кем-то, кроме моей сестренки. Семейная жизнь занимает ее всю, она любит свой дом. Дома у нее всегда хватает работы. Она ничему не училась, но брюки укоротит, сошьет себе сарафан, мне рубашку. Вяжет. Тут я ей частенько говорю: «Оставь это, отдыхай». Последнее слово обычно за мной, но есть стороны, которых я не касаюсь, хотя она для проформы и советуется со мной. Как принес ей первую получку после женитьбы, так я больше о деньгах не думаю. По части вещей, еды ее авторитет полный, к этим вопросам я равнодушен, потому что у нее всегда хорошо выходит, хотя и приходится иногда сдерживать ее пыл. Да и по части выпивки в гостях, если она говорит — хватит, значит, хватит, уже проверено, тем более что она говорит это негромко и не злоупотребляет своей властью. Когда вычитаю что-нибудь забавное в газете или книге, читаю ей вслух. Она как-то взялась читать «Угрюм-реку», долго читала, так долго, что когда дочитала до конца, забыла, что там в начале. Я могу с кем-то в гостях или дома порассуждать на отвлеченные темы. После она обычно говорит с огорчением: «Тебе скучно со мной». Чудачка, мне хорошо с ней. Я могу думать о чем угодно, молчать, что-то делать, совершенно не нуждаясь в ее помощи, но чтобы она обязательно была рядом. Тогда и думается и делается хорошо и спокойно.

Говорят, от женщины, от жены зависит дом. Да, это так.

Иногда в статьях на семейные темы пишут о любви в сорок, пятьдесят лет. Дескать, пришла вдруг любовь и все перечеркнула. Бросают детей — любовь. Даже она бросает ребенка — любовь. Бросает, иначе не скажешь. Вероятно, так бывает. Только мне кажется, такая любовь уже не благо. Да и не любовь это — эгоизм. Впрочем, не хочу осуждать и не могу, потому что сам не испытал такого. Думаю, к счастью. Положим, я сейчас уйду из дома. Мне сразу представляется ее лицо в горе, ее жизнь, отданная мне, и меня всего пронизывает жалость — от одного представления об этом. А как парню посмотреть в глаза? Спасибо родителям, мне они такое не передали в наследство.

Но и у нас не все безоблачно. Было горько у обоих на сердце, когда после родов и ее болезни стало ясно: детей больше не будет. Ездили с нею на курорт, таскались по врачам и бабкам. Напрасно... Были вздохи по ночам, слезы в подушку... Дальше примирилась, только грустинка в глазах осталась да иногда глубокий вздох без причины. Хотя я и не позволяя себе огорчаться вслух по этому поводу, она чувствовала это, говорила: «Может, тебе с другой лучше бы повезло». Меня раздражало то, что она могла представить другую на ее месте, а значит, и другого на моем, сердился я уже громко, и со временем эту тему мы больше не поднимали...

Справившись с уборкой, она вышла на балкон и занялась цветами. Ими были заставлены окна и два ящика вдоль балкона. Кроме того, лучок в ящичке уже настырно лез перышками из земли.

— Сидишь как барин, покуриваешь. Бросал бы курить. По телевизору говорят: кто рядом — и тому вредно, а ты — одну за одной... Не курил бы сам — и Павлуша не стал бы курящим.

Действительно, как барин... Правда, барину не надо было работать, если он не был Львом Толстым или его подобием, но что тогда

за жизнь без работы, без товарищей... Без работы не бывает и отдыха. У барина же одни беспокойства: то хозяйство прахом пошло, то сынишка пол-имения профинтил... А тут все поместье на балконе, и финтить особенно нечем. Однако к празднику холодильник не пуст и гостю всегда рады. Заботы о завтрашнем дне нет, два раза в месяц получаем деньги. Телевизор есть, смотри в цвете новости, что где делается на белом свете, театральную постановку, лежа на диване. Сынишка при деле, с хозяйкой лады, на работе все устраивается отлично, сами устраиваем... Да куда там барину до меня?!

— Может, у меня и здоровьишко еще есть, и выгляжу я не старо потому, что не завистлив от природы? Я уверен, что у меня жена не хуже других, сын тоже, должность рабочего самая благородная, наконец, страна, в которой я живу, самая для меня подходящая. Трудись только честно, и все будет в норме. Государство рабочих и крестьян. Чего не ясного?

Я посадил Лиду к себе на колени, рассказал о нашем разговоре в обеденный перерыв. Она знает многих моих товарищей. Вообще она в курсе моих дел. Я тоже знаком кое с кем из ее товарок, ездили вместе на экскурсии. Знал подробности их бригадной жизни, даже иногда отмахивался от них...

— Тебе надо собрать чего-нибудь завтра поесть, на свежем воздухе хорошо. Возьмешь термос с кофе.

— Буду с сумкой таскаться... Я к обеду уже приеду.

— Так хотелось с тобой вместе, но надо с Райкой сходить, в тот выходной она уезжает.

— Значит, точно решила?

— Звонила ей с работы. Уезжает, дура набитая.

Еще одна закавыка отпадает... Грустно.

— Почему дура? Нравится мне эта девчонка. Ни с кем не связалась, дурного не набралась... Без нее скучновато будет, привык.

— Что же нам все-таки послать Павлуше на день рождения?

— Решай сама. Вот если внука или внучку заделает, куплю ему «ИЖ» с коляской.

— Ты в уме, Вася? Сколько их бьется на мотоциклах!

— На его работе мотоцикл нужен, а то еще начнет о машине думать, взяточник несчастный.

— Да будет тебе болтать-то. Послушать, так не о сыне говоришь,— сердито сказала она и ушла в комнату, стала налаживать швейную машинку, дошивать платье. В нем собирается к Пашутке, и чтобы я непременно в новом костюме.

— Да, все-таки уезжает,— сказала она из комнаты,— пусть Надежда не обижается, я Райку удерживала как могла.

Я взял газету, читая, посматривал на Лиду, как она примеряет платье перед зеркалом.

— Как думаешь, идет?

— Розовое, по-моему, тебе больше...

— Тесное... Растолстела. Надо две юбки переделывать, платье.

— Отдай в деревню, шкаф ломится, вот Рая поедет...

— Да тебе бы все раздать. Переделаю. Две кофточка отдаю.

— Как-нибудь сам займусь, повикидаю.— Она снова подошла к зеркалу.— Слушай, мать, старела бы ты, что ли, а то все хорошеешь. Я тебя ревновать начинаю.

Подбежала, целует.

— А я думаю, скорей бы ты постарел. У нас бабенки на мужичков жалуются, а я не верю — неужели правда? Ну поревнуй меня немножко.

— У меня ревность одна: чуть замечу — сразу кумпол набекрень сделаю.

— Разрешаю, делай что хочешь, потому что замечать нечего. Вот я тебя в молодости ревновала! Пока не вызнала, что ты мой. А

кобелиные грехи за тобой есть. Ну признайся. Помнишь, в колхоз на картошку ездил? Мне точно известно! Груш целые сумки возил. А когда я во вторую, где шляешься? К куме? Ведь тебя бабы видели с нею... А груши я выкидывала, отдавала соседке...

— Те груши были из колхозного сада, все привозили.

— Бреешь! Ты один возил от квартирной хозяйки.

— Оставь глупости... Я тебя никак не налюблюсь. Если бы таскался, я бы истасканный был.

— Говори, говори... Тебя не убудет.

— Все, хорош! Дай почитать... Иди занимайся своим делом.

Она пошла в комнату и подняла там трескотню машинкой. Но минут через десять снова вышла на балкон.

— Вася, ну давай не покупать мотоцикл Павлуше.

— До мотоцикла еще как минимум девять месяцев.

— А я уже буду думать.

— Все, хватит.

— Никак ты не хочешь для меня покоя... Хорошо бы у них девочка нашлась, так хочу девочку...

Да, насчет Пашутки у нас вечные стычки, и посерьезнее всех других.

Любить ребенка еще невелика заслуга. Инстинкт, заложенный природой. Он и у животных есть. А со всем, что заложено в нас от природы, надо, я полагаю, обращаться осторожно. Может, мне тоже хотелось целовать его каждое утро (правда, не каждый вечер), но если это существо для тебя дорого, то и дорожи им. Подумай о нем, прежде чем отдаваться своим порывам.

Когда он начал уже понимать кое-что, а дети очень рано начинают понимать или, во всяком случае, чувствовать и воспринимать, я запретил ей и другим называть его Пашуткой, только Павлом. Пашуткой мы звали его за глаза. Никаких телячьих нежностей. Никакого барахла на нем, чтоб от других отличаться. Подросток — койку убирать самому («а то какой же из тебя моряк будет»), посуду помыть. А позже и в магазин сходить, пусть осваивается с деньгами. Только вот убирать в комнате не приучал. А то избалует жену потом, будет по привычке полы ей мыть.

Женщине надо уступать в мелочах, народ они по сравнению с нами мелочный. Но воспитание не мелочь. Тут наши с нею характеры сталкивались по-настоящему. Она всегда старалась для него что-нибудь втихаря сделать.

— Какой ребенок... какой ребенок...— говорит она сейчас между стрекотом машинки.— Уезжал, хотела ему сотенку сунуть, целиковую, не взяла.

Вот, пожалуйста, а я эту новость только сейчас узнаю.

— Он теперь нам сам должен деньги давать! — говорю сердито.

— Когда ты перестанешь зверствовать против родного дитя?

И понесло ее... Все «зверства» припомнила, чуть ли не с пеленок. Конечно, я на его деньги не рассчитываю. Я сам ему предлагал и предупредил, чтобы он дурака не валял: будут какие затруднения — немедленно телеграфировать. Но в разговоре с Лидой о Пашутке всегда немного перегибаю.

Она выговорила уже другим тоном:

— Вася, ты что притих? Я Скоротовой сегодня десять рублей заняла. Просила двадцать. В апреле хорошо работала, гнала, гнала, а ей опять коэффициент ноль девять поставили. В обед гремся на солнышке возле цеха, она и сказала это, а саму аж колотит, расстроилась от обиды.

— Наоборот, надо поддержать человека... Ну а ты ей чего двадцатку не дала?

— Я ей потом дам, а то еще свихнется. Девка ее, говорит, ПТУ заканчивает, скоро в нашем цеху работать будет. Хорошая девчушка,



они у нас на практике были... Скоротова говорит, что дальше нельзя ей так, а то хоть из цеха беги... Господи, скорей бы отпуск, к снохе привыкаю, о ней думаю. А ты не скажи, сватья себе на уме...

— Не думай особо, а то похудеешь, плаття перешивать по новой.

Сердчишко у парня доброе, это я заметил с детства. Как-то мы с ним спешили на стадион, бежали по переходу, а впереди нас мальчик-инвалид с трудом преодолевал ступеньку за ступенькой. «Пап, давай его не обгонять,— дернул меня за руку сынишка.— Я ему помогу». «И помогать не надо, это ему также будет неприятно. Помогать с умом нужно».

Павлик учился хорошо. Как-то даже неожиданно хорошо. В тетрадки я к нему старался особо не заглядывать. Дневник и тот не всегда проверял, хотя отметки знал. Мать тайком от него и от меня лазила и по дневникам и по тетрадкам. Потом мне рассказывала, разве она удержится.

Увлечений у него было много. Один его приятель хорошо рисовал. Он тоже начал. Летом ездил рисовать природу. Но рисование не получилось. Однако продолжал собирать репродукции, открытки, в основном пейзажи. Одна из репродукций висит у меня над кроватью. «Корабельная роща». Как изображено! Как будто я смотрю в окошко на лес, ощущаю запах сосновой смолы в жаркий полдень, слышу журчанье воды по камушкам... Какую силу и чистоту душевную надо иметь, чтобы создать такую картину!

После нашего путешествия в Крым во время отпуска (мы летели на самолете) он на некоторое время увлекся авиамоделизмом. Далее пошли спортивные увлечения. У него появился новый друг с таким это воинственным уклоном: фехтование, бокс. И литература соответственная — о Наполеоне, Македонском и прочих.

Тут я немного вмешался. Объяснил свою точку зрения:

— Я согласен, они есть, против этого не попишешь. Но согласишься и ты, кто имеют право быть и те, кто считает их и других завоевателей не великими полководцами, а попросту негодьями.

Конечно, не мои доводы, скорее разочарование в своем друге увело его от нового увлечения. А мои слова просто заставили его пристальнее взглянуть в друга.

На смену пришла музыка. Гитара, разумеется. Соответственно — друзья. Я сразу понял, что и музыканта из него не получится. К тому же их однообразное треньканье и завывания мне быстро надоели. Да еще пошли блатные словечки. Так что их «сходняки» у себя дома я попросту запретил. А ему самому шляться по чужим квартирам не было позволено с детства. Рукоприкладством я почти не занимался, но он твердо усвоил: если отец сказал — нет, то так оно и будет.

Из моих наблюдений я понял, что больше всего его тянет к природе. У нас появились канарейки, аквариум. Я был не против, только чтобы ими он занимался сам, у матери и так дел хватает. В любое время года он охотно ездил за город, любил зверей, животных. Не думал, однако, что это зайдет так далеко.

Он окончил восемь классов на отлично. Получил грамоту, книги в подарок. На родительском собрании, на последнем (а за восемь лет я не пропустил ни одного и обычно просил учителей не захваливать Держакова, не выделять его среди других), классная руководительница Нина Григорьевна, очень милая женщина, сказала, что Держакову надо обязательно учиться дальше в средней школе и поступать в институт. Жена тут же согласилась, что обязательно, я промолчал, а потом спросил:

— Нина Григорьевна, как вы думаете, в какой институт ему поступать после десяти классов?

— В любой. Он поступит в любой.

Я снова промолчал, полагая, что, собственно, их задача и состоит в том, чтобы готовить учеников в институт, а в какой — дело самих

учеников. Дома задал этот вопрос сыну, в ответ он неопределенно пожал плечами.

— А ты как полагаешь? — спросил у Лиды.

— Который есть у нас в городе, — не задумываясь ответила она. — Чтобы жил дома.

— Логично, — согласился я, но сам решил иначе: — Пойдет в ПТУ.

— Шутишь? — спросила Лида.

— Нисколько.

Парня мое заявление тоже удивило. Завязались настоящие баталии.

Я доказывал, что если бы у него был талант какой-нибудь, призвание — к рисованию, музыке, математике, стихам, наконец, — дело другое. Таланту надо помогать расти, развивать его в одном направлении, необходимо учиться. А Павлик просто способный, добросовестный малый. Способности при нем останутся, останется ли он добросовестным? Тем более что ему дуют в уши, какой он способный. А если он разболтается за три года, не поступит в институт? Придет из армии — ни специальности, ни образования. Да хоть и поступит... Что из него за специалист получится, если он молоток и зубило в руках не держал? Такими инженерами рабочие помывают, смеются им в спину, а то и в лицо. Пусть он в первую голову станет рабочим, а там, если есть умишко и силенка, поперет дальше. Станет настоящим инженером, не инкубаторным. Прежде всего должен стать рабочим, отсюда начало всех начал. Как приятно узнать об ученом или вообще о большом человеке, что начинал он с рабочего, прошел заводскую школу. Такому веришь. А главное, хороший рабочий спокойнее себя чувствует, чем плохой инженер, — он на своем месте. Отчего так бояться ПТУ? Мои годы в ремесленном — лучшие годы...

Жена ни в какую:

— Мы ищачим всю жизнь, пусть мальчик получит образование... — Слезы. — Я его под сердцем носила, я мечтала об этом...

— Да пойми ты: Калинин — слышишь, Калинин! — отдал своих детей на воспитание работяге, своему другу, в рабочую семью... Да получит он образование, получит, но потом. Пусть сначала человеком себя почувствует, мужчиной...

— Во-во, веди его к своим...

— У тебя одно на уме... Дура! Да ведь потому и тунеядцы, паразиты, хамы, что мужчине не дают себя мужчиной почувствовать, который может что-то хорошее сработать своими руками... свою ответственность почувствовать... Или ты думаешь, я хочу ему зла?

— У тебя нет сердца! Приходил с синяками, а ты хоть раз пошел, заступился? Ты хочешь, чтобы мальчик железа с тобой таскал по цеху? Рабочим он всегда станет...

— В том-то и дело, что не всегда...

— Совсем мужик рехнулся... Господи, зачем я его рожала на издевательство этому извергу...

— Но-но... Ты сейчас договоришься! — начинал выходить из себя я.

Нет, женщину логикой не проймешь. Ее надо ставить перед фактом. Факт для нее неопровержимое доказательство. Впрочем, и ее доводы имели некоторое основание.

— Придет с армии, женится, ребенка заведет... Когда учиться?.. Ее догадки оправдались, правда не полностью.

Я поговорил с сыном. В принципе он со мной был согласен, но...

— Пап, я пойду в любое ПТУ, куда скажешь, мне все равно. Если откровенно, меня не тянет ни к болтам, ни к гайкам, ни к станкам. Не люблю завод.

— Или тебе тоже задурили голову, как матери, что ты гений?

— Я лучше пошел бы на агронома или животновода. Я тебе этого никогда не говорил... Я и город не люблю, пап.

— Ничего себе финты! В кого ты такой? Прадед мастеровым был, дед рабочим, отец тоже вроде не полевод... По материнской линии, значит... Хорошо, подумаем... Иди-ка в библиотеку, бери справочник техникумов, желательно в нашем городе, просмотри внимательно, продумай, потом мне скажешь. Запомни одно: до армии ты должен получить специальность. Понял? А после армии учись хоть в академии.

На второй день вечером он назвал мне два техникума — агрофотосъемки и лесной. Ну, первый не годится, просто полетать хочется, а вот второй... Как я сам не догадался? То, что ему надо.

Кончился наш рабочий род, тянет парня к природе, ничего не поделаешь.

Снова война с Лидой. Более краткая, но ожесточенная, так как отступить ей было некуда. Парень подал заявление, документы. Начал готовиться. Конкурс — восемь человек на место. Не загорал, побледнел, похудел. Однако испытания выдержал, поступил. Но мальчишка есть мальчишка, прибежал и первым делом выпалил:

— А лесничим форму дают! Красивая! Эмблема с дубовыми листьями...

Еще до экзаменов свою разлюбезную я убедил в том, что прямо-таки счастье, если Пашутка поступит. Я ей пересказал все сведения о жизни лесничих, которые получил от Соколова. При этом разукрашивал так, что у нее дыхание перехватывало от восторга. Живут, как помещики (почему-то многие считают жизнь помещика верхом благополучия), охота, свежий воздух, первый цветок в лесу — его и последний — его же, природа, хорошие люди, хозяйство и т. д. и т. п. Ну а если не захочет на природу — останется в городе, будет мастером по паркам и газонам. Тоже свежий воздух, не в цеху гарь глотать... Она, забыв о том, как кричала: «Ты малого заживо в тайгу ссылаешь, на корм медведям, на погибель бандитам!..» — ждала с нетерпением экзаменов, была счастлива, когда он поступил.

Я сам, глядя на их счастливые мордочки, умилился чуть не до слез, но вслух сурово спросил:

— Ну? Кто со мной спорил?

— Васенька, у тебя же не бабий ум, а мужчинский. — И полезла целоваться.

— Нет, нет, я не прощу, как меня поносили последними словами, травили, как лесного зверя! (Паренек хохотал, наблюдая за нами.) Но, может, у вас и получится, мадам. Через гастроном...

— Да есть, есть у меня. Все готово, садитесь за стол.

Бывают-таки счастливые минутки и в семейной жизни.

Кончил он техникум на отлично, получил красный диплом. Выбрал среднюю полосу, где, по его словам, леса особенно нуждались в защите и возрождении. Я не возражал. Лида снова канючила:

— Чего ему тут не хватает, ему же дали выбор как отличнику.

— Ну да, мусорщиком.

— Он же будет мастером, ты сам говорил, по парку. Газоны, озеленение.

— Ну правильно, по газонам мусор собирать, окурки...

— Прямо, окурки! Я узнавала, будет начальником. Чего ему не хватает?

— Значит, не хватает. Поняла?

— Нет!

— Не ной при парне, не вгоняй его в тоску, поняла?

Она поняла и помалкивала.

Осенью его взяли в армию, но до этого был случай. Перед армией он, как водится, приехал домой на две недели. Вижу, у него золотые часы на руке. Ну в первый день на радостях не до часов было. Попозже спрашиваю:

— Павлик, ты приобрел новые часики? А те потерял? — Мы ему купили обыкновенные, когда он поступил в техникум. Студент. Одним словом, часы нужны.

— Те повседневные, а эти — для форсу.

— Сколько же они стоят?

— Мне их подарили.

— Продолжай.

Смотрю: замялся, смутился...

— Мы с матерью ждем, рассказывай. Нам что-то таких подарков не делали... Ну купил, так и скажи: купил.

— Я же вам рассказывал, все лето ездил с ревизором... Я не виноват, что меня назначили... Проверяли в одном лесхозе делянки. Ну я и заметил порубки. Вижу, елочка подозрительно растет, поднял — она на пеньке. Таких много еще... Подсудное дело. Старший меня уговорил. Говорит, у лесничего дети и у лесников дети, и...

— И?

— Я подписал, как и старший, акт, все нормально. Уехали. Потом старший дает коробочку, вот, говорит, тебе подарок от них... Не хотел я брать, честное слово, он сам мне их в карман сунул...

— Мать! Кого ты родила? Паразита, взяточника?!

Меня прямо взорвало. Я так орал, что напугал и жену и сына. Кричал что-то о Тарасе Бульбе, который породил и убил. Часа два я шлялся вокруг дома. Вот уже сказываются плоды образования... Восемнадцать лет воспитывай, учи, а там какая-то мразь подвернется, поведет пацана по скользкой дороге — и враз твое воспитание на смарку. Попался бы мне тогда его старший ревизор!

Вечером поговорили спокойнее.

— Не с твоей телячьей душой ездить ревизором. Мать права, мы тебя рано отпустили. Хотя если ты дожил до девятнадцати лет и тебя нельзя отпустить от материнского подола, грош тебе цена. А заодно и нам. Ты мог сказать, что простил, пожалел, хотя жалеет жулика только такой же жулик, а часы, если будут приставать, снесешь в милицию? Мог. Но для этого нужны совесть и характер. У тебя ни того, ни другого. Подвизался леса оборонять от браконьеров...

— Я с этим отказался ехать в другой лесхоз. Ездил с женщиной. Мы с нею даже обедали всегда в столовой.

— Слышала, мать? «Даже обедали в столовой...» Значит, у них ездить и обжираться людей в порядке вещей! После армии — никаких! Или бери самостоятельный участок, или у нас в городе стриги траву...

— Вася...

— Что Вася? Ты хочешь, чтобы он сел? Ты знаешь, сколько дают взяточникам?

Это до нее дошло мигом.

— Сынок, слушай отца. Бросай эту работу.

— На любой работе можно быть человеком.

— Пап, ну что мне делать с часами?

— Они еще у тебя?

Не знаю, куда он их определил, но больше о них мы старались при нем не вспоминать. Он тоже помалкивает.

— Ты чего усмехаешься? — спрашивает меня Лида.

— Да так... Каких-то кроликов, пишет, особых завел, ждет нас... Слушай, мне пришла идея: пусть своих кроликов на тещу оставят. Пока, кроме кроликов, никого нет у них, скатать бы им на теплоходе по Волге. Ведь, скажи, это у нас самый лучший отпуск был. Ко дню рождения закажем в бюро путевок... Нет, не получится. Я с Нового года брал в завкоме... Впрочем, поговорю с Данилой, хоть на осень, не обязательно ко дню рождения. Надо их пустить вниз по матушке... Быть русским человеком — и не посмотреть Волгу...

— Ой, Вася, как хорошо им будет, отдельную какую...

— Это не шмотки какие-нибудь, а на всю жизнь память. Проверенно обязательно.

— Иной раз я такую счастливую себя чувствую с вами обоими. Даже страшно — не было бы несчастья после большой радости...

Далее пошли ее фантазии об их путешествии.

## 4

Весело весной в поле!

Вспаханная, дымящаяся, пахучая земляца. Просторы полей, дали лесов. Глухо рочочет в стороне тракторишко. Встретишь на дороге трактор — махина, а в широте полей — тракторишко, несуетливый рабочийчек... Свежий ветерок. Не палящее, а серьезное, напряженно работающее солнышко. По вскопанной грядке пробежала шустрая трясогузка. По-хозяйски степенно, зорко оглядывая кочки, вдоль участка прошел грач с точно набухшим клювом. А вон женщины разноцветной стайкой идут с поля, наверно, уже на обед. Молодайки в сапожках, блестящих куртках. А тот чудак в одних плавках обрабатывает свою полосу, спешит загореть... Весело весной в поле. Не городское концертное, анекдотное веселье, а тихое, радостное, душевное. Веселье в самом себе, внутреннее, в теле, слегка гудящем от работы, в душе, где сливаются и гомон птиц, и солнце, и земля.

Мне оставалось еще одну грядочку разбить и взборонить. Завод, на котором работала сестра, обзавелся своим подсобным хозяйством. По отзывам, доброе дело. Часть земли, примыкавшей к болоту, поделили под частные огородики. Достался клочок и сестре как ветерану труда.

С сестрой мы живем ладно. С Лидой они дружат с юности, когда вместе работали. Павлик тоже привязан и к тете и к двоюродной сестре. Племянница учится в университете. Сейчас сестра в доме отдыха, в кои-то годы выбралась один раз.

Муж ей попался толковый, слишком толковый. Был бойкий бригадир на стройке, выучился заодно на прораба, сестре нелегко досталось, стал главным инженером в каком-то строительном управлении. Тут ему встречается «настоящая» любовь. Со стороны вроде бы прилично он себя держал. Квартиру оставил, исправно платил алименты, дочке покупал кое-что из барахла, и, как я догадываюсь, без его помощи она в университет протиснулась. Но так ведь это со стороны и опять-таки по сравнению со стервецами... А года два назад стал наведываться к сестре, ко мне приезжал, намекал, что разочаровался в новой спутнице (ничего себе, там девчонка уже в третий класс ходит), ну и вроде того, чтобы переиграть. Не поздно ли, дескать. Да и примет ли... Что я мог сказать? Поздно, конечно. Нечего метаться между двумя, доводи хоть там до ума. Племянница другого мнения: мать отца не понимает, отец человек сложный... Она зато уже много понимать стала. Я в свое время говорил сестре: «Устраивайся, тебе будет лучше, а девчонке легче, задушишь ты ее своим самопожертвованием. Никогда самопожертвование в таких делах к хорошему не приводило». Теплится у меня надежда: может, еще кого встретит? Что-то она постарела. Наверное, начинает чувствовать одиночество. Жила для дочки, а та отходит, как, в общем-то, и положено. Грядет пенсия, старость, как и у меня, и, в сущности, игра сыграна. Но я, приближаясь к финишу, не чувствую страха. И усталости не ощущаю. Однако какое-то успокоение, чувство покоя или, вернее, желание покоя закрадывается в душу. Но только не сожаление о прожитом. Этого нет. Так бывает после напряженного рабочего дня, когда потрудился с пользой для себя и не во вред другим и хочется одного — покоя. Но покой в одиночестве под старость — не отдых. Во всяком случае, все, что будет зависеть от нас, надо сделать, сестра не должна в награду за честно прожитую жизнь остаться

ся одна... Того уже нет, та на покой, и хотя близкие люди продолжают жить у тебя в душе, в твоих снах, воспоминаниях, но вокруг становится пустошью... Сужается круг... Что ж, многие не дошли и до этой черты...

Студенточке огородик не нужен, конечно. Прошлый год в эту пору мы были троим. Теперь сестра отдыхает, а женушка занята более неотложным делом. Ездит с другой племянницей, Раяй, по магазинам.

С этой тоже история. Умер у жены брат, отец Раи. Чехов говорил, что человеческая жизнь всего лишь сюжет для небольшого рассказа. Вот его сюжет: земля и работа на ней. Никакого, в общем, сюжета. Но хоронили его всей деревней, люди искренне скорбели, многие плакали... Через год после смерти отца, окончив десятилетку, к нам приехала Рая. «Пусть хоть улицы метет, но только в городе», — заявила ее мать. Устроилась в ПТУ на текстильную фабрику. Мы решили, что это самое девичье занятие. Жить, как мы рассудили, им (она приехала с подругой) лучше в общежитии. Да они и сами не пожелали жить у нас. Город ей как-то сразу не пришелся. Не приняла она города, хоть город ее и принял. Город принимает всех. Выходные проводила у нас, так как очень скоро подруга ее обзавелась кавалером. Посещала с нами театры, концерты, но проходили они мимо нее. Не затрагивали. С Лидой у них шли нескончаемые споры. Одна доказывала, что жить лучше в городе, другая — в деревне. А когда Рая встала к станку, то и слушать не захотела о преимуществах городской жизни. Трудно, конечно, хрупкой девчужке у ткацкого станка... Но прекрасное общежитие, хороший заработок, два выходных, столовая, развлечения на выбор, рядом родственники. Разве это трудности по сравнению с жизнью наших матерей в голодную годину? Вот тогда было трудно. Я помню, как хотелось мне есть, помню материны глаза. Она, наработавшись, была сама голоднее нас, но какая боль была в ее глазах, когда она видела нас с сестрой голодными...

Рая девушка опрятная, чистая морально. Как встарь говорили, блюдет себя. За два года у нее так и не появилось ухаjera. А когда ее бойкая подруга родила в одиночестве, то к поклонникам у Раи, кажется, совсем аппетит пропал, и она решительно засобиралась в деревню, подала заявление. Мы с Лидой надеялись, что она все-таки передумает, но вчера выяснилось окончательно — уезжает. Я уже привык к ней, нам ее будет не хватать. Одно мне в ней не нравилось: общая сейчас какая-то душевная глухота к родителям. Мать ей слала деньги, и немалые. Рая не возражала. Она, конечно, первым делом оделась по-модному. То есть дорого. У нас еще так: раз дорого, значит, модно и хорошо. Лида не всегда советовала брать дорогие вещи, но у Раи были еще советчицы, кстати, самые авторитетные — подруги. Просто жаль молодых людей, которые днями простаивают за какой-нибудь тряпкой.

На наши замечания насчет денежных переводов Рая неизменно отвечала:

— Ну и что же, она мне мать.

— Ты же знаешь, как ей, доярке, достаются деньги.

— Дояркой лучше работать, чем за станком... Смотреть не могу на станки, до тошноты...

Жалуется матери в письмах на свою работу, а та нам: «Не пускайте ее назад».

Вот такая канитель...

К часу я справился с работой полностью. Хорошо, что приехал рано, в восемь утра уже копался. Сажать мы будем в следующий выходной, уже троим. Все, лады. Положил между грядок лопату и грабли, присыпал землицей.

До электрички километра два с лишним я шел не торопясь, отдыхая, глядя по сторонам, вдыхая весенний ветерок.

Как тянутся люди к земле, даже городские, казалось бы, напроць отвыкшие от нее. Ближе к лесу, по болоту участков никому не нарезали, но и там копошился народ. Те, кому участков от сестринога завода не досталось. Роют дренажные канавы, завозят на тележках чернозем и навоз, огораживают свои клочки. Неподалеку была большая свалка, оттуда тащили проволоку, кровати, столы, шкафы на загородки.

У магазина рядом с платформой стояла группа скучающих мужчин и подростков, уже уверенно — по лицам было видно — обосновавшихся в этой компании. Поодаль еще одна группа, в основном молодых женщин с бидончиками в руках.

Махнуть, что ли, с устатку, ради весеннего денька? Совсем четвертинки исчезли с прилавков, одни ноль восемь и литровые...

— На двоих есть желающие?

— Давай,— подsunулся ко мне мужчина уже в годах и совсем не запойного вида.— Тебе на электричку? До конца обеда еще сорок минут... За шесть она сейчас даст со двора.

Я подал ему трояк. Он не торопясь двинулся во двор магазина.

Вот так — лопату с граблями зарываем, две грядки с луком и редиской огораживаем колючей проволокой, а трояк первому встречному...

Выпили за двором в кустиках. Закурили.

— Что это толпа с бидонами? Молока не хватает?

— Сейчас привезут с совхоза, прямо после дойки, молоко хорошее... Да-а-а, раньше с бидончиками не ходили. Вот по этому проулку, я здесь живу, держали девять коров. А какие коровы! Сам понимаешь, частичник плохую держать не станет. Даже из города ездили к нам за молоком. Сейчас ни одной коровы, но пять машин...

— Действительно, да-а. Машина же не доится,— усмехнулся я.

— Я последний свел свою Машку, жалко было, особенно бабе и деду. Дед овец держал. Штрафовали. Хозяйство свел — и деда на погост снес, нечего ему, понимаешь, делать стало...

— Сейчас держишь что-нибудь?

— Кроликов, кабанчика на мясо, свиноматку — поросята дорогие. Потом ее на сдачу. Сдаешь мясо — дают комбикорм. У меня сосед десять свиней держит. Тонну мяса сдал. Машина без очереди. У меня двое ребят и девчонка. Так для них хозяйство, чтобы привыкали, привязанность какая-то была бы хоть к чему-то. Корову все-таки куплю. Девчонка растет. А сена сейчас — только не ленись, вдоль полотна коси. Мог бы и машину взять, но ребят приучать к машинам не хочу. Ведь машина пустое дело?

— Согласен, пустое.

— Как тебя зовут? Меня Федором.— Он несколько не захмелел, а было обычное желание поговорить с человеком.— Да, Вася. Сейчас уже труднее снова людей к хозяйству лицом поставить. Раньше, бывало, ребяташки растут, там, смотришь, овечка окотилась, коровка телочку привела. Вот малыши с малышами и возятся, кормят их, ухаживают, ну, с малолетства, понимаешь. Цыплятки бегают... А сейчас дылда вымахал, смотришь — ни к чему не привязан, вот и занимается чем вздумается. А наш совхоз, считай, рядом с городом, так он туда. Я своих ребят думаю удержать. А ты, наверно, с участка топашешь?.. Угу... угу... Ну что же, тоже неплохо, правда? Хоть клочок. Жалко, болото вы наше выведете, клюква там была хороша... Ну ничего, ничего... Зато, смотрю, мужики с лопатами, с граблями... Все лучше, чем вот так торчать у магазина два выходных. Я в котельной на теплицах работаю, вот огурчиком-то закусывали, наш. У вас там, в городе, бывают свежие огурцы?

— Бывают, спасибо вам. С харчами налаживается. В буфетах полуфабрикаты стали. Наборы...

— Нет, все нормально... Пойдем, я тебя к платформе провожу,

подожду до открытия.. Люди и скотину снова будут держать.. А вам... да, вам харчишки нужны. Сюда я бы ничего не давал — ни мяса, ни яиц. Нечего лодыря гонять, а то телевизоры, машины... Да вы на земле живете или на асфальте?.. Землей кормиться надо, глянь, в городе какая прорва народа, всем кормиться нужно, всех земля кормит, так она ж труда требует, а если на ней сидеть и смотреть телевизор, сам себя не прокормишь... Теперь на цветах помешались. К концу мая прут вязанками, на электричках одни цветы... Прямо как на кладбище... Нет чтоб морковину, помидорину, петрушку, так они цветы. Прямо такая цветущая жизнь, что, кроме цветов, нам ничего и не надо... Ты знаешь, Вась, берется Совет и за это...

— Да?

— Да. Смотрят, у кого участок чем засажен. Не используешь — могут отобрать.

— Вот молодцы! Федя, а ведь при желании можно такой порядок навести... Вот у вас подтягивают, а у нас в городе я бы сейчас ввел карточную систему. И не потому, что продуктов не хватает, да нет, все сыты, а для того, чтобы бездельников прижать. Не работает — не давать карточки...

— Смотрю, Вася, я на тебя — хорошего человека встретил. Вон мой дом, видишь, железная красная крыша и вытяжка газовая рядом с трубой? Когда что надо, инвентарь какой, тележку, просто бутылочку выпить — заходи, буду рад... Держи пять...

Двери электрички, предостерегающе шикнув, сомкнулись. Ну вот, чуть не породнились... Нет, не одиноличник у нас народ. Наше государство, каждый за него душой болеет...

Сижу у окошка, людей в вагоне мало. Светло, просторно. Часик проехаться — одно удовольствие. Настроение отличное. Сестра отдыхает, жена, сын, племянницы, товарищи, не пусто вокруг меня... Да, надо, надо экскурсию молодым на теплоходе организовать...

К концу пути задремал — устукали меня колеса. Проснулся с неприятным осадком во рту то ли от водки, то ли от Федино свежого огурца.

Пивка хватануть, что ли? Дома сейчас наряды примеряют, успею... Пройдя под мостом, я свернул влево, где раньше стояла пивная палатка, а сейчас соорудили крытый стоячок типа кафе, намного культурнее. Пивом торговала моя кума Аня. Наша бывшая соседка по коммунальной квартире.

Поздоровался с товарищами, выходной день, народа хватает.

— Кум, чего не здороваешься? Разбогател?

— Кума, с тобой персонально в обнимку...

— Тогда заходи.

— Ань, я тороплюсь.

— Зайди, говорю, дело есть. Дуська, поработай! — сказала она, выходя за перегородку; я последовал за ней. — Садись! Устала я, Васька, как собака, скорей бы в отпуск.

— Лидка тоже не дождется.

— К Пашке поедете? Как он со своей?

— А черт их разберет как. Вчера письмо получили. Все нормально. Хитрые больно. Рожать не хотят, а когда захотят — не рожают.

Мы сидели в отгороженной каморке. Она принесла две кружки пива. Одну я выпил залпом.

— Жарко... Начало мая, а жара. И дождики были, хоть бы в этом году крестьянам повезло. Я с огорода.

Мы поговорили о сестре.

— Правильно сделала, что поехала. Все для Верки, на Верку, а где благодарность? Этим паразитам всю кровь по капле отдаешь, а они тебя доконать готовы... Моему-то свидание не дали. Опять там, сволочь, в карты играет. Собиралась полгода, сколько денег ухлопа-



ла... Икры... Ну всего, всего достала. Мало ли, может, там дать кому... И вот на тебе! Является одна — ну, мать там одного, вместе сидят,— подает мне от Альки записку: «Мать, срочно надо пятьсот рублей, вышила мне по такому адресу». Проигрался. Выслала... На последней свиданке смотрю и не могу слез сдержать — худющий, вместо плеч косточки выпирают...

Она вытерла слезы. Какие у нее чудесные синие глаза. В молодости она была красива. Сейчас расплнела не в меру, ее волнистые, пушистые, белокурые волосы полиняли и поредели от постоянной химии, макушка слегка плешива. Она носит полуседой-полуфиолетовый парик, который сейчас бросила на край стола. Лицо обрюзгло, веки не в меру подведены и зеленым и черным... А вот глаза, хоть и появилась в них холодная настороженность, глаза остались... Будто она не стояла за прилавком тридцать лет, не жила с мужчинами, не выпивала, не переживала... Чистые глаза. Может, потому, что их часто орошают слезы? Впрочем, для своих лет, кто не знал ее молодой, она дама еще ого-го!

Достав из сумочки зеркальце и другие причиндалы, она привела раскисшие ресницы в порядок.

— Васенька, он к Октябрьской придет. А может, бог даст, раньше. Говорят, амнистия будет. Поговори ты с ним. Ты же ему крестный. Он тебя уважает.

— Помнишь, я его хотел на завод определить? Когда он первый раз освободился. А ты... Испугалась, что надорвется. Устроила продукты возить. А он ящиками водку в кусты возил и продавал.

— Брось, Васька! Если бы с головой, разве там не работать! Всегда домой и конфет завезет, и тушенки, и всего. Сам шофер, сам грузчик, сам экспедитор... А теперь и права отобрали. Золотое дно было. Товарищи сбили, да и шлюху в жены взял. Придут ко мне, обдерут. У меня перстень и кольцо сперла, две шапки по триста рублей, одного хрусталя рублей на двести... Страшная, зубастая, как вспомню, зубы как у лошади, тьфу! Ты ее не видел?

— Не сподобился.

Я заметил, что если бабенка веселая, то и в другой замечает в первую очередь то же самое, а потом остальное. Хотя про куму нельзя сказать, что она стремилась к веселой жизни, а не к семейной. Да и кто из женщин начинал без мечты о семье, какой мужчина мечтал стать пьяницей? Судить легко.

Аня всегда и во всем искала причину в других, но только не в себе. Так же она винит товарищей сына, его жену, но только не его и уж, конечно, не себя.

— Чего ему не хватало с детства? Вась, ну хоть один мальчишка со всего дома ходил лучше его одетым или лучше его ел? Ведь на твоих глазах.

— Не знаю, баба ты в годах, а рассуждаешь, как полуумок. Тебе не только я, тебе люди говорили: «Не давай денег»... Не стало хватать — стал снимать шапки.

— Истинная правда, из нищеты люди выходят... Но ведь свое дитя, хочется, чтобы лучше, чем у других... Пятьсот рублей переслала, злость такая взяла, другой раз думаешь: лучше бы придушила...

— Ладно, не зверей, не ожесточайся. От этого легче не будет.

— А ночью плачу. Жалко — свой...

— Мы сейчас артелью работаем, дружные ребята, есть молодые, умные... Пусть приходит, подумаем. Помочь поначалу ему надо будет, но если ты его по новой возьмешь на содержание, будешь выдавать злые суммы... Ведь на работе, в бригаде даже уличный хулиган ведет себя по-другому. Терпимо.

— Васенька, как скажешь, так и будет. Считаю, он без отца вырос. Как я вам завидовала, бывало. Только и слышно было: «Слушай,

что тебе говорит папа», «Надевай, что мама велела». А мой: «Не слушай мать, слушай, что я тебе говорю».

— Ты тоже выступала: «Твой отец дурак».

— Он и был дурак.

Я поднялся уходить.

— Вася, посиди, поговорить не с кем, с тобой только душу и отвожу.

Я снова сел. Я с нею тоже был всегда откровенен. Она не трепачка и, в сущности, очень добрая, не мелочная женщина.

В каморку вошла ее подручная.

— Что тебе?

— Претензии.

— Сейчас. Иди.

— А она уже подогретая,— заметил я.

— Пьянь. Гнать надо, терплю за честность. Я сейчас.

— В чем дело? — слышался ее голос уже из-за перегородки.

— Вы недоливаете.

— Ждите отстоя! Поставьте кружку!..

Первого ее мужа я хорошо знал. Толковый был парень. Но она с самого начала повела себя, как теперь выражаются, лидером. «Будь оно проклято, примачество»,— жаловался он мне по соседству. Лидерство ее привело к тому, что он бросил все прелести городской жизни и укатил куда-то на родину, в село, на Украину. Вся ее привязанность обрушилась на сына. Это кончилось тем, что сын совершенно перестал уважать мать.

— Ну? — слышался грозный Анютин голос из-за перегородки.

— Извините.

— Нечего извиняться...

Тут она ввернула такое, что клиент, наверное, поперхнулся пивом. Речи ее со мной я излагаю сокращенно, многие вводные обороты, естественно, опускаю. Мои реплики тоже далеко не полны.

— Осточертело! — вошла Аня.

— Меняй работу. Побереги и свои нервы.

— Издеваешься? Я бы с радостью, да куда денусь... Всю жизнь за прилавком толкусь. Посиди, пиво кончается...— Она вышла.— Дуся! Освобождай зал! Гони тех, что в углу! Э! Сейчас милицию вызову! Будите друга! — Она снова вошла.— Тебе Толик, ваш сосед, говорил в среду, чтобы ты зашел ко мне? Нет? Забыл, пьяная морда... Сидишь вечером дома одна, стены заедают. Не раз вспомнишь нашу коммуналку. Бывало, кто что-нибудь вкусное готовит на кухне, всех угостит. В праздники общий стол.

— Особенно у тебя это было частенько. Ты же бабенка широкой натуры... Холостякуешь снова? Этот-то твой, последний, не показывается?

— Ушел, гад, к жене. Он меня хорошо подоил. Тысячи на две. Как ни приду с работы — перерыто все в квартире. Деньги искал. Взял четыреста рублей и к своей... Дуся! — Явилась Дуся.— Все смотались? Иди тогда домой, поспи! Поставь будильник на пять. До семи, пока буду принимать пиво, уберешься... Ну иди! Возьми себе огурчиков... Колбасы отрежь полбатона... Бери еще огурцов.

— Спасибо, Анна Федотовна.

— Иди, иди... Будильник не забудь поставить... Тебе огурчиков завернуть?

— Еще чего.

— Боишься, Лидка догадается: у кумы был. В магазинах-то их нет.

— У нас в буфете бывают. Анюта, мне пора.

— Я же тебе еще про дело не говорила. Пойду закроюсь, посмотри пока часы...

Она вынула из кармана белого халата, засаленного и мокрого на животе, часы с браслетом и бросила их на стол. Закрыла изнутри дверь и вернулась.

— За пять рублей взяла.

— Они мне и за рубль не нужны.

— Возьми так. Альке уже есть электронные.

— А мне зачем двое? Эти хорошо идут.

Она положила часы назад в карман, села рядом, подперла щеку рукой, наклонила ко мне лицо.

— Васька, что делается... Съешь огурец-то.

— Меня сегодня уже угощали огурцом. Что же?

— Начальника торга взяли... Слышал?

— Откуда? Мы вроде с ним не в одном цеху работаем. Вас всех пора брать.

— Не каркай, не до шуток.

— Ну, ну...

— Там такую поганку раскручивают... У него рыжего одного на пятнадцать тысяч нашли. На даче, дурак, держал. Обнаглел. Книжки, наличными... И выше копают.

— Тебя-то не зацепят?

— Я мелочь, козявка. Я ему, как и все палаточницы, в месяц по столынику отстегивала, вот и все.

— Так в чем же дело? Свидетелей же не было.

— Тоську с площади взяли, возле автобусной.

— Значит, и за козявок взялись. А то сидели, как куропатки в снегу, не доберешься.

— Погоди молоть-то... У нее описали имущество.

— Ты говоришь, что тебе не грозит.

— Да, пятнадцать лет мне не грозит. Но это такая поганая статья, что два года дадут, а из дома выгребут все до нитки. Черт его знает, потянет, гад, за собой всех. Был в обыхеэсе у меня свой мужик, знакомый, не то чтобы я ему давала в лапу...

— Ну, ну....

— Выперли на днях.

— Ты сейчас-то попридержись.

— Что ты, я даже водку не держу... И ведь, Вась, воровала я не больше других. Там, где не взять никак нельзя. То левака подвезут... Трусилась всю жизнь, а для чего? Будь оно проклято, сяду — что с пацаном будет?

Ее глаза снова наполнились слезами.

— Вася, я же одна в свете, как былинка в поле. Живой души нету. Возьмут меня, опишут все, Алька останется в чем мать родила...

— Без паники. Если, ты говоришь, выше копают, то вас не тронут пока, остановиться надо. Это вам с перепугу кажется.

— У нас товаровед один купил машину через подставного, друзья были. Тот машину взял и послал друга... Катается на ней. Господи, одно жулье кругом... Вася, я тебя знаю, помоги мне. Возьми золотишко и денжат на хранение.

— Ты что, того?

— Вася, ты не польстишься на чужую копейку, возвратишь мне, а если что — Альку не оставишь, только не давай ему все сразу. Я тебя никогда ни о чем не просила.

Я не знал, что сказать.

— Два кольца, пару браслетов, три цепочки, перстень, серьги... Ковры, мебель — черт с ними. Деньги на книжке, я сняла больше половины...

— От души бы тебе помог Анята, да не могу... Во-первых, я не верю, что до этого дойдет. Ведь никаких прямых доказательств. Ты у государства не краля. Тузов берут, а такую мелкую плотву, как ты... Вы уже переупались до смерти... Во-вторых, если бы я жил один...

Ты же Лидку знаешь. Что-нибудь принесу домой из буфета в чужой сетке, так она три раза напомнит и сама ее в карман положит. Не терпит чужой сетки в дому. А это... Я, конечно, могу на нее попереть, со слезами, но возьмет, так ведь спать не будет. Состарится. Тайников нет. Она в дому все щели знает. Когда от нее червончик зажухаю, в Пашуткину боксерскую перчатку прячу. Не могу же я туда банкноты запихать...

— Что делать, Вася? А к Степаниде?

— Сестра бы, может, и согласилась, но она сама уже ничего не решает, там Верочка командир... Вот чертово золото!

— Счастливей ты человек.

— В этом отношении да... Ну, зарой где-нибудь, что ли.

— Подохну — так и останутся где зарыла мои цепочки и браслеты. Родной сын не попользуется. К сестре моей и думать нечего. Еще не посадят, а она уже своим будет считать. Она от зависти лопаётся всю жизнь...

— Что он у тебя инвалид, Алька? Да черт с ним, с золотом, промотает все равно! У нас, понимаешь, общество не рассчитано на воров. Честно всегда можно прожить. Одному пошкарнее, другому поскромнее, но честно и со спокойной душой.

— Шик боком выходит.

— Постой, ты вот прямо сейчас можешь в отпуск идти?

— Да.

— Вот и ступай. Отдай подруге на сохранение и жми, отдыхай. У тебя нервишки расходились. Чтобы их успокоить, отрекись от рыжего металла. Махни на все рукой. Что будет, то будет.

— Легко тебе говорить... Из-за чего я всю жизнь колотилась? У тебя его никогда не было, тебе легко махать.

— Почему? У Лидухи сережки там, колечко, перстенок, цепочка тоже. Они же без этого не могут, друг перед другом... А что, она не заработала? Она по две сотни у печи получает. Ей год до вредности... Езжай в отпуск. Ну а если жареным по-настоящему запахнет, там видно будет... Ты нам не чужая, щи на одной кухне сколько лет хлебали.

«А сколько раз она нас выручала, доставала все,— подумал я,— то проводы, то свадьба. Хоть и скромны были наши балы, но без нее не обходилось... Словом, не чужие... Надо идти, но как идти, подумает — убегаю...»

— Как послушаешь... Неужели среди вас честных нет?

— Девчонки молоденькие. Что они умеют? Свои вкладывают. А сколько я влетала? Раз на раз не приходится. Есть, что и не берут. Честные. Или боятся, наверное.

— Завязывай, кума. Перемелется... Перемелется, просто пугнули вас хорошо... Ты же всю жизнь работник прилавка, а по совместительству — из-под прилавка. Вот совместилку тормозни, а за старое что они могут? За руку тебя не схватили. Вот вашему старшему, тому, конечно, есть отчего...

— Спасибо, Вася. Поговорила, на душе спокойней стало, может, бог даст, пронесет... Вот проклятая работа, сиди жди до шести, пока бочка приедет, у них свой тариф, пятерочку отстегни шефу...

Она вынула букет тюльпанов и нарциссов из банки, полотенцем отжала концы мокрых стеблей...

— А то Лидка скажет: у Аньки из банки вынул! Отнеси, она цветы любит. Сколько раз говорила: «Заходи, продуктов достану». Нет. Всю жизнь тебя ревнует ко мне, дура.

— Ты эти эпитеты оставь при себе, умница... Зачем цветы из банки вынула?

— Мне один преподнес за две кружки пива. Тоже небось спер. Иди! Вижу — рвешься. Да бери цветы-то, скажешь, купил. В отпуск

я, наверно, пойду. Пошлю все к чертовой матери. Зайди, Вася, на той неделе... Ну иди!..

Я шел по скверу... Как прозрачна и нежна первая зелень на деревьях, просвечиваемых солнцем! Как жива и контрастна изумрудная травка с набухшими влагой, черно-бурыми торфяными клумбами! Как проворны и горласты птицы на ветвях, занятые своими делами и не обращающие на нас ни малейшего внимания...

Жалко куму, ее слезы, не хотела же она Альке плохого, делала ему, как ей казалось, только хорошее. Да и других жалко. Мне иногда невмоготу смотреть, как инюго колотит с похмелья... Соколов говорит: «Вы им даете на похмельку вот они и шляются...» Ну, во-первых, я не всем даю а во-вторых, он не воспитается прямо сейчас. У нас так бывает: когда человеку необходимо помочь, его воспитывают... Говорят: «Поддаешь калекам, они пропивают». Был тут у нас один безногий, на углу сидел. Ну а что же ему — в театр идти, если он и с двумя ногами туда не ходил? У него, может, одна отрада — забыться... Отсутствие обыкновенного милосердия мы прячем за разумные, казалось бы, суждения. Сейчас их не стало, калек и нищих, и подать-то некому...

— Стоп! — остановил меня окрик встречного товарища, которого я раньше никогда в глаза не видел. — Что ты думаешь о России?

В самом деле, что я думаю о России?

— Я в России живу.

— Свободен! — Он сделал указательным пальцем жест, разрешая мне продолжать путь.

Наконец-то прямая дорога домой.

## 5

«Вот я и дома!» — всегда радостно думаю я, переступая свой порог после странствий больших и малых.

— Мы еще не обедали, тебя ждем, все давно готово... Ой, девчата! Гляньте, какие цветы! Дай-ка я тебя поцелую... — И Лида поцеловала меня, но лучше бы она этого не делала...

— Попахивает... Корешей своих встретил? К куме заходил?

— Что я там забыл?

Жену обманывать нехорошо, но говорить ей всего тоже не следует. Незачем вдохновлять ее фантазию.

— Здравствуйте, девочки, — подмигнул я племянницам. — Выпил... Вот твои родичи в деревне пьют, а я что? Помнишь, Раечка, когда я у вас в гостях был? Если трезвый из-за стола встал — чуть ли не кровная обида для них. Только стакан выпил — уже полный снова. Больше недели там гостить не выдерживал... Покажите лучше мне свои обновки. Молодец, что заехала. Вера.

— После обеда. — Лида накрывала большой стол в комнате, он был уже раздвинут.

— Ну хоть одним глазком дайте глянуть, что купили?

Рая кивнула на свертки, занявшие полкровати.

— Вот, вот и вот, а что там, потом увидите.

— Грустно. Значит, уезжаешь? А как же мы? Мы к тебе приехали.

— Я к вам, дядя Вася, буду в гости приезжать. И вы к нам что-бы обязательно.

— У нас на заводе много деревенских, и ничего, обжились, не дергаются. От городских уж не отличишь. Им нелегко было здесь в одиночку устраиваться а тебе выложили все готовенькое... Мать теперь с ума там сойдет но пусть на нас не обижается: я, как могла, тебя удерживала. Ты думаешь, ходить за телятами легче? Или свеклу полоть...

— Мне блажнее свеклу полоть, чем с этими станками. Как у нас хорошо весной!

— Тут себе жениха не нашла, а там, думаешь, первой девкой на деревне будешь? Ребята с армии начнут приходиться...

— Да ну тебя, тетя Лида! Нужны мне женихи!

— Нужны, спору нет,— сказал я.— Может, ты права. Я тебя не осуждаю, но мне грустно... Как вы считаете, девочки, что для девочек самое главное?

— Знаю, дядя Вася,— ответила Рая.

— Сейчас на это не смотрят,— отозвалась Вера.

— У тебя уже есть основание так рассуждать?

— Дядя, не делай круглые глаза. Если бы было, я бы помалкивала.

— Это точно. В старину топились, а сейчас: «Я мать-одиночка!» Прямо хоть медаль ей за это вешай.

Девчата ели и посмеивались, а я продолжал их наставлять, хотя знал, что мои слова до Лиды скорее доходят, чем до них.

— У нас в комнате одна скоро... Сама-друга будет,— сказала Рая.

— Здесь мы тебе, может, с машиной нашли бы,— заметила Лида.

— Ты что мелешь? Бестолочь.

— За машину, что ли, замуж выходить, тетя Лида? Мыть ее ему.

— Умница, Раечка, а этой уже за сорок, а... Правильно ты, Рая, говоришь. Жены машины только моют, а катаются на них любовницы. А ты, Вера, как человек с образованием, ты бы позарилась на машину?

— Отчего же не прокатиться,— засмеялась она.— Ну а если серьезно, то... Мне кажется, муж с машиной — это что-то ограниченное, не те запросы... Мне такого не надо.

— Словом, хоть на колесах, но недалекий.

— Да это я так,— сказала Лида,— зачем она, машина? Был бы лад.

— Последний выходной, Раечка, проведешь с нами. Я завтра вас с теткой в парк поведу, покачаю на качелях, может, на эстраду сходим, погуляем, отдохнем.

— А через неделю я буду уже дома. Ой, как хорошо! Сады цветут...

— Верно. А то опять все воскресенье у магнитофона просидишь,— сказала Лида.

Да, мы, пожилые люди, по выходным то в кино ходим, то гулять, а она останется дома и весь день, а то и два слушает магнитофон. Как купила, так и прилипла к нему. Хоть бы что разное, а то заведет «Кукушку» и кукует под нее до ночи. И так, наверное, многие в общежитии... Как уродливо, карикатурно преломляется цивилизация в тех, кто не подготовлен к ней воспитанием или природой. Но зато какие претензии к своему брату колхознику...

В прошлую субботу Рая наконец решилась, выбралась с нами на экскурсию во Владимир.

— Разве ты, Раечка, плохо провела выходной, с магнитофоном лучше? — спросил я, но в ответ — только неопределенная гримаса.

— Как там красиво... старинные церкви... — сказала Лида.— Верочка, почему бы тебе не съездить с матерью? Экскурсовод такая ученая попалась, всю дорогу рассказывала. Оказывается, раньше по переписи женщин не считали, только мужчин.

— А как ямщики целовали крест и божились, что промышлять чужой рухлядью и разбоем не будут? — Я засмеялся.— Промышлять разбоем...

— Я там была,— сказала Вера.— В Успенском соборе фрески Андрея Рублева не реставрировали полностью?

— Реставраторы еще работают. Мне запомнилась одна его фреска, где святой приглашает в рай. Прямо не старина, а современный плакат, так живо.

— Да, да, дядя, меня тоже поразила эта фреска. Чудо. Гениальный художник!

Она так пылко произнесла это, что мы каждый по-своему откликнулись на ее слова.

— Какая все-таки Степанида умная, что дала тебе образование,— сказала Лида.

— А Рублев живой сейчас? — спросила Рая.

Вера растерянно взглянула на нее, невольно рассмеялась, потом ей стало неудобно за смех, и она покраснела.

Мне было не смешно. Имеет аттестат зрелости, учили десять лет...

— Рая, неужели ты ничего не поняла, когда экскурсовод рассказывала про Рублева?

— Дядя Вася, она весь день рассказывала, разве упомнишь все?

— А в чем она была, помнишь?

— В оранжевой курточке, и сапожки у нее были финские.

— Дядя, а вот ты свой город хорошо знаешь? — спросила Вера. — У нас тоже памятники есть уникальные... Насколько чувство прекрасного было развито у древних! Не имея специального образования, а возможно, вопреки ему...

— А мы Павлушу с Сашей хотим этим летом вниз по Волге отпривить. Вот бы ты с ними? Тебе это просто необходимо.

— Нет, тетя Лида, хватит на материном хребте кататься. Вот выйду замуж, пусть муж меня возит... Я так уже соскучилась за Павлушкой...

— Сейчас дам тебе почитать его письмо, вчера прислал. Всем приветы передает.

— Давайте, давайте... — Она, мурлыкая, быстро пробежала страничку. — Молодец он у вас! Не лизун, обниматься с вами не лез, во всяком случае при людях, а всей душой вас любит, по-настоящему. Он в этом году будет поступать в институт? Ему надо обязательно высшее образование. Он очень способный, очень.

— Это уж его дело. Ему дали направление, пусть идет. Его Саша тоже ударила в образование. Плакала, как лес вырубали... Послушайте, девчонки, я жизнь понимаю так... Вы можете со мной быть не согласны, вы образованней меня, но на всякий случай послушайте. У человека должно быть как минимум две жизни. Одна дома, другая на работе. У большинства людей это получается, но много и таких, у которых как-то не того... Отсюда все трагедии. Кидаются в одну за счет другой, потом и та не вытанцовывается.

— А если человека захватывает работа, деятельность? Идея, наконец? — возразила Вера.

— Отговорки! Семья всем нужна. Но некоторые слишком много мнят о себе, о своей идее, о своей гениальности, кричат, что жертвуют личной жизнью... Чувшь. Значит, у них не было личной жизни. Особенно противно смотреть на деятелей-женщин. Прямо-таки незаменима! Семье ладу не дает, а руководит коллективом. Пушкин, Толстой, Менделеев, Циолковский... Этим людям не откажешь в гениальности, да и заняты были не в пример прочим. Однако они имели семьи, детей были прекрасными отцами...

— Ты не прав, дядя,— возразила Вера.— Семья, работа... Примитивно. Так жил крестьянин сто лет назад.

— Нам еще до того крестьянина далеко — в твердости семейной, в трудолюбии, в честности... Конечно, есть у людей и третья жизнь. Ну например, Соколов, один мой товарищ, охотой увлекается, другой — политической, третий — литературой. Есть, наконец, один баптист, его так и зовут — перковник, хотя он ходит не в церковь, а на какие-то сборища...

— Любопытно, любопытно, расскажи о баптисте,— попросила Вера.

— Работает хорошо, не пьет, не курит. И от жены не гуляет, наверное... Но не наш он какой-то, не артельский. Беседовал я с ним раза два откровенно, вернее, он со мной. По его понятиям история разворачивается по готовому сценарию... Мало того, их секта уже заслужила себе спасение, царство божие, тем, что они поняли истину... Короче, муть. Я ему сказал, что он может теперь смело пить и гулять, раз уже заслужил... Он от меня отступился. У него третья жизнь тоже есть, но ведь это этап пройденный. Понимаешь, раньше люди верили в бога, какой-то присмотр чувствовали за своей душой, побаивались, каялись. А ведь наша революция велика вот в чем — верит только в человека... Как бы это объяснить? Никакого рабства, и душевного тоже. Будь человеком. Вот говорят о падении нравов... Да ничего подобного! Не поголовное падение, притрется, все встанет на свои места. Я считаю, в самом человеке все начала. Какие тут боги? Примеры, апостолы идеи — да, особенно для молодых, но не боги. Все великие люди на протяжении веков искали истину. Эти поиски стоили много крови и страданий. Но я понимаю так: есть истина своя для каждого, ищи ее. Но есть истины общие, для большинства. Эти истины должны быть законом. Это опять же воплотил в жизнь социализм. Вот первая и, по-моему, основная: каждый себе на хлеб должен зарабатывать сам. И второе: не живи во вред другим, обществу. Вроде бы и баптист делает то же самое, что и мы, но он для какого-то царства своего вечного старается, из боязни, но не для общества. А нужно делать то же самое, но из чувства своего человеческого достоинства, из уважения к товарищам... Прошу прощения за длинную речь, но я так и не смог сказать то, что хотел.

— Вот поэтому мне нечего здесь делать, я еду в деревню, где буду работать от души. Сюда едут те, кто легкого хочет,— сказала Рая.

— Я понимаю, что ты, дядя Вася, хотел выразить... А вот у тебя есть третья жизнь? — Это уже Вера.

— Нет. Я человек средний, меня хватает лишь на две. И только. И то еще не знаю, хватает ли? — подмигнул я Лиде и засмеялся. Та в ответ строго свела брови.

— И у тебя есть третья жизнь, дядь Вася,— возразила Вера.— Духовная. Как у каждого человека. У народа она выражается в творчестве. Я смотрю на старинное творчество, иконы, храмы как на выражение духовной жизни народа. Нельзя же в них видеть только культовые произведения. Сколько старины мы уничтожили зря, огулом, бессмысленно...

— Ты это произносишь таким замогильным тоном... Любите вы, молодые, выпячивать что-то ошибочное... Пойми, по сравнению с Западом мы идем. Они стоят, у них стабильность застоя, у нас — ошибки движения. Конечно, горечь напрасных потерь молчанием не унять... Но не нить же, тем более вам, молодым, а идти дальше, учитывая наши промахи... Только бы вам побольше искренности в стремлении к нашим идеалам. Нам никто дороги не проторил, но мы имеем мужество, силу в себе чувствуем говорить о своих ошибках прямо...

— Ты отрицаешь критику?

— Наоборот. Но только по делу, а не нитье... В Ярославле вот до семнадцатого года было семьдесят церквей, куда их столько? Осталось тридцать, и довольно. Не так все поголовно интересуются церквями. Чтобы дать дорогу новому, надо очиститься от старого, хотя бы частично. Нам пришлось это делать резко, круто, потому что старое веками въедалось. Значит, без ломки нельзя было... А потом, по-честному, я думаю, добрая половина и тогда не верила в бога по-настоящему, а уж к попам отношение известно. Вот сейчас бы так же резко, по-революционному ликвидировать наци пороки: кумов-



ство, взятки, этакую барственную начальственность, пьянство. Беспощадно...

— Хватит, отец! — прикрикнула Лида. — Разбушевался. «Ликвидировать», а от самого за версту несет... Воин! Иди на балкон покури, проветришь, сейчас чай будем пить. Только пиджак накинь, а то что-то сильно разгорячился... К куме небось заходил, это точно. Как зайдет, так весь вечер рассуждает о политике.

— Лид, ты меня извини за длинные речи, но девчонкам еще жить да жить, хочется им сказать, может, пара слов западет. У нас-то с тобой жизнь, считай, прожита, пора подбивать бабки... Ладно, пошел курить.

Лида накинула мне на плечи пиджак мой старенький, и я вышел на балкон. Пока я курил, они убрали со стола и разлили по чашкам чай. Люблю домашний чай. Всю жизнь мы пьем его с травами. Каждый год заготавливаем с Лидой зверобой, душицу, мяту, липу. Это целиком от Лиды. Возможно, благодаря травам я ни разу не обращался к врачам. Никогда не жаловался на внутренние заболевания...

После чая я снова вышел на балкон, ко мне подошла Вера.

— Дядя, давай с тобой в сад смотреть. Они переодеваться будут... Сходите завтра в кино. Новый фильм, вторая экранизация, там артистка играет... дочь... — Она назвала мне фильм и фамилию артистки, дочери знаменитости.

— Я его не смотрел, но мне этот фильм уже не нравится. Видишь ли, хороши рабочие династии, а династии в искусстве... Я как-то не очень к ним с симпатией.

— Ты не прав, она талантлива.

— Ну если только очень. А если нет? Значит, она занимает место того, кто очень. Была бы она актриса, если бы не ее знаменитый папа? А потом, зачем по несколько раз экранизировать одно и то же? Ведь сколько еще не экранизировано...

— У каждого свое видение, современные мотивы...

— Да на черта мне его видение! Режиссеров пропасть, и каждый мусолит одно и то же. Как же, у него свое видение, свои мотивы! Да и как можно классику ставить по мотивам? Да ты там не имеешь права менять ни одного слова! Классика — это золотой фонд, а вам дай волю — вы его враз разменяете на медные пятаки своего видения, своих мотивов. Сам не можешь создать — не трогай, не лмай. Ломать легче всего... Я, конечно, многого не понимаю по своей малограмотности, по своей отсталости, но, по-моему, и здесь у нас качество переходит в количество... Извини, конечно, скриплю, как дед. Что поделаешь, старею. Как быстро все это надвигается!

— Дядь Вась, какой ты старик, за первый сорт пройден, наши студентки с такими кадрятся... Знаешь, что-то мне не очень замуж хочется. И детей...

— Ты что? А для чего живешь? Как же матери без внуков?

— Вот Райка пустоватая девчонка, а замуж хочет.

— В таком разе ты в сто раз пустей ее получаешься...

Нет. Рая не пустая. Бережет себя для семейной жизни, детей любит, мечтает иметь двойняшек. Если бы Папутке выбирать жену, я бы такую выбрал...

— Может, что случилось. Вера? Перестоялась, может? Это пройдет, серьезней будешь смотреть на замужество... Значит, еще не попадался такой ухарь? А может, уже налетела?.. Даже честь иметь и то прикидываете: для кого?

— Нет. Тебе бы я сказала правду... Пошлости много, порой не хочется хорошей быть. Для кого, действительно?

— Пошлости всегда хватало и везде. Настоящих пореже, но ведь на них-то все держится... Не думай только о себе. Иногда о матери думай. У отца давно была?

— Давно. И не звоню. По мамке уже скучаю. Отцу сложно жить.

— Ты позванивай... Когда слишком многого хочешь, скорей всего ничего не будешь иметь. Но судить легко...

— Я вот хотела тебе сказать о Райке, но ты меня сбил. Пустоватая, а по-своему умная. У нее будет две жизни, как ты говоришь. Я ей немного завидую. Она ясно знает, чего хочет,— в колхоз, там работать, хочет замуж, иметь семью. Свое место она знает. А сколько посредственности лезет в искусство, в науку... Их проталкивают, сами лезут, толкаются...

— Отчасти так и должно быть. Таланты должны сквозь что-то пробиваться. Ты, главное, не вешай носа. Ты же, ей-богу, симпатичная девчущка. Разумница. Не сразу, но все к тебе придет. У тебя есть какая-то привлекательная застенчивость. Я бы не сказал, что все молодые страдают ею. Но сильно тоже не стесняйся, особенно с хами. У меня стеснительность всю жизнь, до сих пор... Злюсь на себя за это. Другой раз и есть что сказать на собраниях или где в компании, а я помалкиваю или поддакиваю... Ты сегодня из института прямо к нам?

— Сбежала с лекций.

— Неужели вас за это не гоняют? (В ответ она только махнула рукой.) Возьмется с вами много. Родители, в школе, в институте, на работе, а если какие-нибудь задатки, так сразу в гении тащат. Труд физический почти не знаете. Вот эта наша опека и лишает вас самостоятельности, а вам она необходима, и вы ее проявляете в пику нам не лучшим образом... Читал в газете, сейчас даже специальные бюро по телефону устраивают кое-где. Мол, если человеку тяжело — позвони, развеселят. Звонят в основном юнцы. Страдают от любви, хотя вешаются. Да черт с ним, пусть вешается, одним нытиком будет меньше. Уже даже попереживать душой считают обременительным... Ах, эти нянюшки взрослых оболтусов... Зачем бюро по телефону? Давайте институт создадим, пусть защищают докторские по этому вопросу...

— Идите смотрите...— торжественно объявили из комнаты.

Я с радостью прервал рассуждения на общие темы, самому стало скучно.

— Вера, это Раечка или нет? Ей нельзя в деревню ехать, украдут по дороге...

Рая покраснела от удовольствия. Она была очень хороша — стройненькая, синеглазая, белокурая, в голубом плаще. Сделала грациозный разворот на манер вальса.

— А вот,— она распахнула плащ,— розовый костюм...

— Да...— только и сказал я.

Тут же у них началось оживленное обсуждение покупок. Все три говорили разом. Я, насмешливо улыбаясь для вида, про себя любовался ими. Сейчас мне молодые (если они не подпорчены) все красивыми кажутся, а когда сам был молод, как-то красивых меньше было, что ли... Да и моя еще ничего. Как девчонка, разгорячилась, раскраснелась. Ах, бабенки, бабенки, до чего же вы любите тряпки...

— А вот...— Рая показала красивую красную кофточку.

— Райка, одень к темной юбке... Вася, ты знаешь, как идет! У меня черная вязаная юбка есть, я себе такую кофту куплю.

— Тыфу! Как обезьянка, что увидит на ком...— Я рассердился.— Да ей девятнадцать лет, а тебе пятый десяток! Мало у тебя кофточек? Парня все пижонила...

— Да не буду, я только спросила, не расстраивайся...

Я вышел на балкон, закурил и тут же пожалел, что вспылал.

— Иди глянь! Я тебе пару рубашек на лето взяла, как?

Я заглянул в комнату.

— Всегда прошу тебя, не бери без меня ничего. Я тех рубашек не сношу. Или уже на смерть заготовливаешь неодеванных?

— Что болтаешь... К Павлуше в новых поедешь.

— Ты знаешь, мне денег не жалко, но не заметишь, как барахлом обростешь. Затянет... Раечка, сколько же твои наряды стоят? Сколько?.. Ого!

— А вот... братишке купила туфли, куртку...

— Молодец, а матери что?

— Я ей свое платье отдам и старый плащ.

— Угу. А ведь все это ты за ее денежки приобрела.

— Дядя Вася, не надо придираться, она сама мне говорит, чтобы ей ничего не покупать. Все есть.

— Да она-то говорит...

— Дядя, иди на балкон, я хочу Раин костюмчик на себя прикинуть, — попросила Вера.

Как она похожа на мою мать... Я снова удалился.

«А может, это закономерно? — подумалось мне. — Революция, голодовки, войны, разруха... Люди надрывались, недоедали, одевались хуже некуда, а нынешнее поколение наверстывает за них? В еде, в нарядах. Да пусть все это так, только не возвращало бы души, не расслабляло волю, не притупляло пролетарское чутье...»

Они еще долго занимались обсуждением своих вопросов. Вера покрасовалась и в костюме, и в плаще, и в свитере. Поочередно одевались и комбинировали по-разному... Потом разложили диван, улеглись отдохнуть. Лида и Рая моментально уснули — набегались по магазинам. Вера вышла ко мне. Мы с нею разговорились на литературные темы. Перед этим она мне приносила один роман. Я прочел его. Он мне понравился. А вот героини, их настроение — не совсем. Интеллигенция (роман об интеллигенции) выглядит... ну как бы это сказать... Мы, рабочие, бодрее их, что ли. А может, они пристальнее всматриваются в жизнь? Может, мы более заняты делом?

— Он, конечно, честный писатель, хороший, внимательно смотрит на современность. Я ему верю. Но рабочий люд веселее, я бы даже сказал, беззаботнее. Живуче как-то мы живем, полнокровнее. Впрочем, он о рабочих не пишет, а о чем пишет, в том я ему верю. Во всяком случае, он пишет прямо, позиция его ясна, он мне свой, гражданин одной со мной страны, и если показывает, что у нас плохо, то с болью, явно стараясь, чтобы этого не было... А то читаешь — все какие-то намеки, ухмылочки, задачки какие-то, хотя для задачек есть другие книги. «Алгебра», например. Читаешь стихотворение — не поймешь про что. Если зависть у них, то хорошая, грусть — светлая... Вообще о рабочих пишут мало. По телевизору пьесы о врачах, художниках. А покажут рабочего, то прямо с плаката — водку не пьет, план перевыполняет... Но мы-то разные. Конечно, пример, образец и тому подобное, я понимаю, но ведь если одни примеры — читать вообще не будут... Раньше графы, дворяне о мужике писали... И как писали!

— Вот их и читай, дядя. В современной периодике закопаешься. Особенно много поэтов. Как ты выражаешься, качество в количестве...

— Тут я с тобой не согласен. В любой местности пусть будут свои поэты. Не мог же Твардовский или Симонов писать о каждом городе или к каждому празднику. Не всем же быть соловьями. Синичка тоже поет, не так красиво, но по-своему хорошо...

— Это другое дело. Но многие, и весьма, свой способ добывания средств к существованию именуют искусством. Жалуются, что не пишется. Гении такие. Обязательно писать? Не пиши. Человечество от этого ничего не потеряет. Жалуются, как им трудно, ну до того тяжело писать или играть... Что-то я не слышала, чтобы ты, дядя Вася, или мать жаловались, что вам тяжело на работе. Выступают по телевизору шахтер, космонавт — им легко, а тем прямо-таки невмоготу...

— А может, и впрямь им трудно... Что-то ты на своих коллег бочку катишь, видать, не дружно живете промеж собою.

— Мои коллеги — журналисты. Они работяги, они не жалуются. Но, в общем-то, литературу ругали во все времена, потому что читать всегда легче, чем писать. Давай хоть мы с тобой не будем этого делать.

— А я и не ругаю. Я люблю русскую литературу. Советскую литературу. Но... как бы тебе объяснить? Помню в «Родной речи» стихи: «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой...» Я до сих пор помню все стихотворение, картинку к ней помню. Деревня, все заснежено, ребятя с горы катаются... Родное все, хотя я и был городской мальчишка. А я полюбил и деревню и зиму, потому что правдиво все это... А сейчас все с какими-то вывертами, косорото. Детям показывают мультфильмы с образинами, уродами. Детям же особенно нужна правда. Иной ребенок растет, живой коровы не видел, а когда увидит — напугается, она ему уродом покажется... И поверь мне, это все не наше. У нас всегда была превыше всего правда...

— Перегибашь. Значит, что не наше, все плохое?

— Пойми меня правильно, я не против лучших их образцов, но зачем свое подделывать под чужое? Тут уже не поймешь, где их, а где наше. Литература ладно... А вот нашу баню взять. Ремонтировали полгода и что же сделали? Какую-то сауванну... Чего смеешься? Да что я, в самом деле, в Финляндии живу, что ли? Мои деды и прадеды с веником ходили в баню. Была отрада с веничком попариться пару раз в месяц, Лида пристрастилась, ведь это блаженство, ни с чем не сравнимое. Так нет, взяли и лишили нас его по своей прихоти... А как-то я даже слышал такое выражение: советский парламент. Как это так? Рядом два таких слова: «советский» и «парламент». В парламентах лорды заседают, банкиры, а у нас Верховный Совет. Совет, ясно? На знаменах было написано: «Вся власть Советам!» — а не советскому парламенту. Ильич протянул руку и сказал: «Вся власть Советам!» Вот ты как журналист напиши статью на эту тему. Материала, я думаю, достаточно.

— Я сейчас пишу, работаю над материалом о памятниках старины в нашем городе.

— О них будешь писать, когда сама состаришься, ты сейчас молодость свою кидай в самую гущу жизни...

— Хорошо, дядь Вась, подбери мне к дипломной работе натуру. Передовика у вас на заводе.

— Это пожалуйста. Есть у нас такой на сборке. Бригаду его сначала комсомольско-ударно-молодежной объявили. Сделали, вернее. Пошел бригадир в гору. Совещания, обмена опытом. У него уже заместитель выдвинулся, а он то перенимает опыт, то передает. Президиумы, слеты, портреты...

— Куда бригада смотрит, если комсомольская?

— А бригаде разве плохо? Какой заказ новый, подороже то есть, — им, передовикам. Оснастку менять — им в первую очередь. Хоть Героев вешай... Надоел он всем, этот фрукт, к твоей дипломной работе наверняка перезреет. Если его раньше не стряхнут... Рабочие-то знают, чего он стоит, а его в пример им ставят. Народ наш трудолюбив, любит сделать работу хорошо, чисто, без суеты, бестолковщины, показухи. А его принуждают... А другой раз гонка. Просто некогда хорошо сделать. Стараются хоть на день, но раньше срока сдать, хоть на процент, но перевыполнить. «Молнии», премии, аплодисменты, речи... А потом с твоим агрегатом кто-то там в поле, кого я не вижу, но, ей-богу, чувствую и понимаю, долбаются и костерит тебя в душу. Дорого обходится государству такая спешка. Сделай, сколько положено, но чтобы не переделывали после тебя...

— Так производительность не будет расти.

— Зато на наших агрегатах на косовице производительность вырастет. А тут, пожалуйста, инженеры для этого, пусть внедряют, думают, обеспечивают. Вот тебе и будет рост производительности. Да и у роста пределы есть, между прочим. Пусть вот у нас полуавтоматику внедряют, я как двадцать лет фланцы режу вручную, так и продолжаю. Самое вредное во всем этом — что молодые учатся работать абы как, абы быстрее... Вот тебе тема.

— Сложная, дядя Вася, тема.

— Походи с полгода к нам на завод, поработай в каком-нибудь цеху, у маляров например.

— Дискуссионная тема. На ней диплом рискованно делать. Ее надо разрабатывать маститому.

— А ты рискни. На то тебе и молодость. Ведь рискуют же твои соотечественники. В космос летят, самолеты испытывают, во льдах годами живут... Ну напиши тогда о каком-нибудь крупном руководителе. У них хлеб нелегкий.

— Ваш директор, например?

— Например, да. Много было на моем веку начальников. Разных. Заметил: если человек на высоком посту заслуженно, он скромнен, не кичится своим положением. И себя унижить не даст, и другого не унижит. А вот если кого туда случайной волной вознесло, тот перед вышестоящими в три погибели будет гнуться, а подчиненных вообще в бараний рог скрутит, чтобы отличиться... Наш директор на своем месте. Начинал с рабочего, может, и выше пойдет. И что самое ценное — хозяин... Словом, тех настоящих, которые сами в руки просятся, с избытком. А ты о старине...

— Это тоже тема настоящая. Предмет знаю... Сам говоришь: исправлять упущенное...

Тут Рая проснулась, подала голос.

— Корова наша приснилась с бычком... — сказала, потягиваясь сладко. — Что вы нас не разбудили? Мультки идут по телеку.

Вот эти «мультки» и «телеки» вместе с «магом» она и привезет в деревню. Стоило ли ее слать сюда за этим?..

— Давайте чай пить, — сказала Лида. — Вася, может, кофе сделать или на ночь не надо? Верочка, оставайся у нас ночевать...

Я отказался от кофе и закурил.

Привыкли уже к Рае. Два года она с нами. А ей до сих пор бычки снятся. Потеряла она эти два года. Да и поехала неохотно, а за компанию с подругой и по настоянию матери.

Но кому позарез из деревни надо, того никакими силами не удержишь... А наш из города укатил, но — сам. Как он там сейчас, наш лесовод?

...Растет деревце, его надо полить в жару, спасти от вредителей, от хулигана, чтобы не сломал. Но и в одеяло кутать не стоит — пусть закалется, не надо гнуть, куда тебе вздумается, — кривое вырастет или зачахнет...

Говорят, всякое сравнение хромает. Но что поделаешь, раз оно хромает?

---

---

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ



НА ПОДЛОДКЕ

Вода холодна!  
Вода без дна!  
И нету воде предела.  
Если вокруг вода одна,  
Если вокруг вода темна —  
Она молчит  
Помертвело.

И вспыхнет в отсеке  
Экран живой:  
Взыграют  
Солнечно росы.  
Где рыбы  
Выкованы темнотой,  
Под толщей воды,  
Для людей чужой,  
Фильмы смотрят  
Матросы.

У каждого в сердце  
Свой плеск речной,  
Свой говорок рябиновый  
И путь к роднику,  
Что камни прожег...  
Пускай растопырился  
Осьминог  
Нахохленно  
Над субмариной.

Иль змея-горыныча  
Он узрел  
Бескостной  
Башкой дебильной?  
Метнулся прочь,  
Трусливый побег  
Под рыбий пузыристый  
Долгий смех  
Бомбой прикрыл  
Чернильной.

Ах, Василиса!  
Идет весела!  
К матросам сошла в глубины.  
Так вот как хранят  
Красоту теперь,  
К ней в солнечный терем,  
В покои дверь.  
Сказочные мужчины!

Ушли от любимых,  
Чтоб их убересть,  
Дорогой отчаянной.

Горда субмарина  
Их твердостью плеч!  
Не оброни же  
Матросскую речь  
Из губи своей задренной.

О родине фильм!  
К матросу матрос —  
Тот сидя, тот лежа,  
Тот в полный рост, —  
С трубами словно слиты.  
Такой на места  
В отсеке спрос —  
Матросами  
Трубы повиты.

Суворов как свой  
У морской стези,  
Тачанка прошла Чапая... —  
С матросами шли! —  
Кого ни спроси,  
У каждого полководца Руси,  
Видно, душа морская.

Над лодкой  
Не звездами синий свод —  
Медузами густо вышит.  
Пускай глубина  
От шторма поет! —  
Но соль морская  
И крови соль  
Друг друга  
Острее слышат.

Врага затаившегося  
Разгляди!  
Врага от разбоя  
Повороти!  
Встают во мраке обманно  
Кораллы  
Березами на пути,  
Капустою  
Белокочанной...

Акулю тьму  
Корабль держал  
В локаторах сосредоточенно.  
Тут каждый матрос  
Профессором стал,  
Тут каждый матрос,  
Как дельфин, удал.  
В чувствах глубинных  
Точен.

---

---

---

ИБРАГИМ КЭБИРЛИ



НА СЕГОДНЯ ОПИРАЛСЯ Я

\* \* \*

Если вдруг тумана кисея  
Падала на милые края,  
Завтрашние дни я вспоминал.  
Чтоб была счастливой жизнь моя,  
Чтоб любой сдавался перевал —  
На сегодня опирался я,  
Опирался я!

А когда я брал подъем крутой,  
А когда я ссорился с судьбой,  
То постиг я смысл бытия:  
Не вступал с судьбой своей я  
в бой —  
Верной была жизни колея.  
На сегодня опирался я,  
Опирался я!

Взят был испытаньями в штыкч,  
Омуты все были глубоки —  
Клятва была крепкая моя.  
Чтобы всем тревогам вопреки,  
Чтобы день вставал, лучи  
струя,—  
На сегодня опирался я,  
Опирался я!

Я люблю рачительность труда.  
Это к счастью — трудности  
всегда.  
Это к песне — новые края.  
Если злобно говорит беда,  
Веры нить из хитрого витья,—  
На сегодня опирался я,  
Опирался я!

Радости я легкой не искал,  
Сбившихся с веселья не искал  
И не жаждал легкого житья.  
А когда я падал — вновь  
вставал,  
В русле своем снова, как ладья,—  
На сегодня опирался я,  
Опирался я!

Низок взлет, чтоб высоко  
присесть.  
Отстругать от молний отблеск  
весь.  
От вражды устал и от вранья,  
Радость — словно издалека весть.  
Свет ее доверчиво лия,  
На сегодня опирался я,  
Опирался я.

Стойкость я обрел навстречу злу,  
Ударялся больно о скалу,  
Разбивался вдрызг я до щепья.  
Чтобы вновь ожить, припав  
к теплу  
Крепкого, здорового жилья,—  
На сегодня опирался я,  
Опирался я.

Перед всеми красками земли  
Застывал — круги в глазах цвели.  
Двойника в душе своей тая,  
Говорил: «Что хочешь, жизнь,  
вели!»  
Чтоб найти свой свет, свои края —  
На сегодня опирался я,  
Опирался я.

Тысячи преград мне жизнь дала,  
Долго зависть вслед за мною шла.  
Я ж горел, а я пылал, друзья,  
Чтобы — только пепел и зола...  
И смеясь, любя, смеясь, любя,—  
На сегодня опирался я,  
Опирался я.

В пламени огонь разил меня,  
Я в огонь впитался,  
В плоть огня,  
И огня вонзились лезвия.  
Чтобы жить для завтрашнего дня,  
Чтоб сверкать средь жаркого  
литья —  
На сегодня опирался я,  
Опирался я.

**Алое пламя меня овевает**

Глаза мои пламени видели столько,  
Что лишь об огне —  
Мое каждое слово!  
В нем жаркая сила живого потока,  
В нем пламя пылает, в нем — жизни основа.

Его я принес из окопа с собою,  
Принес к своим дням, чтобы было не грустно,  
Взрастил в своем сердце  
И сделал судьбою,  
Взрастил я в биении сладостном пульса.

Огонь этот — в жизни навеки опора.  
Плоды пожинал на его я побеге.  
Огонь, что сжигает грусливого скоро,  
Упорно со мной говорит о победе.

Огонь меня жжет —  
И все время я таю,  
В огонь превращаюсь, в огонь осыпаюсь.  
Куда б ни глядел — в его бликах пылаю,  
Лицом лепестков его красных  
Касаюсь...

Пусть буду всегда я в пыланье, в сверканье,  
Пусть тысячи раз мое сердце светает,  
Пусть огненный путь мой свивается в пламя —  
Ведь алое пламя меня овевает!

\* \* \*

Идущий по верной дороге без края,  
Речь в срок обретая и в срок умолкая,  
Любовью своею людей опекая,  
Гордящийся ими с любовью во взоре —  
тот счастлив!

Окутанный в тучи и верящий диву,  
Зерно превративший в зеленую ниву  
И все же, не сдавшись печали порыву,  
Крушащий тоску, отбивающий горе —  
тот счастлив!

Чьи думы высокие — мудрости скерцо,  
И сердце свое посылающий в сердце,  
Кто море сжал в капельку — некуда деться,  
И капельку — в море, и капельку — в море, —  
тот счастлив!

*Перевел с азербайджанского ВЛАДИМИР ЦЫБИН.*





---

---

ТАМАРА ПОДОРОВА

★

## БАБА ГУТЯ, БУРЛОВ И ДРУГИЕ

Повесть

Не так давно, когда я был в Иркутске, ко мне в номер зашла дежурная по этажу и показала рукопись другой дежурной. Честно говоря, я не поклонник некоторых часто бестактных, а иногда и просто наглых представителей этой профессии и отнесся к рукописи усмешливо. Каково же было мое удивление, когда, ознакомившись с повестью, подписанной «Т. Подорова», я увидел поразительное знание жизни, сочный язык и гуманистический, нужнейший людям замысел повести. Теперь я уже не буду никогда относиться к профессии дежурных по этажам гостиниц предвзято.

Несколько слов о повести. С легкой руки Артура Хейли у нас тоже пошли всяком романы, когда автор специально начинает работать на каком-либо предприятии, чтобы его описать. Успех таких заранее задуманных произведений часто весьма поверхностен, как поверхностны и сами произведения. Дело в том, что люди любого предприятия, работая рядом с писателем, стараются выглядеть в его глазах по-иному, а если он скрывает свою профессию, начинают об этом догадываться. Т. Подорова описывала комбинат по ремонту бытовой техники. Но она пошла туда не за сбором материала, а по своим личным жизненным обстоятельствам. В мастерской она увидела огромное количество проблем, важных не только для этой производственной точки и это заставило ее написать повесть — глубоко своеобразную, исполненную трезвого бытового знания и вместе с тем романтической веры в духовную сущность человека. Образ бабки Гуты, например, замечателен. Сильна и сама лирическая героиня, от лица которой ведется повествование. Скупыми выразительными штрихами набросана целая галерея образов. Перед нами жесткий, неприукрашенный реализм и вместе с тем повседневная борьба за честность на любом месте. Это одна из самых главных сегодняшних проблем, и решается она Т. Подоровой с гражданской смелостью и художественной достоверностью. Иногда повесть утомляет подробностями, но эти подробности работают на художественный замысел повести. Думаю, первая повесть Т. Подоровой займет свое место в нашей литературе как своеобразная полудокументальная художественная проза, являющаяся, несмотря на свою полудокументальность, документом неравнодушия и веры в жизнь.

Евг. ЕВТУШЕНКО.

1

**В** бился Николай Бурлов.

Он нес на спине стиральную машину. Старушка Зырянова, владелица этой машины, стояла на площадке четвертого этажа, распахнув дверь своей квартиры, поджидала его. Николай шел грузно, тяжело, нащупывая ступеньки, будто слепой. Старушка двинулась ему навстречу. Но у нее болели ноги, ходила она плохо. Ей удалось сделать всего один шаг — и она увидела, как Николай покачнулся... Падая, он ударился виском о ребро ступеньки. А машина свалилась ему на голову.

Машина была цилиндрической формы. Она прокатилась вниз по всей лестнице. Этот грохот вот уже четвертую неделю звучит в ушах старушки Зыряновой.

Мы, все трое, работали вместе. Да, и старушка тоже. Поэтому теперь, когда она видит меня, она вспоминает Николая, его смерть, и в ее ушах нарастает грохот.

Врачи не разрешают мне часто бывать у нее, и я стараюсь приходить к старушке как можно реже. Но это не помогает и мне. Я не могу не думать о Николае, о том, как удивил он меня тогда, три года назад. Ведь я никак не ожидала, что именно он, самый скандальный и самый злой, первым пойдет на это бездоходное дело, которое я предложила механикам.

Нет, не то я говорю. Совсем другое мучает меня сейчас: виновата ли я в этой смерти? Старушка Зырянова считает меня главной виновницей. Я знаю, она так и думает. Что будет со мной, если и я приду к такому же выводу?

Чего я только не передумала за это время, какие только варианты событий не перебрала в уме, тех событий, которые могли бы произойти, если бы не встретила мне старушка Зырянова.

Вообще-то, конечно, она тут ни при чем.

Хотя началось все именно с нее. Мы познакомились утром 1 декабря. Это был первый день моей работы на новом месте. Я вышла из дома пораньше, чтобы застать начальника цеха, пока он не уехал в управление или еще куда-нибудь. На улице было темно, тихо, снег падал медленно и отвесно.

Рядом со мной по обочине семенила худенькая старушка. Она что-то везла на санках. Дорога шла под уклон. Грузенные санки катились хорошо, сами собой, и старушке, видимо, трудно стало сдерживать их. Она остановилась, подперев санки ногой, поправила платок и в растерянности огляделась по сторонам. Я подошла к ней.

— Куда вы в такую рань, бабушка?

— Дак очередь занимать. Только вот сама не знаю где.

— Это как же так?

— Вот так. Сроду такой улицы не слыхала в нашем городе.

— Название-то улицы помните?

— Да холера его заberi, такое название, что...

Старушка была верткая, разговорчивая. Она то и дело поправляла полушалок, наклонялась к санкам, подтягивала веревки, рылась в хозяйственной сумке, доставала белый платочек, утирала им лицо и все говорила, быстро-быстро, но четко выговаривая каждое слово.

— Такое название, что просто одно заблуждение, — уточнила старушка. — Мне сестренница, когда еще жива была, рассказывала, что в ихнем городе одной улице сразу два названия дали: Сако и Ванцети. А чтобы сразу пять названий — такого даже в ихнем городе не случалось. Вот и боюсь у людей спрашивать. Скажут, из ума выжилась.

— Ну а все-таки скажите, может, я знаю.

— Улица-то, как ее... Три индуса!

— Три индуса?..

Старушка порылась в сумке. Достала клочок измятой бумаги. Я подошла ближе к дому, где в окнах первого этажа горел свет, развернула бумажку. Неровными, скачущими буквами было написано: «Индус три рем быт карма рейшн».

— Холеру каку-то придумал. — Старушка спрятала бумажку в сумку под белый платочек. — Но у него вид такой сурьезный был. Я и поверила. А теперь думаю: пошутил, он такой.

— Неладно он шутит.

— Да я на него не сержусь. Он парень хороший. Дашь ему трешку — и полгода машинка стирает замечательно!

Я взяла у старушки веревочку от санок, и мы пошагали рядом. На минуту старушка умолкла. Открыто вздохнула.

— А теперь придумали каку-то холеру. Все мастерские закрыли. Централ сделали. Тащись туда этакую даль. Кому хорошо сделали? Себе хорошо сделали, а не людям. Да и где он стоит, этот централ, мне, поди, сроду его не найти, как этих трех индусов.

— А вы бы по телефону механика вызвали.  
 — Не умею я с телефоном разговаривать.  
 — Попросили бы кого-нибудь.  
 — Дак просить... Лучше я пешком туда сбегаю.  
 — А все-таки машинку везти не надо было. Приехали бы из центра да увезли бы.

— «Приехали»... Во-первых, за этот фургон платить надо. А во-вторых, не едут они. Я ждала, ждала, они все не едут...

Теплый мягкий пух обволакивал землю. И нас вместе с нею. Люди шли молча, будто прислушивались к падающим снежинкам. Старушка теперь говорила негромко, хотя совсем молчать, наверное, было не в ее силах. Она сокрушалась о своем механике, безнадежно и грустно, как бы смирившись, поругивала нынешнюю молодежь. Думала вслух:

— Кабы знала, что будет теплая погода, я бы встала поране. А теперь уж, верно, не буду первой...

В новое пятиэтажное здание, где разместился ремонтный комплекс, мы зашли со двора согласно указанию стрелки, черной краской прочерченной на рекламном плакате, сулившем населению несчитанное множество бытовых услуг. Но пробираться к заветной очереди не рискнули: лестница была крутая и каждая ступенька горбатилась толстым снежным наростом.

— Ты, доча, иди занимай очередь, а я покараулю машинку,— попросила старушка.

Через узкую дверь я попала в такой же узкий подслеповатый коридорчик. С трех сторон его теснили металлические фигурные решетки, выкрашенные в черный цвет. Я пошла вдоль решетчатой стены, намереваясь найти дверь. И тут заметила, что помещение рассекается решетками на маленькие клетки. И во всем этом произведении чьей-то архитектурной мысли не было и намека на то, как проникнуть внутрь его.

Где-то в конце коридора послышались голоса.

— Эй, люди! — крикнула я. — Где вы?

Но меня не услышали. Или не захотели услышать.

Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулась и увидела Сергея Михайловича Гаврилова, моего начальника цеха.

Гаврилов взялся обеими руками за решетку и потряс ее.

— Язви его в кадык!.. Вот она, мелкая душа,— по себе рубашки кроит! — Неистовый шепот его внезапно преобразился в глуховатый бас: — Бурлов!

В конце коридора отворилась дверь. Оттуда пятился маленький человечек в дырявом черном полушубке. Он притрагивался рукой к шапке и приговаривал:

— Извините за компанию...

— Пошел!

— Спасибо за беспокойство...

— Ты еще здесь?!

— Если что не так — не ваше дело...

Вслед за человечком появился мужчина высокого роста, лет тридцати пяти, в ондатровой шапке и телогрейке. Он схватил человечка в охапку и вынес на улицу. Тотчас вернулся, увидел начальника цеха, вытащил из кармана ключ и отворил клетку.

— С утра начинаете,— сказал Гаврилов, входя в коридорчик.— Проходной двор, а не производство. Где вахтер?

— Болеет.

— А Леонтьевна?

— Тоже болеет. Все мы простываем в этих клетках. Я говорил вам: долго не продолжим. Зачем приемщиков переместили сюда из той комнаты?

Уличная дверь на мгновение распахнулась.

— Бурлов! Ты последуешь за мной! До встречи в реанимации!

Бурлов метнулся к двери. Но Гаврилов поймал его за локоть.

— Не обращайтесь внимания, — сказал он, — давайте, Николай, займитесь делом. Вон бабушка ждет.

— Да-да, — встрепенулась старушка и побежала к выходу.

— Стойте, бабушка. — Бурлов остановил ее. — Вы уж не машинку ли привезли?

— Конечно.

— Зачем привезли? Я что вам говорил?

Старушка опустила глаза и принялась сверлить бетон носком валенка.

— Дак я ждала, ждала...

— Я хоть раз забывал к вам прийти?.. И потом, я сто раз вам говорил: отслужила ваша машинка свое. Ремонтировать ее надо, капитально. А это будет стоить дорого. Лучше купить новую.

— Да где же я, сына, возьму деньги на новую машинку? Ты что, с ума сошел?! Такие деньги!

— Ну, здесь случай ясный, — сказал Гаврилов и повернулся ко мне. — Пойдемте наверх. Я вкратце объясню вам обстановку. К девяти мне надо на планерку.

Я мимоходом шепнула старушке, чтобы она ждала меня здесь.

Поплутав в клетках, мы выбрались из мрачного лабиринта и вышли к лестнице, ведущей на верхние этажи.

— Я почему-то раньше не видела этих решеток. Кто это придумал, Сергей Михайлович? — спросила я, глядя на своего начальника снизу вверх.

Он шел ступенькой выше меня, протягивая мне руку.

— Осторожно, ступеньки покатые. Особенно не спешите, когда будете спускаться. Селекторная связь еще не работает, и вам придется часто бегать в салон. Надо бы обшить ступеньки уголком. Чует мое сердце, будет на этой лестнице несчастный случай.

— А эти решетки...

— Недавно сделали. Вы не заметили их вчера, ведь мы с вами заходили с парадного, через салон.

— А лифта нет?

— Только грузовой.

Мы поднялись на третий этаж. Гаврилов открыл двери кабинета, любезно предложил мне стул и продолжал говорить тихим басом, смотря мне в лицо из-под рыже-золотистых ресниц:

— Мы с вами должны постараться на своем участке создать если не отличное, то хотя бы сносное обслуживание...

Я слушала его, оглядывая комнату. В кабинете было пусто. Кроме стола и двух стульев — ничего. На стенах висели схемы холодильников и стиральных машин разных марок.

— Вот, повесил, — сказал Сергей Михайлович, заметив, что я поглядываю на схемы. — Разбираюсь между делом. Образование мое, как и у вас, другого профиля. Вы-то хоть в Ростове два месяца стажировались. А мне не пришлось... Вас рекомендовали как неплохого администратора. Вот я и надеюсь с вашей помощью отладить ремонт стиральных машин, а главное — систему обслуживания.

Гаврилов выдвинул ящик стола, достал папку с бумагами, положил на стол. Бумаг в папке было много, они расползались по столу, Гаврилов тщетно пытался собрать их.

— Комплекс работает полгода, — говорил он, время от времени пробегая глазами исписанные от руки листочки, лежавшие в папках, чем-то очень похожие друг на друга. — Я тут всего третий месяц. До меня начальника цеха не было. И когда машины, сданные в ремонт, перевозили сюда из мастерских, никто не заботился об их сохранности. До сих пор они не учтены. Я думаю, их примерно около шести-десяти... Так что принимать хозяйство вам не от кого. Есть у нас, прав-

да, старший мастер Фейзулина. Но она не хочет даже слышать о стиральных машинах. Помощи вам от нее, мне кажется, не будет... Коротко о ваших механиках... Бригадир Владлен Яновский. В прошлом году окончил техникум нашей отрасли. Предлагали работать мастером на участке стиральных машин. Отказался. Получил у нас трехкомнатную благоустроенную квартиру как молодой специалист, имеющий семью. Присмотритесь к нему хорошенько. Роберт Хитоян. Сорок лет. Почему-то до сих пор неженатый. Учится заочно в политехническом. В работе очень аккуратный. Ребята прозвали его Хитрояном. Тут, видимо, просто игра слов, никакой хитрости я в нем не заметил. Хотя странности есть. Зверев Анатолий. Ему двадцать пять. Работал у нас еще до армии. Добродушный. Безалаберный. Но дело свое любит, работает с удовольствием. Юрий Ли. Славный паренек. Старательный. В детстве переболел полиомиелитом. Нога у него... Месяц назад решил жениться. Гости собрались, а невеста не пришла. Но ничего, перетерпел. Не совсем, правда, оклемался еще. Вы уж как-нибудь с ним поосторожней. Ну и Бурлов Николай. Вы сейчас видели его внизу. Временно работает дефектовщиком. Сегодня верну его к вам. Женат. Двое детей. В нашей системе лет пятнадцать. Ас. Иногда выпивает. Наша с вами задача сделать так, чтобы он забыл об этом совсем... Итак, комсомольцев у вас всего трое: Яновский — заместитель секретаря комсомольской организации завода, Зверев и Юрий. Комсомольская работа запущена. Может, в связи с переездом. Все-таки хоть и внешняя, но перестройка. А на мой взгляд, именно теперь комсомольцы и должны проявить себя. Пять человек — это, конечно, мало, чтобы обслуживать город и ближайшие сельские районы. Набережьем учеников. Отдел кадров этим уже занимается... Если по-хорошему рассуждать, так надо бы нам в цехе иметь бухгалтера, нормировщика, кладовщика и учетчика. Но этот вопрос скоро не разрешится. Поэтому придется вам все эти обязанности выполнять самой. Трудно, конечно. Будем помогать друг другу. Вот пока все... Да, заберите-ка эти жалобы. — Гаврилов придвинул ко мне папку с бумагами.

Мы вышли. Секунду-другую Гаврилов стоял перед дверью с ключом в руке. Потом положил ключ в карман, оставив кабинет незапертым.

— Кто-то утащил цветок с подоконника. Может, принесут, — сказал он.

На пятом этаже было просторно и тихо. Против окон торцами к батареям стояли верстаки. У дверей новый полированный конторский стол. Механики потихоньку разговаривали, расположившись вокруг стола. Поодаль, рядом с вешалкой, приземисто кривилось низкое кресло с подвинутой внутрь косолапой ножкой. На самом его краешке вместе со своей сумкой примостилась старушка, моя утренняя знакомая.

Гаврилов коротко представил меня и убежал.

Я сняла пальто, шапку. Долго возилась около вешалки, не могла найти свободного места. Юрий Ли, слегка прихрамывая, подошел ко мне, хотел помочь, но старушка опередила его. Схватила мое пальто и принялась перевешивать всю одежду по-своему. Юрий подал мне свободный стул.

Я попросила Яновского сделать раскомандировку.

— А почему я должен делать? — сказал он, небрежно постукивая о край стола массивной разноцветной авторучкой.

Яновский был красивый ясноглазый блондин лет двадцати восьми. Коричневый пиджак с резко очерченными острыми плечами, застегнутый на одну пуговицу, казался ему тесноватым. Острые пиджачные плечи отошли назад, открытая шея тянулась вперед и вверх. Когда он говорил, было заметно, как двигается под кожей кадык.

Узкоплечие пиджаки были теперь в моде. Меня удивило другое —

галстук. Широченный, блестящий, ядовито-зеленого цвета, чуть ли не во всю грудь.

— Вы бригадир,— ответила я, разглядывая галстук: он мешал мне сосредоточиться.

— Бригадирскую надбавку я не получаю. Бухгалтерия отказалась платить. В приказе не сказано о надбавке. Так что бригадира здесь нет.

— А если я добьюсь надбавки, вы согласитесь помогать мне?

— Смотря чем. Если вы заставите меня бегать по городу, выискивать запчасти — и за три оклада не соглашусь.

— Так. Понятно.

Что-то не нравился мне этот красавчик. Но первое впечатление, говорят, бывает обманчиво.

Я расспросила механиков, кто где живет и какие районы обслуживает, справляются ли они с планом, сколько зарабатывают. Мне интересно было узнать, соревнуются ли они с холодильщиками, но заводить об этом разговор так, с ходу, наверное, не стоило. Время шло, а Бурлов не появлялся.

Старушка, перевернув кресло на бок, поволокла его в коридор. Я предложила Хитояну помочь ей: очевидно было, она собралась ремонтировать кресло.

Потом я услышала: кто-то вошел в цех и встал за моей спиной. Сразу запахло так, что я поняла: Бурлова посылать по заявкам нельзя. И оставила его работать в цехе. Все же на глазах будет.

В ящиках стола я нашла кучу счетов, выписанных механиками за ремонт стиральных машин. Все это надо было проверить, привести в порядок, сделать разноску (если тут вообще существовала бухгалтерская книга), разобраться с жалобами, добыть скоросшиватели, чистые журналы.

Юрик, наверное, уже стучался в двери первой квартиры, где его поджидала хозяйка стиральной машины.

## 2

Бурлов с руганью швырял стиральную машину с пола на верстак и обратно, яростно колотил молотком по опоре, на которой держался активатор. Но втулка, видно, прикипела — намертво. «Надо отмочить, керосину бы где найти. В самом деле, хоть кувалдой бей...» А в технологической карте ничего подобного не предусмотрено. Там коротко и четко написано: снять опору. И даются на эту работу считанные минуты. Соответственно, и оплата мизерная... Вот почему неохотно идут сюда работать механики. Все норовят в холодильщики податься. Там работа легче, чище, а оплата куда с добром.

Я пока не жаловалась на свою память, но, считала, надежнее будет, если запишу.

«Вращающиеся верстаки. Керосин».

Так появились первые строчки в моей записной книжке. За три последующих года они составят такой список, какой в тот миг я ни за что бы не смогла вообразить.

Все это время я поглядывала и на Хитояна. С утра и до сей минуты он не сказал ни единого слова. Серьезный мужчина... А почему серьезный мужчина не снимет шапку? Что париться-то?.. И долго он будет молчать? Впервые вижу такого флегматичного кавказца.

«Рабочая спецовка. Береты»,— сделала я еще одну запись. По технике безопасности работать без головного убора все-таки не полагалось. Если кто носит длинные кудри, как, например, Юрик, или у кого такие буйные патлы, как у Анатолия, может и зацепить, когда будет работать над вращающимся активатором.

Серьезный мужчина между тем по-прежнему молча стоял у своего верстака и медленно, как мне казалось, укладывал инструмен-

ты в плоский чистенький чемоданчик. Я рассмотрела в чемоданчике множество углублений, перегородок, пенальчиков для надфилей и отверток, маленькие целлофановые мешочки — наверное, с шурупами, прокладками и прочей мелочью.

Старушка все еще сидела в кресле. Я не знала, как с нею быть. Заговорить сейчас о ее машинке с Бурловым я не решалась, ждала, когда все механики уйдут. Мы останемся втроем, и тогда, может, я осмелюсь.

Чья-то выдавшая виды спортивная сумка лежала посреди цеха на полу. Из нее вывалились рукавицы, гайки, большая отвертка с наборной пластмассовой рукояткой. Владельцем этой сумки был, по всей вероятности, Анатолий Зверев.

Веселый, возбужденный бежал он, пропуская одну-две ступеньки, вверх по лестнице мне навстречу, когда я собралась идти на заводской склад.

— Ну, Нина Григорьевна, держитесь! — радостно сообщил он. — Там в салоне такое творится! Диспетчера чуть не разорвали! Алка Яновская плачет. В истерике. Нажаловалась мужу. А он пошел к Гаврилову. Тот и разрешил всех заказчиков пропустить к вам. И впредь, сказал, чтобы диспетчеры выписывали особенно яростным жалобщикам пропуска прямо к мастеру.

— Так. Понятно... А ты почему, Анатолий, до сих пор не ушел выполнять заявки?

— Странная вы, Нина Григорьевна, как я погляжу. Прикидываетесь, будто ничего не знаете.

— А в чем дело?

— Ну приду я. Скажу: здра-а-а-австуйте! Вы меня не видели? — Он снял шапку, поклонился мне в пояс, развел руками. — Посмотрели? Вот я какой. А теперича до свидания. — И он улыбнулся во весь рот, показывая все свои редкие зубы. Улыбка его была настолько добродушна и заразительна, что невозможно было не улыбнуться в ответ.

— Ну хоть какие-то детали есть на складе? — спросила я, еле сдерживая улыбку.

— Какие запчасти есть, те машинки давно сделали. А эти заявки старые. Мы сколько раз говорили Алке, чтобы не принимала такие. Но ей же говорить бесполезно. Сидит там, цаца.

— А Юра-то ушел уже...

— Так вы Юрке отобрали одну дефектовку. Все машинки по первому разу.

Видит бог, я ничего не отбирала. Вернее, не хотела и не думала. Получилось, наверное, само собой.

— Значит, Яновский тоже не ушел?

— В салоне. Жену успокаивает. Ему хорошо-о-о, она и заявочки ладные ему подкинет.

— Как это подкинет?

— А что, вы не знаете? А в маршрутку не запишет, сразу ему отдаст.

Ага. Значит, на левые заявки детали находятся. Так. Понятно.

— Я попрошу Гаврилова разобраться, чтобы механики не появлялись в салоне. А сейчас, Анатолий, отбери те заявки, которые не сможешь выполнить из-за отсутствия запчастей. Я отдам их старшему диспетчеру, пусть сами разбираются. Это их работа.

— А старшего диспетчера нет. Есть только должность. И оклад хороший. Все наши диспетчерши о ней мечтают.

— Та-ак... Слышь, Анатолий... Хорошенько поройся в своих сусеках, может, найдешь чего-нибудь. Да иди живее, времени-то уже сколько.

— Чего рыться? Где рыться? Все уж подчищено.

Не может такого быть. Если Хитоян промолчит и уйдет — значит, у него и у каждого есть заначка.

— Иди, иди, Анатолий. Кумекай. Займи. Не все же время так будет. Я потом тебе верну. Ты только пойдешь куда, сколько. Давай пошустее.

Анатолий подобрал свою сумку и пошел к вешалке одеваться. Что за порочная система — выдавать запчасти под честное слово! Подотчет, называется. Так весь завод можно разбазарить. Да уж половину, наверное, растащили. Вон ревизоры три месяца на складах, в бухгалтерии копаются, и конца их работе не видно.

«Проверить подотчет механиков», — записала я.

— Все только и знают — давай, давай! Никто не скажет — на! Это Бурлов. Он все-таки выбил опору. Грохнул молоток об пол. Сел на стул. Вытер пот рукавом.

«Журнал запчастей диспетчерам. Левые заявки», — успела я пометить в книжке и вдруг услышала шум. Он был какой-то странный, похожий на шуршание наждачной бумаги.

Я вышла на лестничную площадку и перегнулась через перила.

По лестнице поднимались люди. Они шли молча. Скандалила только одна тучная женщина в собольей шапке. Она возглавляла шествие, отдыхая почти на каждой ступеньке. Мне слышно было ее трудное дыхание, я будто ощущала каждый ее шаг — так тяжело давался ей подъем. Кончик соболиного хвостика, закрепленный на макушке шапки, подрагивал в такт ее движениям. И внезапно заморгал, торчал как прибитый, словно боялся сорваться, пока женщина посылала проклятия Рембыттехнике. После каждого проклятия женщина оборачивалась назад и выжидающе смотрела вниз, на людей. Но они почему-то молчали и не старались догнать ее.

Вслед за ней, несколькими ступеньками ниже, поднималась Галина Викторовна, классная руководительница моей дочери.

— Здравствуйте, — сказала она, встретив меня на площадке, — и вы здесь. Тоже стиральная машина сломалась?

Но, заметив, что я без пальто, Галина Викторовна стала удивленно оглядывать меня.

— Добрый день, Галина Викторовна. — Я протянула руку. — Я работаю здесь. Мастером.

Что-то дрогнуло в ее лице. Она отвела глаза. Достала из сумочки носовой платок... Мы были одних лет с нею. Обе носили очки. Даже внешне походили чем-то друг на друга. Я поняла: ей надо спрятать глаза, очки тут ни при чем. Она так и не успела протереть их...

— Успокойтесь, Галина Викторовна, что-нибудь придумаем, — прикоснулась я к ее плечу. — Проходите, пожалуйста, в цех.

— Нет... Стыдно... Я, наверное, не смогу больше держаться... Вы бы знали, Нина Григорьевна, как она хамила, эта диспетчерша... как она хамила... это... это... невыносимо...

Она спрятала лицо на моей груди. И вдруг стала медленно оседать. Я подхватила ее. Лицо Галины Викторовны, покрасневшее от слез, начало быстро бледнеть. Глаза закрылись.

Вокруг меня крутилась старушка Зырянова.

— Помогите, — сказала я старушке.

— Счас... Счас... Милая, что же это... Счас... — Старушка кинулась за стулом.

— Хитоян! Вызовите «скорую помощь»! Живей!

«Скорая помощь» приехала на удивление скоро. Галину Викторовну увезли.

«Боже мой, что делать? Что делать-то?..» — лихорадочно соображала я. Но ни одной мало-мальски приличной мыслишки не брезжило в моей голове.

В растерянности я оглядела людей. Они заполнили чуть ли не весь цех. Стало тесно и сумрачно.

Я подошла к своему столу. Передвинула с места на место папки.



И вдруг увидела перекидной календарь. Между его листками в петли были продеты хорошо отточенные карандаши...

— Товарищи, я мастер этого участка. Зовут меня Азовская Нина Григорьевна, — произнесла я. — У кого есть авторучки, достаньте, пожалуйста. У кого нет — вот карандаши.

Я отрывала листочки от календаря и раздавала их людям.

— Только пишите, пожалуйста, разборчиво: фамилию, имя, свой адрес и телефон. Потом укажите марку своей стиральной машины. У кого есть с собой квитанции, пометьте, пожалуйста, дату, когда сдали машину в ремонт, и сумму, какую уплатили.

Не все, конечно, смогли уговориться так сразу. Тучная женщина, обливаясь потом, поминутно поправляя соболью шапку, спадавшую ей на глаза, приговаривала:

— Этого еще не хватало. Новые фокусы выдумали. Не знают уж, как людям мозги запудрить.

Остальные писали молча, сосредоточенно, кое-кто с недоверием поглядывал в мою сторону.

— Чтобы мы быстрее разобрались, не забудьте, товарищи, написать, где находится ваша машина — у нас в цехе или дома.

Я собрала листочки. Положила в папки с жалобами.

— Через три дня, товарищи, каждому из вас я позвоню или отправлю открытку и сообщу, когда мы сможем отремонтировать ваши бытовые приборы.

И тут словно взрыв раздался. Все закричали враз. Поднялся невообразимый гвалт. Я постучала карандашом о стол.

— Товарищи!.. Вы же знаете, не хватает запчастей. И сейчас, сегодня или завтра ваши машины отремонтированы все равно не будут. Так зачем вам убивать свое время напрасными хождениями на наше предприятие? Запишите мой телефон. И если через три дня не получите от меня известий, звоните сюда. Только я заверяю вас, что звонить вам не придется... В конце месяца мы должны получить запасные детали. И постараемся закончить ремонт всех машин. Всех до одной.

Я согрешила, заявив насчет поступления запчастей. Я не знала, когда они появятся. И появятся ли вообще в ближайшее время. Ведь был конец года, наверняка лимиты исчерпаны. Но взрывная волна возмущения изверившихся людей понемногу теряла силу. И наконец совсем стихла.

И вот цех опустел. Остались только мы с Бурловым да старушка Зырянова. Она ходила по цеху, запрокинув кверху голову, словно измеряла глазами высоту стен, озираясь по сторонам. То низко склонялась, заглядывая под верстаки, рассматривала там что-то. Потом остановилась около стационарного тестера. Сергей Михайлович говорил мне вчера, что недавно получили его из Венгрии. Но документация оказалась затерянной, и стенд бездействовал. А прибор был несомненно хорош. Он мог проверять работу машин по всем параметрам.

Старушка бережно погладила голубоватую полирванную поверхность приборного щитка и вздохнула.

— Хорошо-то как здесь... А помещение, помещение-то — царски палаты! Не то что там — землянка была... И окна высокие, светло. Да-а, дожили наконец ребята. В человеческих условиях работать будут... И эти, как их, верхстаки, эвон какие ладные, покрашены чистенько так. Только вот непривычны ребята к такой красоте. Гляди, доча, как захламили все.

Под верстаком Бурлова валялись отработанные детали: поломанные крыльчатки, сношенные втулки и гайки, старые моторы. Тут же лежали останки конторской пластмассовой мусорной корзины. Старушка, присев на корточки, выкидывала все это к ногам Бурлова.

— Это что такое, а? — ругалась она.— Осударство для вас старается, а вы что делаете, а?

— О господи, она и здесь мне покоя не дает,— вздыхая, как-то недобро проговорил Бурлов.

Я чувствовала: если старушка не замолчит, он вот-вот взорвется. В запавших, будто усталых глазах его затаилась досада или скорее давнишняя боль. Что-то мучило этого человека.

«Металлические урны». Записав, я быстро спрятала книжку в карман, наклонилась к старушке, шепнула ей:

— Он злой сегодня, не ругайтесь пока. Я закажу большие жестяные корзины. А эти, видите, быстро ломаются.

Старушка тоже заговорила шепотом:

— А-а, ну-ну, вот эта, что ли, была мусорница? Вижу, вижу. А уборщица есть у вас?

— Николай, уборщица есть в цехе? — спросила я.

— Она вечерами бывает.

— А я буду приходиться днем. Маненько помогу вам тут. Можно?

— Так я не знаю...— Бабушкино предложение застало меня врасплох.

— Если вы про это... дак мне платы не надо. Что мне днем дома делать? Все одно сижу в четырех стенах. А у вас тут вон как красиво. Цветочки бы еще сюда. Да шторы модные повесить.

Не дожидаясь ответа, старушка сбегала в коридор, занесла дощатый ящик и принялась кидать в него мусор.

— А вот эти бонбы выбрасывать или нет? — Она подняла сгоревший мотор.

— Выбрасывать! — сказал Бурлов.— У нас все выбрасывают!

— Это пошто так? Совсем почти новенькая штучка.

— Оттого так, бабушка, что начальников много, а хозяина нет.

— Бабушка, вас как звать? — Я еще не знала, будем ли мы заниматься ремонтом моторов. Но выбрасывать их, безусловно, жалко.

— Зырянова я. Августа Федоровна. Да зовите просто баба Гутя. Меня все так зовут.

— Вот и будем знакомы... Да не держите вы его, он же тяжелый. Положите пока в сторонку. Потом найдем кладовочку какую-нибудь да сложим туда. Может, пригодится.

— Как не пригодится? В таком хозяйстве, как твое, доча, все пригодится.

Интересно, Бурлов умеет перематывать обмотку электромоторов? Я уж было отважилась начать разговор о бабушкиной машине, но Бурлов вдруг швырнул гаечный ключ на верстак и ушел в коридор.

— Что это с ним? — Я глянула на бабу Гутю.

— Да ниче. Обедать, однако, помчался. Время, поди-ка, час, второй. И нам с тобой, доча, не мешает поклевать чего-нибудь.

Мы с бабой Гутей помыли руки и спустились в буфет. Кормили сегодня борщом, сосисками с картофельным пюре и чаем. Столы были почти все свободны, но посуда не убрана. Мы сели вместе с Бурловым. Баба Гутя положила свой беленький, сложенный вчетверо, проглаженный платочек на край стола. Во время еды аккуратно утирала им рот.

— О, у вас тут и сосиски есть! И недорого. И буфетчица славная женщина. Обходительная.— Баба Гутя любовно поглядела на буфетчицу.— Не грубиянит. Старательная, видать. Вон и сосиски не поленилась очистить от этой пластмассовой кожуры. А то некоторые варят в целлофане. Меня раз угощали такими сосисками. Даки они даже мясом не пахнут!

Бурлов ел молча, изредка кивая бабе Гуте. Я слушала старушку и вспоминала, как однажды моя соседка хвасталась, что она двадцать лет проработала в буфетах и ни разу не попала. «Ведь отчего попадаютса-то? — говорила она с достоинством.— От жадности. Всем

надо сразу много загрести. А я так считаю: курочка по зернышку клюет. Взять хотя бы те же сосиски. Ведь получаешь их по весу, сырыми. А когда опустишь в теплую воду, они набухают. Главное, не переварить. Бывают которые в целлофане, так сымешь оболочку — и пухни она, сосиска-то. Ничто ее не стесняет. Вот и получается совершенно честный прибиток. Без всякого мошенства. Да ко мне хоть тыща инспекторов приходи — никого не боюсь».

— Баба Гутя, у вас как здоровье, ничего? — спросил вдруг Бурлов.

— Временами будто сравнительно... А то как заболит вот эти места, крбыльца. Ноют и ноют, будто черт на плечах сидит. Да еще ноги начнут отекаать. Ну, травки какой напаришь, попьешь — и отпустит.

— Вы могли бы где-нибудь работать...

— А что не могла бы, конечно, могла бы. Я на одном производстве без малого тридцать лет проработала. Да потом еще лет десять на разных работах. Теперь не могу долго держаться на одном месте. Неуживчивая. Всё, говорят, ты, бабка, указываешь да приказываешь. Тебе бы начальником работать, да бодливой корове бог рог не дает. Надоело, говорят, уходи по собственному желанию. И мне тоже надоело такие обидные слова терпеть. Вот и сижу теперь дома.

— Где-то же вы проработали тридцать лет?

— Да как там начальник-то умный был. Подскажешь ему что-нибудь, он тебе отвечает: будет сделано, Августа Федоровна... Потом, глядишь, время проходит, оно и вправду сделано, да еще лучше, чем я подсказывала. Я не совсем уж дуручка, понимаю, он, может, и раньше меня догадался сам, но ведь он разговаривает с тобой как с человеком. А люди какие были — друг дружке плохого слова не сказывали. Не завистливые были. Зависти почему-то этой раньше не было, не-ет. А работали не как сейчас, по десять да по пятнадцать часов.

— Ну что же вы туда не идете работать?

— Да как умер он, тот начальник. И люди пришли все новые. Я заходила недавно. Все незнакомые. Да-а... Вот кабы мне теперь столотаться у вас, а? — Баба Гутя вздохнула угнетенно и замолкла, ожидая ответа.

— Ну и ходите сюда обедать, — сказал Бурлов.

— Да как если пускать будут...

— А вы познакомьтесь с вахтершей. Там у нас хорошая женщина работает, Леонтьевна.

Старушка торопливо допила чай, промокнула платочком рот.

— Вы не спешите, баба Гутя, она болеет, нет ее.

— Да ниче, ниче, вы идите, а я помогу тут прибраться маненько, буфетчица, слышь, жалуется, посудницы нету. Вечером поговорю с соседкой, может, согласится здесь работать. Я бы и сама могла сюда устроиться да тут эти... анализы сдавать надо. Это, значит, по врачам ходить, в очереди стоять... Сдохни они, эти анализы.

Баба Гутя собирала со столов остатки пищи. Недоеденные кусочки хлеба складывала в отдельную тарелку, что-то приговаривала над этими кусочками. Но уже не слышалось в ее голосе того ругательного вдохновения, как утром, когда она возмущалась тремя индусами. По всему видать, обедом баба Гутя была довольна, и настроение ее изрядно переменялось к лучшему.

Может, и Бурлов сейчас добрее станет?

С лязгом, с неприятным металлическим скрежетом отворились железные двери лифта. Бурлов выкатил в коридор стиральные машины. Три покрашенные белой эмалью прямоугольные машины с

центрифугами были новенькие, без единой царапины. В бачках лежали книжечки, заводские паспорта — значит, у машин не истек еще гарантийный срок. Бурлов толкнул их одну за другой, и они покатались по гладкому бетонному полу прямо к его верстаку. Четвертая машина имела странную, слишком удлиненную цилиндрическую форму. Чистенький ее корпус до того поблек и затерся, что и не понять, какого он цвета. В бачке пусто — ни паспорта, ни квитанции. Эта машина осталась в коридоре у лифта.

Я закатила ее в дальний угол. Там громоздились машины, свезенные из мастерских. Побитые, исцарапанные, заросшие пылью и паутиной, они были накинаны как попало, одна на другую. Некоторые только чудом удерживались на вершине этой груды, задрав колеса кверху.

Мне предстояло сегодня разобрать этот хаос.

Я подошла к Бурлову, показала глазами на четвертую машину, только что поднятую в цех, спросила:

— Бабушкина?

— Ага.

— Николай, можно с вами на ты?

— Можно.— Он подключил к электрической сети машину с центрифугой. Кажется, это была «Чайка».

Я вынула из бачка паспорт, положила на верстак.

— Николай, давай отремонтируем бабушкину машину, а?

— Чем? Показателями у директорского кабинета?

— Ты только не взвинчивай себя. Что там надо?

— Все надо.

Я заметила эту его манеру вести разговор. Он выхватывал какое-то слово из последней фразы собеседника и начинал с него. Получалось так, будто он подавлял оппонента его же аргументами.

— Может, отремонтируем как-нибудь?

Он так неожиданно закричал, что я невольно отпрянула, мне показало, он ударит меня сейчас.

— Мне надоело работать как-нибудь! Из-за этого «как-нибудь» сгорел мотор! А какой мотор был! Теперь таких не делают!

— Так. Мотор. Еще что?

— Еще что? Да где вы такой мотор найдете?! А рама? Вы хоть знаете, какое там крепление? А?

— Можно другую раму приделать.

— Вот и делайте другую раму! А я посмотрю. Может, сварщика из Института Патона вызовете? Но сначала эту раму снять надо. Мне о-очень интересно будет посмотреть, как вы это сделаете.

Я подкатила машину к верстаку, перевернула ее вверх дном... Да. Машина была сделана, можно сказать, при царе Горохе. Все в ней было массивно, добротно, крепко. Громоздкий тяжелый мотор почти идеально герметичен, и непостижимо, как туда попала вода. На днище бачка я увидела (с этой, тыльной, стороны) засохшие мыльные потеки. Они начинались под толстым слоем краски или какой-то твердой смеси темного цвета, которой был покрыт бачок вокруг опоры активатора. Если под диском истерся бачок, почему он не запалял его?

— А тут что за мазня? — сказала я, ткнув карандашиком в твердые бугорки на днище.

И это была моя первая ошибка. Мне надо было подумать еще немного, порассуждать. Ведь машину ремонтировал не кто-нибудь, а Бурлов. А он не мог халтурить. Если он замазал чем-то дыры, значит, другого выхода не было... Но откуда мне было знать это в первый день?

— Уйдите отсюда.— Бурлов повернулся ко мне спиной.

— Но я спрашиваю...

— Я сказал, оставьте меня в покое! Не мешайте работать! Если вы ни черта не понимаете, нечего лезть не в свою тарелку! Нахватались где-то вершушек!

— Вы работаете здесь пятнадцать лет, а я всего день! И прошу объяснить мне человеческим языком: почему вы не паяли бачок, а замазали?

— Потому что этот металл не паяется!

— А почему не поставили другой бачок?

— Я что, за три рубля все новое поставлю, да?

— Я прошу вас перемотать мотор.

— Я не обязан перематывать! А если даже и перемотаю, то где вы найдете такой подшипник? Я их сто лет уже не видел!

— Один-то подшипник достать можно.

— Ну-у вы меня поражаете! Вы хоть одним глазком взгляните на мотор, какой он!

— Да какой бы ни был! Не в Америке же он делался, в России!

Я оказалась по другую сторону верстака. Бурлов после каждой реплики поворачивался ко мне спиной, и не могла же я ругаться, глядя ему в затылок. Я побежала к бабушкиной машине, запнулась обо что-то. Упала. Больно ушибла колено...

Бурлов склонился надо мной.

— Ушиблись? — Он помог мне встать, подвел к своему верстаку.

— Чашечку, наверное, сломала. — Я потерла колено.

— Что-то осколков не вижу. — И Николай чуть заметно улыбнулся. Наконец-то.

— Какой вы злой, Бурлов. Безжалостный.

— Известно: не больно — не плачешь...

Прибежала баба Гутя. Быстренько засыпала пеплом и перевязала мне колено своим носовым платком, напустилась на Бурлова:

— Развел мусору, черт до печки не донесет, прости господи. Тут не только ногу, тут все инвалидами станете... Давай я буду складывать железки в ящики, а ты прикати висячую клетку-то, лифт, что ли, и вниз спустим. Во дворе я мусорный сусек видела. Потом пустые ящики поставим около верхстаков, пока новые сделают. Давай, милый, скоренько...

И они взялись за уборку.

Уже давно распрощалась баба Гутя. Возвратились механики, отчитались по заявкам и разошлись. Побывали в цехе две тихие старушки. Эти молча положили на стол печатные бумажки из газеты «Труд», в которых сообщалось, что их жалобы направлены в наше объединение для разбирательства... Еще приходил пожилой мужчина. Наверное, инженер. Он купил недавно стиральную машину-автомат с программным управлением. Но автомат никак не хотел самоуправляться. Хозяин сам нашел дефекты в конструкции, ругал авторов этого изобретения.

Мы договорились сдать машину в магазин.

— Я знаю, у вас плохо с запчастями, — сказал напоследок мужчина, доставая из кармана записную книжку. — Завтра я уезжаю в Москву. Ненадолго. Там в магазинах, говорят, можно кое-что купить по этой части.

Я окликнула Бурлова. Он подошел. Мужчина подал ему записную книжку.

— Много-то не пиши, Николай, — сказала я.

— Не. Я только подшипник для бабушкиной машины и текстолитовые прокладки. У нас их давно нету. Из картона вырезаем. Ножиком.

— Да-а, техника у вас... — сказал мужчина.

Прощаясь, он рекомендовал мне накапливать опыт по эксплуатации всех типов машин, обобщать его и предлагать заводам, чтобы

они учитывали наши замечания при дальнейшем совершенствовании своих изделий. И не важно, сказал он, что заводы не просили об этом.

«Переписка с заводами», — пометила я в своей книжке, хотя знала: производственный отдел не станет заниматься этой работой без указаний свыше. Чем ходить да уговаривать, лучше самой сделать. А там, глядишь, Бурлов что подскажет, Гаврилов поможет...

В цехе стало совсем темно. Я зажгла свет. Бурлов долго плескался и фыркал в умывальнике. Вышел оттуда порозовевший и причесанный. Остановился около вешалки.

— Почему душ не работает, не знаешь? — спросила я.

Не хотелось оставаться одной в цехе, скучно. Страшила эта запыленная груда металлического хлама в дальнем углу цеха. Да, только хлама и ничего более. Теперь мне это было ясно. Я успела просмотреть около половины машин — все они оказались раскуроченными...

— Вообще-то душ работает, — сказал он, одеваясь. — Но стока нет, строители напортачили. Гаврилов бьется над этим душем давно, но не может ведь он, минуя директора, связываться со строителями.

— А директор?

— Директор другим делом занят. И не поминайте мне лучше про него. Пошел он к чертовой матери со своими клетками! И венками!

— Какими венками?

— Не портите мне опять настроение! — Громыхнув ящиком верстака, Бурлов бросил туда полотенце и крупным, размашистым шагом пошел из цеха, застегивая на ходу куртку.

— Николай! Подожди! — Я выбежала на лестничную площадку, глянула вниз. — Ну как, просить завтра у Гаврилова машину или нет?

— Зачем?

— Может, съездим на старый завод?

— Просите, — послышалось снизу.

Было около одиннадцати вечера, когда я просмотрела все машины. Давно не доводилось работать так много физически, с непривычки болела спина. Каждую машину пришлось перевернуть вверх дном, чтобы еще и еще раз убедиться, что, кроме корпуса и бачка, в ней ничего нет. На некоторых машинах были совсем свежие следы погрома: отжимные устройства не отвинчены, а выворочены с корнями. Погромщики работали торопливо и чуть ли не ломом. Почти со всех машин были сняты даже маленькие рычажки, при помощи которых машины включались в работу, здесь называли их фишками. Одну такую фишку я увидела на отремонтированной машине у верстака Зверева. Я сняла ее. Прикрепила к той машине, где она была раньше (как я предполагала). Повернула фишку в положение «выключено» — и царапина, пробороздившая корпус машины сверху донизу, как раз прошла через эту фишку...

Единственное, что я нашла в этой свалке хорошего, так это совсем новые береты и халаты синего цвета из легкой плотной ткани. Правда, спецодежда была испачкана и заношена, но все две смены — десять халатов — были тут, закинута в бачки машины.

Уходя из цеха, взяла папку с жалобами. Просмотрю дома. Прикину, сколько машин не хватает. Но если учесть и тех заказчиков, которые не писали жалоб, а терпеливо ждали и надеялись, что их машины когда-нибудь привезут, как было обещано, им домой, тогда я не узнаю, сколько машин не хватает... И где их искать.

Вот скажи я завтра своим ребятам, что Гаврилова сажают в тюрьму за то, что разворованы машины, — и они соберут деньги, доставят их со дна морского. Будут сражаться с каким угодно начальством, не щадя живота своего, и не утихнут до тех пор, пока не вырчат Гаврилова... А так чем их прошибешь?..

С такими невеселыми мыслями я вышла из цеха.

На улице было темно, как и утром. И так же тихонько крупным и влажным пухом бесконечно валил с неба снег.

Дорога с работы домой. О чем только не думается в эти минуты... «Я вышел на улицу и зашагал в сторону бульвара Сен-Мишель, мимо столиков кафе «Ротонда», все еще переполненного, посмотрел на кафе «Дю Дом», где столики занимали весь тротуар... Ресторан «Лавинь» уже закрылся, а перед «Клозери де Лила» убирали столики. Я прошел мимо памятника Нею, стоявшего среди свежей листвы каштанов в свете дуговых фонарей... Он был очень хорош, маршал Ней, в своих ботфортах, взмахивающий мечом среди свежей, зеленой листвы конских каштанов. Я жил как раз напротив, в самом начале бульвара Сен-Мишель».

Не знаю, отчего мне вдруг вспомнилась наша деревня, примостившаяся у скалы недалеко от Александровского централа, дедушкина высокая изба на взгорье. Вспомнился тот вечный избяной запах сухого донника и полыни. Его ощущаешь сразу, как только открываешь дверь и видишь пучки трав, подвешенные над кухонным столом, и стебли полыни, аккурратно раскиданные на влажном скобленном полу. Зимой к этому запаху еще примешивался дух свежего лиственничного смолья, тающего в открытой топке.

Всегдашняя тишина, хозяйка дедушкиной избы, жила где-то над полатями. Дедушка ей не перечил. Говорил мало. Пасмурными летними утрами, когда долго не раскуривалась трубка, намаевшись креслом, он надсадно вздыхал и произносил обычно такие слова:

— Опять трубка харчит, должно — к ненастью.

После этого выдергивался чубук. Дедушка начинал чистить трубку. И трубка наконец раскуривалась. А как же иначе? Ведь утренняя трубка для того и предназначена, чтобы обдумывать вместе с ней предстоящие дела.

А я еще до завтрака бежала к соседней избе, заглядывала во двор — узнать, живы ли Рождественские. Увидев их мать Марьяну, с подойником в руке идущую из стайки, я каждый раз удивлялась: опять тетка Марьяна проспала стадо, опять их рыжая комолая кодова будет в одиночестве шататься по чужим огородам.

— Деда, а Ражесвинские дома! — сообщала я дедушке.

— Ну ниче. Должно, к осени тараканы совьют веревку, всех перевяжут и утащат в Ангару.

Я забиралась к дедушке на колени. Плосконьким деревянным гребешком приглаживала его седые усы. Потом обвивалась вокруг шеи, крепко-крепко прижималась к дедушкиной щеке и шептала ему на ухо:

— В Ангару-то мимо нас дорога. Как только они поволокут Ражесвинских — ночью, должно, — я проснусь, тебя разбужу, деда. Ты схватишь стяг, с каким в лес ходим, и перебьешь всех тараканов... Только перед тем как развязать тетку Марьяну, скажи ей еще раз, чтобы она выскоблила полы и травы настелила. Особенно побольше за печкой... Ой, ты бы знал, деда, что у них за печкой творится! Вот там, наверное, тараканы и плетут свою веревку... Но прежде тетка Марьяна пусть поклянется честным словом, что выскоблит полы и кухонный стол.

— Известно. Пусть прежде даст обещанье.

Мне и представить было жутко всех Рождественских — мать, отца и шестерых ребят — связанными одной веревкой, в кромешной темноте волочащимися по земле мимо нашей избы... Нет, я обязательно проснусь... Деда возьмет с тетки Марьяны обещанье.

— И мы спасем их. Да, деда?

— Известно, спасем.

Я целовала дедушку в колючие короткие усы. Еще крепче припадала к его лицу. Дедушка нарочно щекотал кончиком уса мне за

ухом, чтобы рассмешить меня. Я заливалась смехом. И забывала про Рождественских.

А вечерами, когда еще светло, мы сидели у растворенного окна. Дедушка выкуривал свою вечернюю трубку и принимался судить дратву. Я помогала ему, держа в руках свободный конец, прислушивалась к тишине и мечтала о том, как стану взрослой, куплю дедушке настоящие катанки, ичиги-то у дедушки совсем старые... Было покойно и тихо на душе. Лишь иногда мгновеньем пронесется мысль: вдруг дедушка помрет? Все живое во мне застынет. И провалится. Будто нехорошая птица пролетела рядом, обдала холодом... Страшно становится жить дальше. И разве это можно — жить без дедушки?

Но прошло каких-нибудь два-три года, и вот — случилось. У моей тетки народилось много ребятишек. И некому было за ними приглядывать. Она перевезла нас к себе в город. Я ходила в школу. Дедушка как мог возился с теткинскими ребятишками, топил печку, варил еду.

Тетка купила мне новое платье, блестящие красные туфли и еще большего розового пупса. Я не могла наглядеться на свои блестящие красные туфли. Не знала, куда усадить пупса, чтобы кто, не дай бог, не придавил его. И за этой услугой я все реже стала думать о дедушке. И когда это началось, не заметила. Только помню одно и то же каждый вечер. Тетка приходила с работы, и начинался скандал.

— О-о-ой, батюшки, дымище-то! Дышать нечем! — причитала она. — Ребятишки сопатят, опять форточку открывал?! О, и вьюшка настезь! Всю печь выстудил. Целый день улицу отапливал! Ты долго, тятя, улицу отапливать будешь? Тебя спрашиваю, я для улицы дрова припасую, а? Для улицы?

Одного за другим тетка поднимала ребятишек на руки, нюхала и начинала снова:

— Ребята насквозь никотином пропахли! Гольный табачище! Господи-и-и, когда это кончится?! Когда кончится, тебя спрашиваю, старый?!

Я тоже склонялась, попеременно принюхивалась к ребячьим белобрысым макушкам.

— И вовсе не табачищем. Они пахнут духовитым самосадам. Самосад-то у деды с донником! — заступалась я поначалу.

А дедушка молчал.

Потом замолчала и я. А когда дедушка нечаянно сел на моего пупса и раздавил ему ножку, я три дня не подходила к дедушке и не разговаривала с ним. Хотя он сразу склеил пупса хлебной жеваниной, крепко перевязал дратвой... А четвертого дня рано утром дедушка умер.

Под его кроватью нашли холщовый мешок. Развязали. В мешке оказались ржаные сухари, пара белья, полотенце и детские чирочки. Чистые и мягкие, будто из лайковой кожи. Эти чирочки я надевала, когда мы ходили с дедушкой в лес...

Боже, зачем так странно создан русский человек? Неужели каждый раз должен грянуть гром, чтобы встряхнулась русская душа и стала вновь сама собой?

Назавтра я проснулась от страшного сна. Мне приснился горбатый кабан. С сережками. Будто мы с дедушкой хорошим летним днем пилили в лесу дрова. Нам удалось найти ядреную сухую колодину. И только мы примерились к ней пилой, как вдруг из-под нее вылезла черная кабанья морда. С длинными сережками. И сережки были подвешены за толстые кабаньи щеки. Кабан боднул рылом, и колодина свалилась мне на грудь. Я никак не могла выбраться из-под нее. Звала дедушку на помощь. Но он исчез. А черный кабан ходил во-



круг, пугал меня своей волосатой клыкастой мордой и, потрясая длинными сережками, явственно хрюкал: «Обманство это все. Обманство!» Я нащупала под собой мягкий мох. Рванула пригоршню и бросила в кабанью морду. Но ему хоть бы что. А колода все давила мне на грудь. И когда я совсем стала задыхаться — вдруг открыла глаза. «Странно, — подумала я, пробудившись, — в нашей тайге кабаны никогда не водились».

Утром раньше всех на работе появилась баба Гутя. Я рассказала ей свой сон. Она обстоятельно выспросила у меня все подробности и заключила:

— Свинство тебе будет, доча. Хошь верь, хошь не верь, а свинство будет. Точно. И ты поберегись.

Раз точно будет, что теперь беречься, подумала я.

Всякие подобные сны, говорят, случаются от перегрузки. Физической, умственной. Любой.

А вот душевные перегрузки... Каким законам подчиняется этот тайник человеческой сущности — душа? Как трудно порой разгадать эту сущность... И все же как бы тщательно ни маскировала природа его местопребывание (на то он и тайник), пока человек бодрствует, он весь на виду. Мало того, когда человек бодрствует, он только то и делает что старается раскрыться. А если человек почему-либо не хочет объяснять себя, другие непременно это сделают. Ведь нам обязательно надо объяснять все, всех, всем и самому себе. Некоторые любят делать это вслух и без конца ловят слушателей. А те, которые осуждают их за это, то же самое делают про себя. И где бы человек ни был, чем бы ни занимался — отдыхает ли, смотрит на облака, любит цветком, — он беспрестанно задает вопросы. И все объясняет, объясняет.

То же самое происходило со мной, когда я находилась в кабинете Гаврилова. После раскомандировки он пригласил нас, двух мастеров, к себе. Мы с Фейзулиной сидели напротив его стола и старались не смотреть друг на друга. Почему — не знаю.

Мне зачем-то важно было понять эту женщину. И знать, почему она стала такой.

Она была немолода и некрасива. Опрятно одета. Но в ее внешности не было ни намека на то, что по женским понятиям называется следить за собой. Поэтому я сделала вывод, что она не замужем. И вряд ли была чьей-то женой последний десяток лет. Кроме того, я подумала, что она больна. И, может быть, серьезно. У нее был нездоровый цвет лица, так же, как и у меня, отечность вокруг глаз. А уж свои-то болезни я знаю.

Она сидела неподвижно, и потому, что она не вынимала рук из карманов рабочего халата, я поняла: у нее нет маникюра. Нет маникюра — ну и что? Потом я заметила на ее левом запястье маленькое пятнышко присохшей белой краски. Наверное, в субботу и воскресенье она делала ремонт квартиры. Сама.

Да, весело в сорок лет быть больной, некрасивой и одинокой.

Конечно, я все это придумала. И, может быть, ошиблась. Бывают и некрасивые женщины счастливы. Но редко. И если бы эта женщина попала в то счастливое число, не сидела бы она сейчас здесь с таким пустым, тяжелым взглядом.

Как побитый без вины пес, искала я момента, чтобы незаметно еще и еще раз глянуть в ее небольшие зеленоватые застывшие глаза.

Она плохо слушала Гаврилова. ей все это надоело. За долгие годы работы здесь она видела многих начальников. И все они исчезли. Наверняка она думала, что и этот долго не задержится. Все по-первости вот так же суетно гоношились — чего-то хотели, что-то пытались или просто создавали иллюзию кипучей деятельности. Но проходило время — и они исчезали. И все оставалось по-прежнему. Так

стоит ли затевать бесполезную игру? Нет уж, пусть один колготится. С нее хватит.

Мне казалось, Гаврилов боялся смотреть ей в глаза, боялся, что вот-вот она скажет какую-нибудь грубость, он не утерпит, и они разругаются, и с этого момента он приобретет в ней не помощника, а вечного врага. Как же тогда работать? Но она молчала, видимо, совсем не слушала его. И от этого он злился еще больше. Повторял только что сказанное и сердился на самого себя.

В своих просьбах и наставлениях он почему-то все время крутился вокруг одной темы. О чем бы он ни говорил — он говорил о качестве. И в самом деле непонятно, о каком качестве можно толковать сейчас, когда работать нечем? Надо сначала добыть запчасти, а потом требовать хорошего ремонта... Хотя по сути самого обслуживания, общения с людьми он, наверное, имел какое-то право говорить об этом, здесь каждый показывал себя в меру своей воспитанности или невоспитанности. А многие из наших работников, может быть, за всю свою жизнь ни разу не видели истинно воспитанного человека.

— Наше спасение в качестве, — еще раз под конец повторил Гаврилов. — Не только в качестве дефектовки и ремонта, но и обслуживания. Давайте стараться работать культурно.

Он помолчал немного, все еще не решаясь взглянуть на Фейзулину, вздохнул и продолжал:

— Сегодня привезут из ателье форменную одежду. Удостоверения личности готовы. Вот заберите, раздайте слесарям. — Он придвинул к нам стопку коричневых книжечек, лежащих на столе. — Каждую пятницу один час буду читать лекции, если хотите — техминимум по культуре обслуживания. Прошу обеспечить явку. И сами вы должны присутствовать тоже.

Ага. Наконец-то... А чего я, собственно, возмущаюсь, когда-то должен был найтись такой человек. Все правильно. Только...

— А диспетчеры? — спросила я.

— С диспетчерами буду заниматься отдельно... Яновская Алевтина на днях уходит в декретный отпуск. Вместо нее будет работать Рыков. — И Гаврилов посмотрел на меня.

Значит, он знал о вчерашнем случае с Галиной Викторовной.

Потом он все-таки обратился к Фейзулиной. В голосе его послышалась плохо скрытая угроза — не начальника, но властного мужчины, — которую он, впрочем, и не собирался скрывать. Он как бы давал понять своему старшему мастеру, что знает о чем-то нехорошем, что она скрывала от него вместе с механиками.

— С сего дня, Галия Багировна, качество ремонта на дому буду проверять сам вместе с контролером ОТК. Можете сообщить об этом слесарям.

Фейзулина утвердительно кивнула и молча вышла. Я осталась. Мне нужна была автомашина.

— Машина? — переспросил Гаврилов. — Зачем?

— Хочу с Бурловым съездить на старый завод. Может, найдем там брошенные машины, корпуса или еще что-нибудь. Я вчера посмотрела стиралки, сvezенные из мастерских. Не хватает примерно штук десять. А те, что есть, почти все раздеты. Их всего пятьдесят.

— Я так и знал! — Гаврилов тяжело задышал носом. Дернул, ослабляя, галстук. — С вашего разрешения... Извините...

Он встал. Сжал за спиной руки в один кулак, подошел к окну. Долго стоял так, почти спиной ко мне. Говорил будто сам с собой:

— Надо было, как пришел сюда, принять от Фейзулиной все по акту. пожалел ее тогда. И все же не думал, что это выльется в такую зловещую сумму.

Он не хотел, чтобы я сейчас видела его лицо. Но я успела заметить, как вдруг помрачнел, испуганно метнулся взгляд его быстрых умных глаз, когда он вставал.

Нет, это была не паника, а скорее растерянность, какую испытывает командир в первые минуты, оказавшись в окружении. Гаврилов отставил стул. Медленно опустился на него. Локтями уперся в край стола и запустил большие крепкие пальцы в свои рыжие густые волосы.

— Что делать-то, Нина Григорьевна?

Он по-прежнему еще был подавлен и спрашивал лишь потому, что неловко было так долго молчать.

Он не просил о помощи, а просто думал вслух. И бесполезно было отвечать сейчас, он все равно бы не услышал. Да, этот из тех, кто не привык перекладывать ответственность на чужие плечи... Еще минута-другая — он придет в себя, успокоится, и тогда-то можно будет говорить с ним.

Но тогда он и сам придумает, что делать. И не понадобятся ему советы какой-то женщины, которая все еще сидит тут. Сообщила такую новость и сидит. Довольна, наверное. Поставила мужика в тупик. И сидит... Ничего-о. Выпутаюсь как-нибудь. Если не получится — заплачу. Где наша не пропадала. Не жили богато, нечего и начинать... Только вот дело, какое задумал, погублю. Ведь не оставят же после этого здесь. А кого примут на мое место — еще неизвестно... И эта. Будет ли с нее толк? (Это он опять обо мне.) Такие обычно быстро зажигаются, быстро и гаснут... О Багировне и думать нечего. Мегеровна, правильно окрестили... Один как перст. Хоть бы главного инженера какого нашли скорее!

От этих мыслей я совсем разозлилась. Ох уж эти мужчины. Слишком высокого мнения о себе... Ишь, смотрит на меня как на лишнюю мебель.

— Что бы такое придумать, а, Нина Григорьевна? — снова сказал Гаврилов.

— Я поговорю с Бурловым, Сергей Михайлович.

— Да что Бурлов! К нему не подступиться. Злющий, как дракон.

— Ну, я бы не сказала. Он не злой. Он обозленный. Но мне кажется, мы поняли друг друга. Не надеюсь, что вполне, но попытаться стоит. Во всяком случае, я чувствую, что мы выкрутимся. Можно мне взять у вас данные о задолженности механиков по запчастям?

Он подал мне листок бумаги. Текст был написан разборчивым кругленьким почерком, какой обычно бывает у бухгалтеров. Первое, что бросилось мне в глаза: «Яновский — 500 руб.».

— Ни-и-чего себе!.. Сегодня же пробивайте приказ о запрете гасить подотчет деньгами.

— В некоторых мастерских по разным причинам не было заведующих, поэтому слесаря брали запчасти в подотчет,— пояснил Гаврилов.

— А вот у Семенова четыреста рублей. Кто это?

— Работал у нас, уволен как безнадежный алкоголик. Хотели взыскать эту сумму через суд, но он обещал вернуть запчастями. Не знаю, что у них выйдет из этой затеи. По-моему, он все уже пропил.

— Та-ак. Понятно. Нашли кому доверять.

— Раньше он был хороший механик и порядочный человек. Посмотрим, сдержит ли свое обещание.

— Да что смотреть-то! Вот сегодня и съездим к нему с Бурловым.

— Сегодня я запланировал поездку по адресам с проверкой.

— Поедете завтра. Да и вряд ли днем застанете людей дома.

— Можно и завтра. Только вот часто просить машину... Неудоб-

но как-то...— Гаврилов приподнял манжету сорочки, выглядывавшую из пиджачного рукава, словно кромка белой лощеной бумаги, посмотрел на часы.— Через полчаса мне должны прислать «уазик». Поезжайте. Если до четырех обернетесь, я еще успею навеститься на станкостроительный завод, там друг обещал помочь...

— За «уазик» спасибо. А все-таки как с запчастями, Сергей Михайлович?

— В этом году не будет. По фондам все получено.

— Но ведь этого мало!

— Надо было заказывать больше.

— А почему не заказывали?

— Заказывали. По прошлому году. Накинули немного — и в управление. А на будущий год — по этому. Тоже, в общем-то, наобум. Запросили много, а обосновать нечем. Вот наши запросы-то и укоротили. Да и конкретно по каждому виду запчастей не знаем толком, каких сколько. Советовались, конечно, с механиками. По холодильникам еще ничего. А вот про стиралки никто определенно сказать не может. Я недавно увидел у вас на участке «Аурику» и вспомнил: к этой машине мы ничего не заказали. Не значилась она в старых заявках.

— Так, понятно. Значит, и в будущем году хорошего ждать нечего.

— Боюсь, что так.

— С нового года заведу учет. Будут вам данные.

— Да не с нового года, а прямо сейчас начинайте. Вот и бумага об этом пришла из Москвы.— Гаврилов стал рыться в столе.

— Хватились... Ну, мне идти надо, Сергей Михайлович.

— Сейчас отпущу вас. Вот посмотрите только.— Он подал мне объемистый рулон.

Я развернула широкие бумажные листы. На каждом было напечатано: «Заборная карта».

Я рассматривала эти заборные карты, и они не нравились мне. Не только своим названием — слово-то какое завалающее. Конечно, они упорядочат подотчет. Но опять-таки подотчет. Опять все сначала.

— У вас в цехе сейчас никого не останется, если вы уедете? — спросил вдруг Гаврилов.

— Никого.

— Там за лифтом на вашем этаже есть комната, я хочу вам дать ключ от нее. Будете сами получать запчасти и хранить в этой комнате. Хотя это и не положено по инструкции. По вашей должностной инструкции. Но я решил на вашем участке — в порядке эксперимента, так сказать, — отказаться от кладовщика. Запчасти будете выдавать только по платному ремонту. Каждую деталь в обмен на оплаченную квитанцию. И еще каждый механик будет вести вот эти заборные карты, накопительные ведомости. Вам все-таки придется выдавать им запчасти в подотчет, когда они будут выезжать в сельские районы. Ведь некоторый ремонт они будут делать на месте.

Интересно, а когда я буду всем этим заниматься? Я что, индийский Шива? У меня что — десять рук?

— Давайте ключ.

— Так сейчас же вам некогда. Завтра, может, выберете время...

— А у нас есть баба Гутя. Я попрошу ее, и она займется этой комнатой.

— Что еще за баба Гутя?

— А старушка одна. Вы утром вчера ее видели.

— А почему она у вас в цехе находится?

— Дома ей скучно. А у нас понравилось. Сама предложила свои услуги.

— Ну ладно, пусть приходит. Приживется — оформим ее уборщицей.— Гаврилов подал мне ключ.— Вот, всего один. Не потеряйте.

Углубление в полу было невелико, чуть больше двух квадратных метров. Спереди приделан не совсем удобный мосток. По нему закатывали в ванну машины. По стене, выложенной кафелем, протянуты трубы с холодной и горячей водой. Тут же электрические розетки. Все это вместе с ванной называлось испытательным моечным стендом.

В ванне около двух работающих машин стояли баба Гутя и Бурлов. Тылные панели у машин были сняты. Бурлов внимательно смотрел в открытые чрева машин. Баба Гутя сверху и сбоку поглядывала на вращающуюся корзину центрифуги и тихо ахала.

— Ты гляди, что творится... Это надо же такое придумать, а?... А торбочка-то, торбочка ловконьякая какая, будто туюсок, вертится себе, вертится, а белье высыхает... И куда вода-то девается?..

Бурлов выключил мотор. Баба Гутя доставала из центрифуги чистые халаты, те самые, что я нашла вчера в машинах, и приговаривала:

— Высушила халатики-то. Прямо хоть щас под утюг. Ты не знаешь, Николай, где бы утюг раздобыть?

— А на первом этаже. Там электроплитки и утюги ремонтируют. Сейчас принесу.

Я смотрела на вторую машину. Там в бачке крутились остальные халаты. Бачок был закрыт крышкой, но вода выплескивалась из-под крышки и заливала переключатели моторов и часовых механизмов, которые торчали впритык к самой крышке... Хорошая машина «Чайка». Но почему бы не вынести переключатели и часы на лицевую панель? Или сделать на верхней панели сток? Ведь часы быстро портятся от воды. Я достала записную книжку.

Бурлов, видать, понял мои намерения. Его тоже, наверное, нервировал этот досадный просчет конструкторов.

— Про клапана добавьте. Там у них колпачок в перепускном клапане резиновый стоит. Он намокает, выпрямляется и пропускает воду, когда не надо.— Бурлов порылся в ящике и подал мне маленькую круглую резинку, похожую на пуговку.— Видите, резинка почти совсем плоская. А должна быть вогнутая. Лучше из пластмассы делать. И будет прочно.

— Поди, и сами догадаются, без нас.

— Сразу не поймут. Клапана намокают при длительном пользовании. А они же не годами новые модели испытывают.

— Так. Ладно. Если еще какие замечания будут, говори. А сейчас бросай все — и поехали. Гаврилов машину дал. «Уазик».

— «Уазик»? Надо бы грузовую. Хотя, может, и в этой нечего везти будет... Сейчас. Я только схожу на первый этаж за утюгом.

Бурлов ушел вниз. Я стала одеваться.

— Баба Гутя, спасибо вам за халаты.— Я обняла старушку за плечи.

— Да разве я стирала? Машина. И стирала и выжимала.

— Еще бы гладила — и совсем хорошо.

— Да ты что, доча? Тогда женщины совсем работать разучатся.

— Не разучатся. Женщинам всегда работы хватит.

— Да-а, это верно... Ты что, пошла уже?

— Да съездим с Бурловым на старый завод, может, кой-чем разживемся там.

— Ты погоди-ка. Погоди.— Баба Гутя глядела как-то незнакомо, с прищуром, поджимая губы, и от этого ее маленький рот казался еще меньше. Остренький аккуратный носик нацелился в меня буравчиком.— Скажи-ка, голубушка, что это вы с Гавриловым вытворили у него в кабинете?

— О чем это вы, баба Гутя?

— Это ты скажи, о чем вы шептались и какой ключ он тебе обещал!

— А-а! Вот он, ключ. Я и забыла.

Я отомкнула комнату, дверь которой была рядом с лифтом, зажгла свет.

— Вот здесь будет наша кладовка. Я сейчас уеду, а вы попросите Гаврилова, пусть получит на складе стеллажи и стол. Кстати, халаты здесь погладите. Вон и розетка тут есть. Натте ключ-то.

Баба Гутя взяла ключ. Но допрос продолжила. И только Бурлов положил ему конец.

Бурлов помог мне спуститься с крыльца по этой злополучной лестнице, обросшей льдом и снегом. Во дворе у ворот стояла машина — серый пузатенький вагончик, — во всю мочь отдувалась плотным стрельчатым дымком, будто кипящий самовар.

— Слушай-ка, Николай, — сказала я, — что мы сейчас надумали с Гавриловым: не мешало бы к Семенову наведаться.

— Это еще зачем?

— У него подотчет большой, четыреста рублей. И он дал нашей бухгалтерии расписку, что вернет все запчастями.

— И вы думаете, у него что-нибудь осталось?

— А чем черт не шутит.

— Попробуем. Вообще-то он много лет работал заведующим мастерской, запчасти получал сам. Залежи у него должны быть. К холодильникам, конечно, ничего нет. А к стиралкам может, что и найдется. Он стиралки не любил ремонтировать. Грязи много в них, говорил. Интеллигентом все воображал себя.

Бурлов сел рядом с шофером, я на первое сиденье, поближе к мотору. В салончике было холодно, казалось, холодней, чем на улице. Все же декабрь давал себя знать, с каждым днем все злее показывал свой, в общем-то, покладистый характер.

— Трогай, — сказал Бурлов шоферу. — В реанимацию.

Господи, в какую еще реанимацию?

А шофер, конечно, понял. Рванул с места. И через минуту-другую машина подкатила к новомодному зданию, словно две капли воды похожему на нашу Рембыттехнику. Николай легко спрыгнул вниз, хлопнул дверцей и пропал.

Ждать пришлось долго. Наконец на крыльце появился Бурлов. Он держал за руку маленького мужчину в черном дырявом полушубке и махал мне. Я подошла.

— Вот. Разговаривайте с ним сами.

— Как его звать? — шепнула я.

— Венька.

— По батюшке?

— Вениамин Геннадьевич.

Я тронула лоскут овчины, болтавшийся на рукаве у Семенова. Вежливо поздоровалась. Его худое лицо, прикрытое сверху облезлой кроличьей шапкой, едва доходило мне до плеч.

— О, здравствуйте, милая дама! Не имею чести быть знакомым с вами, но весьма рад...

— Спасибо. У меня к вам, Вениамин Геннадьевич, конфиденциальный разговор.

— К вашим услугам. — Он отошел в сторонку.

— Вениамин Геннадьевич, вы, кажется, работали в Рембыттехнике?

— Да. Заведующим мастерской. Много лет. Между прочим, имею награды за трудовые успехи.

— Это похвально. Мне говорили, вы мастер высокого класса.

— Еще бы! Таких нас\* только четверо в городе: я, Варнаков, Бергман и Бурлов. Всё.

— Я, с вашего разрешения, тоже работаю в Рембыттехнике. Второй день. И мне поручили попросить вас, чтобы вы немедленно сдали все запасные части.

— Ах вот в чем дело... Знаете, у меня нет сейчас желания выяснять этот вопрос. У меня, знаете ли, еще не закончился процесс оживления.— И он направился в пивбар.

— Подождите, Вениамин Геннадьевич! — Я ухватила его за рукав.

— Я не в состоянии сейчас решать деловые вопросы!

Он подался вперед, и в моей руке остался клочок от его полушубка. Я побежала за ним. Меня обогнал Бурлов. Он поднял Семенова на руки. Через какое-то мгновение мы все оказались в машине.

— Индустриальная, сто двадцать! — сказал Бурлов шоферу.

И мы понеслись будто на пожар.

— Безобразие! — возмущался Семенов и все порывался открыть дверцу машины.— Какой наглый, оголтелый, неприкрытый терроризм! Уж не снится ли мне все это! Может, вы мафиози?!

— Вы в праве, Вениамин Геннадьевич, проверить мои документы,— сказала я. Надо же было ему подыграть.— Пожалуйста, вот мое удостоверение.

Семенов долго рассматривал мою коричневую книжицу. И вдруг почему-то стих.

— Нина Григорьевна,— проговорил он наконец после долгого молчания. Голос его дрожал, в нем появилась хрипотца.— Нина Григорьевна,— повторил он,— вы понимаете, что вы наделали?.. Нет, вам не понять... Ведь там осталась моя кружка... Моя керамическая личная, персональная кружка, которую я когда-то, извините, украл у моей жены... Теперь уж никогда не иметь мне этой кружки!..

И он заплакал.

Бурлову, видать, стало жаль своего бывшего коллегу и, кто знает, может, бывшего друга. И он стал мечтать вслух:

— Вот, к примеру, предположим, Вениамин, мы устроили тебя в лечебницу. Ты вылечился. Пришел к нам работать. Взяли бы мы его, Нина Григорьевна?

— Конечно!

— Мы вот сейчас учеников набираем. А учить их некому. Мало нас. А у тебя, Вениамин, с учениками всегда хорошо получалось. Ты ведь знаток человеческой психологии, а?.. Как бы ты посмотрел на это?

Семенов не отвечал. Верно, не слушал нас и думал о чем-то своем. Впрочем, о чем он мог сейчас думать?..

— Несбыточны твои мечты, Коля.— Семенов вздохнул.— Мираж.

— Ну это я так. К примеру.

— К примеру, ты знаешь, я два раза был в лечебнице. Ну и что? Такой уж я родился. И вы в меня свою душу не вложите... Кабы можно было мою вынуть, а вставить другую... Но тогда это был бы уже не я...

Машина остановилась. Мы все молчали. Потом шофер шумно вздохнул.

— Однако приехали. Тут, что ли?

— Тут,— сказал Семенов.

За тесовыми, некогда добротными, но теперь полуразвалившимися воротами кособочилась такая же ветхая избушка. Рядом низкий сарайчик, почти занесенный снегом. Белый снежный малахай на его крыше своей опушкой свисал до земли.

— Ну давай ключ,— сказал Бурлов, разгребая ногами сугроб у двери сарайчика.

— Нету ключа.— Семенов еле шевелил губами. Он зябко ежился, поднимал воротник полушубка. Воротник тут же падал. У полушубка была всего одна пуговица.

— Не тяни резину. Все равно ведь откроем.

— Не откроете. Замок моей конструкции и моего изготовления. А ключ я давным-давно потерял.

— Ну что? Ломать будем?

— Валяйте!

Бурлов сходил к машине, принес монтировку. Доски трещали, крошились, но дверь не поддавалась.

— Помогай, Вениамин.— Он поглядел на Семенова.

— Не достану. Сам знаешь, я много в жизни потерял из-за малого роста.

Наконец, скрежетнув ржавыми гвоздями, дверь отошла. И мы заглянули в сарайчик.

— Да, давно не ступала тут нога человека,— сказал Бурлов.

Направо от двери в сарайчике стоял верстак. По стенам тянулись дощатые стеллажи. На полках ровными рядками лежали заиндевелые детали к стиральным машинам.

Семенов, не вынимая рук из карманов полушубка, сел на маленький стульчик около верстака.

— Захватчики... Ты, Бурлов, всегда был вероломен..

А Бурлов радовался удаче. За верстаком он обнаружил бак от стиральной машины. Высоко поднял его и стал рассматривать на свет.

— Как это он сохранился у тебя, Вениамин, такой шикарный бак?

— Да он ни к одной машине не подходит. Почти ни к одной...

— Это ты верно говоришь, Вениамин, почти...

Бурлов отер рукавом с днища бачка плотный слой снежного буса, постучал пальцем по стенкам бачка.

— Пишите,— сказал он, обращаясь ко мне,— бак стиральной машины «СМР», одна штука, шестнадцать рублей.

— А ты уверен, Коля, что шестнадцать? — забеспокоился Семенов.

— Это самая высокая цена на бачки по нашему преискуранту.

Осторожно, чтобы не потрескались промерзшие пластмассовые детали, Бурлов клал их в тот единственный бак, который нам послужило бы найти здесь. А когда бак наполнился, он порывался под верстаком, нашел там фанерный ящик из-под чая и старый рюкзак. Выпротал их.

Вскоре мы опустошили все стеллажи.

Я попросила Семенова расписаться в акте. Дрожащими пальцами он сделал размашистый росчерк.

— Триста двадцать рублей сорок одна копейка.— Он еще коснулся кончиком ручки бумаги, хотел поставить точку. Но рука дрожала, и точка не получилась.

— Вы не ошиблись, Вениамин Геннадьевич?

— Можете смело писать эту сумму прописью. Когда-то мой мозг справлялся с цифрами не хуже логарифмической линейки. И сейчас, поскольку голова моя прояснилась... на таком свежем воздухе, я гарантирую правильность подсчета с точностью до копейки.— Он снова заложил руки в карманы полушубка. Его сильно трясло.

— Ну что ж, спасибо, Вениамин Геннадьевич.

Надо было прощаться. Но не хотелось оставлять здесь этого человека вот так, одного.

Глядя куда-то в сторону, он пожал мне руку. В глазах его не было ни тоски, ни печали, только никогда не проходящая усталость и отрешенность, какие бывают у покорных людей, обреченных на смерть или вечное рабство.

— Шли бы вы домой, Вениамин Геннадьевич.

— Нет у меня дома.

— А это разве не ваша избушка?



— Здесь живет моя жена. Бывшая жена. Марина. Мы развелись. И она не пускает меня домой вот уже второй год.

— И где теперь вы живете?

— Летом ночью здесь, в сарайчике.

— А зимой?

— У приятелей, которых еще не прогнали из семьи.

— Может, я попрошу вашу жену, и она выделит вам уголок?

— Не надо. Там всего-то одна комната и кухня. И жена моя не переносит запаха спиртного. Он действует на нее... ужасно. С ней тотчас происходит сильное возбуждение... Получается истерика... И потом она долго болеет...

— А дети есть у вас?

— Нет. Я поздно женился. И жена говорила: подождем, пока пить бросишь. Зачем же плодить на свет уродов... Она, знаете, умница... Да я и сам понимаю, что это преступление против человечества...

— Ну ладно. Хватит тебе сострадание выпрашивать. Поехали. У нас еще дел по горло.

Бурлов поднял монтировку. И мы гуськом по узкой тропинке, посыпанной свежей древесной золой, направились к воротам.

Семенов остановился у крылечка. Приподнял шапку, прощаясь... Я смотрела на его непокрытую голову. Несколько снежинок успело опуститься на примятые светло-русые волосы. Ветер шевельнул волнистую прядь, упавшую на лоб. И на миг показалось, будто я совершенно точно знаю, что последний раз вижу его живым.

## 6

Против моей избушки на другой стороне улицы стоит трехэтажный кирпичный дом. Жильцов там немного, и все мы знаем друг друга.

Знала я и Зинаиду. Она жила на втором этаже этого дома. Мне нравилась эта женщина своим веселым незлобивым характером. Ей было, наверное, около сорока лет. Долгое время она жила без мужа, с двумя детьми. Мальчишки еще учились, и женщине приходилось работать на двух работах. Редко появлялась она на лавочке возле подъезда. Но когда выдавалась свободная минута, она подсаживалась к пенсионерам и торопливо рассказывала о своих заботах и удачах. Маленькие удачи иногда не обходили и ее. Одно время она любила повторять историю о том, как ловко получилось у нее с ребятишками. Совсем случайно и дешево попались ей на барахолке две пары брючат. Почти совершенно новехонькие. И опять к сентябрю ее мальчишки будут одеты. Она так радовалась удаче, что повторяла историю покупки снова и снова.

Я проходила мимо, краем уха слушала эту историю. Приятно было видеть соседку такой радостной, взволнованной и восторженной. А сколько страсти было в ее подвижных веселых глазах, когда она говорила о своих мальчишках!

И вдруг Зинаида вышла замуж. За шофера рефрижератора. Он хорошо зарабатывал, не пил. У Зинаиды появилось свободное время, она оставила вторую работу. И теперь подолгу сидела на лавочке, поджидала мужа из рейса.

Но с ней произошло какое-то странное превращение. Пожилыми летними вечерами в открытое окно моей комнаты уже не доносился ее чекающий смешливый говорок. Она сидела притихшая. Слушала других. Все реже рассказывала о своей новой, замужней жизни. Даже походка ее изменилась, шагала она теперь медленно, тяжело и как бы невидяще. А уж глаза-то и вовсе стали неузнаваемы. Куда девались и живость, и страсть, и те быстрые светлячки, мелькавшие в них, когда она с нагруженными хозяйственными сумками проходила мимо моих ворот, здоровалась со мной и второпях расспрашивала о своих мальчишках: чего они тут вытворяли без нее? Теперь она смотрела

прямо перед собой. О чем-то думала. Увидев рефрижератор, подъезжавший к их дому, оставалась сидеть на скамейке, не спешила встречать мужа.

— Ты что, Зинаида,— говорили пенсионерки,— не видишь? Твой приехал. Кормилец... Иди выгружай паштеты да балыки.

Зинаида поднималась. Подходила к машине. Муж подавал ей разные коробки и коробочки. Плоские, величиной с большую тарелку и маленькие, почти с ноготок консервные банки. Зинаида складывала все в широкие авоськи, напоминающие рыбацкие сети. Тяжело ступая, шла с этими авоськами мимо лавочки, опустив глаза.

Потом она уехала из нашего города.

И разве я думала, что когда-нибудь, тем более сегодня, увижу Зинаиду? Вернее, точные, но несомненно живые, во плоти ее копии...

Двадцать три замужних Зинаиды сидели двумя рядами друг против друга за длинным толстоногим столом в полуподвальном помещении нашего старого комбината, которое именовалось цехом ритуальных изделий. Тихо, словно мыши, шуршали они проволокой, привязывавая жестяные раскрашенные цветочки к овальному остову. Глаза их были опущены, будто совсем закрыты. Изредка то одна, то другая поворачивалась в сторону, доставала новые пучки проволоки из ящика, стоявшего на скамейке рядом с ней, и снова застывала в прежней молчаливой угрюмости. Какое-то понурое бесстрашие и совершенно неживая, нечеловеческая автоматичность движений до неузнаваемости обезличивали этих женщин.

Много всяких работников и работничков наблюдала я потом в Рембыттехнике: и полусонных напудренных девиц в конторе, клевавших носом в полупустые бумажки, и псевдоэнергичных «работящих» деятелей, вертевшихся на глазах у начальства, и явных лентяев, молчавших оттого, что им и говорить-то неохота, не то что работать, и философствовавших обывателей, оправдывавших свое безделье бесстыдной и наглой теориейкой вроде той, что «от работы кони дохнут», и других извержившихся и обленившихся не по своей воле людей. Все это было не ново.

Но то, что происходило здесь, в ритуальном цехе, я видела впервые.

Ясно было только одно — не сами изделия, над созданием которых трудились женщины, действовали на них так угнетающе, а кормилец, ходивший вокруг стола заложив руки за спину и безуспешно допытывавшийся у женщин, кто из них сорвал со стены вывешенные сегодня показатели за прошлый месяц. Женщины молчали. Наконец он поднял с пола затоптанный лист ватмана с показателями, скатал его в трубочку и унес.

Я пошла за ним на улицу. Но он куда-то пропал.

Во дворе за котельной возле большой кучи каменного угля рабочие с помощью примитивных приспособлений гнули тонкие трубы, кромсали длинные металлические бруски, а сварщик снова соединял эти кусочки металла. Тут же на снегу стояла готовая продукция: металлические оградки, ошетинившиеся острыми, как пики, зубьями.

На заднем подворье у забора Бурлов сноровисто махал метлой. Из-под снега, из груды металлического мусора, старых морозильных камер, изувеченных конденсаторов и компрессоров выглядывали промерзшие до последней своей железной жилки корпуса стиральных машин. Бурлов раскидывал хлам, вытаскивал на расчищенное место машины, переворачивал их на бок, заглядывал внутрь. И снова шел к забору.

Я хотела помочь ему.

— Не путайтесь под ногами! — закричал он.

Я села на опрокинутую машину. Помолчала. И когда совсем успокоилась, сказала:

— Бывают такие люди на свете, честные люди, но они видят кругом только одну грязь. И ничего не делают, чтобы поменьше было этой грязи. Только орут за углами. Хамят. И обижают совсем неповинных людей. Да еще ставят себе в заслугу это хамство. Полагают, видимо, что в нем заключен их великий протест. И эти хамы, если они не окружают себя себе подобными, в конце концов остаются в одиночестве.— Я тихо вздохнула.

— «За углами»...— сказал Бурлов.— Думаете, я не говорю на собраниях? Начальство слушает. И делает по-своему. Бесполезны наши разговоры. А действовать... Ну что я могу сделать?.. Не умею, наверное. Не знаю как... А если я вас обидел... Извините.

Мы помолчали немного. Потом я сказала:

— В ритуальном цехе бригадирша показатели со стены сорвала.

— Ну вот. Что я говорил? Вот и весь протест. А остальные-то молчат. И все останется по-прежнему. Подождите, он еще и в новый завод их переселит. А там чего-нибудь прикроет, кого-нибудь выживет... Вы заходили во второй корпус, перед котельной?

— Нет.

— Посмотрели бы, какие там станки, оборудование. Нам бы пару таких станочков... Так ведь не дает! А куда всё, сюда все силы, все внимание и все подсобные материалы. Попробуй-ка задержи на один день жесть — он такой разнос устроит снабженцам... И сам днями пропадает здесь.

— Значит, он может и умеет работать?

— А разве я говорю, что не умеет?

— Ну и как у них с планом?

— Двести процентов. Сколько ни набавляют — ниже двухсот не дают. И заработки небывалые. Он веночки-то дорого продает. А себестоимость их грошовая — жесть и проволоку из отходов берут... Этот ритуальный цех у него словно пуп земли. За счет него в передовые вышел. Премии и награды получает... А на живых людей ему наплевать! — Бурлов снова распаялся.— Жалоб по сто пятьдесят штук в папках прет — наплевать! Заказчики у нас в обмороки падают — наплевать! Для него это не люди, а всего лишь мизерный процент в общем объеме производства! Стиралки, видишь, плановой погоды ему не делают! — Бурлов вдруг спохватился и умолк.

Господи, каких только уродов не рождают иные бестолковые планы!

Бурлов опять заговорил, но уже не так занозисто и злобно, видимо, немного остыл:

— Взять хотя бы этот склад запчастей для гарантийного ремонта.— Он махнул рукой в сторону приземистого, длинного, как баржа, бревенчатого дома.— Пятнадцать лет гниют там запчасти к стиральным машинам. Те машины давно сняты с производства, а запчасти лежат на гарантии. Кладовщица устала пересчитывать их при инвентаризации. Уж все потрескалось да сопрело, а они все лежат.

— А что же их не переведут на платный ремонт?

— А кому это надо? Ему ж не до стиралок. Он и не вникает в эти дела... Вот вы пошли бы сейчас да уговорили его.

— С пустыми руками? Опять будет бесполезный разговор.

— А что вам надо?

— Любую бумагу... Акт. Листок с перечнем деталей из инвентаризационной ведомости. Накладную. Все что угодно.

— Будет вам бумага.

Бурлов бросил возиться с машинами и почти бегом кинулся к складу. Непривычно было видеть его таким послушным и сговорчивым. Он смешно загребал длинными ногами в собачьих унтах, торопливо пробираясь по нетронутому снегу. Плоское складское строение с раздутыми бревенчатыми боками глубоко осело в сугробы. Словно бро-

шенная груженная баржа, оно тихо и одиноко ждало здесь своей участи — то ли большой воды, то ли большого корабля. Бурлов, как веслом, плашмя шлепнул ладонью по корме. В коричневых створах открылась дверка, он проскочил в трюм.

Бумагу он добудет. Я не сомневалась.

Не любила я просить и упрашивать, но когда дело требовало, приходилось выступать в роли невольной попрошайки и терпеть все то, что выпадало тогда на мою незавидную долю. Начальство отмахивалось от меня как от назойливой осенней мухи. И не находилось нужных слов, чтобы усовестить его, потому что начальство умело говорить лучше. И оно всегда было занято какими-то важными государственными думами. Этот гипноз, исходивший от солидной внешности, парализовывал меня, и мне стоило больших усилий, чтобы преодолеть его. Я долго ходила за Барановым. Мало слушала, что отвечал он мне. Он уже сел в машину и хотел закрыть дверцу. Но я успела поставить ногу в притвор. Он подождал немного, выхватил у меня бумагу. Не глядя подписал.

И я не сказала спасибо. За что благодарить? Это он должен благодарить. Я так хлопнула дверцей, что шофер бешено вытаращился на меня, но смолчал, побоялся Баранова.

Бурлов не верил своим глазам. Долго с подозрением глядел то на меня, то на бумагу. Потом вдруг крутнулся — и как не было его.

А я занялась поисками съестного.

У кладовщицы под столом была замаскирована электроплитка. Мы подогрели чаю. Принялись за беляши, которые я купила в столовой. Но они оказались с рыбой. Запах ее нам не понравился. И мы стали есть корочки от беляшей.

Кладовщица выругала меня за эти беляши, достала из-под стола бутылку с бесцветной прозрачной жидкостью.

— Будешь? — спросила она Николая.

— Нет. Да и тебе, Валентина, сейчас не надо бы, — посоветовал Бурлов.

— «Не надо бы», — передразнила она Бурлова. — Тебе хорошо, ты вон в унтах собачьих, а я тут весь день корчусь за этим столом, гляди, руки вон не гнутся.

Она подняла к лицу Бурлова все десять пальцев. На руках были двойные шерстяные перчатки с отрезанными пальцами.

— Руки выперстят невозможно! Порядочный хозяин и собаке теплую конуру делает! Беспрестанно прошу директора поставить хотя бы еще одну батарею. А он, как Мартын с балалайкой, носится с этими венками. Сдохнул — я бы ему пудовый венок заказала. Из железа.

— Пойдем, Валентина, отбирать запчасти. — Бурлов огляделся по сторонам. Искал, наверное, пустой ящик.

— Иди отбирай. Тебе надо, ты и отбирай.

— Ну, если доверяешь...

— Иди, иди, доверяю. Я всем доверяю, пропади все пропадом... Если начальство нас не жалеет, нам чего жалеть? Вот возьму и заболую на три месяца — у меня по-женски все простужено! А где я простыла? На производстве или нет, а?! Сто-ой! Куда пошла? — Валентина усадила меня рядом с собой за стол и принялась кричать мне в лицо ругательства, проклиная начальство и свою несчастную одинокую жизнь.

Уже совсем стемнело, когда мы, погрузив запчасти и промерзшие остовы стиральных машин, выехали со старого завода. Бурлову не сиделось на месте. Он ерзал, поглядывал то на меня, то на ящики с запчастями. Машину встряхивало на ухабах, и он соскакивал, хватался за ящики, переставлял их, выискивая местечко поспокойнее. Но салон

был плотно заставлен. Даже под скамейками все занято, и некуда было уместить ноги. Я скрючилась в маленьком гнездышке между ящиками на первом сиденье за спиной шофера. На полу под ногами перекатывался, подпрыгивал тяжелый мотор. Время от времени я поглядывала на этот мотор (уж очень он походил своим обликом на тот, который много лет помогал стирать белье бабе Гуте), низко склонялась, вглядывалась в клеймо, пытаюсь прочесть его. Но клеймо было почти стерто.

Впервые я видела Бурлова в хорошем настроении. И все же я не стала спрашивать про мотор.

Я тоже была довольна нынешним днем.

## 7

Еще вчера я думала: самое трудное — раздобыть запчасти. Все остальное пустяки. А сегодня вижу: самое трудное и неосуществимое — бесплатно отремонтировать машины. Те самые, что стоят в дальнем углу цеха. Я не представляла, что скажу механикам, как заставлю их сделать это. Тем более что требовать я не имела права.

Я шла на работу и строила в уме речь. Воображала, как закричит на меня Бурлов, что скажет Яновский и чем я докажу его причастность к исчезновению деталей с тех машин... А чем доказать, в самом деле? Я увидела очередь у овощного магазинчика. Он был еще закрыт. И люди, притопывая и постукивая катанками, плотной живой кучкой жались к его дверям. И тут я подумала о Галине Викторовне. Ведь была! А еще от других какой-то чуткости жду... Вдруг она умерла? Я бегом бросилась назад. Дочка была еще дома.

— Ирина, у вас вчера математика была? — Я даже не чувствовала одышки, пробежав напрямик по сугробным огородам.

— Была, — ответила дочка.

— А кто вел урок?

— Галина Викторовна. А что?

Я прикрыла сенцы и теперь уже не спеша двинулась по дощатому тротуару. Слушала, как сердце медленно и гулко перекачивало кровь. Теперь не сбиться с ритма, идти в такт его ударам, и постепенно оно успокоится, будто исчезнет совсем. Надо бы по утрам пробежку делать, квартала три-четыре. Да когда? Уматываешься на работе... Вот отладится, войдет работа в колею, и потом... Я не стала мечтать, как хорошо будет потом. Мне надо было успеть сейчас продумать это дело с ремонтом раскуроченных машин.

Но речь у меня не клеилась. Что-то нудно подмывало в груди, мешало думать. Сердце начало побаливать уже совсем другой, не физической болью. Никак не удавалось отделаться от нее. И когда я шла по узкому коридорчику завода, я чувствовала эту боль. Она стала еще сильнее. Но болело теперь не сердце, а что-то другое, я не могла понять, что именно болит.

Баба Гутя возникла передо мною в узком проходе у клеток как из-под земли.

— Ну, доча, что опять ты вытворила с начальником?

— Ничего.

— Ну как — ничего? От Леонтьевна слышала, как он вчерась злоющий приехал оттуда, со старой фабрики-то. Гаврилова поймал тут внизу и давай его пытать, кто ты такая, да откуда, да раньше где работала. Злой на тебя. Ужас.

— Ну и пусть.

— Как это пусть? — Баба Гутя всплеснула руками. — Как это пусть? Он же директор! Он же тебе житья теперь не даст!

Баба Гутя остановилась на площадке, преградив мне дорогу, и категорически потребовала отчета. Я рассказала.

— И это все? — недоверчиво спросила баба Гутя, когда я закончила описание стычки с Барановым.

— Все,— ответила я.

— Ой, девка, сдается мне, что не удержишься ты здесь. Ох не удержишься.

— Баба Гутя, не надо... У меня и так худое настроение.

— Ладно, доча. Молчу. Я ведь жалеючи... Голубонька ты моя...

Скажи баба Гутя еще две-три жалостных фразы — и я бы расплакалась. Так было жаль себя, и Валентину, и... Но, слава богу, этого не случилось.

Баба Гутя открыла кладовку и, не зажигая света, начала там шептать молитвы.

Я растегнула пальто. Вешалка была пуста. Значит, ребята еще не появились, значит, есть еще время подумать.

Но я вдруг поняла: пока не выясню для себя эту ситуацию с Барановым, не успокоюсь и ни о чем другом думать не смогу.

Почему не сдержалась? Зачем надо было хлопать дверцей? Еще осталось прийти к нему да по столу кулаком хватить... Как же быть? Допустим, нас теперь трое. Но Гаврилова он тоже не слушает. А Гаврилов коммунист. Если он скажет об этом на партийном бюро, поддержат ли его?.. А если Гаврилову обратиться в областное управление?.. И там его спросят: что вы, лично вы, Сергей Михайлович, сделали, чтобы выправить положение в цехе? А ему и сказать нечего. Да-а... Надо работать. Как следует. Наладить все. Окрепнуть. Тогда... Тогда барановщина сама по себе зачхнет.

Так ли, не так рассудила, но мне стало немного легче.

Ко мне подошла баба Гутя.

— Там, в кладовке, у меня костюмы лежат. Гаврилов вечер пригласил. Форму пошили ребятам. Костюмчики замечательные. Прямо с иголочки. Только вот Натолию такой костюм на один день. Цвет, конечно, красивый, как брюшко у летнего соболя, бусенький такой. Но маркий. Самое большое два-три дня — и уделат незнатко. Ты бы, Григорьевна, поговорила с ним, а?

— Нет уж, баба Гутя, Анатолия я поручаю вам.

— Дак опять же, с другой стороны, как его винить? Живет в пригороде, дом, конечно, неблагоустроенный. У сестры своих ребятишек полно да еще его обстирывать.

— А родители у него живы?

— Мать одна в деревне. Неприученный он, видать, к аккуратности.

— Вот и приучайте.

— Не знаю, справлюсь ли. Он, холера его возьми, вишь норовистый какой. Канители с ним не обересся.

Баба Гутя топталась вокруг ящиков с запчастями. Уж больно ей хотелось поскорее убрать их с прохода.

— А славно вам поддуло вчерась... Полати вечер мы с Гавриловым внизу оставили, не смогли затащить.

— Вы о стеллажах для кладовой, баба Гутя?

— Тяжелющие, спасу нет. В эту колесницу поднебесную не помещаются. Придется пехтерить по лестницам. Вечер было взялись, да грузчиков увезли в машине какие-то трубы грузить... Пойду, однако, вниз, доча. Скараулю ребят, подыдем как-нибудь, че же эти потрохато машинные по полу валяться будут.

Пожилой мужчина в новом форменном костюме, повстречавшись с бабой Гутей в дверях, уступил ей дорогу и прошел в цех. Увидев ящики с запчастями, стал копать в них. Подходил то к одному, то к другому ящику и наконец оказался у моего стола.

— Рыков Афанасий Иванович,— представился он.— Можете называть просто Иваныч. Яновская в декрете. Я вместо нее теперь в са-

лоне работаю. Вот вам сегодняшние маршрутки... А вас ребята Григорьевной зовут. Можно, и я так буду вас называть?

— Рада познакомиться с вами. А прозвище мне еще не придумали, Афанасий Иванович?

— Уже готово — «Так. Понятно».

— Так. По... Это Анатолий, конечно... Что-то заявок мало, Афанасий Иванович? Вы присаживайтесь, пожалуйста.

— Тут гарантийные машины только. А по платному ремонту запчастей же не было. Теперь, значит, можно брать заказы?

— Сначала отремонтируем те, что есть в цехе, и разберемся с жалобами, если что останется — тогда. Я заведу журнал, внесу туда оставшиеся детали. Журнал будет у вас в салоне.

— Вот это хорошо. Только вы уж, пожалуйста, сделайте разность отдельно по каждой марке. А то теперь столько новых машин развелось, что все и не упомнишь.

— Так и сделаю. А вам на пятый этаж тяжело, наверное, подниматься? Я буду ходить в салон за маршрутками, или ребятам отдавайте.

— Тяжело-то тяжело, я уж теперь не ахти какой ходок, а все же интересно поглядеть, что у вас тут делается.

— Ну тогда милости просим. Вы, Афанасий Иванович, кажется, в мастерской у рынка хозяйничали? Я там часто бывала, ключи заказывала. Вы меня помните?

— Помню. Я всех своих постоянных клиентов помню. А вы-то почти каждый месяц теряли ключи.

— А скажите, Афанасий Иванович, как это вам удавалось буквально через минуту готовый ключ подавать, а?

— Открою вам свой секрет, открою. Я ведь и дочку вашу знаю. Она-то, признаюсь вам, еще чаще вас ключи теряла. Вот я вас и запомнил. Вижу, рассеянные вы обе. Как получу заготовки, сразу вам десять штук сделаю. У меня там ящичек стоял особый для таких клиентов, как вы. На бумажке ваша фамилия и адресочек. В этой бумажке все десять ключей и лежали... Большого ума не надо.

— А хорошо у вас было. Тесновато, правда, но ребята приветливые. Вы давно, наверное, по этой части работаете?

— С самого начала, можно сказать, как зародились в нашем городе такие работы. А что хорошо работали — это верно. По старинке работали — в смысле людского обращения. Клиенты никогда не обижались.

— До пенсии много осталось, Афанасий Иванович? А то поработали бы еще?

— Нынче вышел на пенсию, да Сергей Михайлович попросил вот поработать. А в салоне что не работать? Сиди да разговаривай с людьми — вот и вся работа.

— Афанасий Иванович, вы знаете, какие машины стоят вон там, в углу. Что мне посоветуете с ними делать?

— Да что? Ремонтировать.

— А будут ли механики бесплатно их ремонтировать?

— Запчасти-то бесплатно снимали.

— Так не все же они сняли.

— Известно, не все. И то, что снимали, не домой утаскивали, а тут же на машины и ставили. Если бы такие детали на складе были, так и не мучились бы, не снимали.

Я что-то еще хотела спросить, но из коридора послышался шум, бабы Гути тонкий стрекоток:

— Осторожно, стекло-то на площадке не разбейте, мотрите назад... Натолкни! Не спеши! Ну куда ты пятисся!

Мы подошли к лифту. Баба Гутя не замечала нас. Она стояла на самой верхней площадке. Сверху ей хорошо было видно продвижение

по лестницам стеллажей. Механики, оглядываясь на бабу Гутю, ступенька за ступенькой все выше поднимались с тяжелой ношей.

— Шустрая женщина,— сказал Афанасий Иванович, входя в лифт.— Советую вам поскорее ее оформить, хоть на полставки. А то найдутся некоторые, доказывая им потом, что человек от чистого сердца добро творит, а не из корысти.

Лифт скрежетнул и покатился вниз. Звуки, доносившиеся из шахты, напоминали отдаленные раскаты грома. Потом они стали затихать. И каждый гулкий вздох в этой полой стене, словно стоны больного животного, повторялся во мне вспышками острой непереносимой боли... Ненастье сырым простылым холодом снова вкрадывалось в душу. Я понимала: сейчас не время заниматься самокопанием. Но ничего не могла с собой поделать.

Я села за стол и начала все сначала.

В общем и целом моя стратегия сопротивления правильна. Но где-то в ней был изъян, прореха... Пойти с этой занозой к Гаврилову? Нет, надо работать, а всякие сомнения — к черту! К черту!.. Вот если бы главный инженер появился толковый, тогда...

Стеллажи наконец установили. Один не вошел в кладовую, его поставили в цехе сразу у входа. Но он пришелся к месту. Мы рядками сложили на него старые моторы.

Я начала раскомандировку, но Яновского и Зверева невозможно было дозваться. Они унесли большую часть деталей в наш новый склад и чуть ли не с головой зарылись в них, все выбирали и выбирали каждый себе и в конце концов поругались. И я услышала, как Яновский оскорбил Анатолия. Я наблюдала за ними у раскрытой двери кладовки.

— Владлен, это, конечно, нечаянно сорвалось у вас с языка,— сказала я,— вам надо извиниться.

— Перед кем извиняться? — Яновский с усмешечкой глянул на Анатолия.

— Ах ты скотобаза прилизанная! Опять белого человека из себя корчишь? — Анатолий внезапно бросился на Яновского и прижал его к стене.

Ключ был в скважине. Я дважды повернула его и отдала бабе Гуте.

— Ишь спесивый какой.— Баба Гутя положила ключ в карман халата.— «Перед кем извиняться»... Пусть посидят там, подумают. По третьему десятку обоим, а в угол ставить приходится, как детей малых... Ох наказание господне с ними.

— Не открывайте до тех пор, пока Яновский не извинится,— сказала я бабе Гуте.

Была бы бригада, общий котел — такого позорного дележа не случилось бы...

Я раздала всем заборные карты, показала, как их заполнять. Хитяна попросила завести картотеку для учета запчастей на складе. Бурлов принялся потрошить машину бабы Гути. А мы с Юриком занялись амбарными книгами. Я набрала их предостаточно на складе гарантийных запчастей у Валентины. Баба Гутя оставалась в коридоре.

Мы увлеклись работой и будто забыли о случившемся. Но когда баба Гутя вывела затворников, все притихли и Бурлов перестал стучать киянкой по бортам машины.

— Ну что, помирились? — спросила я Зверева.

Оба стояли у моего стола.

— Помирились, чего там,— сказал Анатолий и вопросительно глянул на Яновского. А тот смотрел мне в глаза, как будто ничего не случилось и не он стоял перед нами полчаса назад, нагло ухмыляясь.



— Вот и хорошо. Я думаю, такое больше не повторится. Вы согласны со мной, Владлен?

— Да,— сказал он. И добавил: — Впредь разрешаю вам обращаться ко мне на ты. А то я смотрю, со всеми вы запросто, а меня как-то выделяете.

Я старалась уловить его взгляд и понять, искренен ли он сейчас. Досадно, что не могу разобраться в этом человеке. И не потому, что он сложная натура, а просто умеет маскироваться. А вот что он прячет в себе — интересно. Я также чувствовала: чем-то он неприятен мне. И эта неприязнь будет постоянно мешать, и не дай бог, чтобы в отношениях с ним она руководила мной. Мне почему-то казалось, что каждый мой промах, каждая ошибка будут ему в радость и он постарается использовать их против меня. Но это, наверное, и в самом деле только казалось.

— Хорошо. Я постараюсь, Владлен, говорить с вами на ты,— сказала я.

Яновский улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. В улыбке его скользнуло не то высокомерие, не то всепрощающая снисходительность. Он вытащил из кармана пачку «Кэмела» и пошел на лестничную площадку.

Близился обед, а я, по сути дела, еще не начинала работу.

— Баба Гутя, раздайте, пожалуйста, всем форменную одежду,— сказала я, отложив амбарную книгу в сторону. Можно было начать хотя бы с костюмов.— Там, в кладовке, ребята могут и переодеваться.

— Ой, да я не успела все погладить!

Она засуетилась. То затягивала концы белой косыночки на затылке, то заправляла под нее волосы, опуская косынку на лоб по самые брови.

— Ничего, пусть примерят.

Яновский подался в кладовку последним. На лице его была кислая гримаса.

— Яновский, вернитесь, пожалуйста.

Он подошел ко мне.

— Присядьте.

Он вдруг схватил стул за одну ножку, перекинул его с руки на руку, словно жонглер, опустил на пол. Сел. И послушно-покорно уставился мне в глаза.

— Владлен, вот вы паясничаете, рисуетесь, насмехаетесь, а зачем? Он молчал.

— Вы чем-то недовольны?

— Я всем доволен. Вот сейчас новые костюмы наденем — и сразу же станем культурными. И клиентам покажем свою высокую культуру.

— А почему бы и нет?

Он улыбнулся с ехидцей, открыто, уже не скрывая своей иронии.

— Мы показали бы, да где ее взять-то? На улице она не валяется. Спрашивал учителей: почему не сказали мне в школе, с какой стороны тарелки вилка кладется и как,— они отвечали: мы этого не проходили. Недавно знакомого встретил, он только что институт кончил. Ну, думаю, может, теперь по-новому учат. У него спросил. А он говорит: про вилку должны рассказывать в детсадыке... Вы так внимательно изучаете мой галстук, он вам нравится?

Ну конечно, этот широченный ядовито-зеленый галстук — его своеобразный вызов. Но кому?

— Давайте сделаем так, Владлен. Представим, что мы на войне. Согласны?

— Не согласен, но представил.

— И вот в пылу боя какая-то часть войска не заметила, как очутилась в болоте.

— Допустим.

— И вы оказались среди них. Что вы будете делать? Постараетесь скорее выбраться сами, поможете другим или будете сидеть в холодной жиже и судить-рядить, выискивать виноватых?

— Вас понял. Выкарабкиваться буду. Только не умею по болоту ходить. И скорее всего завязну еще больше.

Я хотела возразить, но он не дал мне.

— Сколько работаю в Рембыттехнике, ни разу не видел здесь интеллигентного человека, у которого можно было бы поучиться, как вести себя. Начальники все орут, хамят, унижают и унижаются сами.

— Так уж и все?

— Подождите, Гаврилов, как освоится, тоже кричать начнет.

— Кстати, каждую пятницу он будет беседовать с вами как раз о том, надо ли орать и как сделать, чтобы не завязнуть.

— И думаете, это спасет нас? — Яновский встал. — Да вы сначала сами выберите, а потом уж других спасайте!

Он пошел в кладовку. Я смотрела ему вслед. И ощущала, как снова заволакивает душу мороком. Если бы мы умели предвидеть хотя бы самое недалекое будущее, то я бы, наверное, ощутила в тот момент, что каждый раз, когда буду вот так говорить с ним, все сильнее буду чувствовать свою незащищенность и растерянность.

Нет, не выходит у нас на «ты».

В коридоре у входа в наш цех стояло трюмо. И все уже толпилось вокруг него. Ни ропота, ни особого восхищения костюмами я не слышала. Но заметно было, что костюмы понравились. Только Анатолий дольше всех пререкался с бабой Гутей. Работы сегодня немного, и ребята не спешили к верстакам. А я предчувствовала — нынешняя раскомандировка продлится не час и не два и неизвестно, чем кончится.

Я подошла к ребятам.

— Не буду я носить этот костюм, и все! — кричал Анатолий.

— Ты что кричишь, Анатолий?

— Разве? — И он собрал губы трубочкой, будто держал во рту сливу и намеревался выплюнуть косточку. Позже я узнала: так он смеется, когда не хочет, чтобы заметили его хорошее настроение.

— Ты гляди-ка, Григорьевна, что вытворяет: брюки, видите ли, ему не нравятся, широкие, мол, — жаловалась баба Гутя.

— Да! Широкие!

— Вот так, наверное, и на примерке орал: широ-о-кие! Ты что хочешь, чтобы все в облипочку было, как у царских гусар?

Баба Гутя вертела Анатолия и так и этак, рассматривала в нем что-то, отходила в сторону. Анатолий охотно поворачивался к ней то спиной, то грудью, ему явно нравилось, что за ним ухаживают, как за ребенком.

Костюм, на мой взгляд, Анатолию был в самый раз. Он хорошо подчеркивал его фигуру атлета, покатый и широкий разворот плеч. Но мне казалось, во время работы пиджак будет стеснять движения.

— Ну-ка нагнись, Анатолий. Резче. Протяни вперед руки.

Анатолий склонился, и костюм затрещал по швам. Баба Гутя заахала:

— Вишь, что делается. Это же рабочий костюм. Для работы делался, а не для прогулок. Это тебе не джинсы. Давай сьмай, на руках по швам прошью, крепче будет.

Анатолий ушел в кладовку переодеваться, и мы с бабой Гутей остались вдвоем. Самое время закончить эту короткую подготовку.

— Баба Гутя, у меня к вам просьба, можно сказать, задание вам есть.

— Что такое?

— Постарайтесь как-то поделикатнее уломать Анатолия постричься. В новом костюме, с красивой прической...

— Поняла, поняла. Только не знаю, с ним без ругани, однако, не обойдется.

— А вы поласковее...

— А ты меня не поучай, Григорьевна, я лучше тебя знаю, с кем как разговаривать.

— Виновата. Простите.

— То-то же.

— А сейчас, баба Гутя, закрывайте кладовку, разговор предстоит.

— А что ее закрывать поминутно? Пусть открытая стоит. Когда-то надо начинать приучать их к порядку.

— Что-то жалобщики сегодня не идут. Вчера много было.

— Да ты, что ли, забыла, сегодня же в салоне Рыков работает. Сегодня спокойно можешь собрания проводить, никто не помешает.

Наконец все были в сборе. Можно начинать. Но с чего начинать, я не знала и тянула время.

— Вижу, костюмы понравились. Согласитесь, приятно, когда нам угождают? — Я так волновалась, что другого ничего придумать не могла.

Все почему-то молчали.

— Или вам опять что-то не нравится? А, Яновский?

Яновский молчал. Зато Анатолий сегодня был в ударе.

— Ха, сказали тоже. А куда им деваться? У них у каждого телевизор есть? Есть. Холодильник? Стиральная машина? Пылесос? Тоже... Они же понимали, кому шили!

— Если бы они всем так угождали, тогда другое дело, — сказал Хитоян. — Тогда можно было их уважать.

— Вот именно, — заговорил Яновский. — И все ваши попытки, Нина Григорьевна, ваши или Гаврилова, так попытками и останутся. Законы истории всесильны, как говорят некоторые философы, а вы против них — с булыжником.

Опять его понесло.

— Какие законы? Может, вы имеете в виду Огборна?

— Скажете, он не прав? Все человечество этим страдает...

Надо было скорее собраться с мыслями. Не ожидала я, что Яновский выкинет такое коленце... Я видела перед собой его глаза, серые, прищуренные, с темными ресницами, и они чему-то радовались. Может, он восхищается собой? Не похоже... Тогда чему он радуется? Если он сейчас рад, значит, ему это нравится. Или выгодно. А чего выгадывать-то? Скорее всего он рад, что загнал меня в угол... Нет, врешь, Владден. Законы мы создаем сами. Историю вершим сами. За чем же тогда мы совершили революцию?

В цехе стало так тихо, что слышно было, как тикают часы на руке Роберта Хитояна. Он сидел справа от меня, положив руки на стол.

— Да, был такой философ. И он утверждал, что материальная культура человечества развивается быстрее, чем духовная.

— А он чей, этот Огборн? — спросила баба Гутя.

— Американец.

— Американцам, однако, на слово верить нельзя.

— Вот Яновский и говорит, баба Гутя, что, мол, сейчас мы живем богато, хорошо одеваемся, дома у нас все есть: телевизор, холодильник и прочие материальные блага. Приобрел человек все это, а культурнее не стал. Вроде как были мы скифами, так ими и остались.

— Поди-ка, маленько он прав. Но кто нам дорогу к культурной жизни заступает? — сказала баба Гутя. — Кто не велит? Кто воспрещает?

— Что-то весело вам сейчас, Яновский... Я согласна с вами: может быть, наши попытки наивны и в глобальном масштабе мы, конечно, —

мы, вот здесь сидящие,—ничего изменить не сможем. Но у себя-то здесь, в цехе, ведь можем. С собой-то справиться — можем. Вот и давайте подумаем, что мы сможем сделать в этом плане.

— Давайте, кого бояться? — сказал Анатолий с улыбочкой.

— Нато-о-лий! Одна ехидна болотная насмежается — и ты туда же!

— Да что вы на меня-то?.. Я против, что ли? И не шучу я. Юрка, пиши протокол!

— Да, Юра, нелишне будет и записать, как ты думаешь?

— Это точно, Нина Григорьевна. А то он потом скажет: я ничего не знаю, моя хата с краю, я такого не говорил. — И Юра взял чистый журнал, открыл его. — Давай, Анатолий. Только не части, я медленно пишу.

— Пиши, — начал Зверев, — согласен работать после пяти. Пусть на моем участке у всех, кто днем не может быть дома, принимают заявки на вечер.

— Дальше?

— А что дальше? Хватит. Что я еще могу?

— Пиши-и, главное... Чего тут писать-то? И писать нечего.

— Ну а ты, если такой прыткий, давай от себя прибавь что-нибудь.

— И прибавлю. Я предлагаю, чтобы мы выполняли заявки в точно назначенное время. Опоздал на пять—десять минут — отвечай.

— Ишь ты какой, а если я не успею?

— А ты так распредели время, чтобы успеть.

— А если не успею?

— Позвони диспетчеру и сообщи, что задерживаешься.

— А если там нет телефонов?

— Что они, сразу все сквозь землю провалятся?

— Буду я еще ходить телефонные будки разыскивать, время терять.

— А разыскивать их не надо, — сказал Бурлов. — Каждый должен знать свой участок как свои пять пальцев.

— Да что там говорить. Если захочешь, и телефон найдешь, и все как положено сделаешь, — сказал Роберт. — Пиши, Юрик, я с вами заодно. Только время выполнения заявок должен диспетчер прикидывать. Положим, Рыков сумеет. А остальные?

То ли Роберту было жарко, то ли еще почему, но шапка его сегодня покоилась на вешалке поверх мохнатого темно-синего шарфа. Он изредка поглаживал ладонью маленькую круглую плешь на макушке — видно, непривычно было ему без шапки.

— Лучше всех рассчитала бы ЭВМ. Но пока у нас этого даже в проекте нет. Я сегодня доложу Гаврилову. И он, думаю, займется этим вопросом немедленно.

Юрик аккуратным укладистым почерком вел протокол. Все наблюдали за его рукой. Мне думалось, каждый в этот момент кумекал, что бы еще такое сообразить. А Яновский — это было всем ясно — думать и не собирался и не спешил присоединиться к своим товарищам по комсомолу — Анатолию и Юрику. И тут я вспомнила, что он, Яновский, — заместитель секретаря комсомольской организации завода. Ему положено быть лидером, а он сидит и Огборна склоняет. Выжидает, в какую сторону Бурлов склонится.

— Ребята, а сколько у вас за эти полгода, что вместе работаете, возвратов было?

— У меня один, — сказал Юрик. — Пустяковая недоделка, но все же возврат.

— А ты, Яновский, что молчишь? — спросил Роберт и вновь прикрыл веки, будто его не интересовал ответ.

— Да три было. Я поставил старые помпы, потому что новых не было. Потом появились, и я заменил их. Теперь гарантирую, что минимум год машины будут работать нормально. Может, запишем в

протокол, что обязуемся при наличии запчастей ремонтировать с хорошим качеством?

— А че писать-то? Это и так само собой разумеется. Мы всегда хорошо ремонтируем. — Зверев, наивная душа, никак не поймет, отчего это люди плохо работают, ведь так приятно поглядеть, когда хорошая вещь хорошо сработана, да еще твоими руками.

— А по-моему, записать надо! — вскочила баба Гутя. — Вдруг начальство прочтает да скажет: а про качество почему забыли? Потом докажи им, что мы вовсе и не забыли. А мы запишем и скажем: а вот оно у нас, записано! Ничего мы не забыли! Давай, Юрик, пиши, пиши хорошенько да про сроки не забудь. Трое дни вам хватит, если все детальки будут на складе?

— Да мы в тот же день всегда делаем, если есть чем работать! Каждому заработать хочется.

— А ты все равно пиши: трое дни, мол, самое большое, обещаем, не подведем.

— Ладно, пишу, баба Гутя.

— Ну а ты, Николай, что помалкиваешь? — Баба Гутя, обращаясь к Бурлову, искоса прошлась взглядом в сторону Яновского, и Бурлов, кажется, понял ее намеки.

— Меня, баба Гутя, понукать не надо. Я не стану тормозить хорошее дело. Я вот соображаю, как быть с моими ребятишками, кто их будет из садика забирать. Обычно я хожу за ними, жена-то на другом конце города работает, ей несподручно.

— А далеко твой садик?

— Там, в конце Индустриальной.

— Ой, дак это почти около моего дома! Вот и займись твоими ребятишками.

— И вовсе это не около вашего дома.

— Ну и что? Значит, ты прикажешь мне вечерами сидеть дома и четыре стены оглядывать? Может, не доверяешь мне своих детей? Тогда, конечно...

— Да почему не доверяю... Ну ладно. Пока так решим. А там видно будет, может, что придумаем с женой. Спасибо вам, баба Гутя.

— А у тебя, Владик, две бабушки дома, ты почему молчишь, а? — На сей раз баба Гутя не постеснялась спросить Яновского и глядела на него в упор.

— Не знаю, надо поговорить с тещей. Моя-то мама работает.

— Так что, Владлен, писать, что вы против?

— Я хотел сказать, что, пока жена не родила, я могу, конечно. Попрошу маму, может, она согласится присматривать за старшим...

— Слава богу, вытянули kota за хвост. — Лицо у бабы Гути раскраснелось. Она достала из кармана халата белый носовой платочек, скоренько протерла рот и щеки, поудобнее устроилась в кресле и победоносно взглянула на Зверева.

Приближался обеденный час, но ребята не торопились в буфет. Пусть наговорятся, в такие минуты как раз и не стоит экономить время.

А Бурлов между тем опять взял слово.

— У меня такое замечание... Владлен, когда ты приходишь на квартиру...

— В квартиру.

— В квартиру. Спасибо, Владлен... Так ты не веди себя так, будто одолжение делаешь заказчику. Один просил недавно, чтобы пришел кто угодно, только не ты. Назвать адрес?

— А, попал под горячую руку! Что, у тебя такого не бывает?

— Я и говорю: вот это нам всем надо учесть и бросить такие выходы. И еще. Заканчивая в квартире ремонт, барахолку после себя не оставлять. Это особенно касается Анатолия. Когда это кончится, Ана-

толий, чтобы заказчики притаскивали сюда твои отвертки и плоскогубцы? И что интересно, Нина Григорьевна, заказчики все попадают к нему порядочные люди, в такую даль тащатся с его отвертками.

— Да не в том дело, что они порядочные, просто они меня любят. А вот Яновскому не принесут.

— А я и не оставляю ничего. Между прочим, я видел, в каком состоянии после тебя квартиры. Хоть капитальный ремонт делай...

— Ребята, на эту тему каждую пятницу с нами будет проводить беседы Гаврилов... А теперь разрешите и мне кое-что предложить. По-моему, надо что-то такое предпринять, чтобы вот этот наш разговор не остался пустой болтовней. Нам нужен постоянный, я повторяю — постоянный, ежедневный самоконтроль. Поэтому предлагаю избрать группу самоконтроля. Эта группа будет ходить по адресам и проверять качество ремонта и качество обслуживания. А результаты проверок фиксировать. В виде актов. При подведении итогов и при начислении прогрессивки будем их учитывать. Ну как, согласны?

— Опять уйму времени терять будем.

— Ох и лень же ты, Анатолий. — Роберт будто только что проснулся и говорил как сквозь сон.

— Это я-то лень? Да ты за всю жизнь столько работы не переделал, сколь я. А вы, я смотрю, с Юриком оба прыткие, вот и давайте мы вас в эту группу и выберем.

— Двоих, наверное, маловато, Анатолий. Если не возражаете, я могу присоединиться. А у Юрика и здесь дел хватит, я хочу попросить его и Роберта заняться складским учетом.

Баба Гутя опять вскочила с кресла, накинулась на Зверева:

— Ты что, Натолый, все на Юрика сваливаешь? У тебя ноги длинные, ты полгорода шагами промеряешь и не споткнешься — вот тебе и ходить с етой комиссией.

— Да как же я, баба Гутя, сам себя проверять буду?

— А вот так и будешь. Ты слышишь, как комиссия называется? Сам-контроль.

— И сам на себя акты писать буду? Ин-те-рес-но!

— Так и порешим, — поставил точку Бурлов. — Пиши, Юрик. А ты, Владлен, опять против?

— Ну почему же? Я не против. Я — за. — И Владлен слишком высоко поднял правую руку. Этим гротесковым жестом он, по-видимому, давал нам всем понять, что не верит в нашу затею.

## 8

Назавтра баба Гутя потчевала нас вкуснейшим пирогом с омулем — омулем угостил ее Анатолий. Мы сдвинули в буфете два стола. Баба Гутя не давала нам подняться с места. Ей доставляло удовольствие разливать горячий борщ из кастрюли, куда буфетчица отмерила семь порций... А потом баба Гутя вынесла из кухни на большом подносе пирог. Мы все впились глазами в его блестящую светло-коричневую корочку, густо посыпанную крошеными сухариками, неотрывно следили за ее руками, пока она разрежала пирог. И как только она села, мы принялись уминать его.

Иваныч, сидевший за соседним столом, скучно жевал казенные пирожки, начиненные перловой кашей. До него дошел, видимо, запах рыбного пирога. Он перестал жевать и повернул нос в нашу сторону. Мы пригласили его к себе.

Иваныч ел аппетитно, не торопясь, подбирая корочкой со стола упавшие рисовые зернышки. Потом вытер рот платком и обратился к бабе Гуте:

— Вам, Августа Федоровна, от меня великое благодарение, очень вкусный пирог вы испекли. Мне даже кажется, лучше, чем печет моя супруга.

И тут мы начали все хвалить и благодарить бабу Гутю. Она, счастливая, розовощекая, смущенно улыбаясь, подливала нам в кружки чай.

— Да что я? Это все Натолый,— оправдывалась она.

— Это где же ты, Анатолий, поймал таких битюгов? — полюбопытствовал Иваныч. — Жирные-то какие. Я как ни стараюсь, все одна мелюзга попадается.

— А вот поехали со мной — узнаете.

Юрик тихонько толкнул меня локтем.

— Я тоже хочу на рыбалку. Скажите ему, Нина Григорьевна, чтобы взял меня.

— Что ты там шепчешь, лорд Байрон? С января разрешат бормашовый лов, вот и поехали все вместе. Кого бояться? Роберт, твой «Жигуленок» на ходу?

— Если берешь нас всех, то к январю копыта ему подкую — и можно ехать.

— Сейчас, Юрик, ты будешь рыбку ловить не для себя, а для рыбнадзора. А вот в другое воскресенье у мамки день рождения. Приглашаю всех.

Радости Юрика не было предела. И все то время, пока не настало следующее воскресенье, у него только и был разговор что о рыбалке да об охоте, о привольном житье в деревне.

Так мы и повадились с того воскресенья и зиму и лето ездить с Анатолием в деревню. И даже один раз побывал с нами в деревне Яновский. Но об этом потом. Я еще не рассказала про те злополучные раскуроченные машины.

После рыбного пирога еще долго не умолкали в цехе разговоры на деревенские темы. Я выбрала момент и попросила Анатолия подкатить к моему столу ту машину, с которой была снята фишка на переключателе.

— Эту, что ли? — спросил он полушутя-полусерьезно, делая вид, будто не понимает, чего я добиваюсь.

— Да, эту. Можно еще вон ту, что у ванны стоит отремонтированная. Кстати, почему до сих пор ее не сдали на склад готовой продукции?

— Места нет. Все забито холодильниками.

— Иванычу сообщили, что машина готова?

— Да сказал, сказал. — Зверев подкатил ко мне машину, с которой была снята фишка.

— Так. Роберт, посмотри, пожалуйста, каких деталей не хватает там. — Я взяла карандаш и бумагу.

— Да тут почти ничего нету, Нина Григорьевна, даже мотор снят.

— Та-ак. Ловко кто-то орудует у нас в цехе. — Я неотрывно смотрела в глаза Анатолию.

— Да что вы на меня-то узрились? Как что — сразу Анато-о-о-оль!.. Что я, вор, по-вашему?.. Да, фишку я снял, потому как машина давно готова, а без фишки ее владельцу не отдашь — как он включать будет? А фишка была, я сам эту машину дефектовал на квартире. А при перевозке она, конечно, каталась, как мячик, в нашем фургоне, и фишка отлетела.

«Узнать у Гаврилова про чехлы и специально оборудованные фургоны», — черкнула я в записной книжке.

— Позавчера я просмотрела все эти машины. Их, раздетых, около пятидесяти. Если подсчитать, что в среднем в каждой машине снято запчастей на двадцать пять рублей, сколько это будет, Юрик?

— Одна тысяча двести пятьдесят рублей, — опередил Юрика Роберт. — Это без стоимости ремонта. А если еще приплюсовать ремонт...

— Да еще десять машин, которых вообще нет в цехе, но которые должны быть, судя по жалобам... Я сейчас попрошу вас всех, ребята, встать и подкатить к своему верстаку те машины, с которых вы сняли детали.

Прошла минута, другая. Никто не шевельнулся. Только Зверев обиженно ерзал на стуле.

— Так. Понятно... Кто-то чужой разграбил машины...

Все молчали.

— Роберт, помогите мне разобраться, вы же должны знать.

— Я знаю, Нина Григорьевна, что ни я, ни Юрий, ни Бурлов не трогали ни одного шурупа. Зверев действительно брал только фишки, и то с тех пор как их не стало на складе.

— А вы, Владлен?

— Да, кажется, две-три машины пострадали от моей руки. Я, безусловно, восстановлю их. Вы, конечно, понимаете, Нина Григорьевна, что это было вынужденное вмешательство — из-за отсутствия запчастей.

— Две-три, говоришь? — спросил Бурлов и принялся выхватывать машины из кучи.

Дробно дребезжа нутром, машины катились к моему столу, покорно выстраивались в очередь. Я посчитала. Их было двенадцать.

— А это чья работа? — Бурлов взял с верстака тряпку, вытер ладони.

— А чем ты докажешь? — обернулся к нему Яновский.

В цехе появилась баба Гутя. Она опять задержалась в буфете, помогала, наверное, мыть посуду буфетчице. Баба Гутя села в свое кресло, стала прислушиваться к нашему разговору. Мы повстречались с ней глазами. На секунду я задержала свой взгляд. Мне показалось, она поняла мои мысли. И тогда я сказала Владлену:

— Доказать будет несложно, если этим займутся профессионалы. Надо только записать все на бумажку. И дать бумажке ход. Свидетели есть. Ну как, Владлен?

— Хорошо, я отремонтирую десять машин.

— Торговаться не будем. Сделаешь все, что я выкатил. И не вздумай тянуть резину. — Бурлов снова сел на свой стул рядом с Яновским.

Несколько мгновений они молча глядели друг на друга. Потом Яновский сказал:

— Но где я возьму запчасти?

— Запчастей у вас на пятьсот рублей, Владлен. Дома.

— Запчастей у меня нет, Нина Григорьевна. А задолженность погашу деньгами. Я договорился с бухгалтерией.

— Запчасти вы вернете в цеховой склад. Деньги у вас не примут. Приказ об этом есть. Даю вам срок десять дней. Если не уложитесь, буду вынуждена доложить Гаврилову.

— Постараюсь, Нина Григорьевна. Сделаю что в моих силах.

— Будем надеяться на вашу добросовестность, Владлен... Так. Ладно. Ну а с теми, остальными, что делать?

— А че нам голову ломать? Кто виноват, тот пусть и думает.

— А кто, по-твоему, виноват, Анатоль?

— Формально Фейзулина.

— А в действительности?

— Начальство, кто же еще, — перебил его Бурлов. — А она-то при чем? Ее заставили, она и отчиталась.

— А по приказу кто был ответствен за сохранность приборов при перевозке?

— Дак мы и говорим — на нее все свалили! А у ней не двадцать рук!

— И никаких передаточных ведомостей не было, что ли?



— А кто знает! Может, и были какие бумажки в бухгалтерии, только в натуре что есть — никого не интересовало!

И тут мои механики пошли в такой разнос, что сдерживать их было уже не в моих силах. Досталось всем: и директору, и конторским, и даже Гаврилову.

— Он, конечно, как пришел, все понял, да Фейзулину пожалел.

— Так-то можно жалеть — за наш счет.

— Как хотите, Нина Григорьевна, а эти машины мы ремонтировать бесплатно не будем! Вечно на нашем горбу выезжают!

— Дак что же, ребята, так эти машины и будут стоять, а люди страдать? И Григорьевну жалобами замучают... Вы пожалейте людей-то...

— Оттого у нас и беспорядка много, баба Гутя, что нам всегда жаль кого-то... Нет, вы объясните мне, Нина Григорьевна, почему я должен расплачиваться за чье-то головотяпство? Если бы это была случайность — другое дело. А то ведь у нас такое вошло в систему... Раз Гаврилов пожалел Фейзулину — пусть он за свою жалость и расплачивается!

— Ну и скотина же ты, Владлен!

— Ты, Николай, не лезь в бутылку, а лучше подумай, отчего так происходит и кто истинный виновник.

Некоторое время все молчали. Яновский методично постукивал о край стола своей разноцветной авторучкой. Бурлов свирепо прислушивался к этому постукиванию. И вдруг сказал:

— Ладно, Григорьевна, беру на себя десять машин. Может, кое-какие детали излажу по-своему, по-кустарному. Если что не хватит — добавьте. Но это — в последний раз!

И Бурлов пошел к машинам, стал поднимать их из кучи и подкапывать к своему верстаку.

— Э-э, Коля! — вскочил Анатолий. — Ты не части. Счас выберешь самые легкие, а нам оставишь что похуже, совсем голенькие.

— Да ты посмотри, что я беру, посмотри сначала, а потом кудахтай...

— Вот эту оставь-ка мне. Давай ее сюда. — Роберт толкнул машину в свой угол.

— Да бери, пожалуйста, все равно мотор перематывать меня просишь...

Вот так заканчивался этот третий день. Самый трудный, как мне казалось тогда.

## 9

Прошла неделя, как я начала работать здесь. И в этот понедельник у моих ребят был выходной. Я не спешила на работу. В салоне тоже все отдыхали.

И конечно, я поразилась, когда в проходной за барьером увидела толпу. Там стояли механики-холодильщики, часовщики, электрики, слесари-ключники с первого этажа. И все они — то один, то другой — называли мою фамилию, после чего тут же слышался дружный взрыв хохота.

Мне, конечно, очень интересно было узнать, над чем они смеются и при чем тут мое имя, но путь преграждала невысокая, до пояса, решетка, сквозь которую был продет металлический прут, а конец его находился в помещении вахтера. И поскольку вахтера не было на месте, ничего другого не оставалось как перескочить через этот барьер.

Как только я оказалась в узком коридорчике, ведущем к лестнице, мне сразу бросилось в глаза громадное белое полотнище, величиной чуть ли не с широкоформатный киноэкран. Так мне показалось. И на этом белом полотнище большими красными буквами красиво

написано: «Внимание! Комсомольское звено В. Яновского выступило начинателем нового почина...»

Мне пришлось прочитать это несколько раз, чтобы до меня дошел смысл написанного.

Я еле поднялась на пятый этаж. Цех был открыт. Баба Гутя беспокойно вертелась в своем кресле, то и дело перехватывая белый проглаженный платочек из руки в руку и вытирая вспотевшее лицо.

— Халдей!— тотчас начала она, увидев меня.

— В общем-то, баба Гутя, какая разница, кто выступил. Только вот, никого не спросивши, трезвонить...

— Во-во! Еще неизвестно, что получится, а он раззвонил на всю ивановскую! Хвостомеля! У него все несейно растет! Как теперь людям в глаза смотреть... А может, его приневолили?

— Да ну! Кто его заставит? Никто и не знает, кроме Гаврилова. Протокол и первый акт группы самоконтроля я показывала только Гаврилову. И он сказал, что афишировать не надо, пока он не внедрит это у холодильщиков...

— Ничего, счас ребята придут, они дадут жару этому хвостомеле.

— У них же выходной сегодня. А может, кто и придет. Работы еще много в цехе... Вы, баба Гутя, на всякий случай спуститесь вниз. Посмотрите, как бы чего они не натворили, если придут.

Это была моя ошибка. Мне надо было самой побыть внизу. Но не могла же я сидеть там сутками и караулить этот бумажный призыв.

Скоро в цех поднялся Юрик. И он рассказал, что произошло внизу.

Оказывается, бригада пришла вся. Яновский тоже пришел. Ребята потребовали, чтобы тот снял это рекламное заявление. Яновский сказал, что «мероприятие» согласовано с партийным комитетом и он теперь изменить ничего не может. Зверев начал срывать бумагу со стены, но баба Гутя и Роберт остановили его. Роберт в чем-то долго убеждал Анатолия. Потом они все вместе с холодильщиками ушли в пирожковую. А Яновский остался. И когда они вернулись, лозунга уже не было. Яновского тоже. Спрашивали у вахтера, кто снял бумагу. Вахтер ответил, что не видел.

Гаврилов приехал на завод, когда все уже кончилось.

А через три дня Гаврилова разбирали на партийном бюро и объявили ему взыскание.

Потом неприятности посыпались одна за другой.

Однако не было бы счастья, как говорят, да несчастье помогло. Ребята мои с того дня, как узнали про взыскание Гаврилову, притихли, стали как шелковые. Правда, с Яновским они не разговаривали. Но зато и не ругались. А работали с каким-то фанатическим ожесточением. Готовые машины откатывались от верстаков, как мячики.

Баба Гутя научилась управляться с центрифужными машинами. Она подхватывала их, стоя в ванне. Проворно подсоединяла шланги, наполняла бачки водой. Портативным тестером я проверяла электрическую часть: не бьет ли где на корпус,— осматривала машины, ставила их рядами в сторонку, писала на обороте квитанции «проверено», чтобы контролер ОТК, как придет, не возилась с машинами. Первые дни она проверяла на холостом ходу все машины. Ребята стали сердиться, ворчали: почему такое недоверие, зачем тогда давали личные клейма? Контролесса посоветовалась, видимо, с кем-то и теперь, увидев отремонтированные машины, сразу шлепала на квитанциях свой маленький штампик. Впрочем, этим штампиком можно было и не марать те машины, которые помечены личным клеймом механиков, но убедить ее в этом было невозможно.

Сначала я подозревала, что она посещает наш участок лишь для того, чтобы продемонстрировать нам свои костюмы и шляпы, ибо всякий раз они были новыми. Но позже мое предположение несколько

пошатнулось. Я спросила, зачем контролесса оставляет свой автограф, ведь большинство машин замаркировано личным клеймом механиков.

— А мне никто не говорил, чтобы не ставить,— ответила она.

— Если вам Гаврилов скажет, этого будет достаточно?

— У меня свой начальник.

— И он, наверное, ждет, когда ему скажет его начальник?

— Не знаю,— сказала контролесса и нежно коснулась кончиками пальцев своей белой шляпы с отвисшими полями.

А в общем, она была на редкость безобидная женщина и нам не мешала.

Как-то Бурлов привез на лифте из малярного цеха машину. Корпус ее был хорошо отрихтован, грунтовка сделана на совесть, краска лежала ровно. Как новенькая выглядела. Бурлов, подложив под руки полы халата, подкатил машину к моему столу и шепнул:

— Ну что, Григорьевна, сказать, что это бабкина машина — ни за что не поверит.

Я невольно залюбовалась машиной. И впрямь узнать в ней старую машину бабы Гуты было очень трудно.

Оставив машину около меня, Николай вытащил из кармана чью-то квитанцию и скрылся в коридоре. Наверное, ушел в кладовую за новыми запчастями.

Я окликнула бабу Гутью:

— Баба Гутья, подите-ка сюда. Узнаете? — Я подвинула к ней машину.

— Дак смотрю — не то холодильник какой новый придумали, не то стиральная машина...

— Это же ваша машина.

— Да что ты!

Баба Гутья недоверчиво осматривала машину. Открыла крышку, заглянула в бак. Закрыла. Обошла ее кругом.

— Да ваша, ваша машина, баба Гутья!

Баба Гутья пристально посмотрела мне в глаза. Видимо, уверилась в правдивости моих слов и тогда принялась ахать:

— Натолй! Юрик! Роберт! Глядите-ка, че! Это же игрушечка, а не машинка! Это моя машинка! Моя машинка и есть! Точно! Ну-у Николай! От это работа, я понимаю!

— Отвезем завтра вашу игрушечку домой — и пользуйтесь в свое удовольствие,— сказал Роберт.

— Ни за что! Ты что, с ума сошел?! Так я и доверила вашим перевозчикам такую красоту! Это все равно что на погибель отдать! Ни за что! Я лучше на саночках увезу.

— Да я, баба Гутья, на руки ее возьму. Обернем вашей холстинкой, что ей сделается!

— Разве что так... Ну-у Николай, ну молодец...

И баба Гутья побежала в кладовку к Бурлову. Но он закрылся там и не пускал ее. В этот момент в цех вошли незнакомые люди. Три женщины и мужчина. Женщины все враз спросили:

— Где у вас цеховой склад?

Я показала. Одна женщина, постарше, подала мне свернутый вчетверо листок бумаги. Я развернула. Приказом директора завода предписывалось немедленно произвести ревизию запасных частей, находящихся на моем подотчете.

Все бы ничего, но получилась неловкая заминка с нашей кладовкой. Бурлов никак не хотел открывать.

— Что у вас здесь происходит? — строго спросил мужчина. — Почему в помещении склада, где находятся материальные ценности, посторонний человек? Вы мастер этого участка?

— Да.

Я впервые видела этого молодого мужчину и все ждала, что он вот-вот представится.

— Кто это посторонние люди? — вмешалась баба Гутя. — Это Бурлов-то — посторонние люди?

И тут Николай отворил двери. В руках он держал мотор и втулку с активатором. Он поздоровался с женщинами, пошел к своему верстаку. Женщины, повернувшись спиной к молодому незнакомцу, глазами подсказывали Бурлову, чтобы он унес запчасти обратно в склад. Бурлов миновал женщин. Он шел прямо на незнакомца. Слегка толкнул его локтем.

— Посторонитесь, пожалуйста, молодой человек, — сказал он. — Баба Гутя, что это за люди у нас в цехе ошиваются?

Женщины шмыгнули на склад. И я вместе с ними. Мы познакомились. Они, оказывается, работали в нашей бухгалтерии. Одна из женщин начала писать акт, две другие считали запчасти, я показывала, где что лежит.

Вдруг мне послышалось, что баба Гутя плачет. Ревизионная комиссия не возражала, и я оставила склад. То, что я увидела, немало меня озадачило.

Посреди цеха стояла хозяйственная сумка бабы Гути. А сама баба Гутя трясущимися руками вынимала из нее целлофановые мешочки, наполненные землей, ставила их на пол и приговаривала:

— Какие сумки я ношу сюда каждый день? Битком набитые сумки? Земля это! Чернозем. Для цветочков. А в этих бумажных пакетах рассада. Еще что вам от меня нужно?.. А-а, вы еще про угощение, про подарочки спрашивали. Да, приношу иногда Юрику карамельки.

— Кто вам ремонтирует машину? — спросил незнакомец.

— Я, — ответил Бурлов.

— Тогда почему вы приносите угощение Юрию?

— А потому что он сладкое любит. Не понесу же ему сушеную рыбешку! Это у Натолія самое первое лакомство — сухая рыбешка. А карамельки всегда Юрику приношу, да. И тебя, милок, спрашивать не стану.

Она что-то говорила еще, я уже не слушала.

— Ребята, как вы позволили...

Я подняла сумку. Усадила бабу Гутю в кресло. Она уронила мешочек с рассадой на колени и заплакала. Ребята окружили бабу Гутю. Я услышала голос Гаврилова, оглянувшись.

— Здравствуйте, Долдонов, — сказал Гаврилов.

— Здравствуйте, Сергей Михайлович, — ответил тот.

— Кто-то, наверное, пустил слух, что я умер?

— Не знаю, не слышал...

— Не слышали? А почему в таком случае?..

Гаврилов дергал свой галстук, толкал палец за воротничок, старался оттянуть его, что-то — уже негромко — говорил Долдонову, увлекая его за собой на лестницу. Но Долдонов упрямылся, не хотел выходить.

— Понимаете, Сергей Михайлович, поступил сигнал...

— Это как? — подхватил Анатолий. — Из космоса, что ли?

— Натолій, замолчи, ради бога, — сквозь слезы говорила баба Гутя.

— Да к че, в самом деле, может, у него какой сверхнаучный прибор имеется, может, он с другой цивилизацией общается?

Женщины то одна, то другая выглядывали из кладовки. И когда Гаврилов с Долдоновым направились в коридор, они исчезли.

Все разошлись по местам. Баба Гутя подобрала с пола мешочки. Устроилась между моим столом и креслом, расстелив на полу газету, пересаживала живые ростки в горшочки.

— Зимой, говорят, нельзя высаживать, баба Гутя,— сказала я.

— Ничего-о, у меня вырастут. Здесь вон сколь свету, что в теплице. Да и рука у меня легкая... Я че беспокоюсь, Григорьевна,— шепнула она.— Вдруг за меня опять какое наказание Гаврилову придумают?

— За вас его должны благодарить. Не у каждого начальника люди бесплатно работают по десять часов в сутки. На общественных началах.

Баба Гутя облегченно вздохнула и принялась растирать меж ладоней черную влажную землю.

Недели через две к нам в цех прибежал электромонтер, срезал под корень телефонный провод, унес аппарат и сказал мимоходом, что телефон понадобился новому заместителю директора по производству Долдонову.

В тот же день перед обедом ко мне подошел Гаврилов.

— Нина Григорьевна, неужели так трудно снять трубку?— сказал он.

— А где она, трубка? Телефон-то забрали,— сообщила баба Гутя. Она, как всегда, сидела рядом со мной в кресле.

Гаврилов окинул взглядом пустой стол и; не говоря больше ни слова, кинулся на лестницу. Я за ним.

— Сергей Михайлович, что-то хочу сказать.

— Некогда.

— Что-то очень интересное. Про телефон.

— Потом.

— Вы можете выслушать меня? Три минуты!

— Хорошо. Одна минута.

Он распахнул двери своего кабинета и начал саженными шагами кружить вокруг стола.

— Слушаю вас.

Я остановилась возле схемы стиральной машины «Сибирь-5», висевшей на стене. Красными крестиками Роберт отмечал на схемах те узлы и детали, которых не имелось в запасе на складах. Потом, когда они появлялись, он стирал крестики.

— Нина Григорьевна, я слушаю вас,— повторил Гаврилов.— Что вы хотели сказать про телефон?

— Не было никакого телефона.

— Но вам же нельзя без телефона!

— Я буду переписываться. Я накупила почтовых открыток по пять копеек. Штук пятьдесят. Мне их надолго хватит... А вот вы, если будете так бурно реагировать на такие ничтожные укусы... Надолго ли вас хватит?

Гаврилов сел. Придвинулся к столу.

— Но у него же есть телефон, Нина Григорьевна. А ваш наверняка поставил секретарше. А зачем ему секретарша, когда и одной, у директора, делать нечего? И кабинеты их рядом... Ну зачем, скажите, Долдонову се-кре-тар-ша?! Ему сейчас ремонтную базу нужно создавать, а не секретаршами заниматься!.. Нет, вы скажите: зачем Долдонову секретарша?!

— Я вижу, вам завидно. Вам тоже хочется иметь секретаршу?

— Да ну вас...— Гаврилов махнул рукой и улыбнулся.— Вам все шуточки, Нина Григорьевна, а мне опять поставлено на вид. Между прочим, за ваш склад.

— А у нас там все прекрасно. Ревизия это подтвердила. И если рассуждать по справедливости, вам должны объявить благодарность за этот склад.

— Мы с вами опять промашку сделали. Нам следовало опередить всех долдоновых, кричать вперед них: «Внимание! Склад открытых дверей! Работаем на полном доверии! Следуйте нашему примеру!»

— А как они сформулировали? За что взыскание?

— За слабый контроль над сохранностью материальных ценностей... С этого дня, Нина Григорьевна, какое бы у вас там ни возникло новшество, сразу же докладывайте мне. Письменно.

— А можно устно?.. Да, кстати, на днях такая потеха была...

И я поведала Гаврилову историю, которая у нас произошла со счетными машинками.

История эта началась в тот день, когда мы заводили с Юриком амбарные книги, налаживали учет. Юрик где-то нашел пять скоросшивателей, надписал их. Так у каждого механика появилась папка для документов. Они складывали туда гарантийные талоны и квитанции, копии счетов. Каждый механик, просматривая эти документы в конце дня, подытоживал свою работу. В эти же папки мы положили заборные карты. Мне оставалось только суммировать их подсчеты, и к обеду у нас на доске появлялись результаты работы каждого механика, всего участка и процент выполнения плана.

Все шло хорошо. Ребята мало-помалу привыкли. Каждое утро с интересом ожидали, когда я напишу итоги прошедшего дня.

Но всякий раз происходила задержка из-за Анатолия. Он не умел пользоваться счётами так, как это делали другие. Костяшки у него почему-то все время цеплялись одна за другую, а когда Юрик торопил, и вовсе ничего не получалось. В конце концов Анатолий то ли шутя, то ли со злости запустил счетами в Юрин верстак. И счета рассыпались так, что собрать их было невозможно.

— Не буду считать! — кричал он на весь цех. — Я тут механиком работаю или счетоводом?! Нина Григорьевна, вы че молчите? Я вас спрашиваю: кем я тут работаю?

— Возьми у Роберта счетную машинку.

— Не надо мне никакой счетной машинки! Положен в цехе нормировщик? Положен! Вот он пусть и считает!

Баба Гутя тут как тут, она всегда вовремя на своем месте.

— Все считают, Натолй. Погляди, как ловко у них получается. А ты что, хуже других, что ли?

— Да не могу я на машинке, баба Гутя! Там клавиши-то видели какие? Как пуговики на детских распашонках. А у меня пальцы — о, видите?

— А ты возьми карандашик. И тычь туда карандашиком-то.

— Не уговаривайте меня, баба Гутя, не буду — и все!

У Роберта была своя карманная счетная машинка. Он принес ее в цех, когда начал заниматься складом. И все ребята считали на этой машинке.

А еще раньше, в первые дни, как я пришла сюда работать, я заметила у Анатолия страсть к автоматике, к точным приборам. Каждую свободную минуту он крутился около венгерского стенда. У него хватило сил одному сдвинуть весь этот приборный комплекс с места. И он копошился в его обнаженных внутренностях до позднего вечера, а иногда и в выходные дни. Поэтому я особенно и не торопила Гаврилова с наладчиками, верила: вот-вот зашевелиятся стрелочки всех его приборов и Анатолий будет учить нас обращаться с ними.

Пока баба Гутя увещевала Анатолия, я подсказала Юрику, чтобы он будто невзначай пристроился со счетной машинкой на верстаке Анатолия. Не могло такого быть, чтобы Зверев не заинтересовался ею.

Вскоре слышу:

— Ты куда потащил мою папку? — Анатолий выхватил у Юрика свою папку, прижал ее к верстаку молотком.

— В шкаф хотел положить, где все папки лежат. Нина Григорьевна сальдо-бульдо подведет.

- Да к ты и мое сосчитал, что ли?
- Конечно.
- И зарплату мне вывел?
- И зарплату.
- Врешь!
- Посмотри.
- Так быстро? Ну-ка покажи, как она считает...

С тех пор как Анатолий научился пользоваться счетной машинкой, все свое свободное время на работе он посвящал ей. Считал, сколько стиральных машин отремонтирует за месяц, год, пятилетку. И сколько машин отремонтирует весь наш участок. Сколько сэкономит денег, если все цехи откажутся от учетчиков, нормировщиков, бухгалтеров и кладовщиков, за год, десять лет, сто лет.

Дело дошло до того, что Анатолий никому не давал подойти к машинке. А Юрик тоже любил покрасоваться с ней за моим столом, со всех сторон обложенный папками и регистрационными журналами. И каждое утро они стали спорить, кому вперед считать. Наконец Роберту это надоело, и он установил очередь. Но дожидаться своей очереди у Анатолия не хватало терпения. И однажды утром он вытащил из кармана новенькую счетную машинку.

- Видал? — похвастался он Юрику.

Юрик тотчас устремился к нему. И обнаружил, что новая машинка чем-то лучше старой. Юрик быстро охладел к машинке Роберта. И кончилось тем, что итоги по участку они выводили теперь вдвоем.

В их отсутствие я проверяла иногда подсчеты. Ошибок не находила...

Я закончила свой рассказ, а Гаврилов продолжал неподвижно сидеть, подперев рукой подбородок, глядел на меня и молчал. Я было подумала, не спит ли он с открытыми глазами.

— А как вы учитываете поступающие в ремонт машины? — спросил вдруг Гаврилов.

— Вообще за этим следит Юрик. А когда меня и его нет в цехе, регистрирует тот, кто принимает машины. Но потом Юрик все равно проверяет запись.

- Он что, любит писаниной заниматься?

— Ой любит! Журналы все пронумеровал, прошил, этикетки красивые наклеил.

Гаврилов опять примолк. Меня сбивал с толку непонятный, какой-то отсутствующий его взгляд.

— Вы хоть понимаете, что вы сделали? — сказал он, все еще глядя куда-то сквозь меня. — Нет, вы понимаете? Вам орден дать надо!

— Почему мне? Всем ребятам. А вообще-то мы бы удовлетворились и премиями. Но заверяю вас, Сергей Михайлович, что и этого пробить не удастся...

Мы с Гавриловым еще не раз возвращались к этой теме и прикидывали, как бы такое привить у холодильщиков. С холодильщиками было сложнее. Там один Бергман чего стоил. Но и Гаврилов не собирался отступить, хотя перевес сил пока был не на его стороне.

После драки, известно, кулаками не машут, но когда утихает баталия, воин, даже самый маленький и никудышный, обычно вновь мысленно проводит свой бой, особенно если он потерпел поражение. Я вспоминаю сейчас наши схватки, мелкие стычки и долгую позиционную борьбу, которую нам пришлось вести с собой и с другими, и нахожу, что надо было делать все не так. Теперь, когда наступило затишье (будь оно проклято) и у меня есть время поразмыслить, я недоумеваю, как же это произошло, что мы все шестеро не смогли уберечь одного...

И не с него ли начались наши потери?





Баба Гутя начала покрикивать, и я тоже заговорила громче, чтобы всем был слышен наш спор.

— Баба Гутя, раз мы живем вместе, мы не можем игнорировать его. Да и не такой уж он пропащий!

— Не знаю, не знаю, Григорьевна, ты как хошь, а не люблю я его. Не хочу об нем заботиться, и ты меня не заставишь. Вот и весь мой сказ.

Баба Гутя сжала свой маленький ротик, боринки над верхней губой стали твердыми. А когда пришел Яновский и Анатолий завел разговор о поездке в деревню, она вроде и не слушала его вовсе.

— Ну как, поедешь, Владлен? — Анатолий спросил еще раз.

— Посмотрю, как там дома, — ответил Владлен.

— А че смотреть? Пока жена не родила, старайся вырваться на волю. А потом, как захомутают, и рад будешь погулять, да не отпустят.

Он как в воду глядел, Анатолий. Так и вышло, после Яновский уже не ездил с нами.

Как мы ни пытались сблизиться с ним, ничего не получалось. Даже когда в Иркутске были гастроли Рихтера и мы ездили на концерт, Яновский не поехал с нами. А так трудно было достать билеты.

В гости нас он не звал. И к нам не ходил, хотя в дни чьих-нибудь именин с интересом рассматривал подарки (мы их подвешивали на веревочку у доски показателей), с улыбкой наблюдал, как дурачатся ребята, вспоминая недавнее веселье, изображая бабу Гутю, меня и Роберта пьяными.

А летом каждую субботу Владлен уклонялся от вечерних заявок, просил то Роберта, то Анатолия поработать за него, а сам спешил на дачу к теще. Все выходные он проводил там и каждый раз, уходя в субботу из цеха, набивал рюкзак какими-то скребками и мотыгами... Видит бог, мы старались.

Правда, там, в деревне, был момент, когда мы уловили в нем ту струнку, которая могла бы зазвенеть. Но то ли ребята приглушили ее нечаянно, то ли я взяла неверный аккорд, то ли он сам фальшивил. И этот момент угас бесследно.

Я снова еду в деревню. Но теперь уж не в плоскодонных санях, а в теплом автобусе. Хотя дорога все та же — Александровский тракт.

Он мало изменился за последние годы. Особенно в тех местах, где, пригнувшись, продирается, как сквозь строй, меж колючих еловых плетей. На белой спине его видны свежие рубцы — кто-то проезжал здесь до нас и следы еще не завьюжило...

Я смотрю на дорогу, и мысли мои цепенеют. Что-то мечется во мне, стучится в каждой клетке, просится наружу. И нет мочи сдерживать это непонятное, чужое, не мое и одновременно знакомое до боли. Долго ли еще этот немой плач будет биться во мне? Дорога-то длинная...

Зверев сидит впереди, что-то увлеченно рассказывает Бурлову. Время от времени хватается за шапку, сдвигает ее немного вперед, поправляет на затылке волосы. Интересно, кто зашил дырку на макушке? Сестра или баба Гутя?.. Я вот так и не собралась.

Душа моя постепенно утихает. И наполняется невысказанной благодарностью. Я знаю, я так и не отважусь сказать Анатолию спасибо за то, что мне есть теперь зачем сюда поехать и на этом пути вновь пережить все то, чего я никогда не испытывала. Вспомнить окаянную долю моих далеких предков.

Кто они были? Опальные вельможи, стрельцы, раскольники? Или сосланы в эти места за нюханье табака? Шел ли мой прадед здесь, этим трактом, с наполовину обритой головой или бежал сюда по доброй воле, чтобы сохранить, сбересть в себе человека?..

А вот и он, этапный дом. Стоит. Целехонький. Лес вырублен по обе стороны тракта. Чтобы обзор был хороший. (А новый еще не вырос.) Небрежно оструганные бревна подогнаны плотно — знали, для кого рубили такую необычную высокую избу с неприметными щелями вместо окон где-то под самой крышей.

Когда-нибудь я войду в этот дом. Увижу, как там, внутри. Потрогаю руками стены... Теперь я знаю точно, что обязательно приду сюда...

Не прошло и четырех часов, а мы уж сидим за столом в просторной избе с высокими чистыми окнами.

А на столе чего только нет! Оранжевые грибочки, будто срезанные чашечки жарков, все одинаковой величины, сдобрены пахучим кедровым маслом. Теперь это редкость. На блюдах — украшенные мокрыми листочками смородины жареные хариусы и ленки. Густо посыпанная перцем строганина из сохатины. Омuleвая строганина. Омule солёный и омule копченый. В стеклянных салатницах похожая на белую лапшу квашеная капуста вперемешку с брусникой. Горсточку брусники рассыпаны по краешкам тарелок, на которых лежат пластики холодной отварной говядины. А маленькие огурчики, каждый не длиннее большого пальца, солятся и хранятся здесь по-особому. Лиственничные бочки с огурцами опускаются на зиму в знаменитые александровские ручьи. Оттого огурчики такие хрумкие и душистые.

А потом подали пельмени. Жареные — в большущей чугунной сковородке. Вареные — в глубоких глиняных чашках, политые сметаной. А я люблю пельмени в бульоне, чтобы они пахли лавровым листом и черным перцем. И непременно горячие...

Столько яств! Все хочется попробовать. И странно: не чувствуешь пресыщения.

Мария Прокопьевна, именинница, похожа на бабу Гутю. Такая же узкоплечая и стройная. Годы не согнули ее. Только, пожалуй, нравом поспокойнее. Тихо сидит она в красном углу за столом и все молчит да улыбается. Баба Гутя рядом с ней по левую руку.

Лена Бурлова и сестра Анатолия Варя в который раз обнесли гостей брусничной настойкой. Анатолий наливает из тонкого графинчика в стеклянные рюмки и после каждого тоста, вытерев лицо белым полотенцем, целует мать. Баба Гутя тянется к нему со своей рюмочкой. Анатолий целует и бабу Гутю. Счастливая, чуть захмелевшая, она обнимает Марию Прокопьевну и снова принимается расхваливать Анатолия.

Четырехлетний серьезный Мишка Бурлов вваливается с улицы, подходит к отцу, дергает его за рукав.

— Папка, там конь стоит,— показывает он в окно. — Живой, хвостом хлещется.

— Ну и что?

— Да на нем кататься надо...

Анатолий, услышав этот разговор, вскакивает из-за стола.

— А кого бояться? Ну-ка, гости дорогие, прошу одеваться. Мам, я пойду к деду Егору, сани попрошу...

И вот сани уже у ворот. А в санях дед Егор с гармошкой. Молодым заливым баритоном перепевает он гармошку:

Устелю свои сани коврами,  
В гривы алые ленты вплету,  
Пролечу, прозвеню бубенцами  
И тебя подхвачу на лету.

Ну как тут усидишь на месте? Мы облепили все окна. Анатолий вынес на блюде чарочку водки и строганины. Дед Егор выпил, закусил, встал под окошками и снова запел.

Схватив с дивана ковер, Анатолий выбежал за ворота, кинул его в сани. Поддерживая мать и бабу Гутю под руки, чинно подвел их к саням. Усадил на передке. И тотчас в сани посыпалась детвора, у Варвары их было, однако, не меньше пяти человек. А мы прилепились с краешку по бокам. Анатолий раскрутил бич — и понеслись, покатились вдоль крутого ангарского берега через всю деревню с песней да с гармошкой.

Вечером пили чай с шаньгами. Кто не хотел чаю, ел сладкие мороженые творожки. Варвара принесла их с улицы — заиндевелая, гладко оструганная доска с пристывшими к ней искрящимися шашечками, — поставила на стол. Белые мороженые лепешечки по форме напоминали зефир. А раскусишь — тают во рту. Нечто похожее на крем-брюле, только гораздо вкуснее.

Владлен сидел рядом со мной. Он поглядывал на творожки, но попробовать не решался.

— Тебя смущает, Владлен, что они так просто поданы? — сказала я. — Видишь, когда их снимают, они крошатся. А на столе они набирают тепло, мягчают и уже не ломаются. А доска-то, смотри, как чисто выскоблена.

— Я очень хотел бы попробовать, Нина Григорьевна, но у меня ангина, боюсь.

— Тогда пей чай со сливками. А может, горячего молока? Анатолий, есть у вас горячее молоко?

— Нет, я лучше чаю с малиной. Если можно.

Анатолий придвинул к нему малиновое варенье.

— Что ты такой серьезный, Владлен? О чем думаешь?

— Да я вот думаю, Анатолий, почему люди у нас живут неодинаково. Одни жирно едят, другие постно. К примеру, дед Егор. Был я сегодня у него. Скучно он живет.

— А вот женим его на бабе Гуте, тоже вкусно есть будет.

— Я не о том.

— Да знаю, знаю о чем. Ты хочешь сказать, что дед Егор всю жизнь работал, а на старости лет государство ему отвалило такую пенсию, что с нее ноги протянешь? Так?

— А что, не так?

— Конечно, пенсия небольшая. Но он еще конюшит. И кое-что получает в совхозе. К тому же если меньше пить да гулять, а огорошком заняться и вместо рюмки в тайгу почаще заглядывать, дак ему за глаза хватит, еще останется. И если уж совсем конкретно о нем говорить — ему так и надо. Вон сколько женщин пожилых есть в деревне, почти с каждой пожил. И всех бросил. Дети его признавать не хотят. Ну а если совсем занеможет, совхоз его прокормит, не бойсь.

— По-твоему, тот плохо живет, кто плохо работает?

— Не по-моему, а так и есть.

— А баба Гутя? Наверное, она не плохо работала?

— Бабу Гутю мы не оставим. Да и постановление, говорят, скоро выйдет, пенсию ей прибавят.

— Все равно этого мало. Она всю жизнь работала.

— Ты же знаешь, Владлен, мы пока не можем обеспечить всем людям полного достатка. А что ты предлагаешь? — спросила я.

И ответ получила, какой ожидала:

— Обратиться к общественности. Люди откликнутся. Надо только им подсказать... И организовать.

— Организовать клубы пенсионеров, — сказал Бурлов.

Он уже порядком выпил. А выпив, он становился еще более мрачным и злым. Мне казалось, ему не до нас. Сидел за столом, опустив голову на руки, и негромко напевал одно и то же:

Колодников звонкие цепи  
Взметают дорожную пыль.  
Идут они...

— А почему бы и нет? Да, клубы пенсионеров. И общественный фонд для них создать.

Бурлов поднял голову, с грустной усмешкой глянул на Владлена.

— А в этом фонде поближе к кассе усядутся барановы...

Владлен почему-то не возразил Бурлову. А я сказала:

— Можно какую-то другую форму придумать. Главное, избежать централизации, больше опираться на ячейки местного характера. Тогда все будет видно как на ладони. Так, Владлен?

— Мы, молодые, не думаем о том, что им было труднее. Они работали в худших условиях. Платили им не так, как нам сейчас. Они жили в коммуналках, в бараках. Вот за это за все они должны теперь жить лучше нас.

А сам небось не отказался от трехкомнатной квартиры в пользу Бурлова. Бурлов-то пятнадцать лет работает... А сам только что пришел... Хотя Бурлову и не дали бы эту квартиру, он же не молодой специалист, а старый...

— А в жизни как получается? — сказал Бурлов. Наверное, о том же подумал, о чем и я.

Владлен хотел что-то ответить, но Анатолий перебил его:

— Я че замечаю, Нина Григорьевна, воруют-то в большинстве люди обеспеченные, которые с жиру бесятся. Кабы их да к ногтю...

— А ты попробуй прибери его, Бергмана. Двадцать лет холодильщиком работает и двадцать лет бесквитанционные заказы делает, — услышала я голос Роберта. (Они с Юриком возились в соседней избе с ребятишками. А теперь детей, наверное, уложили спать, и они вернулись к нам.) Он подвинул стул, сел рядом с Владленом. — Я вот тоже двадцать лет работаю. Не пью. Семьи не имею. И только теперь скопил денег на машину. А у Бергмана три машины, три кооперативных квартиры — каждому сыну по квартире и по машине. Но попробуй поймай его. Он любого вокруг пальца обведет.

— Гаврилов поймает. Он все ходы ему перекроет.

— Тебя послушать, Анатолий, так все просто делается. Да Бергман Гаврилова вперед выживет. У него такие связи в городе — не то что у Гаврилова. Нам бы помочь Гаврилову, но как? — Бурлов, выходит, не был так пьян, как мне казалось. Просто ему, видать, захотелось пить, и он притворился пьяным.

— Да ничего не выйдет у Гаврилова, Нина Григорьевна, — сказал Владлен. — Вы, наверное, никогда не встречались с круговой порукой лицом к лицу и не знаете истинного положения дел.

— Так уж все до единого там заворовались?

— Есть, конечно, неплохие ребята, — сказал Бурлов. — Варламов, например.

— И все же он не пойдет докладывать Гаврилову, даже если поймает кого-то за руку.

— А Фейзулина?

— А что Фейзулина одна сделает? Она знает, что Гавриловы придут и уйдут. А ей с барановыми оставаться. Да к тому же болеет она. Давно болеет.

— Вот мы и вернулись к тому, с чего начали.. Ей лечиться надо, на курорт съездить, а где она возьмет деньги на поездку?

Я все пыталась повернуть разговор в прежнее русло, но Владлен вдруг потерял интерес к своей теме. Глаза его стали водянистыми. Щеки зарделись неестественно красным румянцем.

— Владлен, у тебя, однако, температура, давай-ка укладывайся спать, — сказала я.

И он послушал меня. Тотчас пошел одеваться.

Анатолий остановил меня в сенях. Вместе с пальто подал мне тяжелую колбасину — тонкий шерстяной чулок, наполненный песком.

— Высыпете в сковородку, нагреете в печке и повяжете ему на шею. Сам-то он не станет этого делать и меня не послушает... Прогреет горло — и как рукой все снимет. — Он проводил нас с крыльца.

Ночевать Яновского определили у деда Егора.

На улице было светло от снега. А небо было так чисто, что никакой живописец никакими красками не смог бы, наверное, изобразить такое небо. Видна была каждая звездочка. И, казалось, можно увидеть, если захотеть, пространство позади нее. Прямо над нашими головами вспыхнул огненный хвост. Звезда летела довольно долго. Упала впереди нас.

— Умерла, — сказал Владлен, как только звезда ткнулась в темные горные хребты.

Мы подошли к избе деда Егора. Владлен сел на завалинку. Прислонился затылком к стене. И все смотрел на небо.

— И вовсе нет. Перешла в другое состояние. — Я стояла против него, не зная, сесть рядом или пойти в избу.

— Не топчитесь. Сядьте, пожалуйста. Не съем же я вас. — Он обмел рукавицей и без того чистый горбыль.

Я приткнулась боком к завалинке. Меня настораживал его тон. Ему хотелось ругаться. Он, конечно, был болен. А я при чем? Решила вышибить клин клином. И потом пожалела об этом.

— Вы так хорошо говорили. Но я вижу, Владлен, проблема наших стариков волнует вас постольку поскольку. Вы способны только говорить, констатировать. Злитесь на Бурлова, а ведь он...

— Бурлов многого не знает... Правда, верно чувствует. Смутно чувствует, но верно.

Он замолчал, смотрел на звезды. Потом вдруг резко обернулся. Глаза его сверкнули каким-то неживым лунным блеском.

— Скажите, вы хоть капельку разума видите там? — спросил он. Я машинально подняла глаза.

— Вы только представьте себе ее во всей ее прелести... Вам не страшно?

— И да и нет.

— А мне страшно. Она ведь неуправляема. Вы только представьте: абсолютно неуправляема... И существование ее бессмысленно.

— Как знать.

— По-вашему, в чем смысл жизни у нас, на земле?

— Наверное, в совершенствовании?

— В приспособлении! Это подтверждает и эволюция.

— Да, сначала эволюция. Но она породила разум. И он будет совершенствовать все.

— Вы считаете, вселенная совершенствуется?

— Далась вам эта вселенная...

Он вдруг встал. Ушел в избу и уже оттуда крикнул:

— Никогда не будет порядка во вселенной!

Я посидела еще немного и пошла следом.

Хозяина, деда Егора, не было дома. В загнетке большой русской печи остывали древесные угли. За печкой я нашла щипцы. Раздула угли, разровняла их щипцами. Пристроила там сковородку с песком.

— Знаешь, Владлен, может, я не скажу ничего нового, но, по моему, истина — в труде. Мудром, созидательном труде. Вот в чем. И эта истина победит.

— Чушь! — Он вскочил. Забежал вокруг меня. — Истина — в идеале. Проще сказать — в правильности. Но и это абсурд. То, что мы понимаем под правильностью. — чушь!.. Правильную форму носа считаем красивой. А кто знает, что это правильно?! — Он остановился, притих, словно испугался собственного крика. И снова заговорил, стоя

против меня, не вынимая рук из карманов пальто.— Мы во всем всегда противоречим себе, оттого что ни себя, ни других не знаем, не понимаем. Я не понимаю, почему я не могу с женой говорить вот так, как с вами. А хотел бы. Я хотел бы любить вас, но это невозможно, потому что будет неправильно! Будь я с вами, душа моя, может быть, достигла бы состояния, близкого к идеалу...

— И это длилось бы недолго.

— Откуда вам знать?!

Он схватил меня за руку. Приник лицом к моей ладони.

— Вы же сами сказали: это было бы неправильно.— Я выдернула руку.— А все, что неправильно, долго жить не может.

— О!.. Что и требовалось доказать! Я говорил: все абсурд. И мы ничего не знаем. Раз идеал недолговечен — значит, он неправилен. И значит, он вовсе не идеал.

Владлен был взволнован до крайности. Я боялась смотреть на него. «Все, что неправильно, долго жить не может». А вселенная?.. Но, может, она правильна? По-своему?.. Тогда это ужасная правильность.

— Вы просто заморочили голову себе и мне... Хотя вспомните, Владлен: шедевры живописи, литературы — они вечны. Относительно, конечно.

— Они искусственны! А все живое живет по другим законам. И пока я жив, я буду задавать вам все тот же вопрос.

— Вы больны, Владлен. Вам надо отдохнуть.

Я достала из печи сковородку. Пересыпала песок в чулок. Приладила его вокруг Владленовой шеи.

— Ну, спокойной ночи. Выздоровливайте...

Открывая калитку, я обернулась. Он стоял у окна. Смотрел на меня. Потом сорвал повязку с горла, бросил ее на подоконник.

Ни капельки жалости я не чувствовала к нему. И это было мне странно. Откуда такая жестокость во мне?

Баба Гутя и Мария Прокопьевна давно уже спали в маленькой комнате за печкой, когда я вернулась. Мы с Варварой улеглись на полу в зале, а ребятишки рядками поперек — как молочные поросятки возле матки — лежали на широком раскладном диване.

Утром встали затемно, чтобы успеть на автобус. Наскоро попили чаю и отправились к тракту. Всех ребятишек Мария Прокопьевна упростила оставить недельки на две.

— Ну теперь уж верю, что приедете скоро,— говорила она, провожая нас к автобусу.— Гарантия у меня крепкая.

— Обязательно приедем, Марея! В Новый год! — кричала в который раз баба Гутя, тыча острым носиком в автобусное окошечко, рассматривая впотьмах так нежданно-негаданно посланного ей еще одного сердечного друга.

Вот так закончилась та поездка, когда с нами был Яновский. А вскоре он преподнес нам этот фокус со своим «почином». И стал нас избегать, сторониться.

Ребята посердились да успокоились. Но Владлен продолжал держаться так, будто он в цехе один-одинешенек.

Только раз еще удалось нам крупно поспорить. И самое обидное было, что, несмотря на чудовищность его аргументов, несмотря на откровенную наглость его позиции, я чувствовала: в чем-то он прав. Я понимала это.

И еще не нравилась нам эта черта в нем, этот его житейский нюх. Он самый первый почувствовал (как он это умеет делать — ума не приложу), да, именно он первый учуял катастрофу.

Наступила другая зима, второй год нашего знакомства с бабой Гутей, второй год нашей совместной работы.

Остекленела новогодняя оттепель. На дорогах из-под свежего снега выглядывали темные ледяные залысины. Опять поджимали крещенские морозы. И я думала просить Бурлова взять себе сегодня завки Юрика. Зимой в гололед Юрик часто падал.

Я не заметила, как случилось, что утром, идя на работу, оказалась на Индустриальной улице возле дома Семенова.

Было темно и туманно. Машины двигались осторожно, с зажженными фарами и все же обнаруживались внезапно, когда подъезжали совсем близко.

Через открытую калитку я зашла во двор. Мне показалось, окна закрыты ставнями. Я приблизилась к избушке — ставни были распахнуты. Наверное, Марина спала. Я не стала стучаться. Да и что бы я сказала, если бы мне открыли? Я и сама толком не понимала, зачем прихожу сюда, но так и не решаюсь войти.

Я почувствовала, как начали мерзнуть ноги, сапоги стали словно железные. Я решила сесть на что-нибудь и подождать — может, Семенов объявится. Направо от калитки нашла скамейку. На ней лежала твердая снежная подушка. Я распахала ее локтем, отрезала пласт снега, хотела смести рукавом, но тут запнулась обо что-то. Наклонилась, толкнула слегка это что-то. Раз. Еще и еще. Снег осыпался... И я увидела человеческое тело. Я поняла, что человек мертв, потому что, когда трясла его за плечо, он покачивался весь, вместе с согнутыми ногами. И он был совсем легкий.

Я села на скамейку и стала ждать. Я думала, Бурлов придет сюда. Не знаю почему, но я была почти уверена, что он придет. Мы не раз встречались здесь утрами.

Прошло, наверное, минут двадцать. И он появился. Шел у самого забора, широко загребая унтами снег. Я остановила его, он чуть не шагнул на труп.

Начало светать. Бурлов стряхнул перчаткой снег с лица мертвого человека. И мы узнали Семенова...

Баба Гутя встретила меня на лестнице. Я сказала, что Семенов умер и Бурлов повез его в морг.

Я опасалась, как бы Николай не напился по такому случаю, и чутко прислушивалась к каждому шороху на лестнице. А Роберт все кружил около меня. Брал со стола маршrutки, снова кидал их. Потом нечаянно, что ли, наступил мне на ногу.

— Извините, Нина Григорьевна, — сказал он, — вы не слышите, дымом пахнет?

Я принохалась. Запах машинной гари тянулся от верстака Яновского. Роберт глядел на меня с какой-то непонятной многозначительностью.

И я стала припоминать, что последнее время у Яновского почему-то постоянно дымились машины. И все они, кажется, были гарантийные.

— Юрик, журнал гарантийных машин у тебя?

— Пожалуйста, Нина Григорьевна, — ответил Юрик.

Я листала журнал и все больше убеждалась в своей догадке. А все мои механики, конечно, давно уже знали и дожидались, когда я наконец замечу. Но разве я могла подумать когда-либо о Яновском таком?

Юрик, молодец, мелкими разборчивыми буквами умудрялся записывать в двух строчках не только весь произведенный ремонт, но и проставлял номера моторов, если была замена. Я выписала даты, когда Яновский менял моторы. Спустилась на четвертый этаж на

склад гарантийных деталей. Кладовщица открыла свой журнал, и мы без труда установили, какие моторы пожег Яновский.

Я вернулась в цех. Бурлов уже был в рабочем халате. Баба Гутя расспрашивала его о Семенове. Я подошла к ним, и он на полуслове прервал разговор.

— Да трезвый, трезвый, не приноживайтесь,— сказал он мне. И без долгих уговоров согласился подменить сегодня Юрика.

— Яновский! Идемте-ка побеседуем спокойно.

Мы зашли в кладовку.

— Вы поймите, Нина Григорьевна,— начал он первым,— я не о своем заработке пекусь, хотя и это немаловажно, ведь у меня семья. Но уже сейчас мы еле выполняем план. А через полгода, а может, и раньше, мы вообще сядем на мель!

— Гаврилов это предвидит.

— Гаврилов... Он добьется, ваш Гаврилов, что его выгонят отсюда. За систематический срыв государственных заданий. Вот увидите. Стинет скоро ваш идеал.

— Но вас-то не выгонят. Чего вы боитесь?

— Меня не выгонят. Вы правы. Этого я не боюсь...

Он плотно закрыл двери кладовки. Сел на стул у другого торца стола, подвинул локтем на середину ящичек с картотекой.

Я не допускала мысли, что он спасает меня. Нет, такой мысли я не допускала... Неужели только ради заработка?.. И в это мне тоже не хотелось верить...

— Извините, Нина Григорьевна.— Он повернулся ко мне лицом, положил руки на стол.— Но вы с Гавриловым не умеете смотреть назад. А это надо уметь делать иногда... Вы любите проводить аналогию между нашим бытием и боевыми действиями на фронте. Вот теперь и вы представьте, что при наступлении маленький отряд вырвался вперед. Не заметил, как оказался впереди. Настолько далеко, что основные войска не могли поспеть за ним. Да, может, и не надо было в тот момент вырываться... Все хорошо в меру, Нина Григорьевна. Вот вы с Юриком завели всякие учеты. Анализы какие-то сочиняете. Из этих анализов, наверное, видно, что машины, отремонтированные у нас в прошлом году, не вернулись к нам. И мы их еще долго не увидим. Для заказчика это, конечно, неплохо. А для нас?

— Значит, вы бы хотели, чтобы я позволяла вам работать халтурно? И обманывать таких людей, как, например, баба Гутя? Сгорело, допустим, в машине реле, а вы написали бы — износ мотора?

— Сейчас не то время. Сейчас любой механик разбирается в людях лучше, чем в технике. За мотор заплатил бы тот, кому это по карману. А как же иначе выполнять план?

— Лихо. А как быть с нравственностью?

— Нет ничего неизменного. Все изменяется. Раньше, например, аморальным считалось одно, а теперь другое.

— Порядочность всегда порядочность.

— Я не понимаю, Нина Григорьевна, зачем еще говорить о данном конкретном случае? Я сделал то, на что меня вынудили. Кто-то бездумно, не вдаваясь ни в какие подробности, требует от меня план. И я делаю его.

— Мне обидно за вас, Владлен. Вы ставите себя на один уровень с какими-то недотепами из нашего министерства.

— А мне надоело поражаться недомыслию и лени! Вся страна кричит и требует качества, а они...

— А вы обкрадываете государство.

— Как от меня требуют, так я и выполняю.

— По-вашему, выходит, виноваты мы с Гавриловым, государство, а вы правы... Я знаю, Владлен, в душе-то вы со мной согласны.



— «В душе»... Мало ли что в душе... Кому есть дело до моей души?

— Вы сами прячетесь, Владлен. Почему? Боитесь, что вас не поймут?

— А что, я должен рвануть на груди рубаху?

— А я не понимаю, зачем делать из этого тайну. Все хотят жить в достатке, красиво. В этом нет ничего зазорного. Вопрос весь в том, что надо понимать ситуацию места и времени, в котором живем. И считаться с этим.

— Многие не считаются. И живут красиво.

— За счет других.

— Вам хорошо рассуждать. Ваша жизнь на исходе. У вас ничего не было, и вы уже ничего не ждете...

Вот, оказывается, какой он, нокдаун. Сейчас добьет.

— ...а я еще не жил как следует! Вы понимаете, Нина Григорьевна, мне становится страшно, когда я представляю себе такую судьбу, как ваша!

— ?..

— Простите...

— У вас не будет такой судьбы, Владлен.

— Простите.

— У вас уже другая.. Вам не жить всю жизнь в каморке, куда солнце заглядывает всего на полчаса. Перед закатом.

— Простите, Нина Григорьевна, я не хотел... не знаю, как получилось...

Он подошел ко мне.

— Идите, Владлен... Не могу я больше... с вами...

— Простите. Ну скажите, что вы меня простили, Нина Григорьевна.— Он опустил на колени. Склонил голову к моим ногам, обхватил их, не давая мне возможности подняться.— Боже, что со мной... что я делаю... Я же понимаю, что все, что я имею, я еще не заработал. Это вы, баба Гутя... вы сделали это для нас... Я не знаю, почему я живу не так, как мне хочется... Простите, Нина Григорьевна, я не виноват... Простите...

— Конечно, прощаю. Идите, Владлен.

— Нина Григорьевна!

— Идите, Владлен.

Он уже взялся за ручку двери, но я окликнула его:

— Владлен, если еще раз увижу — заплатите за все сожженные моторы.

Он что-то сказал, ступив за порог, но я не расслышала.

Я замкнула двери кладовки изнутри. И дала волю слезам.

Прошел еще год.

Больше, конечно, у меня в ту пору случалось радостных минут. Это были те моменты, когда я подмечала, как изменился к лучшему и внешне похорошел Анатолий. Как тихонько и умиротворенно напевала в своем кресле баба Гутя, пришивая пуговицу к чьему-то рабочему халату. За работой она частенько посматривала на нижнюю полку стеллажа у Юриного верстака, где стоял магнитофон. Баба Гутя уже знала, какая кассета с музыкой Моцарта, а на какой голос Шаляпина. Если мы оставались в цехе вдвоем, она сама переставляла кассеты.

И это были минуты общения с Гавриловым независимо от того, мирно мы разговаривали или ссорились.

Я не могла сказать, какой величины он как руководитель. Может, потому, что сравнивать было не с кем. Не с Долдоновым же. На совещания и оперативки меня не приглашали. Я не знала, как он ведет

себя там. Я могла судить о нем лишь по его делам. Не я одна, и ребята мои сознавали: все, чего мы добились за два года, было достигнуто его неустанными, ежедневными, ежечасными стараниями, его поистине женским терпением.

Когда Гаврилов понял, что и от Долдонова помощи не дождешься, он разыскал где-то в области маленький механический заводик, упротсил нашу бухгалтерию перечислить им деньги и без конца мотался туда. Привозил то втулки к активаторам, то крыльчатки, то кронштейны и замки к холодильникам. Там же штамповали по его заказам текстолитовые прокладки, изготовляли иногда помпы к «Аурике».

А наши пятницы!.. К восьми утра все собирались возле трюмо. Там баба Гутя встречала нас с одежной щеточкой.

— Уж теперь-то придраться не к чему,— всегда абсолютно уверенно повторяла она, отступая к дверям.

— Он найдет к чему придраться,— ворчал Анатолий,— то платочек, видите ли, не в том кармане лежит, то расческу спрячь...

— А если придерется, значит, заслужил, Гаврилов-то, покультурнее нас с вами, наверное, понимает, что делает,— заступалась баба Гутя за Гаврилова. Он полюбился ей сразу, и она никому не давала его в обиду.

А в то утро, в ту последнюю пятницу полдня плакала баба Гутя. И мы еще не знали, что собирались у Гаврилова последний раз. Все было как обычно. Баба Гутя, оглядев каждого перед зеркалом, как всегда, заявила без малейшего сомнения:

— Пусть поищет нынче завакыку. Ан нет ее.

— А помните, баба Гутя, наше первое занятие? — спросила я.

— Ой, не срами, Григорьевна, меня. Стыд-то какой...

Бабу Гутю никто не принуждал ходить на эти занятия. Но ей, конечно, интересно было знать, о чем там идут разговоры. И наверняка она обиделась бы, если бы мы не брали ее с собой. А Гаврилов, беседа с нами, больше спрашивал нас, нежели говорил сам. Иногда в эти пятницы он рассказывал смешные казусы из дворцовой жизни времен культурных реформ Петра Первого, но мне казалось, половину из них он выдумывал.

Тогда, в первую пятницу, Гаврилов спросил Анатолия, как он ведет себя, зайдя в квартиру к заказчику.

— Ну-у, поздороваюсь... — сказал Анатолий.

— А перед тем как поздороваться, что сделаете?

И поскольку Анатолий молчал, баба Гутя, прикрыв рот ладонью, подсказывала таким громким шепотом, что, наверное, было слышно в буфете.

Время от времени Гаврилов просил то Бурлова, то еще кого-нибудь объяснить, как они понимают учтивость. И повторялось это довольно часто. Поначалу, выходя от Гаврилова, ребята, нисколько не стесняясь быть услышанными, возмущались во весь голос: «Попугай мы, что ли!» И только потом, когда Гаврилов изготовил где-то планы всех районов города, проставил на них большими цифрами время по расстояниям, расположил эти карты перед глазами диспетчеров и когда через несколько недель диспетчеры указывали время в маршрутках, уже не глядя на эти карты, тогда Роберт сказал: «Вот оно, повтoreнье — мать ученья!»

Много было сначала всяких несогласий, всего и не упомнишь.

Не везло нам и с учениками. Кое-чему научившись и оглядевшись, они уходили на четвертый этаж к холодильщикам. Ни Гаврилов, ни мы не удерживали их. Оставалось только сожалеть. Но мы не очень-то печалились. Мы надеялись, что когда-нибудь к нам придут такие парни, которым понравится у нас, на пятом этаже.

И вот к концу второго года наступило время, когда во всех наших контрольных актах стала повторяться одна и та же запись: «Замечаний нет».

Гаврилов поначалу был в замешательстве. Но потом в очередную пятницу он отменил занятия и сказал короткую, но хорошую речь. Похвалил нас... Я не помню точно, что он говорил, но и сейчас во мне живут те чувства, какие мы испытали тогда (я уверена — все семеро): страх, стыд, восторг, благодарность, гордость. И признательность самому Гаврилову. Для нас это было выше всякой награды.

Не забыл Гаврилов и бабу Гутю. Он вспомнил все ее дела, все до самых маленьких мелочей... И баба Гутя в ту пятницу долго ходила по цеху с пустой лейкой в руках и плакала. Ребята не трогали ее.

Мне тоже хотелось плакать от радости. Но от радости я плакала редко.

И вот нам сделали селекторную связь. В цехе у дверей повесили белый пластмассовый ящичек. Правда, он хрипел и кашлял, как легочный больной, но иногда кое-что можно было разобрать.

...Я как вспомню эту плановую лихорадку, мысли мои путаются, ни о чем думать не могу. Сейчас мне надо о ней рассказывать, а я не знаю, с чего начать.

Помнится, Юрик подошел к селектору. Конечно, Юрик, кто же еще. Роберт всегда делал вид, будто скрипучего белого ящичка вообще не существует. Бурлов метал в селектор такие взгляды, что я удивлялась, как до сих пор он не сплющил эту коробочку. Анатолий очень похоже имитировал селекторные звуки, и Яновский, услышав вздохи, хрипы, свисты и стоны Анатолия, не выдерживал, кричал:

— Юрик, оглох, что ли?

Обычно Юрик расшифровывал звуки, издаваемые селектором, его верстак был недалеко. Я доверяла только Юриным переводам.

Как-то утром Юрик сказал:

— Нина Григорьевна, по-моему, Гаврилов вас кличет.

И ребята и баба Гутя, несомненно, догадались, зачем звал меня Гаврилов. Но никто из них не мог уже придумать ничего мало-мальски дельного, с чем бы я могла пойти сейчас к Гаврилову. А я тешила себя надеждой: вдруг да случилось чудо?

Две причины мешали нам сейчас идти дальше, мешали нормально жить.

Одной из них оказалась наша маленькая, величиной с газетный лист, доска показателей. Уже третий месяц висела она в своем углу за вешалкой и портила нам настроение. Кончалась первая декада декабря, кончался год, а цифры, выведенные на ней рукой Юрика, не предвещали ничего хорошего.

Передавая папку Юрику и собираясь идти к Гаврилову, я подумала, что никакого чуда быть не может. У Гаврилова, кроме нас, хватает неприятностей и забот. Нам еще повезло, что у него такое отменное здоровье. Другой бы на его месте давно сорвался. Одни только пятницы чего стоили.

В тот день, отменяя занятия, Гаврилов сказал:

— Отдохнем месяца два. А там посмотрим. Если появится необходимость — возобновим.

А с холодильщиками, подумала я, с холодильщиками песня длинная.

Да, я забыла сказать, что с холодильщиками Гаврилов занимался отдельно. В пятницу всегда кто-нибудь из них не являлся, а Гаврилов не начинал, пока не были в сборе все. И поскольку мои ребята приходили вовремя, он стал проводить с нами беседы отдельно. С холодильщиками, как рассказывали ребята, у Гаврилова много было возни, особенно по пятницам. Да и не только в эти дни. Бергман, например, вообще не ходил на работу утрами в пятницы. Он заявил Гаврилову, что все знает, что его, Бергмана, учить не надо, он сам кого хочешь научит. Наглости Бергмана не было предела, в рабочее время он устраивался на столе Фейзулиной и играл сам с собой в шахматы на

глазах у всех. А то сажал против себя ученика. И эта война между Бергманом и Гавриловым длилась уже два года. Представляю, как выматывало все это Сергея Михайловича.

— Нина Григорьевна,— сказал Гаврилов, усаживая меня на стул,— скажите, чего Фейзулина выкручивает на арифмометре? Ведь она целыми днями только и делает что крутит его. Теперь я понимаю, почему у нее болит правая рука. Чего она считает?

Я объяснила: коэффициент участия. Ведь формально у них значится бригадный метод. Но на самом деле никакого бригадного метода у них нет. Фактически каждый механик работает, как и прежде, на себя. И она выводит зарплату каждому столько, сколько он заработал. Потом ставит эту цифру на арифмометр и путем набора цифр подбирает коэффициент. Сколько накрутится — таков, значит, и коэффициент.

— Но почему бы не сделать как положено, без обмана?

— Вот вы всегда так, Сергей Михайлович. А сами прекрасно все понимаете... Ей пришлось указание создать бригадный метод. Она отчиталась. И что, вы не знаете Бергмана? Да разве он там один такой? Бергман зарабатывает четверста рублей. А новичок из учеников сто двадцать. Разве Бергман позволит ей?

— Он весь день в шахматы играет, откуда у него такой заработок? Участок как у всех — ни больше ни меньше.

— А сколько у него договоров с организациями?

— Много. Но ведь чтобы обслужить столько предприятий, надо время. А жалоб на него нет.

— И не будет. Бергман связывается с руководством организации сам, лично. И когда портятся холодильники, звонят ему домой. И еще учтите — городок наш маленький, Бергман старожил, весь город его знает, почти все директора приходится ему если не родственниками, то хорошими знакомыми.

— Я ездил в больницы, в детсады, в гостиницу. Говорят, холодильники работают хорошо.

— Вы, конечно, с начальниками говорили, а надо было спросить у тех, кто пользуется этими холодильниками.

— Вот, оказывается, почему у него такой заработок и план, такое невысказанное перевыполнение — на триста процентов. Я допускал, но не верилось...

— Да, с планом им тужить не приходится. Вон микрорайон новый построили, девять семизэтажных домов. И в каждой квартире холодильник. Поставят на гарантию, техталоны оторвут — и месячный план готов. А набавили им всего на тридцать процентов, как и нам.

— Я был недавно в этом микрорайоне, зашел в хозяйственный магазин. И знаете — удивился. Холодильники — нарасхват. А стиральные машины не покупают. Спрашиваю продавцов, они говорят: зачем? Тут есть банно-прачечный комбинат...

— А скоро еще Дом быта в центре откроют. И там наверняка будут прачечные-автоматы... Кстати, вы новую «Чайку» видели?

— Стиральную машину?

— Конечно, не автомобиль. Они модернизировали верхнюю панель. Не знаю, наши замечания учли или сами догадались, они даже не ответили на наши письма, но теперь переключатели в «Чайках» не горят, вода не попадает в часовой механизм. И колпачки в переходных клапанах выполнены из пластмассы. И вообще качество новых стиральных машин за последнее время улучшилось. Так что работы нам не прибавится, наоборот. А план набавляют. Что будем делать, Сергей Михайлович?

— Чего бы проще: взять эти тридцать процентов от плана вашего участка и добавить холодильщикам. Но в управлении об этом и слу-

шать не хотят. Производительность, говорят, должна расти, не стоять на месте.

— Да, конечно, на этом зиждется экономика. Но если уж на то пошло, холодильщикам сделали хоть и не ахти какие, но все же улучшения условий труда, маленькую механизацию, подвесную линию, например, а нам что? Что нам сделали за эти два года? Спасибо Якову Абрамычу, заказчику, что пневмоотвертки привез... А ведь объективные факторы должны учитываться! И специфика, и повышение качества выпускаемых изделий... А производительность у нас растет. Немного, правда, но растет.

— Сможете вы это доказать?

— Конечно. У меня за два года все записи сохранились.

— Вот если Баранов поддержал бы меня... Но пока не удастся мне найти с ним общий язык. Как и с Фейзулиной.

— Вы бы с ней поласковой, Сергей Михайлович, и она ради вас горы свернет. Мне-то перед ней козырять нечем. Разница в зарплате у нас мизерная, а объем работы — сами знаете. У меня пять человек, а у нее двадцать. Да еще каких! У меня трудный один Яновский, а у нее сколько?

— Ребята у вас хорошие, это верно... Я тут прикидывал, получается: при всех натяжках, при максимальной отдаче сил выполнение на вашем участке все-таки будет падать... Если бы даже у вас сняли эти тридцать процентов и добавили холодильщикам, все равно в будущем это не спасло бы ваш участок. Вопрос надо решать основательно.

— А что в области говорят?

— Всю систему планирования и поощрения за труд надо пересматривать в корне, отдавая должное внимание качеству. А это, сами знаете, решается не на их уровне.

— А им, конечно, шевелиться неохота. Выходит, в Москву надо ехать?

— Ну с чем, с чем ехать, Нина Григорьевна? С примером одного вашего участка? Это же смехотворно!

— Сейчас, может, и смешно, а потом плакать будем, и не мы одни... Сергей Михайлович, скажите, может, вы не надеетесь на себя?

— Да. И я не уверен, что мне удастся доказать что-то. Не уверен.

— Значит, не поедете? — Я встала.

— Подождем еще несколько месяцев. Надо исчерпать все возможности, изыскивать новые виды обслуживания.

— Новые виды? Не обманывайте себя, Сергей Михайлович, это спасет нас только на период освоения... Ну хорошо. Пусть будет по-вашему. Сейчас пойду к Иванычу. Будем изыскивать...

Провожая меня до дверей, Гаврилов суетливо толкался по кабинету. Это было так не похоже на него. И тревожило. Он явно сдавал. Сказывалось, наверное, напряжение двух этих лет. К тому же последний отпуск он угробил на вращающиеся верстаки. А Долдонов для чего существует?!

Нет! Я не понимаю, зачем существует Долдонов!

Нам повезло, что на заводе работал Иваныч. Этот предприимчивый человек был рожден ремонтником. Чего только мы не ладили по его наущению: пылесосы, телевизионные трансформаторы, миксеры, кофемолки, садово-огородные инструменты и насосы, моторы и моторчики. Правда, потом их отбирали у нас и передавали другим цехам. Зато они давали нам возможность выкручиваться с планом.

Ребята пока помалкивали. А я прикидывала, как бы правильнее рассчитать силы, чтобы и дальше превозмогать эту плановую лихорадку. Но внезапно она затихла. Ее придушили кое-какие события.

И прежде всего то, что у нас появился главный инженер. Ренат Шакирович Шакиров.

Я впервые увидела его в своем цехе стоящим под разлапистыми листьями гигантской бегонии. Чернявый, среднего росточка, чуть полноватый, аккуратно причесанный, он был в таком безукоризненно обтекаемом сером костюме, что показался неживым французом, нарисованным на обложке парижского журнала мод.

Шагал он тихо, почти неслышно. Говорил спокойным, бесстрастным голосом. Но при этом черные зрачки его смотрели так холодно и властно, что становилось жутко. Хотелось отвести глаза. Спрятаться куда угодно, провалиться сквозь землю, лишь бы не стоять перед ним.

Наш Гаврилов в сравнении с Шакировым казался неуклюжим, косматым медведем.

Если с Гавриловым мы сошлись сразу, то этот человек держал всех нас на почтительном расстоянии от себя.

И все-таки, несмотря на все это, он мне понравился. Вернее, мне было по душе то, что он делал.

В день нашего знакомства с Шакировым я пришла на работу рано. Во дворе на крыльце встретила бабу Гутю.

— Доброе утро, баба Гутя.— Я поцеловала ее.

— Не совсем доброе, доча.— Баба Гутя прикоснулась к моему лицу холодными губами. Видимо, давно уже на морозе.— Долдонов стоит там, в дверях.

— Ну и что, он и вчера стоял.

— У многих пропусков с собой нету, кто забыл, кто потерял, всех пускает, а меня нет.

— И молчите?

— Дак я думала, может, ему надоест у вахтера кусок хлеба перебивать.

— Так. Понятно... А кладовщица из большого склада появилась?

— Эвон прошла мимо. Интересно, кто надоумил его насчет меня?

— Не хватало нам, баба Гутя, еще над этим голову ломать. Идемте в подвал.

Мы уговорили кладовщицу. Она вызвала лифт. И мы поднялись в нем из большого склада на пятый этаж.

Гаврилова я не нашла. Но решила больше не откладывать и сегодня не отступаться от него до тех пор, пока он не займется положением бабы Гутя.

После обеда я сидела в салоне с Иванычем. На все лады мы перебирали различные варианты и способы добывания процентов. Наконец остановились на стабилизаторах.

С раннего утра к диспетчерам в салоне обращались женщины, несущие в руках небольшие продолговатые коробки. Вот уже несколько месяцев нескончаемый поток этих коробок вращался по кругу: филиал красноярской ремонтной фирмы — телеателье — наш завод. Мы направляли женщин в красноярский филиал, те — в телеателье, а в ателье рекомендовали обращаться к нам.

— Вот он, план. Сам в руки просится,— сказал Иваныч, показывая глазами на женщин с коробками.

— А вдруг Баранов заругается, скажет: кто вам разрешил?

— Пока к нему просочится, вы столько добра успеете сделать!

— Ни расценки, ни норм, ни преискуранта... Ничего нет.

— Найдем.

— А по гарантии? Договоров с заводами нет. Оплатят ли нам ремонт? И запчасти? А потом план ка-ак...

— Господи, Григорьевна, когда это еще будет! А пока эту сумму к стиралкам плюсуйте.

— Позвать, что ли. Юрика? Пусть вскрыет две-три штуки, если сможет отремонтировать, значит...

— Конечно!

Афанасий Иванович нажал кнопку, а я закричала в селектор:

— Юрик! Юрик! Слышишь? Возьми отвертку и спускайся в салон! Да не спеши, потихоньку спускайся. Слышишь? Потихоньку.

— Слышу, Нина Григорьевна. Иду. Потихоньку. А тут вас Гаврилов ждет. И главный инженер.

— Главный инженер? — Я вопросительно глянула на Афанасия Ивановича. — Откуда?

— Да кто их знает. Так с виду вроде ничего...

Пришел Юрик. Я рассказала ему про стабилизаторы и поспешила в цех.

У окна возле бегонии увидела незнакомого мужчину. Гаврилов представил нас друг другу. И главный инженер тотчас отпустил его.

Шакиров ни о чем не спрашивал. Ходил по этажу. Потом снова зашел в цех. Остановился около оранжевых амариллисов. И долго молча стоял там.

Да, к тому времени (а шел уже третий год как баба Гутя занималась цветами) у нас в цехе так разрослась зелень, что верстаков со стороны входа не стало видно. Рука у бабы Гути на цветы легкая, и они не росли, а прямо-таки буйствовали.

Ребята во второй половине дня заканчивали ремонт. Подкатывали машины к стенду, проверяли их в работе на холостом ходу, оставляли тут и уходили выполнять заявки. А мы с бабой Гутей начинали испытывать машины под нагрузкой. Проверив показания, я записывала их в контрольную книгу, осматривала внутренности машины, закрепляла заднюю панель, откатывала к лифту. Так у нас и шло дело.

Работали мы с бабой Гутей молча, потому что шумомер реагировал на самые ничтожные звуковые колебания. Единственным посторонним звуком в эти минуты была чуть слышная мелодия, блуждавшая где-то высоко-высоко среди кудрявых, полупрозрачных на свету листочков традесканции. Юрик включал музыку, но так, чтобы она не была назойливой. Мы привыкли к такой поющей тишине. Хорошо работалось и думалось. Время шло незаметно. Руки сами, казалось, без нашего участия совершали работу. И когда вдруг кто-то нечаянно ронял ключ, все оборачивались на этот неожиданный звук, возмущивший наш уютный покой.

Я подключила к стенду последнюю машину, когда услышала за спиной голос Шакирова.

— А стандарт у вас где? — спросил он.

— Вон книжка висит над стендом... Вон, за амариллисом.

— Вижу. Странное и красивое название — амариллис. Я думал, это лилия такая... А почему вы не сверяете показания приборов со стандартом?

— Я помню.

— Так уж и помните? Данные всех параметров и всех марок машин? И механики, я смотрю, ни один не заглянул в стандарт.

— Это наш хлеб. И техминимум мы сдаем Гаврилову каждые три месяца.

— Я смотрю, вы уж подкатали машину к лифту, а ОТК?

— У нас самоконтроль.

— Самоконтроль — это хорошо, но...

— Они делают выборочную проверку. Иногда здесь, иногда на складе готовой продукции. Да еще дефектовщики при выдаче заказчикам отремонтированных машин проверяют их.

— Я смотрю, у вас такой многоступенчатый контроль, что машины должны быть отремонтированы с преотличнейшим качеством.

«Я смотрю», «я смотрю»... Скорее бы ушел. Я чувствовала нависший над моим затылком его черный замерший взгляд. Сама собой вырисовывалась в моем воображении на его голове белая чалма с султанчиком...

Он что-то еще говорил о качестве, и я преподнесла ему пробки. От бутылок с шампанским.

— Ну не так уж претолчно с качеством,— сказала я.— Вот эту неделю, например, ставим вместо штуцеров пробки от шампанского... Но мы предупреждаем об этом заказчиков. Когда появляются штуцера, ребята идут и ставят их на место.

— Вы это серьезно?

— Вполне... Но пробки ребята не выбрасывают.

— Если вы все это серьезно, тогда я... не знаю. Ведь штуцер действительно по своей форме — полая пробка с резьбой, чего проще выточить его из металла... Если уж нет на складе.

— Я полностью разделяю ваши мысли. Но Баранов, например, так не думает. То есть, может, он думает так же, но действует по-другому. На станке, который стоит в ритуальном цехе, он вытачивает шишечки.

— Какие шишечки?

— К вешалкам. Там делают такие вертикальные металлические стоячие вешалки о шести рогах. А наверху шишечка. Чтобы красиво было. Вешалки — это, знаете, ходовой товар. И для плана они хороши.

Я разошлась и хотела еще рассказать про венки, но тут загрохотали железные створы лифта. Из него едва не вывалился полупьяный грузчик.

— Есссь... шш... шшшто... ффссслат...— выговорил он.

Подбежала баба Гутя, затолкала грузчика обратно в лифт.

— Я сама качу. Не трожь! Я сама спущу. Да не садись на машину-то!..

Баба Гутя захлопнула двери, уехала с грузчиком вниз. Вскоре вернулась. Я глянула на Шакирова.

— Да, да, я не задерживаю вас,— сказал он.

Сдав машины, я стала делать разноску со спецификации в учетный журнал, а Шакиров все сидел в кресле.

— Хорошо у вас. Уходить не хочется,— сказал он.

— Еще бы,— ответила баба Гутя. Она протирала сухой тряпкой кафель над ванной.— Конечно, хорошо. Я сюда каждый день как в рай поднимаюсь. Да и ребята с раннего утра тут. И вечером не выгоишь.

— А вон та большая пальма у окна как называется, баба Гутя?

— Это бегония. Все думают, что пальма, а это бегония. Такая высокая да мочная вымахала, я сама удивляюсь. Я называю ее бегония слоновьи уши. Видите, листья какие?

— Все-таки почему она такая огромная?

— А что ей не расти? Кадку ребята вон какую сделали, земли достаточно, света хватает, подкормку ей даю, знай себе расти и хорошей.

— Да. Оригинальный цветок... Я вот полдня провел у вас, баба Гутя, и все пытаюсь понять, почему у вас красивей, чем на четвертом этаже. Ведь и там вроде бы чисто и зелени много.

— А я вам скажу... Вас как величать-то?

— Ренат Шакирович.

— Скажу, скажу, Ренат Шакирович. Тут все дело в стеклышках, да. Как в избе ни прибирай, как ни чисти, а если окна немые — вся чистота насмарку. А у нас ребята в пятницу каждый свое окно обязательно помоем. И пылесосом по углам пройдутся. Пыли-то, видите, пыли у нас вы не найдете, не-ет... Вон заявляются. Я же говорила, седьмой час, поди-ка, а они заявляются. Вот. Натолый Зверев. Щас разденется.

— Это он стенд запуская, баба Гутя?

— Вот эти приборы, что ли?

— Да.

— Он, он оживил эти стрелочки. Один!

— Надо с ним поближе познакомиться...



Шакиров вышел в коридор. Там у вешалки разговаривал с Анатолием. Потом они сдвинули стенд. Развернули его. И спрятались за ним. Притихли. Наверное, снимали тыльную панель. «Ну вот, мужчина как мужчина,— думала я в тот вечер, уходя с работы домой.— И чего я взъелась...»

Дочка вечерами занималась в читальном зале.

Я остановилась против дома, где жила раньше Зинаида. Окна его ярко светились. «Баба Гутя сейчас у Бурловых. Мне, что ли, пойти к ним? Нет, неудобно каждый вечер надоедать».

Почему-то в магазинах исчезли светлые лампочки. И я вспомнила: дома снова будет темнота. И холод... Надоело это ежедневное выгребание золы из печи. Дым и сажа. Где-то же находят люди такие яркие огни. А эту пиликалку зажжешь — весь вечер темно, как в погребу.

И вдруг я ощутила могильный озноб, совсем как на бульваре Распай. «Ехать по бульвару Распай всегда было скучно... Между Фонтенбло и Монтеро есть такое место, где я всегда испытываю скуку, пустоту и усталость, пока не проеду его. Вероятно, такие мертвые точки в пути возникают из-за каких-нибудь ассоциаций. В Париже есть улицы не менее уродливые, чем бульвар Распай... Но ездить по нему я не выношу».

## 13

Баба Гутя, познакомившись с Шакировым, почему-то упорно молчала о нем. А потом ее охватило непонятное беспокойство. Она вдруг обратила внимание на какую-то незнакомую тишину в коридоре. Мы долго прислушивались, но понять ничего не могли. В конце концов баба Гутя вышла на лестницу. Простояла там с полчаса. И вернулась совершенно растерянная.

— Что-то случится,— сказала она,— что-то будет неладное.

А когда однажды вечером в цехе неизвестно откуда возник почти трезвый грузчик, мы все замерли. Первая нашлась баба Гутя.

— Ты откуда взялся? — допытывалась она, подойдя к нему вплотную.

— Приехал.

— Как?

— Лифтом.

Мы все кинулись к лифту. И обнаружили, что двери оклеены тонкой резиной, шарниры смазаны и кабина качалась неслышно и плавно.

— Ну вот, баба Гутя,— Роберт облегченно вздохнул,— а вы говорили.

— Дак подождем, ребята, подождем.— И баба Гутя ушла в кладовку, закрылась там.

— Молиться побежала,— хмыкнул Анатолий.

— Удачу, наверное, выпрашивает,— усмехнулся Яновский.

— Да, удача нам не лишняя будет. Особенно теперь,— заметил Роберт.

А Бурлов молчал. Он мало поддавался всяким мимолетным эмоциям, судил о людях только по их делам.

Бабы Гутина душа, этот чуткий человеческий барометр, не сфальшивила даже после того, как Шакиров оформил бабу Гутю на работу, торжественно вручил ей при всех коричневую книжечку — удостоверение. Кассирша по распоряжению Шакирова, как только приезжала из банка с деньгами, первой выдавала зарплату бабе Гуте, а в отдельном конвертике премию. С тех пор премии начислялись бабе Гуте ежемесячно, а то и по две сразу — месячная, квартальная или по соцсоревнованию.

— Что вам еще от него надо, баба Гутя? — донимал Яновский бабу Гутю.

И зачем он тревожил ее лишний раз? Нравилось ему, что ли, разжигать ненужные страсти?

— Мне? Ничего. Конечно, он человек хороший. Наверное. Спасибо ему. Только...

— Как он, говорите, смотрит?

— Смотрит как бык опоенный.

— Да пусть его смотрит!

— Нет, не скажи, Владик, не скажи. Что-то, значит, есть, раз у человека глаз такой дикошарый.

— Вот именно — что-то... — сказал Яновский и умолк. Задумался.

Это что-то носилось в воздухе, возбуждало людей. Они с тревожным ожиданием заходили утром в цех, кто хвалил Шакирова, кто ругал, люди спорили меж собой, каждый отстаивал свою точку зрения, свои прогнозы и предсказания, как обернется и чем кончится этот непривычный для всех его стиль работы.

У нас на этаже по-прежнему было тихо и внешне все по-старому. Нет, как же я забыла упомянуть, что мы организовали у себя бригадный метод? А получилось опять само собой.

Юрик ремонтировал стабилизаторы к телевизорам, в большинстве гарантийные. А договоров с заводами-изготовителями у нас не было. Я запрашивала заводы. Пока никто не отозвался. И вышло, что месяц Юрик работал бесплатно. 25 числа нечего было писать ему в наряд. И тогда я сказала об этом ребятам. Они, долго не думая, предложили суммировать весь их заработок. И это общее число разделить между всеми согласно степени участия — кто сколько, значит, вложил своего труда в общее дело за этот месяц. Так мы и сделали. Яновский согласился с нами. Может, он думал, что будет получать бригадирскую надбавку и это компенсирует его потери в заработке. А может, и не думал.

Как бы там ни было, бригадиром стал Бурлов. Да фактически он и был им. Когда я обо всем поведала Гаврилову, он вынул старый приказ, тугой жирной линией зачеркнул фамилию Яновского и сверху написал: «Бурлов». Рядом сделал приписку: «С оплатой за бригадирство 7% от среднего месячного заработка». Исправил номер приказа и поставил сегодняшнюю дату.

— Вот теперь все правильно. Поздравляем нас, да, Нина Григорьевна? Хоть и не прытко, но идем мы верно.

— Значит, я пишу один наряд...

— И после обеда приносите мне на подпись.

Я знала, до вечера, когда я принесу наряд, Гаврилов не вытерпит. Не пройдет и часа, как он сделает пробежку по нашему этажу. Как бы мимоходом и как бы совсем не глядя, бочком проскользнет мимо цветников, стоящих у той стены, где висит доска показателей, и незаметно исчезнет.

Я поручу подсчеты Юрику, и мне опять придется идти к Рыкову, портить настроение пожилому человеку своим кислым видом и вздохами. Я, наверное, порядком надоела там, в салоне.

Но с Афанасием Ивановичем, оказывается, произошло необыкновенное преобразование.

Лицо его было так гладко выбрито, что отдавало синевой. Темно-русые волосы, еще не совсем поседевшие, сегодня красиво зачесаны назад и закрыли видневшийся раньше на макушке просвет. Точными, быстрыми, отнюдь не суетливыми движениями он четко управлялся с телефонами, учетными журналами, техническими паспортами приборов и в то же время успевал говорить с людьми, подходившими к нему. Во всем его облике чувствовалось обновление и молодецкая бодрость. Глядя на него, я невольно вспомнила о той вспышке, какая слу-

чается в природе осенью, и не хотелось думать, что бывает после, тем более что многие пожилые люди долго остаются молодыми, если ежедневно получают хорошую порцию духовного допинга.

Я молчала о нашем плане и процентах. Я слушала Иванныча. А говорил он теперь много, возбужденно, резкими жестами подкрепляя свои рассказы, и нельзя было уйти, не дослушав его, он бы огорчился.

А все рассказы Иванныча сводились к одному — к Шакирову. Наверное, он один во всей Рембыттехнике так восхищался Шакировым — безоговорочно и без всяких сомнений.

— О-о, если бы я тогда имел поддержку, как он, если бы я знал, что меня поддержат, я бы, знаете... Я бы давно все сделал как надо! Я бы знаете как поставил дело!

Говоря о поддержке, в существовании которой почему-то был уверен Иванныч, и обращаясь ко мне, он переходил на множественное число, будто не я одна слушала его.

Он замолчал на мгновение, снимая трубку с аппарата, и мне удалось вставить:

— Откуда вы знаете, что у Шакирова есть поддержка, Афанасий Иванныч?

— А ка-ак же! Что ты, Григорьевна! Разве в одиночку человек решится на такое?!

— А что, собственно, такого он сделал?

— Да ка-ак же! Ты только вникни, Григорьевна, во всю глубину и смысл его поведения! Как руководителя! Ты вникни!

— Ну о тишине заботится, лифт обшил, смазал. Пол в цехе релином застелил. Теперь хоть как катай машины — не слышно.

— Да это пустяки! Хотя пустяки ли? Это о чем говорит?.. Главное, он старается проникнуть в самую сердцевину нашей жизни, все понять до конца, в самых подробнейших мелочах. А это значит — он не дурак. Соображает, что постигнуть главное можно через малое. Вот, к примеру, пришел он на четвертый этаж. Раз пришел, видит: Фейзулина арифмометр крутит. Ну, думает, ладно, не буду человеку мешать. Пусть работает. Другой раз приходит — она опять крутит. В третий раз приходит — то же самое. Ага, думает, что такое она крутит? Другие не крутят, а она крутит. Надо узнать. И он спрашивает: что такое, мол, вы крутите?.. Но вы же знаете Багировну. Она этих начальников на своем веку сколь пережила. Она их ни во что не ставит и совсем не боится. Ну и его, конечно, не удостоила ответом. Тогда он ей говорит: «Потрудитесь ответить, когда вас спрашивают». Багировна молчит. Не признаваться же ей, что выкручивает коэффициенты. Она, может, и хотела что-то сказать, да придумать не могла. Молчит, значит. Тогда он говорит: «Разрешите?» И берет у нее арифмометр. Крутанул ручку раз, два. И заклинил. Навсегда. «Ой,— говорит,— сломался!» Поблизости стоял Венька Непомнящих. Главный подал ему арифмометр и говорит: «Выбросьте эту рухлядь в мусоропровод. Сейчас же». А Багировне заявляет: «Принесите мне завтра на подпись акт о списании вашего «Феликса». Этот морально устаревший прибор отслужил свой срок. А что у вас в папках?» Берет одну папку, другую. Она, Багировна, раз — и в стол бумажку, которая перед ней лежала. Она там свои фальшивые цифирки подсчитывала. Он увидел и сразу: «Дайте-ка сюда эти записи». Взял бумажку и спрашивает Багировну в упор: «Чем вы сейчас занимались?» Та молчит. Он опять: «Почему не отвечаете?» А она ему: «У меня есть имя, между прочим». А что ей другое сказать?.. И что, вы думаете, он ей заявляет? «Нет у вас имени. Вы давно перестали жить. Вы — привидение в человеческой оболочке».

— Не мог Шакиров такого женщине сказать!

— Да Венька рядом стоял. Он же не глухой.

— Ну и что Шакиров с папками сделал?

— Унес с собой. Назавтра пришел, отдал ей папки и сказал: «Все.

Больше вам не придется крутить свои фальшивые коэффициенты. Участок переходит на прежний метод отчетности». Заметь, не работы сказал, а — отчетности. И положил ей на стол бланки. «Завтра и все последующие дни ведите фотографии рабочего дня. Фиксируйте все, что будете делать. И раздайте всем механикам. Каждый день утром будете сдавать мне вчерашние заполненные бланки». Вот такой приказ дал.

— То-то из производственного отдела к нам забéгали...

— Да что ты! Там что делается, в конторе, там сколь их развелось: и производственный, и плановый, и технологический, и отдел труда, и гарантийный отдел, и бухгалтерия из трех секций... Ужас! Раньше мы втроем в конторе сидели, все успевали. И порядок у нас был.

— Теперь объем работы, конечно, больше.

— Согласен. Ну не столь же плодить дармоедов... Он ведь что сделал, Шакиров-то? Он им сказал, чтобы в конце этой фотографии на листочке все писали свои замечания и предложения по улучшению своей работы и созданию наиболее рационального способа обслуживания. Не знаю, все ли он просматривал эти фотографии, а только заведующий технологическим отделом сдал ему пустой бланк и подписал в конце: весь день ничего не делал, не знаю, что делать. А там, где предложения должен был записать, он знаешь что предложил? Предлагаю, пишет, выгнать меня с работы, а эту должность сократить.

— Это молодой такой, в спортивной куртке?

— Да. Высокий такой. На баламута похожий. И что, вы думаете, он сделал, Шакиров-то? Прислал этого парня сюда, к нам. Заставил работать администратором. И повелел ему каждый день подавать записки с предложениями. Ну парень и подает. А Шакиров приказывает эти предложения самому и осуществлять. Полномочия дал, свободу действий. Дак тот, бедный, замотался... Вон, смотри, как зыркает в нашу сторону. Подумает, что тебе делать нечего. Иди, Григорьевна, а то подаст на тебя предложение.

И я ушла. Не успела я подняться на свой этаж, как Иваныч позвал меня к селектору.

— Григорьевна, поди в большой склад, разузнай, есть ли еще якоря. Любые. Не к бритвам, конечно. И посмотри в картотеку, там должны под якорями числиться коллекторные двигатели. Если найдешь, посчитай сколько и приходи ко мне.

Опять что-то затеял. Значит, думает о нас Иваныч.

И у меня появилась надежда: вдруг да удастся нам продержаться это время. А там Шакиров, может, чего добьется.

Все мы, кроме бабы Гуты, надеялись на Шакирова и ждали больших перемен к лучшему.

И перемены произошли.

У нас появилось больше свободного времени, мы перестали носиться в свои выходные по предприятиям, заключать договоры на абонементное обслуживание. Этим занимался теперь производственный отдел. Он завладел договорами и распределял их между механиками. У Бергмана отобрали договоров на тысячу рублей. Как он возмущался, кричал, что это несправедливо, что он сам ездил на предприятия, уговаривал начальство, столько сил положил, чтобы добыть эти контракты, а теперь кто-то будет пользоваться его трудами. Пуще всего Бергман возненавидел новеньких, тех, которые только что вышли из учеников. Он и раньше неохотно поверял им свои профессиональные тайны, а теперь и вовсе не разговаривал с ними. А знал и умел он многое. Он мог, например, капитально отремонтировать холодильник, не вынося его из квартиры. Умел делать заправку системы фреоном с такой точностью, что проверять любым прибором — ошибки не будет.

С Шакировым у Бергмана сразу случилась дуэль. Начал ее Бергман. И продолжал ежедневно с веселым упорством. Фотографии своего рабочего дня Бергман вести отказался наотрез. Шакиров сделал ему устное замечание. Бергман только усмехнулся. Шакиров подождал еще некоторое время и объявил Бергману выговор в приказе. А после третьего выговора Бергмана уволили. Но тот подал заявление в суд. И судебные заседания по этому заявлению все еще продолжаются.

Когда Баранов ушел в отпуск, деятельность Шакирова стала особенно заметна и ощутима.

Он выпроводил завхозшу вместе с ее манатками из помещения, которое находилось на нашем этаже как раз напротив входа в цех. Там поставили три верстака, емкость с жидкостью для пропитки моторов. А вскоре сюда же привезли станок из ритуального цеха.

С раннего утра до вечера во всем здании копошились строители, долбили что-то, налаживали душевые. За один день были убраны все клетки и перегородки. В вестибюле сразу же стало просторно и светло. Раскупили входные двустворчатые двери, установили транспортер, и теперь холодильники, стиральные машины, все тяжелое поднималось как бы само. В тамбуре установили калорифер. Он работал безотказно, и дефектовщики ходили по вестибюлю в форменных костюмах. Долдонову Шакиров поручил немедленно заняться вращающимися верстаками.

И вот однажды мы вошли в цех и увидели посредине какие-то неуклюжие узкие продолговатые столы на коротких ножках.

— Что это за гробы? — сказал Бурлов. — Зачем их сюда свалили? Что у нас, кладбище?

Главный инженер, осматривая эти верстаки вместе с Долдоновым, попросил меня засесть время, а Долдонова — поставить машину с центрифугой на новый верстак.

Машина весила не так уж много. Но чтобы поднять ее, надо было все-таки иметь кое-какую силенку. А главное, захватывать неудобно: корпус обтекаемый, уцепиться не за что. Долдонов возился, сопел, и так и этак лапая машину. Наконец удалось ему водрузить «Сибирь-3» на новый верстак. В середине деревянной столешницы этого верстака было просверлено отверстие не толще долдоновского мизинца. В отверстии торчал штырь, на который была насажена другая столешница, поменьше. Машина улеглась на верхнюю столешницу. Неровно. Штырь (он почему-то был чересчур короткий) выскочил из отверстия. Машина едва не соскользнула с верстака.

— А теперь вращайте, — сказал Шакиров.

Долдонову пришлось немало потрудиться, чтобы вставить штырь в отверстие. Вращать подвижную часть верстака можно было, только держа одной рукой машину, другой крепко прижимая к основанию деревянный круг, чтобы он не соскочил вновь.

— Ну как, есть облегчение труда при манипуляции с машиной на этом верстаке, Олег Викторович? — спросил Шакиров. — Об экономии времени я пока не говорю.

Долдонов молчал.

— Вам нравится этот подъемно-вращающий механизм, Олег Викторович?

— Так они сказали: «Не нравится — не берите».

— Мне хочется знать — нравится ли вам?

— Нет.

— А зачем же привезли сюда... это?

— Так деньги уплачены. Не пропадать же...

— За что уплачены деньги? Долдонов, за что мы платили деньги?

— За верстаки.

— За какие?

Мне стало жаль Долдонова.

Никто не догадывался, что от этих верстаков он сразу же поплелся к Баранову. Нашел его где-то. Хотя тот и был в отпуске. Но вдруг на пятый этаж строем поднялся целый отряд грузчиков во главе с начальником ритуального цеха. Они увезли станок.

Потом в районное и областное управления посыпались жалобы на Шакирова. Жалобы писали Фейзулина, Бергман, Долдонов, из конторы кто-то.

Директора и главного инженера вызвали в область. Гаврилов тоже поехал, сам. В объединении состоялось разбирательство, на котором Шакиров вел себя, по словам Иванаыча, как подобает.

Парни мои приуныли. Работа валилась из рук. Всем не терпелось поскорее узнать результат разбирательства.

Иванаыч тоже ничего не знал определенного, тем не менее я почти ежедневно с самого утра мешала ему работать.

Администратор как будто не замечал меня. Он метался по салону, помогая устанавливать громадную финиковую пальму, распаковывал диван и кресла, сметал древесные крошки с гладкой обивки из искусственной кожи приятного брусничного цвета и все это время не сводил глаз с приемщицы часов, на редкость язвительной и нахальной девицы, которая умудрялась и в его присутствии мрачно и «вежливо» хамить сквозь зубы.

— Молодец парень, — сказал Иванаыч, кидая взгляд на администратора, — знает, какую мебель покупать для салона. Уж эту Баранов не свезет к себе домой.

— Почему вы так думаете?

— А ножки. Вишь, какие у гарнитура ножки-то? Металлические.

— А на дачу?

— Там полный комплект. Давно.

— А может, он обновить захочет?

— Ничего, Григорьевна, счас ка-ак пришпандорим штамп. На самом видном месте. Штамп-то он заказал, однако, поболее моей ладони... Не-ет, не ошибся в нем Шакиров. Он, Шакиров-то, знаете, что заявил генеральному директору объединения?..

Иванаыч опять переходил на «вы», и я встревожилась. Такое происходило с ним только в двух случаях: когда он бывал в состоянии или неумемного восторга, или устойчивой, долго не проходящей растерянности. Нынче он говорил медленно, с патетикой. И в то же время чувствовалось, думал про себя еще о чем-то, может быть, не менее важном, отчего сегодняшний рассказ его выглядел бессвязным и нервозным.

— Он заявил, что Баранов не может руководить нашим предприятием. Единственно кто должен быть директором — это он. Или Гаврилов. Вот так.

— А что решило высокое начальство?

— Дак Шакиров сказал напоследок, что если Баранова оставят, он уйдет. Не может он одним воздухом дышать с таким человеком.

— А там? Что все-таки решили там, Иванаыч?

— Узнаем. Вот вернутся они — и узнаем. Я, например, Григорьевна, не сомневаюсь, что Шакиров будет нашим директором. И я уверен, что он им будет. Он должен быть нашим директором. Вы со мной согласны?

— Я-то согласна. Да кто нас будет спрашивать, Иванаыч?

— Спросят. Если что — мы тоже молчать не станем. Да.

— Никто нас не спросит.

— Да что ты, Григорьевна? Чего загрустила?

— Да я чувствую...

— Ай, вечно вы, женщины, чувствуете... Ты давай-ка не опускай нос. Вон гляди, что я припас для тебя...

Иванаыч наклонился, достал из-под барьера, за которым сидел,

что-то похожее на движок. Слава богу, хоть на «ты» перешел, значит, не так страшно пока.

— Электрический сепаратор «Сатурн»! Пожалуйста, вот вам добавка к вашим показателям. Будем ставить те самые якоря, что нашлись на складе.

— Да они, Иваныч, лежалые. Их выбросить надо, заржавели они.

— Закажем новые. Сейчас производственный отдел и снабженцы вроде зашевелились. Так что не журись, Григорьевна...

Шакирова мы больше не видели. Возвратился Сергей Михайлович, сказал, что Шакирову предложили должность главного механика объединения. Он отказался. Уехал в свою Казань.

## 14

Да, все-таки надо рассказать, почему отнялись ноги у бабы Гути. И как погиб Николай.

После того как Гаврилова отправили заведовать маленькой мастерской, где ремонтировались лодочные моторы, а еще через месяц уволили меня «по сокращению штатов», на заводе состоялось празднество. Баранов устроил его в ознаменование получения большой премии. В красном уголке на третьем этаже расставили столы, а на столах угощение. На празднестве были рабочие. Позвали туда и Бурлова. В самый разгар веселья Бурлов преподнес Баранову какой-то сувенир. В бархатном футляре. Поздравил Баранова и сказал: «Это вам на память». Баранов раскрыл футляр. Долго не мог прочесть надпись. Потом швырнул сувенир в тарелку Бурлова.

Баба Гутя назавтра с уборщицей осмотрели все щелочки в красном уголке. Нашли коробочку. И сувенир.

Это был искусно выполненный из бронзы венок величиной с карманные часы, увитый тонкой никелированной лентой. На ленте очень красиво и четко была сделана гравировка: «Дорогому Петру Петровичу. От бывших и будущих клиентов».

Баба Гутя, конечно, ругала Бурлова. Но это скандальное происшествие как будто не отразилось на ее здоровье. Во всяком случае, внешне.

Баба Гутя отдыхала теперь, как и все ребята, два дня — воскресенье и понедельник. В тот день, во вторник, пришла на работу позже обычного, порядком припоздала.

Она поднялась на пятый этаж. Прошла по коридору. Вошла в цех. И почувствовала, как все у нее онемело. И голос пропал, потому что она (как уверяла меня потом) звала на помощь, но ее не услышали.

Рассказывая об этом, баба Гутя без конца повторяла, что это можно увидеть только во сне. В страшном сне. Наяву она никогда не испытывала такого потрясения. За всю свою жизнь.

Во-первых, утром на вахте ей не дали ключи от цеха. Сказали: там есть люди. Баба Гутя не удивилась — раз пришла поздно, чего удивляться. Во-вторых, весь коридор на этаже был заставлен какими-то ящиками. Но и это ее не смутило, мало ли что.

Но когда баба Гутя вошла в цех, она подумала, что у нее неладно со зрением или с головой, раз ей мерещатся гробы и венки... Поперек через весь цех до самых окон тянулись длинные низкие столы. А между ними венки. Штабеля венков. В проходах между столами. И на столах, как на гробах. В оконные рамы вбиты неестественно длинные гвозди, на них тоже висели венки. И они застили свет. Вот отчего в цехе было темно.

У бегонии слоновьи уши торчало всего три листа. Незнакомая женщина в черном халате взяла со стола венок, взмахнула им, чтобы повесить на гвоздь, нечаянно задела венком бегонию и порвала последние листья... Тут бабе Гуте стало совсем плохо. Она хотела скорее сесть в свое кресло. Но кресла не было. На том месте рядами

вплоть до самой ванны стояли прислоненные к стене овальные каркасы — заготовки для венков. И она села на пол там, где стояла...

Ребята увезли бабу Гутю домой в такси. Заехали ко мне.

Мы с дочкой массажировали ноги бабе Гуте. Вечером пришла Ле-на Бурлова. Втроем мы принялись лечить бабу Гутю. Вызвали врачей, сражались как могли с параличом.

Совсем баба Гутя не обезножела. Мало-мальски двигалась.

Я уже не работала, изнывала от вынужденного безделья. У меня пропал сон. Ночами я тихо лежала с закрытыми глазами, старалась всем своим видом создать для дочки впечатление крепко спящего человека. И поскольку совсем не думать было не в моих силах, то я при-нуждала себя думать о какой-нибудь чепухе.

Дочка спала на диване у окна. Когда ее дыхание становилось ров-ным и почти неслышным, я открывала глаза и смотрела в окно.

«Жаль, что сейчас не крещение,— подумала я как-то. А точнее — в январе. Да, в январе, как раз месяц прошел, как Гаврилов уехал в Москву.— Если бы сейчас, например, было крещение, я бы поставила на окно зажженную свечку. И пусть бы показалось в окне. Хоть что-нибудь. Пусть даже самое страшное... А если что задумать и смот-реть в одну точку, то это и привидится». Я выбрала темный предмет, видневшийся на снегу против окна. Долго и неотрывно смотрела. Смотрела до тех пор, пока не устали глаза. Но ничего не показалось. Я отвела глаза и шумно вздохнула.

— Ну что ты мучаешься, мама?— сказала вдруг дочь.— Найдешь другую работу.

— Зачем?

— Ну все равно ведь того, что у вас было, теперь уж не вернешь. Ох эта молодежь. Какие они безжалостные.

Иринка зажгла ночник. Порылась в тумбочке. Подошла ко мне, присела на край кровати. Разжала кулачок.

— Мама, видишь денежку?

На ее ладони лежала монетка, двадцать копеек.

— Вижу.

— Это все наши деньги.

— Как? — Я села рядом с ней.

— Да ты не пугайся. Есть еще немного картошки. И постное мас-ло. Я потому говорю — нам бы занять у кого. Через два месяца я по-лучу паспорт и пойду работать. И ты отдохнешь спокойно. Ну что ты испугалась, тебе-то пришлось начинать еще раньше.

Мы снова молчали.

Мне припомнился мой первый, самый первый рабочий день...

Господи, как долго я живу!

Утро все-таки пришло. И вечер настал. А тот вчерашний вечер и ночь — уже прошлое. Странно...

Автобус на Индустриальную не ходил, и мне, как обычно, при-шлось прошагать километра четыре. По городским понятиям — доро-га неблизкая. А мы, жители Александровска, люди не деревенские и не городские, ни метро, ни троллейбусами не избалованы. Мы при-рожденные пешеходы.

Но как бы складно ни думалось при ходьбе, ничего толкового, чем бы я могла урезонить Бурлова, я не придумала. Опять бесится. Го-тов на куски меня разорвать. А мне пока от него много не надо — только бы перестал беситься. А там видно будет.

Я надеялась выиграть время. До приезда Гаврилова оставалось еще несколько недель. Если Гаврилову там, в Москве, что-то удаст-ся — мы оживем.

Забор у бурловской избушки снесли, а ворота почему-то остави-ли. Однако в свежих рытвинах, присыпанных снегом, чередой один



за другим торчали тополевые прутьики. Это означало, наверное, что забор все-таки существует. Поэтому я прошла через калитку.

За воротами во дворе около опрокинутой игрушечной грузовой машины стоял Мишка Бурлов. Он заметно подрос за эти три года. Стал совсем серьезный и сердитый, как отец. Он стоял, засунув руки в карманы легонькой куртки. Изредка со злостью сплевывал в сторону. Я подошла к нему. Поздоровалась.

— Здрасьте, коль не шутите,— ответил он.

— Что случилось у тебя, Михаил?

— Не видите, что ли? Авария! Теперь все коровы подохнут.— Он отвернул лицо в сторону и отрывисто сплюнул. (Вот этой привычки не было у его отца. Где он ее подцепил?)

— А при чем тут коровы?

— Да я же им сено вез!

— А-а... — Теперь только я заметила под машиной кучку тоненьких прутьиков.— Ремонтировать надо машину-то.

— Чем? Показателями, что ли?

— А... А может, там пустяки? Может, все цело? Давай поднимем и посмотрим.

— Да как же мы вдвоем сладим с такой махиной, вы что?.. Автокран вызвал. Вот жду. Должны подъехать.

Я вздохнула. Согласно покачала головой. Опять что-то у меня произошло не так.

Лена тоже, видать, была на грани. Она бросила кухонные хлопоты, собралась с духом и сказала мужу:

— Ну что? Что Нина-то могла сделать?

— На меня орать — дак она смелая, твоя Нина. Вон Бергман... Совсем не имел шансов, а выиграл дело в суде. Восстановили же!

— Нина не Бергман. Ты почему этого не хочешь понять, Коля? Ну как она будет говорить сама о себе, что она хорошая, незаменимая и нельзя было ее сокращать?

— Гаврилов сказал, что и сейчас еще можно подать в суд.— Я говорила и не верила себе. Не выношу эту судебную атмосферу.

— Гаврилов сказал! Гаврилов сказал!.. Бумагу не разрешил нам послать в область — ладно. Поехали бы туда всей бригадой... Запретил. А теперь все. Живьем похоронены.

— У тебя, Коля, всегда крайности. И мрак.

— Вот именно что мрак. Противно все. Бергман этот, ас... Ходит, указывает, а сам и понятия не имеет, что такое современный стиральный автомат! Он подступиться к нему не знает как, не то что отремонтировать... Я зна-аю, зачем Баранов отправил его к нам... Противно все. И комнатуха эта, куда нас загнали... Вот вы, Нина Григорьевна, грамотная! Учились! Можете вы мне ответить: почему мы должны их терпеть, а?!

— Ну что ты пристал к человеку! Ей и так тошно!

Николай лег на диван и отвернулся к стене...

От Бурловых я побрела к бабе Гуте. И заночевала там. Утром собралась делать уборку в квартире, хотела постирать бельишко. Но ни в комнате, ни в ванной, ни в кухне не нашла стиральную машину. Я вернулась в комнату и спросила:

— Баба Гутя, где машина?

— Машинка... это... Я забыла сказать...— По тому, как баба Гутя долго подыскивала слова, я поняла: что-то неладно. Уж не Михаил ли тут вмешался?

— Что он с ней сделал?

— Да ничего. Маленько вертелся около... А тут к соседке приехали, холодильник привезли из ремонта, я и попросила парнишку зайти... Худой такой, ножонки тощие, в жинсах. Он включил машин-

ку, а она молчит. Он говорит: «Мотор, бабушка, сгас... Двадцать семь рублей платите, увезу на завод, сделаем». Ну, я согласилась. Вези, заплачу, мол.

— Быстро он в уме считает... Кудрявый такой?

— Ну-ну.

Младший сынок Бергмана.

— Ты бы, доча, узнала, как там с машинкой... А то Николай не седни-завтра придет, а машинки нету. Вдруг в ванную заглянет, а машинки нету. Как бы он там у холодильщиков не увидел ее. Иди-ка позвони скорее.

— Конечно, позвоню, только сначала розетки проверю. Потому что мотор... Если что-то где-то и сгасло, то никак не в этой машинке.

Баба Гутя сидела на застеленной кровати. Все утро она намеревалась «разбежаться». Для смелости решила сначала растереть ноги настоем сирени.

Я рылась в шкафчике на кухне, не могла найти отвертку.

— Баба Гутя, в шкафчике отвертка была...

— Здесь, здесь. Вон коробку открой, на комодѣ стоит. Михаил тут ремонтом занимался в воскресенье.

— А почему у комода все планки сняты?

— Это вообще-то не комод, доча, а холодильник. Ничего ты не понимаешь.

— Пусть холодильник. Кому нужен такой ремонт? Ни одной планки не оставил!

— Да целы они. Все целое, в коробочке лежит. Все до единого шурупчика.

Я достала фанерную коробку с выдвигной крышкой. Открыла. Там аккуратненькой стопочкой были сложены все планки. Маленькая стеклянная банка заполнена шурупами. Тут же, завернутая в чистую тряпочку, лежала моя отвертка с индикатором.

— Вишь, в каком порядке у нас инструмент? — Баба Гутя наклонилась, разглядывая с кровати коробочку. — Маленько погодя ему что угодно можно будет доверить, не то что планки эти...

Я проверила электрические розетки в коридоре, в комнате и на кухне. Все отверстия для вилок были плотно закупорены ватой.

— А когда парень этот из Рембыттехники заходил, розетки были уже законопачены?

— Были, Лена затыкала... Сама знаешь, он везде с плоскогубцами лезет, током ударить может...

В фанерной коробке я нашла кружочек изоленды. (Ай да Мишка, все у него припасено, все на месте! Искать не надо.) Немножко подладила розетки.

— Пойду, баба Гутя, узнаю про машину, — сказала я, надевая пальто.

— Иди, иди. Да накажи, чтоб Николаю не показывали ее...

Недалеко от дома бабы Гути стояла телефонная будка. Я долго и безуспешно набирала номер диспетчерской. Наконец Иваныч ответил. Я не сразу узнала его голос. Он еле-еле мямлил в трубку сонным полусшепотом.

— Афанасий Иваныч! Как там мои ребята?

— Бурлов седни сорвался.

— Господи...

— Да ты особо не волнуйся, Григорьевна... Сказывают, холодильщики на днях стиральную машину привезли — мотор им приглянулся. Они и сняли его. А Бурлов седни увидел. Они говорят — неисправен, мол, мотор, заменим. Ну он и дал им жару... Родной-то мотор этой машины оказался рабочим.

— Так. Понятно... А сейчас Николай где?

- Погрузил эту машину в фургон. Увез.
- Давно выехал?
- Часа полтора, однако, прошло.
- Афанасий Иваныч, извините меня, я побегу. Николай очень нужен мне сейчас. А вечером я позвоню вам, хорошо?
- Позвони, Григорьевна, позвони обязательно.
- До вечера, Афанасий Иваныч.

Я объездила почти весь город, все гастрономы, пивбары, побывала у него дома. Бурлова нигде не было. И я вернулась к бабе Гуте.

Я уже подходила к подъезду, когда меня остановила старушка, соседка бабы Гути. Интеллигентного вида старушка, в прошлом учительница. Детей не имела, жила одна. Кажется, она воспитала племянницу, которая сейчас работала не то в Алжире, не то в Индии. Соседка тотчас появлялась у бабы Гути, как только туда приходила Лена с Аллочкой и Мишкой, и начинала давать советы, как воспитывать детей. Она часто повторяла, что нельзя покупать детям много игрушек, это их развращает. Наверное, поэтому она смущалась, когда чуть ли не каждое воскресенье приносила к бабе Гуте то новую куклу для Аллочки, то Мишке новую машину. И каждый раз она совершенно серьезно объявляла, что шла мимо, увидела в магазине эти игрушки и решила подарить их детям, тем более что такие игрушки сейчас дефицит, особенно машинки, это замечательно, что они ей случайно попались.

Старушка совала мне в руки какой-то ключ. От чьей-то квартиры. Говорила бессвязно. И это меня насторожило, потому что старушка умела говорить на редкость правильно и красиво.

Я слушала и ничего не могла понять. Единственное, что я уяснила, — я не должна волноваться. И что все будет хорошо.

— Что хорошо-то?.. — Я забыла, как звать старушку. Я напрягла свою память. Имя старушки вот-вот должно было припомниться.

— Их увезли... обоих... в одной машине... на «скорой помощи»... в больницу... наверное... Конечно, в больницу! — вдруг осенило старушку.

И разом все мысли остановились. В голове настала тихая ясность. Бескрайняя прозрачная пустота. И звон.

## 15

Юрика на похоронах не было, он тоже оказался в больнице. Когда кто-то крикнул в селектор, что разбился Бурлов, Юрик бросился бежать вниз, поскользнулся на лестнице и подвернул больную ногу.

Тридцать дней прошло с тех пор, как не стало Николая. Бабу Гутю я привезла домой. За ней ухаживали соседка и моя дочь.

А Юрик все оставался в больнице.

Ему разрешили немного ходить с костылями. Мы вместе приоткрыли укромное местечко в конце коридора и подолгу разговаривали там.

Меня беспокоило отсутствие его матери. Она ездила в командировки по леспромхозам. Юрик не разрешил мне послать ей телеграмму. Сказал, сам отправит. И вот прошел месяц, а мать Юрика не появлялась. Значит, он не сообщил матери, что лежит в больнице.

Два раза в неделю я ходила к нему в дом топила печь. Однажды в почтовом ящике нашла письмо и принесла Юрику. Мы сидела в коридоре больницы у окошка. Я расстелила на подоконнике газету, высыпала кедровые орехи. Юрик читал письмо и одновременно щелкал орешки, чисто и ровненько, словно бельчонок. Он читал, и улыбка шевелила его губы.

— Поздравьте мою маму, Нина Григорьевна! — Он протянул мне руку. — Я же знал, ей сейчас совсем другая телеграмма нужна.

— Замуж вышла?

— Да. Сейчас у них свадьба. Останется там жить, в леспромхозе.

— Поздравляю. От всей души желаю им счастья. А ты?

— И я. Этот Аверьянов славный мужик. Он был у нас... Вы знаете, Нина Григорьевна, как мама намучилась со мной. Я долго болел. Куда только она не возила меня, в какие больницы и санатории... Пусть поживет для себя. Она ведь у меня молодая. Пусть женятся. Я рад.

— А ты весной займешься ремонтом дома. Мы с Анатолием тебе поможем.

— Спасибо. Да у меня, кроме домашнего ремонта, дел хватит. Хотя, конечно, работать стало совсем тяжело... А мы было такое дело начали... Роберт расчеты делал. Такой механизм придумали, почти робот. А прост до невозможности. Николай сначала чуть не зарубил наш проект, зачем, говорит, сделали ложе для машин? Сказал, надо захват. Вроде клещей.

— Верно. И дно машины всегда будет открытое.

— Мы сами изготовить смогли бы.

— А почему от меня прятали ее?

— Хотели вам готовенькое показать. А потом, как главный ушел, Гаврилов какой-то отрешенный стал. И Роберт уехал.

— А почему он так вдруг заторопился с отъездом? Даже экзамены сдавать не стал. Одна сессия оставалась... Ты не знаешь, Юрик?

— Он запретил нам говорить... Но теперь, раз он уехал, наверное, можно... Дело в том, что ему с детства назначили невесту. Роберт не хотел на ней жениться. Но и послушаться родителей не мог. Все откладывал. Двадцать лет. Думал, может, она замуж выйдет. И он тогда женится по любви.

— И она до сих пор не вышла замуж?

— Нет. Сначала он говорил родителям: надо, мол, заработать денег, купить машину и все такое. Поехал к нам в Сибирь. Купил машину. Поступил в институт. Говорил, пока не получу диплом, не женюсь. А сам уж в третий институт перебежал...

— А сейчас он совсем поехал или как?

— Я думаю, поехал жениться.

— На похоронах он плакал, как ребенок. И Фейзулина... Я думала, она не умеет плакать.

— Нина Григорьевна, давайте как-нибудь поможем ей!

— Вряд ли ей будет приятна моя забота.

— Почему?

— Женщины меж собой редко бывают искренни. Она не поверит мне. Лучше ты, Юрик, когда поправишься, увези ее к маме в леспромхоз. Может, она отойдет немного на природе.

— Верно! Я обмозгую это дело... А на кладбище она не подходила к вам?

— Она одна стояла. Потом, когда все садились в автобусы, она спросила Анатолия, был ли Николай в сознании перед смертью и что говорил...

Разговор наш распался. Наверное, Юрик, как и я, вспоминал, о чем рассказывала баба Гутя. Мы вновь вообразили, как все было.

...К дому подъехала «скорая помощь».

Врачи увидели лежащего на лестнице Бурлова, а рядом бабу Гутю. Они перевязали Николаю голову и понесли его в машину. Баба Гутя протянула к нему руки, хотела подняться. Но не смогла. Ее унесли на других носилках.

Они лежали рядом. Баба Гутя все глядела Николаю в лицо. Ей показалось, он очнулся. Баба Гутя заговорила с ним. Николай широко раскрыл глаза и сказал тихо, но внятно: «И это все?» А когда подъехали к больнице, он был мертв. Но баба Гутя вцепилась в его носил-

ки и так кричала, что врачам пришлось Николая занести в приемный покой. И он лежал там около нее, пока она сама не потеряла сознание.

Не мог он такое сказать. Баба Гутя ослышалась, ведь у нее тогда сильно поднялось давление.

Он умер сразу. Ведь он ударился виском... А может, и не виском... Нет, сама баба Гутя никогда бы не придумала такого.

Но как бы ни был близок конец, человек не может знать точно... Впрочем, почему мы беремся судить об этом, мы, живые?..

Я шла из больницы домой. Мысли мои, как пьяные, цеплялись то за одно, то за другое.

Скорее всего это непонятное состояние было оттого, что я не сумела сказать Юрику самого главного, чтобы поддержать его... Мне вспомнилась последняя фраза Юрика. Прощаясь со мной, он сказал: «Может, скоро выпишут, хирург обещал. Сделают снимки, если хорошо срослось, то отпустят домой».

Стоп... Как срослось? Что срослось? Значит, перелом? Та-ак. Значит, этот вежливый хирург и Юрик, они оба обманывали меня!

«Подвернул ногу, пустяки»... А стальные спицы, торчащие в живом теле?! То-то Юрик все время потирал колено, когда мы разговаривали. Какую боль переносит! И разве мало ее было... Бедный мальчик!

Я живо представила эти спицы, торчащие в его ноге...

Я могла свободно вздохнуть и говорить, после того как врачи сделали мне укол.

Теперь они посещают меня часто. Лежу дома. В больнице, говорят, нет мест.

Врачи приезжают разные. Но их не так уж много. Я всех помню. Они чем-то похожи друг на друга — и врачи и медсестры. Как только они заходят в мою комнатушку, они сразу становятся до неузнаваемости одинаковыми, как те работницы, делающие венки.

У медсестер удивительно одинаковые жесты.

И сегодня, откинув мой рукав, она махнула тампоном. То ли задела руку, то ли это просто... ритуальное движение. И опять не подогрела камфару. Молодой брюнет в белом колпаке сидел, видел — и глазом не повел. Он о чем-то спросил меня. Я молчала.

Может, мне все это снится? И ничего страшного не происходит?

Они ушли. Форточка распахнулась. Я услышала, как на улице хлопнула дверца машины. Сначала приглушенно. Второй раз отчетливо и хлестко.

Запищал снег под промерзлой резиной. Колеса пошли.

Улочка наша тихая, захолустная, каждый звук слышен резко, словно живем на берегу реки.

Сейчас отлегло. Но потом вспухнет и онемеет левая рука. И я не буду знать от чего — то ли от укола, то ли от болезни.

Что ж вы, милосердные?

Моя соседка (она живет за стеной, в другой половине избушки) принесла мне извещение. Почтовый ящик у нас общий. Мы долго читали, на все лады перечитывали непонятные каракули и остановились на той версии, что эта почтовая бумажка, возможно, означает приглашение на телефонные переговоры.

Соседка сидела около меня, без передышки трещала о чем-то своем, глядя на себя в зеркало.

А я разговаривала сама с собой: «Надо одеться и сходить на почту. Узнать. Может, Гаврилов звонит. Или Анатолий. А вдруг Роберт объявился? Нет, Роберт вряд ли. Надо пойти... Вообще-то врачи не разрешили мне вставать. Но что такого будет, если я встану и пойду? Да ничего не будет. Никто ничего не знает, все только предполагают.

Допустим, остановится сердце. Ну и что?.. Иринка моя подросла. Девочка она смелая. Не пропадет. А больше меня здесь ничто не задерживает. Вот это небо?.. Я достаточно насмотрелась на него за эти два месяца. Через свое одно-единственное оконце».

Оказалось, звонил Анатолий. Сказал, чтоб терпела до завтра. А завтра он придет и все образуется.

Чудотворец...

Он и вправду приехал. Написал Иринке записку, завернул в нее что-то и повесил бумажку на гвоздь в коридоре. Выманил меня на улицу, втиснул в такси и помчал к бабе Гуте.

Пробыл в доме не более пятнадцати минут, вынес на руках бабу Гутю, закутанную в одеяло. Усадил рядом со мной.

— В Егорову Падь,— бросил шоферу.

— Ты же говорил — по городу,— возразил таксист.

— Правильно. Сначала по городу. А теперь — в Падь Егорову.

— Ну, это будет...

— Будет столько, сколько на счетчике.

Машина подумала немного. И тронулась.

— Как Марейя-то, жива-здорова, Натолый? — спросила баба Гутя.

— Топчется помаленьку. Вас ожидает.

— Давно мы не виделись. Соскучилась я.— Она склонилась вперед, заглянула сбоку шоферу в лицо.— Что-то не прытко мы бежим-то. Давай, ямщикок, погоняй свою кобылку.

Шофер сердито молчал. Даже не оглянулся. Однако скорость прибавил.

— Надо бы к Юрику наведаться,— сказала опять баба Гутя.

— Был уже. Срослось хорошо. Этот аппарат Елизарова — толковая штука. Ногу Юрику даже вытянули немного. Может, теперь хромота будет и незаметна. Так что радуйтесь, баба Гутя, он же ваш любимчик.

— Конечно. Его жалеть в сто раз больше надо, чем тебя. А тебя что жалеть, охламона эдакого? Ты сам всех должен жалеть. А ты вместо этого в тайге целый месяц ковырялся.

— Сезон-то кончается. Зайчишек добыл. Вы знаете, баба Гутя, что мать Юрика замуж вышла?

— Знаю. Дай бог ей счастья. Только как Юрик один будет?

— Почему один, а мы?

— Да из меня какая теперь помощница.

— А вы скоро у нас побежите, как молодая. Дед Егор обещал. Сено мы привезли из самой Пади. Запарим его в бочке...

— Да знаю, знаю.

— Ну раз вы знаете, вас убеждать не надо. Дед Егор не одного человека на ноги поставил... А вам, Нина Григорьевна, я, между прочим, хотел сказать что-то интересное. Но вас же теперь ничего не интересует. Как Фейзулину.

Я промолчала.

— Азовская — это у вас фамилия по мужу или девичья?

— Девичья.

— Значит, фамилия вашего отца? И деда? И прадеда? И прапра...? Там надпись есть на бревнах такая: «Прошел всю Владимирку. Мы Азовские. Мой предок брал Азов. Неужели я не возьму эту крепостишку?»

— На каких бревнах? — спросила баба Гутя.

— В этапном доме. Имя начинается на букву «Е». А дальше непонятно. Там у них в уголке своя этапная почта была устроена. Они выщарапывали чем-то на бревнах, может ребром кандалного замка... И эти надписи корой прикрывали. Кора на смоле держится до сих пор. Ребятишки скovyрнули и прочитали... Интересная у них почта

была. На четвертом венце написано: «Одноглазый задушил Аверьяна. Думал, есть деньги. Передайте по этапу. Прозвище его Хорек».

«Врешь ты все», — подумала я.

— Врешь ты все! — вдруг вскричал шофер.

— А ты-то чего? — удивился Анатолий.

— Лучше скажи, что врешь, а то убью!

В самом деле, чего таксист разошелся? Я глянула на раскрытые водительские права, прикрепленные на дверке «бардачка». Кое-как разобрала фамилию — Хорьков.

— Анатолий, скажи, что пошутил, извинись.

— Да вы слышите, кричит «убью!»? Слышите, Нина Григорьевна? Это же потопственный крохобор и...

— Слазы! — Шофер остановил машину. Распахнул настежь обе дверцы.

Анатолий сидел как ни в чем не бывало.

— А хочешь, я покажу тебе эту строчку?

— Покажи!

— А почему вы не верите? Что ему врать-то? — загозила баба Гутя и чуть не встала на ноги.

— Врет он все! — Шофер рывком стронул машину с места.

— А ты че настропалился, у тебя же оба глаза? — сказал Анатолий шоферу, едва тот утих.

— Шшас приедем, посмо-о-отрим и тогда увидим, сколь глаз у тебя останется!

— Там снег глубокий, трудно проехать.

— Прое-е-едем!..

Тайга поредела. По левую сторону тракта на пустоши, огибая этапный дом полукругом, горели костры. Ребятишки шурудили огонь голыми сушняковыми палками. Крупные рясные искры с дымом и пламенем вздымались к небу.

Маленький человечек, проваливаясь по пояс в снегу, бежал навстречу машине. Он кричал что-то и махал рукавицами.

— Ой, да это Мишка!

Баба Гутя, угадав в пацаненке Мишку Бурлова, тотчас вытащила белый платочек, проглаженный и сложенный в четвертушку. Из глаз ее мелкими зернышками посыпались слезинки. Она плакала и смотрела то на меня, то на Мишку. И мне виделся в ее заплаканных глазах все тот же укор.

Когда-то давно я изучала итальянский. Теперь уже забыла. Порой, бывает, разговариваю сама с собой во сне. И вот тебе раз! Смотрю на бабу Гутю, а в глазах, как на электрическом табло, вспыхнули эти нерусские слова. Я не старалась погасить их, я думала все о том же. Ту кровь на лестнице я отмыла. Не сразу, но смыла дочиста. А эту вину...

Как мне жить теперь?!

Perdonate mi!

Мы свернули с тракта. Тихонько ехали по целиаку. Но машина все-таки застряла. Видимо, напоролась под снегом на пень или кочку.

Анатолий с шофером раскачивали ее, упершись руками в багажник.

Я пошла по сугробам навстречу Мишке. Он торопился к нам, напористо взрыхляя унтами снег, рассекал его впереди себя палкой. Лицо у Мишки теперь немного похудело, вытянулось. Но щеки пылали. И глаза были веселые.

Пожалуй, до пояса мне будет. Быстро, однако, растут ребятишки. Весь в отца...

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕННАДИЙ ЛИСИЧКИН



## ЗА ВЕДОМСТВЕННЫМ БАРЬЕРОМ

...кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность.

*В. И. Ленин.*

**Л**ет десять — пятнадцать назад широко было распространено убеждение, что достаточно в колхоз, совхоз послать хозяйственно грамотного, дельного, деятельного человека, достаточно снабдить его подобающим образом техникой, удобрениями — и в скором времени любое отстающее хозяйство может выйти в передовые. Эта версия так прочно укоренилась не только в художественной, но и в публицистической литературе, журналистике, на кино- и телеэкране, что с инерцией таких представлений практикам приходится бороться до сих пор. В чем ошибочность подобного взгляда на вещи?

Да прежде всего в том, что руководитель хозяйства видится в этом случае таким солистом, от мастерства которого зависит чуть ли не все. Пока село получало мало капиталовложений, пока его развитие было весьма замкнутым, чуть ли не автаркическим, это было в какой-то степени так. Но сейчас положение коренным образом изменилось. Причины успеха того или иного колхоза, совхоза на 70—80 процентов переместились далеко за околицу села. Почему на столько? Да потому что долевое участие промышленных средств производства и услуг достигает сейчас примерно такого уровня в создании продукции сельского хозяйства. И окажись сегодня герой фильма «Председатель» Трубников в современном колхозе, он неизбежно потерпит крах во всех своих хозяйственных начинаниях, если не выстроит нормальных экономических отношений с Сельхозтехникой, Сельхозхимией, мелиораторами, строителями, массой других организаций, призванных обслуживать село и вошедших в формирующийся организм агропромышленного комплекса (АПК). А что значит выстроить отношения? Не на базар приходит руководитель хозяйства, где можно торговаться, где можно от одного максималиста в оценке роли своего вклада в дело развития села перейти к другому, более реалистично мыслящему, согласному на равноправные, эквивалентные отношения. Короче, современный председатель колхоза, директор совхоза утратил свое сольное положение и оказался в составе большого, сложного оркестра, призванного сыграть прежнюю партию громче, сильнее, своеобразнее, но прежде всего так, чтобы звучание одного инструмента не заглушало главную идею исполняемого произведения.

Это сравнение в приложении к нашему случаю означает необходимость такой организации работ партнеров сельского производства, которая способствует максимальному росту производства сельскохозяйственных продуктов, а не увеличению объема отдельных, разрозненных трудовых операций, которые осуществляются ради этой цели. Как раз об этом говорилось на апрельском (1985) Пленуме ЦК КПСС в докладе М. С. Горбачева: «Дальнейшего совершенствования требует и управление агропромышленным комплексом. Здесь сделано еще далеко не все. Под воздействием ведомственных интересов районные и областные объединения нередко не могут в должной мере согласованно решать вопросы комплексного развития сельского хо-



зяйства и связанных с ним отраслей. Если мы твердо убеждены в том, что на земле должен быть единый хозяин и агропромышленные объединения несут всю полноту ответственности за выполнение Продовольственной программы, в чем, думается, ни у кого сомнения нет, то следует осуществить меры, которые позволят управлять, планировать и финансировать агропромышленный комплекс как единое целое на всех уровнях». Потребность в конституировании АПК в качестве единой социально-экономической организации ощущается вот уже несколько лет. Поэтому некоторое время тому назад начались поиски практических путей реализации этой потребности. В ходе их родились районные агропромышленные объединения (РАПО), а потом идея единого АПК начала экспериментально проверяться уже на республиканском уровне — в Эстонии и Грузии.

## 1

Эстония — республика, как известно, небольшая. И тем не менее она очень часто привлекает внимание общественности тем, что здесь делается, как здесь живет. И это не случайно. Фундаментальный северный характер, серьезное любопытство ко всему хорошему, что имеется у соседей, исключительное стремление превратить свою республику в образцовую по всем параметрам хозяйственного, культурного, бытового устройства служит основой многих полезных начинаний, поисков или, во всяком случае, достаточно мощным препятствием на пути к широкому распространению идей шумных, но недостаточно проверенных или не подкрепленных созданием соответствующих условий.

Тем, кто пишет на сельские темы, Эстония не раз давала богатый материал, чтобы не умозрительными аргументами, а с фактами в руках бороться против опасности распространения слишком легкого подхода к решению слишком сложных задач. Достаточно вспомнить хотя бы кукурузную эпопею, гонения на травы и многие, многие другие случаи, когда эстонцам удавалось выдержать напор излишне торопливых руководителей и доказать с меньшими, чем в иных случаях, потерями солидность своих позиций по спорным вопросам. Памятуя об этом, я немедленно взял на заметку сообщение о том, что сейчас в Эстонии ставится эксперимент в поисках решения, я бы сказал, главной проблемы развития сельского производства — проблемы налаживания отношений между всеми партнерами, участвующими в создании сельскохозяйственной продукции, то есть всеми теми, кто органически входит в агропромышленный комплекс. Почему я назвал эту проблему главной? Судите сами.

О том, как трудно вырастить урожай, сохранить скот и получить от него молоко, мясо, хорошо известно тем, кто к этому делу приставлен. Ну а остальные более или менее догадываются об этом, особенно после шведских поездок на село. Так вот эта самая с таким трудом полученная продукция сейчас теряется — теряется в огромных масштабах лишь потому, что отношения между партнерами АПК отлажены настолько плохо, что напоминают рассохшуюся бочку, из всех щелей которой сыплется и льется ценнейшая продукция, выращенная на полях и фермах.

«Убрать урожай вовремя и без потерь!» — этот лозунг хорошо знаком каждому. Но как этот лозунг претворить в жизнь, если Сельхозтехника ремонтирует технику плохо и дорого и она встает по закону подлости именно тогда, когда должна работать, как лучший часовой механизм? Поэтому убрать все вовремя, то есть дней за десять никак не удастся. А это значит, что уже на пятнадцатый день уборки, как утверждают эксперты, теряется 17—20 процентов исходного урожая. 20 процентов при валовом сборе около 200 миллионов тонн — это 40 миллионов тонн брошенного зерна. Столько и даже больше, чем уходит на семена. Столько и даже больше, чем мы съедаем хлебом, мукой, макаронами за целый год!

И это не единственная прореха в сложном механизме АПК. Сегодня, пишет «Правда», только по официальным нормативам браковки молочных пакетов выливается на землю сотни тонн молока (раньше меньше: в 1978 году «всего лишь» 32 миллиона пол-литровых пакетов). Из-за отставания в развитии тарного хозяйства, считают плановые органы, от полей и ферм не доходит до потребителя 20—25 процентов продукции.

Не лучше обстоят дела и с сохранностью такого дефицитного продукта, как мясо. Так, по расчетам ВНИИ мясной промышленности, общие потери только при убое скота непосредственно в хозяйствах без должного технического оснащения составляют около 200 миллионов рублей в год.

Тему потерь готовой сельскохозяйственной продукции можно было бы живописать и дальше, дополнить ее данными о нерациональном использовании удобрений, химикатов, кормов, техники, что снижает выход сельскохозяйственной продукции и удорожает ее. Но зачем сыпать соль на раны? Зачем говорить об этом вновь и вновь, когда обо всем этом говорено и переговорено? Сошлюсь на одно из выступлений видного нашего публициста Ю. Черниченко: «За двадцать лет только «Правда» напечатала около 200 статей и писем по проблемам, рожденным Сельхозтехникой,— пухлая история болезни, тут и рентгенограммы экономистов, и кардиограммы инженеров, и диагнозы хлеборобов класса А. В. Гиталова (его речь на XXV съезде партии). Если учесть, что за каждым выступлением «Правды» по хозяйственным вопросам обычно стоят десятки статей в областных, республиканских, ведомственных органах печати, то налицо тысячи и тысячи филиппик, веишняя река обличений».

Итак, причина огромных потерь уже готовой, выращенной на полях и фермах продукции достаточно ясна: неслаженность действий партнеров в АПК. Значит, эту причину надо немедленно устранить, на что и нацеливает Продовольственная программа СССР, принятая на майском (1982) Пленуме ЦК КПСС. В ней записано: «Впервые агропромышленный комплекс выделяется как самостоятельный объект планирования и управления. Это позволит лучше, эффективнее сочетать территориальное, отраслевое и программно-целевое планирование. В основу последнего кладется... конечный результат — бесперебойное снабжение страны продовольствием. Именно этому результату, этой цели подчиняется увязанная в единое целое система управления сельским хозяйством и связанными с ним отраслями — как в центре, так и на местах».

Для реализации этой идеи в районах, краях, областях и автономных республиках были созданы агропромышленные объединения, а в союзных республиках и в центре — агропромышленные комиссии. Особое значение придавалось районному звену — РАПО. И это оправданно, поскольку на районном уровне удовлетворяется масса элементарных, первоочередных нужд колхозов и совхозов. Форпосты их главных партнеров — ремонтников, мелиораторов, строителей... — расположились в ближайшем с ними территориальном соседстве, чтобы быстрее, точнее приспосабливаться к тем, от кого больше всего зависит эффект сервисных услуг.

Казалось, если всех партнеров по производству сельскохозяйственной продукции на районном уровне подчинить единому районному органу управления, то удастся устранить многие из тех диспропорций, которые являются причиной больших потерь готовой продукции. Практика, однако, показала, что это далеко не так, что без соответствующих изменений порядков, сложившихся на более высоких этапах структуры АПК, очень трудно что-либо изменить в работе РАПО по гармонизации интересов партнеров АПК и подчинить их деятельности единой цели. Сошлюсь на частные примеры, за которыми просматриваются более крупные явления.

Талсинское РАПО в Латвии — одно из первых, созданных в стране. Но и оно, пользуясь особым вниманием, смогло ассоциировать государственные предприятия пищевой промышленности, расположенные на территории района, лишь на правах «наблюдателя». Это значит, что ведомства, к которым они относятся, позволили руководителям этих предприятий сидеть на заседаниях РАПО, слушать, если это не очень скучно, о чем там говорят и спорят, но решать вопросы собственного развития, разумеется, они продолжают не по указке РАПО, а по-прежнему, то есть по планам соответствующих министерств и ведомств. И в этом есть свой резон. Рассказывают, в Грузии, в Абашском РАПО, стартовавшем одновременно с талсинскими коллегами, местное отделение Сельхозтехники, подчинившись железной воле местного РАПО, его председателя, оказалось по итогам социалистического соревнования в рамках всего Всесоюзного объединения Сельхозтехники где-то на одном из последних мест. Причина простая. Оптимизация деятельности этого отделения шла не от ведомственных критериев, не от операционных расчетов, сколько рублей получено за ремонт, а сколько за монтаж оборудования, а от того, как быстрее и больше помочь колхозам, совхозам вырастить и убрать урожай. Оно это и сделало — и оказалось внакладе, поскольку рост объемов производства сельскохозяйственных продуктов и рост объемов ведомственных услуг в нынешних условиях — величины, часто независимые друг от друга.

Конечно, одно районное отделение на результаты всего ведомства не может влиять сколько-либо заметным образом. Но вот дать основания ведомственным фи-

лософам размышлять об опасности для ведомства в целом, для его авторитета распространения иной, не пооперационной логики, а логики, назовем ее, партнерства в АПК подобные факты, согласитесь, могут. А от таких размышлений до скрытого или открытого противодействия действиям разрушителей ведомственной логики хозяйствования один шаг.

Иными словами, практика показала, что на уровне РАПО заметно снизить ведомственный, пооперационный подход в развитии АПК невозможно, хотя наиболее отчаянные, энергичные люди, попавшие в структуру новых органов управления сельским хозяйством, в тех или иных местах добились хороших результатов в исправлении диспропорционального роста отдельных его сфер и служб. Но их опыт слишком индивидуален, чтобы его тиражировать массово. Как же быть? Как локализовать ведомственность, которая в условиях сельскохозяйственного производства действует особенно разрушительно? Через агропромышленные комиссии? Но они оказались малоэффективными в решении тех проблем, перед которыми остановились РАПО. Ведомственная логика хозяйствования оказалась им тоже не по зубам. Может быть, тогда вообще многие ведомства, существующие пока в рамках АПК, распустить и создать единый штаб управления производством сельскохозяйственных продуктов?

Во всяком случае, партийное требование о выделении агропромышленного комплекса в качестве самостоятельного объекта планирования и управления подталкивает к этой мысли, к мысли о том, чтобы синхронизировать деятельность партнеров АПК не только на уровне района, но и на более высоком, скажем на республиканском. Как это сделать наиболее разумно? Эстония с одобрения высоких союзных организаций решила попробовать организовать АПК в рамках целой республики. Само собой разумеется, все, кто в той или иной степени наблюдает за развитием социально-экономических процессов в нашем сельском хозяйстве, с интересом присматриваются сейчас к тому, что же из этого получится, как будет решена одна из главных проблем нашей экономики, насколько выработанные там меры будут пригодны для использования в других районах страны.

Еду в Эстонию, чтобы собственными глазами увидеть, своими ушами услышать от участников эксперимента, как у них разворачиваются дела.

В 1983 году здесь была создана новая организация для управления сельскохозяйственным производством — Агропром. В него вошли предприятия и организации, принадлежавшие трем упраздненным республиканским ведомствам: Министерству сельского хозяйства, Госкомсельхозтехнике, Государственному комитету по мелиорации и водному хозяйству. Следовательно, Агропром — организация более узкая, чем понятие АПК, которое включает в свой состав по крайней мере деятельность не менее 10 нынешних ведомств. Управляется новая организация президиумом (16 человек) и советом Агропрома ЭССР (56 человек). В совете Агропрома, помимо представителей предприятий и организаций, прямо вошедших в Агропром, участвуют республиканские ведомства, организационно им не охваченные: Министерство мясной и молочной промышленности, Министерство заготовок, Министерство плодоовощного хозяйства, потребкооперации, Министерство пищевой промышленности, Министерство финансов, Госплан и другие. Совет заседает два раза в год, для того чтобы определить стратегию и тактику развития Агропрома. В президиуме представлены также ведомства, от которых должно многое зависеть в налаживании гармонических отношений между партнерами АПК, Агропрома в частности. Он собирается не реже двух раз в месяц для рассмотрения актуальных вопросов развития сельского хозяйства.

С созданием республиканского Агропрома изолированность РАПО, о котором речь шла выше, должна по идее ликвидироваться и многие вопросы, неразрешимые раньше из-за низкого ранга органа управления, теперь, казалось бы, должны решаться.

Итак, как видим, в республике возникла очень солидная организация для управления сельским производством, благие намерения которой не вызывают ни у кого сомнений. Однако, как известно, одних благих намерений совершенно недостаточно, чтобы сделать доброе дело. Благими намерениями, к сожалению, мостят порой дороги, ведущие не туда куда хочется. Чтобы правильно судить об эффективности того или иного органа управления, надо, видимо, попытаться определить, как же отражается его деятельность на состоянии дел у непосредственных производителей. В данном случае в колхозах, совхозах. Поэтому я сразу отправляюсь в «низовое», в данном случае самое главное, звено всей системы АПК — в хозяйство.

## 2

Для Эстонии, ее сельского хозяйства прошлый, 1984 год был особенно успешным. И погода в конце концов сложилась более или менее благоприятно. Она, как часто случается здесь, на этот раз была милостивее и не перечеркнула усилий сельских тружеников, не погубила с таким трудом выращенный ими на полях урожай. Короче, у местных колхозов и совхозов есть основания гордиться и радоваться достигнутым результатам. А уж тем, кто стабильно ходит в передовиках, это тем более пристало, потому что их более квалифицированный труд особенно отзывчив на благоприятные обстоятельства и дает наибольший прирост продукции на единицу затрат.

Еду в ставший для меня особенно близким колхоз «Куусалу» Харьковского района, за деятельностью которого внимательно слежу много лет: очень важно иметь стабильные точки отсчета для наблюдения тенденций развития. Меня принимает Лембит Хансович Кивимяе, заместитель председателя, вся жизнь которого прошла в этих местах и, самое для меня главное, в рамках одной и той же отрасли — сельского хозяйства. Лембит Хансович не только наблюдал, но был самым активным участником всех тех процессов, которые разворачивались в эстонских селах начиная с коллективизации. Поэтому он может конструктивно смотреть на многое из того, что происходит сейчас в сельском хозяйстве республики.

Как и все, колхоз «Куусалу» испытал на себе благодать прошлого года. Одна из главных культур в Эстонии и в этом хозяйстве — картофель. В 1983 году здесь было получено по 180 центнеров клубней с гектара (совсем неплохо), а в 1984-м — 225. Представляете себе, какую громадную массу дополнительной продукции получило хозяйство, которая, по логике, должна превратиться в немалую дополнительную сумму доходов. Дополнительную не значит лишнюю, потому что и передовое хозяйство мечтает расширить культурно-бытовое строительство, повысить оплату труда своих колхозников, которые справедливо ждут более высокой оплаты за увеличившийся конечный результат их труда. Ну разве это не повод для радости?

Оказывается, нет! И вот почему. Государственный план закупок картофеля доводится до хозяйства из расчета 160—170 центнеров с гектара, то есть дополнительно полученные центнеры автоматически становятся «незаконнорожденными» со всеми вытекающими отсюда последствиями в устройстве их дальнейшей судьбы. В таком положении находится сейчас более 1500 тонн картофеля. Куда их девать? Как быть, если государственные заготовители уклоняются от дополнительных закупок, ссылаясь на перегруженность хранилищ, на слабость перерабатывающих мощностей?

Человек, далекий от повседневной хозяйственной практики, может, конечно, подумать: не сошелся мир клином на государственных заготовителях, можно излишки продукции продать такой солидной всесоюзной организации, как Центросоюз, призванной скупать у населения, у хозяйственных организаций всю лишнюю, вернее сверхплановую, продукцию. Но так может сказать действительно лишь человек, далекий от практики. Лембит Хансович рассказывает, какое положение создалось здесь осенью во время закупок райпотребсоюзом картофеля у населения. Как в войну мы занимали очередь за хлебом с вечера, чтобы, отстояв ночь, оказаться первыми и успеть получить паек по карточке, так и здесь. Правда, по причинам обратного свойства: люди стояли в очереди не от недостатка продукции, а от избытка ее. Чтобы продать несколько мешков картошки, колхозники шли на поклон к заготовителям, заискивали, а некоторые пытались спасти свой злосчастный картофель подношениями заготовителям, возлагали надежду на расслабляющее действие коньяка.

Ну разве в такую очередь, тем более состоящую из своих же колхозников, полезет колхоз со своими «КРАЗаМи», груженными картофелем? Конечно, нет. Не каждый хозяйственник верит, что помешать пройти верблюду через игольное ушко может лишь узелок, завязанный на его хвосте. Поэтому оптовый продавец, каковым является колхоз, к сожалению, слишком редкий гость у заготовителей Центросоюза. А жаль. Увеличение заготовок продукции нуждается, естественно, в расширении каналов сбыта и хранения ее, в установлении более гибких режимов реализации сельскохозяйственного сырья. Но при нынешнем своем положении Центросоюз не может, как видим даже на частном примере, справиться с требованиями, которые выдвигает сама жизнь. Эта организация еще меньше, чем государственный заготовитель, подготовлена к встрече богатого урожая.

— Ну и как же в этой ситуации колхоз собирается выйти из неожиданно сложившегося трудного положения? — спрашиваю Лембита Хансовича.

— Кормим скот картофелем, но не от хорошей жизни. Заранее знаем, как подсчитит себестоимость молока, но другого выхода нет. В иных хозяйствах республики на корм скоту пускают даже суперэлитные семена картофеля.

Итак, как видим, богатый урожай — это еще не достаточное основание для того, чтобы радоваться ему. Понимая эту истину, стремясь нормализовать ситуацию, в колхозе «Куусалу» на полную мощность используют сейчас крахмальный цех. Ну, слово «цех» мы употребили за неимением более точного синонима для описания примитивного пункта по переработке картофеля в крахмал. Из списанных железяк один энтузиаст-механизатор (не в силах был глядеть на гибель колхозного картофеля) лет двадцать назад собрал вот это нехитрое устройство, которое существенно облегчает положение колхоза, когда тот оказывается в критической ситуации. Но такой выход доступен далеко не всем, да и здесь-то за двадцать лет цех не получил технического развития. Дело в том, что до последнего времени почему-то считалось, что дело колхозов только выращивать продукцию, а хранить и перерабатывать ее должны другие организации. «Нечего плодить примитивные заводики по переработке сырья в колхозах и совхозах. Надо строить гиганты, способные перерабатывать тысячи, миллионы тонн продукции. Так будет дешевле, труд будет здесь во много раз производительнее», — приходилось мне часто слышать аргументы авторитетных пищевицков во время поездок по стране. Глядя на огромные бурты картофеля, оставшиеся в колхозе «Куусалу», я вновь и вновь сомневался в правильности такой точки зрения.

Почему, думал я, пункты по переработке части продукции на местах должны быть обязательно примитивными? Если промышленность для домашних хозяек производит такие удобные, эlegantные, производительные кухонные комбайны, всякое там другое бытовое оборудование, то неужели нельзя создать современные механизмы и для переработки сырья в колхозах и совхозах? Там счет идет на десятки и сотни тонн.

Потом, насколько это верно, что гигант, работающий за сотни километров от производителя сырья, эффективнее своего более мелкого собрата, расположенного непосредственно в хозяйстве? Учтены ли реальные расходы на транспортировку груза — ведь мировые цены на энергоносители заставляют вновь вспомнить о «телушках», «полушках» и дороговизне перевоза. Да и судьба отходов, которые полностью могут быть использованы только в самом хозяйстве, вносит серьезные коррективы в традиционные расчеты.

Пафос нашего рассказа о невзгодах колхоза, возникших из таких счастливых обстоятельств, как серьезный рост урожайности картофеля, мог бы быть значительно снижен, если бы излишки картофеля в Эстонии были свидетельством излишков его в стране. Но куда там. Вернувшись в Москву к исполнению своих обязанностей положительного мужа, я отправился в магазин, чтобы купить этот немудреный продукт. В окрестных овощных магазинах мне предлагали в изобилии грейпфруты, апельсины... — то, что не растет у нас в стране. Только вот картошку подряд несколько дней я не мог найти не только в магазинах, но даже и на рынке.

Я хочу сказать, что на примере эстонского картофеля никак нельзя сделать вывод о его перепроизводстве в стране в целом. Но вот излишки его в одном месте никак не могут переместиться в другое, где ощущается острый дефицит. И это самое тревожное.

А еще тревожнее то, что речь идет не только об одной картошке. В том же передовом колхозе «Куусалу» ощущаются трудности сбыта другого дефицитного продукта — мяса. План по продаже мяса государству у хозяйства на 1984 год был 1380 тонн. Из личного сектора намечалось получить не менее 160 тонн. И вот что удивительно: сверх указанной квоты заготовители отказываются принимать скот, ссылаясь, как и в случае с картофелем, на перегруженность перерабатывающих мощностей. Более того, если личный сектор перевыполнит план продажи мяса государству, скажем, на 40 тонн, то ровно на столько будет уменьшен прием мяса у колхоза.

Считается, что с населением лучше не связываться в спорах по толкованию последних постановлений о стимулировании развития личного подсобного хозяйства, а у руководителей колхоза, предполагается сознательности больше, и они — таков расчет заготовителей — как-нибудь снесут материальный ущерб и обиду за не принятый в срок на мясокомбинат скот. В 1983 году только в колхозе «Куусалу» на перестое оказалось более 3 тысяч свиней. Что такое перестой? Это пустая трата кормов только на сохранение жизни животного до отправки его на мясокомбинат. Это, следовательно, не только убыток для хозяйства, это сотни центнеров недополученного

мяса, которое могло быть произведено на выброшенных зря кормах, на тех готовых производственных площадях, которые были непроизводительно заняты и превращены, по сути, в склад готовой продукции. Представляете, если бы цехи машиностроительного завода остановили только потому, что они оказались бы забитыми под завязку готовыми машинами? В сельском хозяйстве такое бывает.

Мы уже упоминали, что в руководящие органы Агропрома вошли ответственные работники таких министерств, как заготовок, мясной и молочной промышленности, пищевой промышленности, потребкооперации... Вместе с представителями совхозов, колхозов, РАПО они регулярно заседали все это время и не могли обойти молчанием факты, подобные тем, о которых мы рассказываем. Спрашиваю Лембита Хансовича:

— Чем помог новый орган управления смягчить конфликты, хорошо известные и по прошлым годам?

Ответ неутешительный:

— Пока ничем.

Как видим на примере даже передового района Эстонии, этого не произошло. Не произошло так, чтобы тот же потребсоюз связался со своими коллегами в других республиках нашей необъятной страны, чтобы срочно договориться об отгрузке туда нескольких эшелонов картофеля, которые легли бы там так, как самый обильный дождь в пустыне. Что этому помешало? Многое. Прежде всего где взять эти самые эшелоны, когда их использование заранее расписано планами вышестоящих организаций, исключающими колебание урожайности? Да и зачем вообще нужна эта «суэта» вокруг богатого урожая с позиций нынешней хозяйственной системы? Представим невероятное: эстонские заготовители сбывли лишний картофель в Туркмению и колхозы, совхозы получили дополнительно большой доход. Но ведь известно, что купить на эти деньги лес, цемент, оборудование нельзя. Для этого нужны не деньги, а прежде всего фонды. Деньги и фонды — понятия не равнозначные. Так уж не лучше ли тогда свой скот кормить элитными семенами? К тому же все партнеры колхозов, совхозов не только выполнили, но и перевыполнили свои планы, за что получили не только зарплату, но и премии. Так разумно ли и с этой точки зрения крутиться так, как этого требует богатый урожай? Любой опытный хозяйственник знает, что при планировании от достигнутого уровня чрезмерное усердие наказуемо: если в этом году перевыполнил план на 150 процентов, то жди, что в следующем году это достижение будет заложено в норму плана, и тогда придется материально и морально отвечать за усердие в урожайный год. Короче, вся (а мы показали малую часть) принятая система ведомственного неприятия сверхплановой продукции четко сработала и после создания новой организации управления АПК. Отсюда та самая знакомая ситуация со сбытом сельскохозяйственной продукции, о которой так часто и так давно пишут хозяйственники, партийные и советские работники, журналисты.

Ладно, думаю, в конце концов, во всех случаях речь шла о претензиях к ведомствам, чьи предприятия не вошли непосредственно в Агропром. А как изменились отношения с той же Сельхозтехникой, которая стала составной частью Агропрома? Задаю и этот вопрос специалистам хозяйства. Ответ опять же не тот, который хотелось бы услышать:

— А что могло измениться? Для нас важны фонды на технику, на запасные части, а кто их держатель, какое он название будет иметь — не все ли равно?

— Ну, может, принципы распределения фондов несколько изменились?

— Нет, все осталось как было.

Изо всех сил пытаюсь спасти свою версию: Агропром выстраивает новые партнерские отношения, а люди на местах быстро привыкают к изменениям и уже не замечают ничего хорошего, как в своей квартире, где еще месяц назад стол стоял в том углу и было всем неудобно, неуютно, а сейчас его передвинули — и все стало так, как должно было быть с самого начала, а о неудобствах сразу забыли. Продолжая сомневаться, еду на одно из предприятий реорганизованной Сельхозтехники — на куусалуский ремонтный завод. Директор Вээлейд тоже убеждает меня, что ни в планировании, ни в ценах за услуги, ни в оплате труда, ни в чем другом никаких изменений не произошло.

Уезжаю из колхоза «Куусалу» несколько разочарованный: надеялся увидеть следы новых отношений между партнерами хозяйства, а, если верить своим наблюдениям и словам многоопытного Лембита Хансовича, таковых найти пока невозможно.

— Правда,— как бы вспомнив, замечает заместитель председателя колхоза,— теперь на содержание РАПО мы перечисляем ежегодно сто семьдесят тысяч рублей, а раньше вышестоящий орган управления был бесплатным для хозяйства. Деньги,— добавляет он,— для нас небольшие, но не всегда ясно, почему, за что хозяйство должно отдавать их на сторону.

В этих словах улавливается здоровый скепсис хозяйственника, работающего непосредственно на земле. Он прикидывает пользу для хозяйства от управленцев и рассуждает так:

— В хозяйстве живут и работают сорок девять специалистов только с высшим образованием. Чем, спрашивается, может помочь колхозу молодой специалист из РАПО, прибывший в хозяйство в краткосрочную командировку?

Лембит Хансович, на мой взгляд, абсолютно прав, если только вышестоящие органы управления сельским хозяйством строить по традиционному принципу дублирования администрации колхоза, совхоза с задачей контролировать низы и распределять дефицитные фонды между нуждающимися. За такую управленческую работу Лембит Хансович, многие другие серьезные хозяйственники очень неохотно раскошеляются. Но ведь орган управления хозяйствами мог бы, отказавшись от некомпетентного дублирования специалистов в хозяйствах, взять на себя инициативу расширять те узкие места, которые мешают сейчас развитию производства, на полях и фермах, то есть строить дополнительные хранилища, крахмальные цехи, стовариваться о вывозе продукции на комиссионных началах, менять цены на продукцию и услуги, когда это необходимо... Сколько бы заплатили колхозы, совхозы Эстонии тем управленцам, которые помогли бы им реализовать сверхплановый картофель, мясо, молоко? Сколько бы средств отчислили они тем, кто помог бы им не стоять в длинных очередях у элеваторов и в заготпунктах? Думаю, много. Думаю, дело не ограничилось бы даже только материальными расчетами. Можно предположить, что на принципах межхозяйственной кооперации в сельской местности стали бы устанавливать бюсты тех руководителей, которые особенно успешно овладеют мастерством налаживать партнерские отношения между колхозами, совхозами и теми, кто должен их обслуживать.

Лембит Хансович многие и многие другие руководители хозяйств мечтают о таком органе управления, который стал бы не погонялой, а их союзником и помощником в решении острых хозяйственных проблем. Для этого, как видим, надо бюрократическую организацию преобразовать в хозяйственный центр, манипулирующий экономическими рычагами так, чтобы производство могло быстро двигаться в заданном плане направления. Таков ли нынешний Агропром, созданный в Эстонии?

## 3

Вернувшись в Таллин с впечатлениями о влиянии Агропрома на состояние дел в хозяйствах, направляюсь теперь в сам Агропром, чтобы узнать, как вообще здесь собираются совершенствовать отношения между партнерами АПК. Вот знакомая улица Лай в центре старого Таллина. Вот знакомое здание Министерства сельского хозяйства, на фронтоне которого свежо красуются золотые буквы, сочетание которых дает такое необычное название организации, здесь разместившейся,— «Агропром».

Толкаюсь с корреспондентским удостоверением в один-другой кабинет главных руководителей. Мне вежливо отказывают в приеме, ссылаясь на исключительную занятость работой. И то сказать: раньше из этих кабинетов руководили одним ведомством, теперь — тремя, да еще с меньшим штатом работников (центральный аппарат сократился на 12 процентов). Видимо, поэтому в каждый прежний свой приезд в Министерство сельского хозяйства я имел возможность сверять свои впечатления с министром, его заместителями, то есть людьми, несущими главную ответственность за деятельность ведомства, а теперь общение с руководством стало трудней. Если эти трудности касаются только журналистов, то, вероятно, большой беды в этом нет. Лишь бы «высокие» двери легко раскрывались перед деловыми хозяйственниками разного ранга, лишь бы новая организация приблизилась, а не отдалилась от людей и проблем села.

Такие мысли приходили мне в голову, пока я бродил по коридорам с хорошо знакомыми табличками названий отделов, подотделов. «Управление труда и заработной платы»... Чем, например, оно должно заниматься? Ну, естественно, сбором всех старых,

новых и новейших постановлений и инструкций вышестоящих организаций по вопросам труда, по вопросам о тарифах, расценках, премиях, льготах... и, конечно, наблюдением за тем, чтобы все подопечные организации, предприятия неукоснительно их соблюдали под страхом всевозможных наказаний за любое отклонение, за любую местную инициативу, именуемую с позиций такого управления вольностью.

Захожу к начальнику Главного управления труда и заработной платы Агропрома Хелмуту Йохановичу Валнеру. Точно. Он показывает мне инструкции, справочники, предписания, в рамках которых ему приходится работать, не выходя ни на шаг за их пределы. Рассказываю о своих впечатлениях о поездке по хозяйствам. Привожу пример несообразности в оплате труда, на которую жаловались в «Куусалау». Хозяйство это занимает второе место в республике по одному из главных показателей — выходу продукции на 100 гектаров угодий, а по оплате труда — седьмое. Знает ли об этом Агропром, следит ли за соблюдением реальной связи между уровнем производительности труда и его оплатой в разрезе республики? Оказывается, в такой плоскости эти вопросы в управлении не рассматриваются.

Другой трудовой конфликт в том же хозяйстве. Лембит Хансович Кивимяе, заместитель председателя, рассказывает:

— Наши передовики обижаются на руководителей хозяйства: никакого внимания им не уделяют. Действительно, с кем приходится больше всего работать, говорить, кого воспитывать? Конечно, в центре внимания лентяи, прогульщики, бракоделы, пьяницы. А на тех, кто всю основную работу в хозяйстве выполняет, уже и времени не остается. Похвалим в лучшем случае в конце года, и все. Может, думаете, худший работник и меньше зарабатывает? Вот справка из бухгалтерии: Ребане Эндел на тракторе «Т-75» за девять месяцев выработал 3609,2 гектара условной пахоты, получив за это на пять рублей больше Лойкманна Раймо, вспахавшего на тракторе «Т-150к» 2788,3 гектара.

Такие же примеры приводят мне по комбайнерам, шоферам. В чем причина такой уравниловки? Она давно всем известна: пооперационная оплата труда, распределение всех работ на выгодные и невыгодные. Может ли Агропром вмешаться, исправить явную несправедливость? Ответ начальника управления реалистичен:

— Только в рамках имеющихся инструкций.

В переводе это, как понимает каждый, значит: нет!

Из управления по труду и зарплате отправляюсь в управление финансов. Разговор здесь идет по той же схеме. Я называл проблемы, которые мучают хозяйства, мешают им ускорять развитие производства, в ответ же слышу сочувствие и ссылку на то, что помочь им Агропром может только в пределах существующих инструкций.

— Но ведь сам Агропром,— горячусь я,— создан, видимо, для того, чтобы стало возможно то, что невозможно было до его создания!

В конце концов получаю официальное «Положение об Агропроме», утвержденное Советом министров Эстонской ССР в сентябре 1983 года, и отправляюсь в гостиницу, чтобы не мучить людей вопросами, а самому разобраться в том, какие задачи должен решать Агропром, что может и чего не может он при этом делать.

Что касается задач, то и по числу (21) и по грандиозности они не могут не вызвать удовлетворения. Среди них, в частности, и такие, как «дальнейшее развитие производства сельскохозяйственной продукции», «координация деятельности органов управления отраслями АПК», «создание устойчивых экономических условий для хозяйственной деятельности совхозов, колхозов... Постоянное совершенствование хозяйственного механизма и производственно-экономических связей между предприятиями и организациями Агропрома и предприятиями других отраслей АПК». Однако какими средствами будут решаться все эти задачи?

Внимательно изучаю все 30 страниц «Положения...». Известно, что без использования экономических рычагов, то есть без приведения в действие механизма капитальных вложений, ценообразования, материально-технического снабжения, материального стимулирования, без согласованной политики во всех этих областях браться за дело просто несерьезно. Как же решены все эти вопросы в «Положении...»? Да никак! Они даже не поставлены. Во-первых, единого экономического механизма в Агропроме вообще не существует. Все фонды, все средства распределены по прежним министерским полочкам, и порядок их расходования предписан сверху; и, во-вторых, упомянутые выше экономические рычаги, управление ими по-прежнему вынесено за пределы Агропрома, за пределы республики.



Вернемся теперь к той невеселой истории с тем же «лишним» картофелем, о которой мы рассказывали раньше. Как Агропром, как верховные его органы — президиум и совет — могут помочь хозяйствам выйти из беды, постигшей их вследствие роста урожайности? Ясное дело, никак. На своих заседаниях ответственные работники разных министерств и ведомств республики могут только повздыхать, посочувствовать и разойтись по своим «углам», то есть ведомствам, чтобы энергично выполнять свои, ведомственные планы, а не единый план развития АПК, который должен был бы быть результатом деятельности Агропрома.

Итак, ведомственность, которая должна была быть истреблена с помощью Агропрома, осталась целехонькой, поскольку Агропром не получил никакого доступа к экономическим рычагам. И поэтому новый орган управления АПК неизбежно превратился в обычное министерство, но под другим названием.

Хотя и это не совсем верно. Действительно:

1. Агропром объявлен союзно-республиканским центральным органом государственного управления. Следовательно, приказы, указы, от него исходящие, являются обязательными и для колхозов, которых в Эстонии много. Однако, спрашивается, как это положение согласуется с Примерным уставом колхоза, гарантирующим ему несколько иные, чем на государственных предприятиях, нормы хозяйствования? Или, может быть, Агропром задуман как организация, призванная наконец решить дискуссию о путях сближения двух форм собственности путем совхозизации колхозов? Кстати, в одном из колхозов мне показали журнал на эстонском языке «Социалистическое сельское хозяйство Эстонии», в нем опубликованы материалы всесоюзного «круглого стола» юристов по проблемам Агропрома (№ 21, ноябрь 1984 года). Там (мне перевели соответствующие страницы) на это протирочнее прямо указывается:

2. Предусматривается, что размер доходов на содержание центрального аппарата Агропрома определяется сметой. Предусмотренные сметой расходы покрываются за счет отчислений объединений, предприятий и организаций, входящих в Агропром. Спрашивается, за какие дополнительные услуги должны платить предприятия своему органу управления, если его действия остаются на уровне прежних министерств, живших за счет государственного бюджета? А ведь если уж создавать какой-то новый орган по управлению экономикой, надо бы, видимо, партийное требование об усилении его связи с конечными результатами производства закладывать в основу основ, а не ограничиваться автоматическим снятием средств из фонда предприятий;

3. Не совсем понятен, далее, сам принцип представительства в президиуме и совете Агропрома. Члены этих двух рабочих органов назначаются Советом министров. Конечно, ему видней, кого делегировать в высший рабочий орган Агропрома. Однако неясно, почему РАПО, первичное звено Агропрома, формируется выборным путем самими производителями, то есть представителями трудящихся тех предприятий, которые туда входят, а здесь, в Агропроме, порядок иной. При министерской системе управления было больше единства в иерархическом устройстве;

4. Единственно, как мне кажется, в чем статус Агропрома стал отличаться от статуса традиционного министерства, так это усилившейся перераспределительской функцией. Агропром централизует определенный процент от средств входящих в него предприятий, с тем чтобы передавать их отстающим. В 1983 году централизованный фонд Агропрома должен был составить по плану примерно 4 миллиона рублей, но удалось собрать, как мне сказали, меньше двух: ясное дело, предприятия Агропрома не очень торопятся отдать на сторону средства, заработанные собственным трудом. Да и вообще насколько перераспределительская функция, которую Агропром с особым энтузиазмом собирается развивать, соответствует рекомендованной во всех прежних партийных решениях линии на укрепление не формального хозрасчета, усиление практики самофинансирования развития социалистических предприятий? Думается, не особенно.

Спрашиваю себя откуда у осторожных эстонцев мог возникнуть такой несверженный по выбору идей вариант экономического эксперимента, и вспоминаю прошлогодний «круглый стол» в Бресте, где собрались представители почти всех республик для свободного разговора о проблемах АПК. Помню, как насторожило меня тогда выступление Роланда Леовича Ниманна, начальника Главного планово-экономического управления Агропрома.

— Начинали мы с большим энтузиазмом, — говорил с трибуны Ниманн, — а сейчас видим, что ничего серьезного сделать созданный у нас Агропром не может для ликвидации диспропорций в развитии отдельных служб и сфер АПК.

Как же могло случиться так, что республика взялась за серьезное поисковое дело, нужное и для всех других регионов страны, не подготовившись к этому ответственному образу? Кто готовил теоретическую концепцию новой системы управления? Какое участие приняла прежде всего местные ученые в создании такого основополагающего документа, как «Положение...»? Еду в эстонский НИИ земледелия и мелиорации, чтобы задать этот вопрос. Меня принял руководитель одного из подразделений этого института Мати Йоханнесович Тамм, занимающийся проблемами управления. На мой вопрос, как институт участвовал в разработке теоретической концепции Агропрома, он ответил очень кратко:

— Никак. Никто нас не приглашал, никто от нас и не требовал никаких теоретических обоснований новой системы управления.

Ладно, думаю, может, не заладились отношения между этим институтом и руководством Агропрома. Видимо, использовали тогда научный потенциал другого важного научного центра — Института экономики Академии наук ЭССР. Иду к директору. Рейн Аугустович Отсасон тоже говорит о полной непричастности его института к разработке какой-либо теоретической концепции начавшегося всесоюзного эксперимента. Короче, республиканская наука оказалась в стороне от разработки принципов управления Агропромом. Может, местные ученые слишком слабы, чтобы сказать что-то новое по этому поводу? Этого не скажешь. Читаю в журнале «Коммунист Эстонии» статьи эстонских ученых Бронштейна, Тамма, Тепанди, Реппа и обнаруживаю много интересных, свежих мыслей, не нашедших своего отражения в документах, определяющих стиль и методы деятельности Агропрома.

Показательно, что не только местных ученых не нашел я в числе авторов новой концепции управления АПК, но мне вообще не удалось обнаружить ее авторов. Рабочий документ, то есть «Положение об Агропроме», есть, а вот набора проверяемых в эксперименте идей, целостной концепции нового подхода к управлению сельским производством нет, как нет и авторов, ответственных за эксперимент...

К сожалению, очень часто в том или ином месте, в той или иной отрасли начинается какой-либо шумный эксперимент, число их, как мне кажется, развелось даже сверх всякой меры, а вот узнать, кто автор эксперимента и что, какие конкретно идеи в ходе его проверяются, часто невозможно. Да их порой и нет...

Перед отъездом в Москву иду со всеми своими недоумениями к Р. А. Ниманну. Он не пытается приукрашивать практику Агропрома.

— С переходом на новую систему управления, — говорит он открыто, — положение кое в чем даже ухудшилось. В частности, если раньше все материально-техническое снабжение фондировалось по каналам трех ведомств, входивших в состав союзных организаций, то теперь, растворившись в Агропроме, те же Сельхозтехника и Мелиорация оказались как бы чужими для своих прежних партнеров. Стало труднее получать то, что поступало раньше традиционным способом. Кстати, интересная деталь. На одном из недавних совещаний в Москве по мелиорации эстонцам не дали выступить только потому, что они представляют не мелиоративное ведомство, а какую-то необычную, таинственную организацию Агропром. Недоразумение, но как о многом оно говорит!

Р. А. Ниманн рассказывает, что, например, республиканское Министерство плодОВОЩНОГО хозяйства не торопится по этим соображениям в состав Агропрома, опасаясь, что утрата прямых связей с аналогичным союзным министерством отрицательно скажется на поставках материально-технических средств из централизованных фондов.

— Да и остальные ведомства, вошедшие в Агропром, задумываются сейчас над тем, как бы возродить свой министерский ранг, как ничего не утратить из того, что поступает по централизованному министерским каналам фондирования в республику.

И еще одно неудобство вскрылось после создания Агропрома, добавляет Р. А. Ниманн. Министерство сельского хозяйства СССР и Госкомсельхозтехника СССР, в чьем подчинении остается Агропром, требуют, как прежде, отдельных планов и отчетов в разрезе своих отраслей. И вот Агропром вынужден расцеплять свои комплексы документов только для того, чтобы угодить традиционной схеме управления. Добавилось бумажной, никому не нужной работы.

Но это было б еще полбеда, если бы за всем этим не просматривалась живучесть той болезни, которую надеялись блокировать, создавая Агропром. Я имею в виду прежний ведомственный подход к решению проблем развития АПК.

— Неужели всего этого вы не предвидели, решаясь на нынешний вариант эксперимента? — задаю наконец, видимо, бестактный вопрос.

Р. А. Ниманн рассказывает, что первоначальный вариант эксперимента, подготовленный в республике, сильно отличался от того, что проводится сейчас. Там предусматривались меры, осуществление которых должно было освободить хозяйственный механизм от многих бюрократических принципов.

— Но при согласовании с союзными ведомствами, — Ниманн беспомощно разводит руками, — первоначальный вариант претерпел такие изменения, что его просто невозможно узнать.

Судьба эстонского эксперимента, который должен был начать поиск решения одной из самых острых экономических проблем современности — наладить партнерские отношения в АПК, — крайне поучительна. По первоначальному замыслу созданный здесь Агропром должен был подорвать ведомственность в подходе к решению основных проблем развития сельскохозяйственного производства. Но судьбу антиведомственного варианта эксперимента решали вышестоящие ведомства, которые не могли по самой своей логике не скорректировать всех действий так, чтобы все осталось на своих местах.

Эстонский эксперимент переживает трудное время: его участникам не хватает дыхания, чтобы смело двигаться вперед в поисках нужных для всей страны решений.

## 4

Кроме Эстонии, право на эксперимент с частичной отменой ведомственного принципа управления агропромышленным комплексом получила еще и Грузинская ССР. Здесь тоже два года назад был создан на базе трех бывших ведомств — министерств сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяйства, Грузсельхозтехники — Государственный комитет сельскохозяйственного производства. Как же в этом регионе оправдывает себя проведенная перестройка? Чтобы ответить на этот вопрос не умозрительно, не перечислением благих намерений, которыми руководствовались инициаторы реорганизации, снова еду прямо в хозяйства, в районы, где легче всего увидеть реальное соотношение между словом и делом.

Колхоз имени Карла Маркса (село Кахати), что в Зугдидском субтропическом районе, дает богатый материал для изучения, к сожалению, весьма типичной и очень распространенной в рамках АПК всей страны болезни — диспропорциональности между развитием сырьевой базы и перерабатывающей промышленностью. Здесь ее, эту болезнь, можно наблюдать, например, в развитии производства чая, в другом месте страны она примет картофельный, молочный, мясной, любой другой облик. Но независимо от натуральных форм везде она протекает одинаково, то есть весьма разрушительно для экономики. Вот и в том колхозе, куда я приехал, годами люди мучились оттого, что не могли вовремя собрать и переработать то, что с таким трудом было выращено на чайных плантациях.

В чем причина? Она была на виду у всех. В районе, как и во всей республике, в последние годы расширились чайные плантации, выросла их урожайность, а производственные мощности государственных заводов по переработке чая, входящих в систему Госкомчайпром, сильно отставали от объемов того вала, который им доставляли колхозы и совхозы. В частности, тот же колхоз имени Карла Маркса, хотя чайный завод находился буквально рядом, на территории колхозного села Кахати. Если бы колхоз производил не чай, а, скажем, мрамор, гравий или хотя бы какие-то металлические подделки, то с отставанием переработки от производства сырья еще можно было бы как-то мириться: привез такую продукцию на территорию завода, сгрузил, рассчитался, а там ситуация постепенно — за год, два — утрясется. Но беда сельского хозяйства как отрасли состоит в том, что оно ни минуты не может ждать, когда пищевая промышленность снизойдет своим вниманием до уровня тех, кто вырастил чай, помидоры, скот...

Действительно, если чайный лист не оборвать вовремя, то это значит задержать развитие чайного куста, помешать росту новых листочков на освободившемся месте. В колхозе имени Карла Маркса подсчитали, что только из-за нарушения сроков сбора листа (а они происходили оттого, что государственные приемщики отказывались его брать, ссылаясь на перегруженность перерабатывающих мощностей) колхоз ежегодно терял около трех тонн чайного листа с гектара. А это уже примерно половина всего урожая в колхозе средней руки, или 20—25 процентов в балансе **одного из самых**

лучших колхозов республики, каковым является колхоз имени Карла Маркса. Но и этим еще не ограничивается ущерб, приносимый диспропорциональностью в развитии производства чая и его переработкой. Чайный лист, перестоявший на кусте, грубеет, и колхоз получает от завода за свой труд, то есть за сданную продукцию, гораздо меньше, чем тогда, когда все операции проводятся в срок. А уж если машина с колхозным чайным листом простоят у закрытых (по причине перегрузки) ворот завода несколько часов, что тоже не редкий случай, то он просто перегорает и идет в брак.

Эту печальную и так знакомую по другим местам ситуацию нарисовали в беседе со мной Карло Иванович Джгушия, заместитель председателя колхоза, и Темури Давидович Чахая, колхозный бухгалтер. Но рассказали не для того, чтобы поплакаться в жилетку, а чтобы доказать оправданность тех мер, которые предпринял колхоз для исправления сложившейся порочной практики.

Колхоз закупил на свои деньги оборудование для небольшой чайной фабрики и буквально за сорок дней построил мини-завод, который уже сейчас перерабатывает около 1,5 тысячи тонн чайного листа. Я побывал на колхозной чайной фабрике. Она расположена буквально в нескольких метрах от чайной плантации. Аккуратная бесхитростная коробка — светлая, чистая, просторная. Внутри свободно расставлено новое типовое оборудование, производимое бакинским специализированным предприятием. Следовательно, замечая про себя, колхозная мини-фабрика по переработке сырья — это обязательно допотопный, архаичный сарай, набитый списанным оборудованием и работающий по известному принципу Антилопы Гну. А это именно один из аргументов у тех, кто противится развитию перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию мощностей непосредственно в колхозах, совхозах.

Хозяева не только любезно показали, но и рассказали об экономической эффективности своего предприятия. Только в 1984 году колхозная фабрика дала 418 тысяч рублей чистого дохода — почти четвертую часть всех прибылей хозяйства. А на строительство ее было потрачено в свое время (здание, оборудование) 360 тысяч рублей. Значит, колхозные капитальные вложения окупаются менее чем за год. Помимо стоимостных показателей, высокой эффективности колхозного завода, обращает на себя внимание и качество выпускаемой им продукции. Она принимается экстра-классом и не идет ни в какое сравнение с основной массой, что выпускают предприятия Чайпрома. Разница настолько велика, что за продукцией этого колхозного завода охотится не только потребитель, но и производитель (на стадии расфасовки) чая, которому качественное сырье крайне необходимо как добавка (купаж) для повышения сортности продукции, идущей в торговую сеть.

Почему же получается так, что у специалиста, каким в данном случае выступает Чайпром, продукция получается хуже, чем у тех, кто по нынешним представлениям выступает в этой области, скажем так, любительски, «аутсайдерскими»? Карло Иванович, его коллега Темури Давидович объясняют это весьма материалистически. Дело в том, что, во-первых, чайный лист с колхозной плантации поступает с расстояния триста — пятьсот метров и строго по графику, что позволяет с самого начала соблюдать технологию процесса производства чая. На предприятия Чайпрома его завозят с расстояния и до десяти — пятнадцати километров, да еще с грубейшими нарушениями оптимальных сроков движения сырья. После доставки до его переработки. Значит, уже на первой стадии колхозный завод далеко опережает тех, кто хотел бы с ним соревноваться по традиционной, сложившейся практике сотрудничества земледелия и перерабатывающей промышленности. Во-вторых, чайное производство сезонное. На предприятиях Чайпрома поэтому большая текучесть кадров. В сезон каждый колхоз по лимиту направляет свою бригаду на помощь заводу. Легко представить, какой пестрый коллектив собирается здесь в пиковый период, как трудно наладить в этих условиях элементарную трудовую и технологическую дисциплину. На колхозной мини-фабрике работают те же люди, что и на чайных плантациях. Здесь не распадается, а еще больше социально сплавивается трудовое ядро, причем, что особенно важно, люди, работающие на полях, и те, кто занят переработкой, очень часто меняются друг с другом местами, что позволяет еще глубже понять взаимозависимость интересов производителей и переработчиков чая. Тем более конечная оплата их труда зависит от дохода, который обеспечит им в целом и производство, и переработка чайного листа. Вот уже только эти две причины делают во много раз более выгодной стартовую позицию колхозного чайного завода по сравнению с его собратом в Чайпроме.

Весь предыдущий разговор потребовался нам лишь для того, чтобы заставить внимательного читателя задать два логически следующих друг за другом вопроса: отчего ведомство, именуемое в данном случае Чайпромом, специально призванное заботиться о том, чтобы все произведенное в колхозах и совхозах было вовремя и качественно переработано, не сделало этого? Ведь колхоз вынужден был поэтому выполнять функции, ему не свойственные, с чем он, как ни странно, справился даже лучше тех, для кого переработка чая считается хлебом насущным. Формальный ответ на первый вопрос обезоруживающе прост. У Чайпрома не было денег, чтобы строить на местах перерабатывающие предприятия того типа, о котором мы здесь рассказываем. А не было их потому, что грузинское Министерство пищевой промышленности не выделило их тресту, и оно поступило так не по злобе и не по безграмотности экономической, а лишь потому, что союзное министерство не ассигновало расходов по этой статье в период, когда верстался нынешний пятилетний план. Но не сделано это было тоже не по ошибке какого-то конкретного работника, а просто потому, что высшие плановые и финансовые органы не могут всем дать все, что они просят: пятью хлебами накормить всех страждущих обычному смертному не дано...

Итак, в рамках ведомственной логики хозяйствования виновного в диспропорции производства чайного листа и мощностей по его переработке найти практически невозможно. Да его физически и не существует, поскольку создававшаяся ситуация является законным результатом ведомственного подхода к развитию экономики вообще. И тем не менее ссылка на отсутствие денег у соответствующего ведомства как на причину опасного разрыва между возможностями производства сырья и его переработкой не может быть оправданием тому, что гибнут плоды труда человеческого. Как видим, колхоз имени Карла Маркса построил завод не за счет иностранных кредитов. Значит, деньги в стране были тогда, когда соответствующие ведомства ссылались на их отсутствие в качестве оправдания собственной бездеятельности. И не только деньги, нашлось и оборудование, и рабочая сила, и стройматериалы, и фонд зарплаты... Чего же не нашлось? Не нашлось сил у ведомственных организаций воспользоваться всем этим в рамках существующих инструкций. А поскольку природа не терпит пустоты, то в образовавшемся хозяйственном вакууме инициативу по гармонизации интересов производства и переработки, в частности, чая взяла на себя вневедомственная организация, в нашем конкретном случае — колхоз имени Карла Маркса.

Ведомственный подход к делу мешает возникновению колхозных мини-фабрик не только по линии финансовой. Они вообще непривлекательны для ведомственных учреждений по соображениям, так сказать, «ведомственной экономичности». Что имеется в виду под этим? Колхозная чайная фабрика, как упоминалось, работает сейчас на уровне 1,5 тысячи тонн в сезон. Государственные фабрики, как мне сказали, крупнее: 8—12 тысяч тонн. При таких объемах производства кажется, что и производительность труда у них выше. Кто же себе враг? Кто же захочет строить мощности, которые будут снижать показатели, по которым идет оценка успехов ведомства в развитии порученного ему дела? Вот почему не только пищевики, но и строители, мелиораторы, все другие партнеры села ищут работу в колхозах и совхозах такую, которая будет красить их ведомственные планы без учета эффективности всей цепочки производства конечного продукта.

Ведомственная оптимальность производства, которая учитывает лишь одну переработку сырья, и оптимальность, рассчитанная с учетом одновременно и затрат по его производству, оказываются величинами несопоставимыми. Действительно, если сравнивать экономические показатели только по одной стадии производства конечного продукта, то нужно согласиться с противниками колхозных мини-фабрик. Но если учесть те тонны чайного листа, которые недополучены колхозом из-за перебоев в сдаче продукции, если сюда добавить разницу не только в тоннах, в валовке, но и в качестве полученного в ходе переработки продукта, если включить далее в расчеты огромные транспортные издержки от поля до завода (500 метров и 15 километров — разница!), если сделать сопоставимыми экономические показатели при упомянутых двух подходах определения оптимальности производства, тогда все факты встанут с головы на ноги. Однако в том-то все и дело, что при ведомственном подходе просто нет физической возможности, да и необходимости вести расчеты по конечному продукту, по всем затратам от начала до конца его производства. Поэтому тот же Чайпром с пози-

ций «ведомственной экономичности» не смог бы выступить с идеей колхозных мини-фабрик, даже если бы получил деньги и все необходимое для их освоения.

Тем не менее соответствующие ведомства не так уж и безразличны к предприятиям типа мини-фабрики колхоза имени Карла Маркса. Карло Иванович жалуется на то, что их фабрики сейчас не хватает пяти роллеров, чтобы работать на полную мощность, то есть чтобы обрабатывать вдвое больше сырья, чем теперь. Но Чайпром не торопится помочь хозяйству купить нужное оборудование. Да и то сказать, а зачем ему беспокоиться о «чужом ребенке»? Продукция колхозной чайной фабрики в план Чайпрома не идет, прибыль тоже остается там, где произведена, — в колхозе. Выгоды от расширения производства на мини-фабрике Чайпрому никакой, а неприятностей можно иметь очень много. Вот и сравнением по качеству продукции начинают упрекать. Не в пользу Чайпрома оказываются и показатели по рентабельности производства... А если колхозные чайные фабрики констатируются как общее явление, тогда с заготовкой сырья возникнут трудности. Подрыв нынешнего монопольного положения в заготовках, переработке чайного листа заставил бы предприятия Чайпрома крепко задуматься над мерами по экономическому привлечению производителей к себе. А их реализация была бы делом очень хлопотным. Поэтому ведомственный интерес состоит скорее в замораживании предприятий того типа, о котором мы говорим. И уж во всяком случае не в их расширении и развитии. Видимо, и поэтому колхоз имени Карла Маркса до сих пор не может достать эти несчастные пять роллеров. Нелояльная конкуренция может, оказывается, возникать и на нашей, социалистической почве, деформированной ведомственным подходом к развитию производства. На наш взгляд, примерно так можно ответить на первый возможный вопрос внимательного читателя, недоумевающего по поводу того, что такое простое и очевидное рациональное решение острой проблемы переработки чая (не только чая, добавим) не приходит в голову тем руководителям, которые приставлены к этому делу.

Теперь попытаемся ответить на второй вопрос, неизбежно возникающий из размышлений над известным уже нам явлением.

А при чем, собственно, недавно созданный в Грузии Госкомитет, какое он имеет отношение к тому, о чем идет здесь речь? Кстати, чайная фабрика в колхозе имени Карла Маркса была построена в 1980 году, за два года до создания этого комитета. И тем не менее...

Как известно, одна ласточка весны не делает. Так и с мини-фабрикой. Пункты по переработке сырья возникают и в других местах. Но вот что характерно. Появившись как результат частной инициативы того или иного отдельного хозяйства, мини-фабрика остается изолированным, локальным феноменом, с которым скрепя сердце до поры до времени мирятся соответствующие руководители, чтобы под тем или иным благовидным, обоснованным, конечно, высшими соображениями предлогом прикрыть дело. Кроме того, мини-фабрики в хозяйствах оказываются невмонтированными в соответствующую структуру и сильно страдают оттого, что не могут систематически и планово получать оборудование, запчасти, специалистов по ведению необычного для колхозов, совхозов производства. Поэтому они, эти заводы, оказываются в таком же положении, как свиноферма при авиационном заводе, откликнувшемся на призыв развивать подсобное сельское производство. В этих случаях наиболее энергичные руководители начинают искать обходные пути, что кончается порой весьма плачевно. Видимо, поэтому мини-фабрики на селе приживаются как экзотическое растение.

Главная заслуга грузинского Госкомитета в смягчении диспропорций между производством сельскохозяйственного сырья и его переработкой состоит, на наш взгляд, в том, что он стал авторитетным защитником и носителем идеи создания мини-фабрик вблизи пунктов производства сырья. Одно дело, когда отдельный председатель колхоза робко заикнется на соответствующем уровне о своем желании-намерении построить мини-фабрику для переработки части выращенной продукции на месте (неминуемо ожидая окрика: «Не лезь не в свое дело, твое дело выращивать продукцию на полях и фермах, а о переработке должны заботиться и заботятся другие!»), другое — когда руководитель Госкомитета со своих высоких партийных и хозяйственных позиций берет в столкновении ведомственных интересов защищать дело, которое обещает быть полезным и обществу (государству) и колхозам, совхозам. Тем самым ликвидируется ненормальное положение, когда партнеры по производству сельскохозяйственной продукции в дискуссиях о проблемах своего развития выступают в разных весовых категориях.

Но дело не только в том, что Госкомитет превратился в авторитетного лидера, представляющего интересы колхозов, совхозов. За счет отчислений от доходов хозяйств и предприятий, входящих в систему Госкомитета, создается централизованный фонд, из которого кредитуются колхозы, совхозы, не имеющие в данный момент денег, чтобы построить мини-фабрику. К тому же в структуре Госкомитета создается сейчас специальное подразделение, которое будет централизованно обеспечивать мини-фабрики на местах всем, что необходимо для их ритмичной работы. Тем самым будет ликвидирована их изолированность, порождавшая большие трудности при эксплуатации.

Благодаря новой социально-экономической атмосфере, созданной Госкомитетом, в Грузии за короткий период построено уже 37 мини-фабрик по переработке чайного листа. Уже сейчас они успевают пропускать около 10 процентов валовой продукции, но это лишь начало их деятельности. Резервы роста использования построенных мощностей, как показывает практика того же колхоза имени Карла Маркса, очень большие. Так что опыт этого хозяйства уже не шальная ласточка, случайно залетевшая в Грузию, а свидетельство действительно реально наступающей (экономической) весны. Показательно, что Госкомитет, реализуя свою функцию представителя социально-экономических интересов тех, кто производит сельскохозяйственное сырье, ставит вопрос о дальнейшем совершенствовании статуса мини-фабрик. Действительно, тут есть что поправить. Положение, в котором находится фабрика в колхозе имени Карла Маркса, в каком-то смысле исключительное. Здесь весь доход от переработки чайного листа достается тем, кто его производит, то есть остается в колхозе. Во всех остальных случаях положение иное. Фабрики строились на средства хозяйств, работают там люди, входящие в состав трудовых коллективов этих хозяйств, и на сырье, выращенном здесь же в колхозе, совхозе. И тем не менее прибыль, полученная ими, идет почему-то Чайпрому, поскольку официально только в рамках этой организации можно обрабатывать чайный лист. Председатель Госкомитета Г. Д. Мгеладзе говорит:

— Мы рассуждаем об агропромышленном объединении в сельском хозяйстве. Но его, промышленного-то, пока еще нет. Промышленность, перерабатывающая, в частности, сельскохозяйственное сырье, лишь формально объединена с сельским производством.

Во время поездки по Грузии приходилось часто слышать из уст хозяйственников, партийных и советских работников о необходимости следующего шага в интеграции промышленного и сельского производства. Все надежды на осуществление его возлагаются именно на Госкомитет.

Дотошно внимательный читатель не преминет заметить: все это может быть и так, но непонятно, почему прежнее Министерство сельского хозяйства не сделало того же. Может, все-таки дело не в создании Госкомитета, а в том, какие люди руководят тем или иным ведомством? Конечно, первичны люди, берущиеся вести производство, но без соответствующей организации они не могут достичь того, чего от них ждут. Структура традиционного Министерства сельского хозяйства не была приспособлена ни для постановки, ни для решения вопросов гармонизации производства сельскохозяйственного сырья и его переработки. У него не было тех денег, которыми располагает сейчас Госкомитет по сельскому хозяйству; тех штатных единиц, то есть, говоря человеческим языком, специалистов, способных квалифицированно заняться проблемой; и, самое главное, тех функций, той задачи, которая поставлена теперь перед Госкомитетом. Поэтому люди, пришедшие к руководству Госкомитетом, начали свою деятельность с того, что приспособили созданную ими новую организацию для решения одной из наиболее острых проблем в развитии сельского хозяйства — смягчения диспропорций между производством и переработкой сельскохозяйственного сырья. И, как показывает практика, за короткое время они добились заметных, хороших результатов.

## 5

Грузинский Государственный комитет успел проявить себя не только в деле гармонизации интересов производителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья. Отход от ведомственного принципа управления сельским хозяйством на республиканском уровне привел к тому, что грузинские РАПО стали теперь полновластными и законными органами управления, способными подчинять действия части партнеров се-

ла интересам его социально-экономического развития. В этом их коренное отличие от аналогичных служб, созданных во всех других районах страны.

Действительно, давайте перечитаем публикации последних лет об опыте работы РАПО. Как правило, в них жалобы на то, что партнеры села не могут, не имеют права перечислять часть прибылей в централизованные фонды этих новых органов управления на местах, поскольку все средства, остающиеся у них, изымаются в бюджет. Тем самым подрывается возможность финансирования строительства инфраструктурных объектов, тех, что нужны всем хозяйствам данного региона, без которых рвется общая технологическая цепь и вложения на отдельных участках обесцениваются. Далее идут сетования на то, что та же Сельхозтехника, по-прежнему монопольно располагая материально-техническими фондами, использует их в первую очередь для выполнения и перевыполнения своих ведомственных показателей, а не в интересах увеличения конечного сельскохозяйственного продукта. И наконец, идет констатация того печального факта, что все рычаги экономического управления — планирование, ценообразование, кредит, оплата труда и т. д. — находятся в разрозненном ведомственном состоянии, поэтому РАПО может выполнить свою интегрирующую роль лишь административными мерами, что не всегда закономерно, не может быть эффективно, а отсюда и не имеет шансов на широкий успех. Все эти недостатки слишком хорошо знакомы и работникам сельского хозяйства Грузии. Но здесь, получив возможность отойти от ведомственного принципа управления производством, поспешили принять меры, блокирующие разрушительную болезнь, именуемую ведомственностью. Что для этого сделали?

С таким вопросом обращаюсь к Гиви Георгиевичу Абалаки, первому заместителю председателя РАПО в Гори. Пройдя трудную школу работы во всех структурах управления сельским производством, начиная от послевоенных МТС, Гиви Георгиевич может легко сравнивать сильные и слабые стороны прежних способов руководства сельским хозяйством и соотносить их с практикой работы нынешнего РАПО. Одно из преимуществ нового органа управления он видит, в частности, в том, что все колхозы, совхозы, межхозяйственные организации, а также предприятия упомянутых выше реорганизованных трех ведомств — министерств сельского хозяйства, мелиорации водного хозяйства, Госкомсельхозтехника — в первые оказались в едином районном подчинении. В соответствии с решением республиканского Комитета (а это уже легализация определенного принципа, недоступная отдельному РАПО) все предприятия, входящие в подчинение РАПО, делают дифференцированные в зависимости от уровня рентабельности отчисления в его централизованный фонд.

Следовательно, новый орган управления сельским хозяйством впервые оказывается заинтересованным в росте рентабельности, экономичности производства на своей территории, а не просто в выполнении любыми способами и средствами планов заготовок продукции. Более того, фиксированный процент отчислений в централизованный фонд ограничивает действие вредных уравнилельно-распределительных тенденций, действие которых приводило до сих пор к изъятию всех излишков прибыли в бюджет со счетов государственных предприятий, что, естественно, подрывало заинтересованность в росте экономичности производства. Наконец, создание централизованного фонда сделало новый орган управления способным не только агитировать за проведение тех или иных общих мер хозяйственной политики на территории данного района, но и выступать платежеспособным инициатором осуществления подобных мер. Горийское РАПО, в частности, уже сейчас в централизованных фондах имеет более 700 тысяч рублей на эти цели. Как ими пользуются? Это тоже интересно и поучительно.

Гиви Георгиевич рассказывает о проблемах небольших горных сел. Оторванные от остального мира, они стареют и постепенно исчезают. А ведь именно в горных районах самые благодатные условия для развития животноводства. Как остановить миграционные процессы? Районные работники не могли дать практического ответа на этот острый социальный вопрос, потому что любой из них упирался в дополнительные капитальные вложения, изыскать которые при прежних условиях было неоткуда. РАПО за счет своего централизованного фонда приняло срочные меры для нормализации положения. Было выделено 120 тысяч рублей, чтобы установить прежде всего диспетчерскую связь с горными поселениями. Легко понять не только функциональное, но и психологическое значение такой акции. Люди сразу почувствовали себя не отрезанным, никому не нужным ломтем, а органически включенными в трудовой



коллектив всего Горийского района. За счет выделенных средств были отремонтированы дороги, связывающие горные поселения с магистральными путями, капитально отремонтировано несколько обветшалых домов, построено 7 новых. И вот уже результат: миграция из этих мест прекратилась, а 25 семей вернулись на прежние, предками обжитые места.

Подобные социально-экономические инициативы для РАПО не редкость. На средства этого органа управления в селе Бошури строится первый в районе пионерский лагерь для сельских детей, кредитуется строительство крупной сельской больницы в тквиавском колхозе, лечебной бани в атенском колхозе, выделяются деньги и стройматериалы многодетным семьям для жилищного строительства в экономически слабых хозяйствах. Несколько раньше мы уже говорили, что за счет централизованных средств в ряде районов Грузии были построены мини-фабрики по переработке чайного листа. В Гори за счет кредитов из централизованного фонда финансировалось создание единой диспетчерской службы, позволившей технологически оформить социально-экономическое единство всех организаций, входящих в систему РАПО.

Таким образом, благодаря созданию централизованных фондов орган управления сельским хозяйством на районном уровне превратился в субъект социально-экономической политики, способный самостоятельно проводить и направлять развитие определенных процессов на своей территории, исходя при этом не из благотворительных и уравнилельных побуждений, а из интересов хозяйственной целостности, из соображений увеличения общего конечного продукта, создаваемого на данной территории. Эту совершенно новую для управленческого звена в сельской местности функцию РАПО получило из рук республиканского Госкомитета, поскольку самостоятельно, в одиночку оно не могло в правовом порядке оформить себя в этой новой роли.

Оказался подорванным и монополизм положения тех партнеров села, которые вошли в новую структуру управления. Вот как это было сделано, например, в отношениях с Сельхозтехникой. Как известно, низовые отделения этого объединения сверху вниз получали план ремонта техники, план эксплуатации ее, план перевозки грузов и план реализации в рублях. Чем быстрее выполнялся и перевыполнялся план по этим показателям, тем, считалось, лучше работало то или иное звено. Отсюда у работников Сельхозтехники рождалось стремление найти удобного заказчика и за счет выгодного ассортимента услуг выполнить быстрее свои обязательства перед селом. Показательно, что в 1982 году колхоз в Зерти Горийского района заключил с Сельхозтехникой договор на выполнение объема механизированных работ на 56 тысяч рублей, а объединение выполнило таких работ здесь на 140 тысяч рублей, благо партнер был удобно расположен с точки зрения оказания ему услуг. Наоборот, горный колхоз села Атени — заказчик невыгодный. И вот результат: с ним договор был заключен на выполнение тех же работ на 54 тысячи рублей, а выполнено было всего на 36 тысяч.

Никто с Сельхозтехники не спрашивал главного: а как ее работа повлияла на рост конечного сельскохозяйственного продукта? И нет ничего удивительного для тех, кто понял порочность сложившейся логики хозяйствования, в том, что в Горийском районе в 1982 году районное отделение Сельхозтехники получило переходящее союзное красное знамя по результатам социалистического соревнования, а его работники — денежные премии, тогда как из 13 колхозов района, которые они обслуживали, лишь 3 хозяйства выполнили план по прибылям, 7 оказались убыточными, а 3 колхоза были близки к этой грани.

И если бы это был частный случай, недоразумение. Разворачиваем вышедшую в Москве книгу «Развитие аграрных отношений на современном этапе» (1983, стр. 19) и читаем, что за последние 15 лет объем услуг для колхозов и совхозов увеличился в четыре раза, а масса прибыли, полученной Сельхозтехникой, в 7,6 раза, то есть разрыв чуть ли не вдвое. Так оно и должно быть в условиях планирования от достигнутого уровня, когда достигнутый ведомственный показатель из года в год увеличивается и изворотливость в достижении его растет во много раз опережающим темпом. Как порвать этот порочный круг?

После образования республиканского Госкомитета, вобравшего в себя и Сельхозтехнику, до бывших ее предприятий на районном уровне прекратили доводить сверху задания по устоявшейся схеме. Нет планирование деятельности этого подразделения агропромышленного комплекса не прекратилось. Просто планы стали составляться иным образом: не от того, что нужно и выгодно Сельхозтехнике, а от того,

что нужно хозяйствам, работающим в производстве реального конечного сельскохозяйственного продукта.

И сразу многое и многое изменилось в объемах, ассортименте и очередности услуг, оказываемых селу предприятиями, подчинявшимися еще вчера самостоятельному, изолированному от земли ведомству. Ну, например, в 1983 году республиканское объединение Сельхозтехники развернуло до Горийского района план текущего ремонта тракторов в размере 150 машин на сумму 220 тысяч рублей. Сделало оно это не по каким-то производственным соображениям, а исходя из прочно установившейся порочной практики: для республики сверху разверстывают тоже план по ряду важных показателей, причем из года в год его увеличивая от достигнутого уровня, вот и республиканское подразделение раскладывает по той же логике свой пасьянс. А насколько планы, составленные таким образом, совпадают с реальными потребностями хозяйств?

В 1984 году Горийский район составлял план по новой методике, исходя из нужд тех, кто работает на земле. Оказалось, что на предприятиях бывшей Сельхозтехники надо отремонтировать лишь половину, 60—70 тракторов на сумму 80 тысяч рублей, а все остальное хозяйства могут сделать успешно сами, если им только дать запасные части, которыми до сих пор монополично распоряжалась Сельхозтехника, исходя из своих ведомственных интересов, требуя, чтобы рублевый болт в моторе трактора монтировался бы в ее мастерских с оплатой, естественно, не болта, а ремонта всего мотора.

Обо всем этом писано-переписано, мы в данном случае хотели бы только сказать, что во всех этих вынужденных приписках меньше всего были виноваты конкретные люди, которые, как правило, от всех этих операций выгоды не имели, но они следовали логике того ведомства, в котором работали. А это уже опасней. Заслуга руководителей комитета в том, что они попытались подорвать изоляционистскую, ведомственную практику в самой ее основе. Это удалось сделать тогда, когда планирование услуг, необходимых хозяйствам, было передано в руки тех, кто их представляет на местах, — в руки РАПО.

Такая же ситуация сложилась и при переходе к централизованным перевозкам грузов. В частности, в Горийском районе до реорганизации системы управления сельским хозяйством по дорогам района бегало 63 машины, завозя топливо в хозяйства. Сейчас РАПО организовало централизованную доставку этих грузов, и оказалось, что со всей работой прекрасно справляются 14 автомашин. Так же с комбикормом. 8 специализированных машин успевают сейчас без потерь кормов справляться с той самой работой, на которой было занято раньше несколько десятков машин, вынужденных ехать полупустыми, стоять в длинных очередях у оптовых баз. И все это не в последнюю очередь из-за того, что Сельхозтехника в прежнем своем качестве была кровно заинтересована в росте объемов работ в тонно-километрах, а не в реальной экономии общественных затрат. Показательно: из общего плана (6 миллионов рублей) транспортных работ Сельхозтехника до реорганизации больше половины давала за счет выгодных клиентов за рамками АПК.

Нам хотелось рассказать об изменениях в ассортименте и объемах услуг, оказываемых хозяйствам, не только для того, чтобы показать, как меняются здесь пропорции в зависимости от применяемой логики хозяйствования, но и для того, чтобы еще раз заставить задуматься над феноменом дефицита в материально-техническом снабжении колхозов, совхозов. Оказывается, дефицит возникает часто не из-за недостатка каких-то машин, оборудования, запасных частей, а из-за порочной ведомственной практики распределения ресурсов.

Новая методика планирования услуг, оказываемых селу, — дело, конечно, очень важное, но она не могла бы быть применена без реорганизации всей службы материально-технического снабжения сельского хозяйства, которая была осуществлена за прошедшие два года в Грузии.

Прежде всего материально-технические фонды, поступавшие раздельно по каналам трех прежних ведомств, объединили в общий котел, из которого и происходит сейчас обеспечение всех хозяйств республики. Такое сложение, концентрация средств уже само по себе создало более благоприятные условия для повышения оперативности служб материально-технического снабжения.

Кроме того, выведение материально-технических баз из ведомственного подчинения и передача их под начало служб республиканского Госкомитета положило нача-

лю новому принципу распределения имеющихся в республике фондов. Та же Сельхозтехника, исходя из ведомственного интереса, в прежних условиях спешила монопольно обеспечить в первую очередь свои подразделения новой техникой, оборудованием, запасными частями. Происходило своеобразное самодействие: плановые органы давали через Сельхозтехнику хозяйствам фонды, а она, используя свое положение, ввела своеобразное «право первой ночи», позволявшее ей снимать с молока сливки, то есть установить в отношениях с партнерами неравноправное положение в такой тонкой области, как материально-техническое снабжение. Я разговаривал с работниками Госкомитета, РАПО, и они с большим энтузиазмом говорили о новых порядках на базах материально-технического снабжения.

— Нам удалось сорвать покрывало тайности, прикрывавшее деятельность прежних служб материально-технического снабжения, — говорили работники новых органов управления сельским хозяйством. — А именно отсюда и рождался часто искусственный дефицит, выгодный для определенных ведомственных работников, — добавляли они.

Теперь Госкомитет по сельскому хозяйству и его органы на местах — РАПО — стали полновластными хозяевами фондов, чтобы распределять их не по соображениям ведомственным, а из интересов увеличения конечного продукта. Именно это обстоятельство заставило внедрить и еще одно важное новшество в работу органов материально-технического снабжения. До реорганизации системы управления сельским хозяйством каждый колхоз, совхоз самостоятельно хлопотал о выделении ему фондов. Естественно, пробивной, именитый руководитель, да при деньгах, оказывался в более выгодном положении, чем его менее удачливый сосед. Но в интересах ли дела углублять дифференциацию в обеспеченности хозяйств фондами? Общее дело от этого не выигрывает. Если слабое хозяйство не имеет денег, чтобы вовремя выкупить то, что ему занаряжено, то от этого страдает развитие сельскохозяйственного производства в целом. Тем более что не востребованные вовремя фонды быстро распродаются на сторону, уходят вообще из сельской сферы под предлогом, что они, дескать, здесь лишние.

Чтобы такого не происходило, Госкомитет добился права изменить порядок расчетов за технику, запчасти, другие ресурсы. Из средств хозяйств, выделенных на эти цели (тут и собственные финансы, и долгосрочные банковские кредиты), создали в республике специальный фонд (около 70 миллионов рублей), за счет которого Госкомитет от имени хозяйств расплачивается своевременно за поставку в эти хозяйства техники, оборудования. В конце года расчеты балансируются в разрезе каждого потребителя ресурсов, но благодаря новому порядку расчетов удалось добиться такого положения, когда все выделенное сельскому хозяйству, агропромышленному комплексу попадает к потребителю вовремя, остается именно здесь, а не утрачивается малыми и большими ручьями в смежные, не плановые русла других ведомств.

Изменение отношений между реорганизованной службой Сельхозтехники и хозяйствами благотворно отразилось на результатах работы сельской техники. В том же Горийском районе стоимость обработки эталонного гектара снизилась почти на рубль, увеличилась нагрузка на трактор, снизили расход топлива. Такое же положение характерно и для республики в целом. Так, если прежде план общей реализации по ремонтным предприятиям лишь на 51 процент выполнялся за счет непосредственно ремонта, а остальное за счет прочих выгодных для ведомства работ, то теперь удельный вес ремонтных операций приближается к 80 процентам. А именно эти услуги и нужны в первую очередь хозяйствам. Такая же тенденция наметилась и в работе транспортных предприятий. Здесь тоже сельский партнер стал главным заказчиком — 95 процентов всех работ теперь выполняется для него.

Чтобы понять отличие нового органа управления сельским хозяйством, созданного в Грузии, от тех, что нам знакомы, надо уяснить еще один важный принцип его действия: разведение функций и уровней управления. Поясню на широкоизвестном примере, что это значит. К сожалению, до сих пор из работы органов управления сельским хозяйством не изжита практика мелочной опеки руководителей хозяйств и специалистов, подмена их в качестве оперативных распорядителей процессом производства. Наиболее болезненно это проявляется в доведении до хозяйств структуры посевных площадей, стада, массы других показателей, что затрудняет специалистам внедрять оптимальные варианты развития производства. Начиная с 1983 года Госкомитет по сельскому хозяйству от этой порочной практики отказался. Передо мною проект плана производства сельскохозяйственной продукции, который рассылается во

все районы Грузии и с помощью РАПО заполняется непосредственно в хозяйствах. В нем нет ни одной директивной цифры по структуре посевов, стада. Они определяются в хозяйствах из учета необходимости выполнить план продажи сельскохозяйственной продукции государству.

Разговариваю с председателем Зугдидского РАПО Мурманом Шалвовичем Де-мурия. Спрашиваю, как повлияла новая практика планирования производства на его структуру. Мурман Шалвович приводит убедительные примеры в доказательство того, что передача решения такого рода вопросов на уровень хозяйств уже благотворно сказалась на эффективности сельского хозяйства района.

— Раньше, — говорит он, — нам доводили план, в частности, посева сои — тысячу двести гектаров. В субтропической сырости нашего района она растет очень плохо. Поэтому мы воспользовались своим правом определять структуру посевных площадей и сократили посеvy сои до четырехсот гектаров, а освободившуюся землю с гораздо большей пользой заняли кукурузой. Только за счет этого маневра производство кукурузного зерна увеличилось в районе почти вдвое.

Не только соя и кукуруза уточнили свои места в структуре посевных. Новый подход к планированию производства позволил увеличить посеvy многолетних трав. Расширились площади под фасолью: ведь грузинский стол без фасоли — это как обед без ложки.

Таким образом, Госкомитет стремится к тому, чтобы каждый вопрос решался на том уровне, где имеется наибольшая информация об особенностях намечаемого производства и максимальная материальная заинтересованность в его конечных результатах. Освободившись от мелочной опеки хозяйств, возложив на РАПО выполнение тех задач, которые не выходят за рамки района, Госкомитет освободился тем самым для того, чтобы заняться теми делами, которые, кроме него, никто не сделает.

Что же это за дела? Прежде всего отработка действий экономического механизма в рамках полномочий республики по гармонизации интересов государства — предприятия — отдельного труженика. Это новая поисковая работа для созданного органа управления, поскольку прежние организации были приспособлены к пассивному перевариванию и рассылке вниз инструкций, указаний, приказов, идущих сверху, а не к созданию собственных инструментов для практического осуществления планов производства экономическими мерами.

В этой связи пришлось заняться прежде всего вопросами оплаты труда в тех звеньях АПК, где состояние дел требовало особо быстрого вмешательства. Практики уже давно обратили внимание на положение тех работников, которые заняты на ремонте техники. Механизатор в поле получает 250—300 рублей, ему полагается и натуральная дополнительная оплата по результатам года, а вот ремонтники оказались в худшем положении: натуральная дополнительная оплата на них не распространяется, реальных способов подняться выше обычных 120 рублей в месяц тоже нет. Ремонтники никак не были связаны с успехами работы в поле, что, естественно, не могло не сказываться отрицательно на качестве ремонта. Госкомитет вмешался в создавшееся положение и нашел способ в рамках существующих положений включить ремонтников в общее число механизаторов, получающих надбавку к зарплате за счет увеличения фонда оплаты при соответствующем перевыполнении планов производства валовой продукции. За счет улучшения организации ремонтных работ открылась возможность несколько увеличить план ремонта тракторов. И вот результат. Ремонтники благодаря принятым мерам при выполнении установленных норм могут получать теперь 180—200 рублей в месяц, включили их и в число тех, кто получает натуральную оплату. Плановые сроки ремонтных работ ускоряются, правда, на пять-шесть дней, что равняется дополнительным 300 тысячам эталонных гектаров, но, как видим, рост оплаты труда произошел не механически, больше платят не за выход на работу, а за более высокую производительность.

Я рассказал лишь об одном конкретном случае выступления Госкомитета в роли организации, призванной гармонизировать интересы всех партнеров АПК. Оплата труда не единственный блок экономического механизма, который подвергается сейчас совершенствованию по инициативе Госкомитета. Он в рамках нынешних возможностей ищет пути для улучшения ценообразования (пересмотрены некоторые цены на транспортные услуги в рассмотренном выше ключе), изыскивает возможность, чтобы экономически компенсировать худшие условия хозяйствования в труд-

нодоступных районах (создан дотационный фонд за счет реализации продукции хозяйств, специализировавшихся на высокорентабельных культурах) Эту работу намечается продолжать самым энергичным образом дальше, все больше углубляя разрыв в самой сущности нового органа управления сельским хозяйством в сравнении со старым, где слишком много было административного начала в решении тонких хозяйственных дел.

Привлекательность Госкомитета для тех, кто работает на земле, еще и в том, что он может не только рекомендовать создать то или иное предприятие, без которого им туго приходится, но и выделить начальные капиталовложения, необходимые для пуска его в эксплуатацию. И не только кредитовать то или иное строительство, но и обеспечить его материалами, оборудованием, поскольку все материально-технические фонды находятся теперь в одних руках — в распоряжении Госкомитета.

Уже в нынешних условиях в его централизованных фондах за год накапливается около 36 миллионов рублей. Я сказал «уже» только потому, что с ростом доходности хозяйств будет расти и сумма отчислений в централизованные фонды, о чем шла речь в связи с практикой работы РАПО. Кстати, эта зависимость управленческого органа от успехов управляемых — тоже новое явление в системе складывающихся отношений в АПК: не может управляющий орган, как бывало раньше, гнуть через колено своих подчиненных, понимая, что рубит сук, на котором сидит сам.

В новой практике капитальных вложений проявляется та же иерархичность, то же стремление не сталкивать, а развести функции между разными уровнями управления, о чем говорилось выше. Поэтому предусматривается, что решение вопросов о строительстве объектов стоимостью до 250 тысяч рублей осуществляется непосредственно самими хозяйствами, на уровне РАПО решается судьба объектов стоимостью от 250 до 500 тысяч рублей, а объекты, так сказать, республиканского значения стоимостью от 500 тысяч до 4 миллионов рублей будут утверждаться самим Госкомитетом.

Такой подход к капитальным вложениям должен обеспечить гармонизацию развития экономических процессов на микро- и макроуровне. Уже сейчас ощущается преимущество такого механизма выявления и удовлетворения экономических потребностей. Не может быть порядка в капитальных вложениях там, где хозяйство вынуждено обивать пороги различных высоких учреждений, чтобы получить право и деньги на строительство, скажем, детского садика. Но мне приходилось видеть и другие крайности. В одном белорусском колхозе как предостережение от ошибок смещения уровней принятия решений о капитальных вложениях стоит довольно крупный завод, в строительство которого вложены сотни тысяч рублей. Он ни дня не работал: его продукция к моменту пуска производства оказалась никому не нужной.

В прямом подчинении Госкомитету находится сейчас ряд крупных предприятий, которые он использует для решения общереспубликанских производственных проблем. И когда в этом году природа обрушила на Грузию стихийные бедствия — небывалые морозы, невиданные снегопады, многоводные весенние паводки, — республика, располагая стратегическими, централизованными в Госкомитете возможностями, смогла сделать то, что раньше сделать не была бы в силах. Оперативно перебрасывая мощную технику, ресурсы в критические моменты и в аварийные места, новый орган управления значительно смягчил опасную ситуацию, доказав тем самым в чрезвычайных условиях жизнеспособность и большую эффективность заложенных в его основу принципов взаимоотношений между партнерами АПК

Грузинский Комитет возник, как я уже говорил, на базе трех ведомств. Но вот что замечательно: в ходе этого объединения произошла удивительная метаморфоза. От соединения трех министерств получилось не одно укрупненное министерство, как это вполне могло бы стать, а образовался в самой сущности своей новый орган управления производством. Количество перешло в качество. И вот, на мой взгляд, почему нынешний Комитет не равнозначен традиционному министерству. Во-первых, он, как видим, стремится управлять входящими в сферу его влияния хозяйствами и предприятиями не административными методами, а используя в дозволенных существующими инструкциями рамках экономические рычаги или добиваясь изменений этих инструкций для расширения сферы их действия. Следовательно, философия нового органа управления основывается не на подчинении частного интереса интересам общественным, а на их гармонизации. Одного этого уже достаточно, чтобы качественно отделить логику функциони-

рования традиционного министерства от логики вновь созданного комитета. Во-вторых, комитет осуществляет намеченную социально-экономическую политику за счет в основном средств, отчисленных хозяйствами и предприятиями в централизованный фонд, и может самостоятельно определять объем и очередность решаемых задач. Министерство же, как известно, все средства получает из бюджета и расходует их в соответствии с предписанными свыше рекомендациями. И наконец, в-третьих, экономические интересы Комитета как хозяйствующей единицы совпадают с интересами тех, кем Комитет управляет. Действительно, поскольку норма отчислений в централизованный фонд тем выше, чем выше рентабельность производства в хозяйствах и на предприятиях, то новый орган управления не безразличен к выбору структуры производства, объему и характеру необходимых затрат. Министерству, как известно, важно лишь уложиться в утвержденный сверху план производства и затрат. Отсюда стремление не к напряженным планам, тем более что уровень рентабельности, масса прибыли хозяйствующих единиц никак не влияет на положение и авторитет традиционного органа управления.

Интересно обратить внимание еще на одно важное обстоятельство, возникшее в связи с изменением характера системы управления сельским хозяйством в Грузии. Помню те времена, когда, будучи председателем колхоза, я ходил с протянутой рукой по кабинетам различных организаций, выпрашивал (за деньги, естественно) технику, корма, химикаты... Поскольку таких, как я, было много, то снабженцы оставались глухи к просьбам большинства. Да и то сказать: как отличить потребность реальную от плюшкинского скопидомства? И тогда все мы устремлялись в райком, обком партии, чтобы их авторитетом вскрыть амбары снабженцев. В этом стихийном напоре за нужной вещью не только мы сами, хозяйственники, превращались в снабженцев, но вовлекали в этот процесс трансформации и многих партийных работников.

Иначе и быть не могло, поскольку партийный аппарат райкома, обкома казался нам в ведомственном море, где сталкивалось столько противоречивых хозяйственных интересов, чем-то вроде спасательной лодки деда Мазая. Действительно, партийные работники, хотели не хотели, вынуждены были брать на себя решение многих хозяйственных вопросов. К этому их вынуждала жизнь, простое понимание необходимости пусть таким далеко не совершенным образом, но решить возникающие в столкновении ведомственных позиций проблемы. Конечно, это не могло не сказываться на состоянии самой партийной работы: она страдала. А хозяйственники имели возможность снять с себя ответственность за какие-то промахи, кивая на партийные органы. Во многих случаях эта ситуация сохраняется и сейчас.

Но в Грузии она оказалась теперь подорванной. Я не видел толкачей не только в райкоме партии, но и в РАПО, в самом Комитете. И в этом, думаю, большое достижение. Наконец наметилось более четкое разграничение в работе партийных и хозяйственных органов, ликвидируется обезличка в принятии решений, укрепляется ответственность тех кому поручено вести хозяйственные дела. О необходимости такого порядка говорилось на апрельском (1985) пленуме ЦК КПСС: «Каждый должен заниматься своим делом, добросовестно выполнять свои прямые обязанности. Нельзя добиться существенных результатов ни в одной сфере деятельности до тех пор, пока партийный работник будет подменять хозяйственника, инженер — курьера, ученый работать на овощной базе, ткачиха — на ферме. К сожалению, сегодня нередко так и бывает».

Я перечислил ряд отличительных особенностей нового органа управления сельским производством. Но они, эти особенности, пока существуют прежде всего в тенденции, в стремлении Комитета претворить указанные принципы в практику, в жизнь. Надо прямо сказать, что это удается далеко не всегда и главным образом потому, что новый, не ведомственный подход к развитию сельского хозяйства на республиканском уровне часто приходит в столкновение с сохраняющимся министерским принципом управления сельским хозяйством на уровне союзном.

О первых положительных итогах деятельности Госкомитета по сельскому хозяйству можно говорить не только потому, что своевременно и, следовательно, результативно он сумел организовать помощь пострадавшим от стихии районам. Показательны прежде всего такие данные. В 1982 году накануне организации Госкомитета по сельскому хозяйству в Грузии было 300 убыточных хозяйств, в 1983 году их число сократилось до 84, сейчас — 36. Рентабельность сельскохозяйственного производства повысилась за это время вдвое и составляет сейчас примерно 21 процент.

Когда орган управления сельским хозяйством берется управлять производством, имея в своем составе лишь специалистов, вооруженных пером и бумагой, то даже их добрые намерения не дают заметных результатов. И наоборот, сосредоточив в своих руках материальные ресурсы и задавшись целью подчинить все действия партнеров АПК максимизации конечного сельскохозяйственного продукта, орган управления превращается в действенный фактор ускорения социально-экономического развития села. Хорошим свидетельством тому является опыт грузинского Государственного комитета по сельскому хозяйству.

Возвращаясь из Грузии в Москву, я долго думал о том, каким же образом республике удалось одержать первую победу в борьбе с метастазами такой опасной болезни, каковой является ведомственность. Мне кажется, что этому способствовало прежде всего то, что новую организацию возглавил человек с антиведомственной психологией — Гурам Давидович Мгеладзе. С 1973 года до 1982 года, когда его назначили министром сельского хозяйства республики, он работал в Абашском районе Грузии первым секретарем райкома партии, то есть на партийной должности, сама суть которой враждебна ведомственному подходу, поскольку партийный работник борется за осуществление интересов общественных, а не ведомственных. В Абаше в жестких схватках с ведомственностью и инертностью закалился характер Г. Д. Мгеладзе, отработались бойцовские качества, необходимые для победы в столкновении с косностью. Из этих столкновений на уровне района он вышел победителем, что отмечено Звездой Героя Социалистического Труда. Показательно, что, оказавшись в кресле министра, Г. Д. Мгеладзе сразу же почувствовал себя неуютно. И вместо того чтобы успокоиться, расслабиться в столичных условиях, работая в накатанной министерской колее, он логично продолжил свою антиведомственную линию на новом, республиканском уровне.

Успех реорганизации системы управления сельским хозяйством в Грузии был бы невозможен, если бы все дело было только в личных качествах руководителя вновь созданного Комитета, в его убеждениях, хозяйственной философии и самом страстном желании сделать все как можно лучше. Компартия Грузии всем своим авторитетом и немалыми своими возможностями решительно поддержала комплекс антиведомственных идей. В отчетном докладе на XXVI съезде компартии Грузии в 1981 году Э. А. Шеварнадзе сказал: «Вы все знаете об абашском эксперименте. Сейчас это уже не эксперимент, а опыт. Был сделан смелый, умный, научно обоснованный шаг. Этот опыт — веский аргумент против догматического способа мышления, стереотипного подхода ко всему новому, к тем острым проблемам, которые ставят жизнь и которые нельзя уже решить привычными способами. Что только не говорилось об абашском эксперименте, в каких только грехах не обвиняли людей, пытавшихся отбросить дежурные негодные схемы хозяйствования». Поэтому когда встал вопрос о выходе на новый виток антиведомственного эксперимента, о перенесении опыта Абашы на республиканский уровень, ЦК компартии Грузии смело, решительно поддержал идею создания Комитета по сельскому хозяйству с новыми, как видим, функциями и полномочиями в деле ведения сельского производства.

И все-таки чтобы выйти в открытую «против догматического способа мышления, стереотипного подхода ко всему новому», нужен был еще, я думаю, горячий грузинский характер, грузинский менталитет, основная черта которого, насколько мне удалось подметить, состоит в активной нетерпимости к несправедливости, какие бы формы она ни принимала. А устаревшие, жизнью отброшенные инструкции — один из типичных случаев такой несправедливости, поскольку они мешают работать. Так что идеи попали на благодатную почву, и мы уже видим первые добротные плоды от их реализации, которыми Грузия может гордиться. Другие регионы страны, знакомясь с опытом работы по-новому, имеют возможность усилить свои антиведомственные выступления, направленные на гармонизацию сельскохозяйственного производства, и тем самым повысить его эффективность и ускорить темпы роста.

---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДИМИР ЦВЕТОВ



## ПЯТНАДЦАТЫЙ КАМЕНЬ САДА РЁАНДЗИ\*

ОБЪЯТИЯ ОСЬМИНОГА

**В** японцев невероятно много разного рода празднеств. Помимо общенациональных дат, каждый город, каждая деревня, даже каждый район в городе отмечают собственные праздники и делают это с энтузиазмом и пышностью, не уступающими всеяпонским торжествам. Я раскрыл туристский справочник наугад: 14 июля массовые празднества по различным поводам проводятся в сотне мест по всей стране! Неделю спустя торжества справляются в 80 местах. Нет, не напрасная это трата времени, как может показаться. Подготовка к праздникам и сами праздничные действия укрепляют общинный дух.

Например, сообща изготавливаются омикоси — тяжелые паланкины и громоздкие алтари, воздвигающиеся на паланкинах. Каждый член общины обязан внести в сооружение омикоси свою лепту, и омикоси превращаются в подлинные произведения конструкторского, живописного, столярного, ткацкого искусства — в этакый символ общинного представления о красоте и величественности.

Кульминация праздника — шествие с омикоси по улицам. С возгласами «вассэ! вассэ!» их тащат на плечах 15—20 молодых людей. В одинаковых хаппи (коротких кимоно), с хатимаки (повязками на лбу), неразлично похожие друг на друга, юноши трусцой бегут по улице, подбрасывая в такт возгласу «вассэ!» паланкины на плечах. Требуются согласованные движения всех участников процессии, чтобы паланкины не перевернулись и алтари не грохнулись на землю. Согласованность зависит от команд лидера. Со свистком в зубах стоит он на паланкине рядом с алтарем или бежит, приплясывая, во главе шествия и отрывистыми свистками сообщает носильщикам единый темп движения.

Эта картина, которую и теперь всегда видишь во время японских праздников, — образное выражение общинного принципа повиновения лидеру, вожаку. Как и при шествии с омикоси, община нуждается в командах начинать и заканчивать коллективные действия, определять их очередность: когда, скажем, заниматься сельскохозяйственными работами, а когда строительными. Хотя в общине и господствует групповая логика, человек подчиняется в конечном счете не группе, а лидеру группы. Подчинение это оказывается тем прочней и полней, чем сильнее в общине уверенность, что она существует по законам коллектива.

Управляющий в японской фирме, заведующий отделом или сектором в учреждении, руководитель редакции на телевидении или в газете обычно избегают отдельных кабинетов, которые в Америке и Европе служат признаком высокого положения и престижа, и работают в одном помещении со своими сотрудниками. Начальник показывает, что он часть коллектива, что он трудится и живет, сообразуясь с коллективистскими представлениями. Но на самом деле он, как и лидер, который командует шествием, несущим омикоси, держит под постоянным контролем отдел, сектор или редакцию — группу, общину, — готовый немедленно «дунуть в свисток», если, не выдержав тяжести обязанностей, возложенных на плечи членов группы, кто-нибудь сбьется с заданного темпа.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.



В муниципалитете города Гэнкай, что на южном японском острове Кюсю, слияние начальства с коллективом приняло форму, созвучную достижениям научно-технической революции и характеру буржуазной демократии. Во всех рабочих помещениях муниципалитета установлены видеокамеры с микрофонами. Заместитель мэра имеет возможность наблюдать на мониторе у себя в кабинете за работой и поведением каждого служащего, слышать, что он говорит. Если заместителю мэра хочется узнать, что читает или пишет служащий, видеокамера, снабженная трансфокатором, подает на монитор крупный план.

Когда Всеяпонский профсоюз муниципальных служащих выступил с протестом против антиконституционного сыска, руководство муниципалитета с самым невинным видом заявило, что оно испытывает горячее желание быть в гуще коллектива и ни на мгновение не ослаблять с ним связь. «Ведь все мы — одна семья, — сказал представителю профсоюза заместитель мэра. — А разве в дружной семье существуют тайны?»

Выражение «маменькин сынок» относится к японцам в самом прямом смысле. Всех японцев растят и воспитывают матери. Каждому японцу знаком миф о молодом принце Аясэ. Августейший юноша убил своего родителя. Убил, так как считал, что мать, слишком сильно любя отца, уделяет ему мало внимания. Боги сурово наказали Аясэ — он сплошь покрылся гнойными болячками, такими большими и глубокими, что никто не мог его вылечить. И только мать, несмотря на ужас, охвативший ее после злодейства сына, стала нежно ухаживать за принцем и выходила его.

Значение отца в воспитании детей ничтожно. Его имя не используется даже в качестве жупела, поскольку в японской семье воспитание ведется не на основе угроз, запретов и принуждения, а на основе заботы и опеки. «Над тобой будут смеяться», «на тебя рассердятся», «тебя будут ругать» — набор аргументов, с помощью которых мать вызывает к сознанию непослушного ребенка Японская мать неспроста пугает шалуна: «Смотри, в дом больше не войдешь». Она грозит ребенку отлучением от семьи — первой общины, по законам которой приучается он жить. То есть все материнские аргументы в той или иной степени подразумевают наказание общинным бойкотом.

Ёсия Ариэси, председатель гигантской пароходной компании «Нихон юсэн», очень четко и предельно доходчиво объяснил во время одной из последних в своей жизни встреч с иностранными журналистами, почему японский менеджмент столь деятельно использует в работе с персоналом традицию материнского воспитания детей:

— В Японии первое, что постигает ребенок после рождения, это необходимость жить в гармонии с группой, к которой он принадлежит. Если ребенок хорошо себя ведет и не предъявляет чрезмерных требований, родители, соседи, друзья балуют его. К совершеннолетию японец прочно усваивает, — описал судовладелец финал процесса вдалбливания общинного сознания, — что в обмен за послушание группе люди будут к нему добры и уважительны, что с точки зрения жизненного успеха — увеличения доходов, карьеры — послушание окажется полезнее строптивости.

Ариэси заметил иронические ухмылки на лицах журналистов, сам усмехнулся, оглядел нас снисходительным и чуть-чуть презрительным взглядом учителя, которому достались не слишком смысленные и дерзкие ученики, и повторил вопрос, с каким мы пришли к нему:

— Вы спрашиваете, отчего японцы в ряде случаев работают эффективнее, чем американцы или западноевропейцы? — Он посерьезнел и уверенно сказал: — Когда японец убежден, что в группе, по отношению к которой он испытывает преданность, его любят, или, говоря точнее, предоставляют ему твердое и уважаемое место, такой японец трудится с гораздо большей отдачей, с лучшим качеством, чем любой американец или западноевропеец.

По японским представлениям, человек хорош или плох не в силу положительных или отрицательных черт характера, благородных или низменных взглядов, безупречных или некрасивых действий. Человек получает оценку в зависимости от отношения к нему окружающих. Японец совсем не чувствует за собой вины, даже преступив все десять заповедей. Но сознание, что своим поступком он нанес вред членам общины, которые этого никак не ожидали от него, вызывает у японца жестокие угрызения совести. Материнское воспитание сказалось и здесь. Когда на озорничающего ребенка не производит впечатления угроза бойкотом, мать все равно не сердится и

не кричит. Она создает атмосферу, в которой ребенок ощущает, что мать испытывает чувство вины за него, несет тяготы из-за его шалостей. И это сильнее, чем любое наказание, воздействует на ребенка.

Внушенная с раннего детства привычка соотносить свои действия с моральными оценками окружающих заставляет японца вести себя так, как это угодно коллективу, и постоянно испытывать потребность в чьей-то заботе. В фирме, организации, учреждении роль матери, оказывающей заботу и страдающей от дурного поведения детей, принимает на себя лидер — президент, начальник. И лидеру совсем несложно присваивать себе эту роль, поскольку более половины японских юношей и девушек, заканчивающих учебные заведения и поступающих на работу, хотели бы, как показывают опросы, вернуться в детство с его материнской опекой и любовью.

Во время одного из таких опросов молодых служащих попросили выбрать, какой руководитель им больше нравится: относительно мягкий в рабочей обстановке, но безразличный к личной жизни служащих, или требовательный, строгий, но заботливый во вне рабочее время. 87 процентов опрошенных выбрали второго руководителя. «Японский предприниматель не меньше стремится к прибыли и увеличению производства, чем американский, английский или западногерманский, но в отличие от них он умеет представить себя удивительно внимательным к персоналу, этаким любящей матерью», — позавидовал высокой способности японских монополистов к социальной демагогии американский менеджер, побывавший в Японии.

Надо ли объяснять, сколь на руку предпринимателям синдром заботы, который поражает японцев с детского возраста и сохраняется в общине-фирме в виде пожизненного хронического заболевания? Ясно, что долг, понимаемый как чувство признательности, благодарности предпринимателям за заботу и добро, приносит столь же высокие дивиденды, что и передовая технология. Сам факт принадлежности к какой-либо общине трактуется предпринимателями как оказание высокой чести. А если название общины-фирмы приобретает мировую известность, то принадлежность к такой общине уже не просто честь, а поистине божественное благодеяние, которое требует соответствующей оплаты. Чем? Конечно же, самозабвенным трудом.

Нельзя не признать, что японские предприниматели весьма преуспели в постоянном воспроизводстве на заводах и фабриках общинного духа. Мицуюки Масацугу, чью книгу «Общество современных самураев» я уже цитировал, очень точно, на мой взгляд, описал желанный для японского предпринимателя характер отношений между нанимаемым и нанимателем.

«Основная позиция нанимателя — родительская, — подчеркнул Масацугу. — Исходя из такой позиции, наниматель ставит нанимаемого в детскую зависимость от себя. Она выражается глаголом «амаэру». И нанимаемый (этот маленький сыночек, добавлю я к тому, что написал Масацугу) склонен пребывать в такой зависимости. Слово «амаэру» происходит от прилагательного «амай». «Амай» означает сладкий в смысле вкусового ощущения, но прилагательное используется для характеристики и человеческих связей. То есть наниматель «амай» по отношению к нанимаемому, а нанимаемый «амаэру» — ищущий сладость и пользующийся ею во взаимоотношениях с нанимателем».

В самом деле, чем не семья, состоящая из любящей мамочки и послушного дитя! Вот это-то и имел в виду теоретик менеджмента Рюити Хасимото, когда указал, что именно условия, а не предприниматели должны заставлять рабочего трудиться. В семье из мамочки и дитяти немислимо послушаться заповедей «трудиться упорно и добросовестно, повиноваться и быть скромным, быть благодарным и отвечать добром на добро». Заповеди сочинили, как читатель, вероятно, помнит, в концерне «Мацусита дэнки», но аналогичные установления декламируются повсюду на японских предприятиях.

У японцев есть поговорка: человек принимает на себя долг благодарности даже после одного ночлега. То есть пущенный под кров всего лишь на ночь обязуется отплатить добром за доброту любым доступным ему способом. На подобном принципе строились отношения между князьями и самураями. На подобном же принципе нынешние предприниматели стараются строить отношения с рабочими. Они выдают найм за проявление благосклонности к нанимаемым. Нанимаемые оказываются, таким образом, в долгу за эту благосклонность и выплачивают долг своим трудом. Но долг столь абстрактный и так трудно количественно определяемый, что расплатиться сполна почти невозможно. В эпоху средневековья самураям не хватало жизни, чтобы

вернуть князьям долг. Сейчас рабочие не в состоянии рассчитаться с предпринимателями до самого ухода с работы по возрасту.

Японские предприниматели, искусно воспроизводя в фирмах, на заводах общинные порядки, выстраивают условия, в которых работники, потеряв способность ощущать принуждение, преисполняются желанием трудиться на предпринимателей. В этом квинтэссенция японских методов эксплуатации чужого труда.

Выпускающая туалетную бумагу фабрика американской фирмы «Проктор энд Гембл» терпела убытки из-за не прекращавшегося брака. Производственная технологическая цепь состояла из нескольких машин. На каждой работал оператор. Если на какой-то из машин допускался брак, то выявлялся он лишь через три, а то и четыре этапа, то есть на третьей или четвертой машине, когда исправить брак было уже невозможно. За работой операторов внимательно следил мастер, единственной задачей которого было изобличать бракоделов. Но удавалось это ему далеко не всегда. Операторы изобретали массу уловок, чтобы скрыть свой брак. И уж совсем не испытывали они желания обмениваться мыслями об улучшении производства и об искоренении брака.

Японский консультант, приглашенный фирмой, перво-наперво предложил убрать мастера-надсмотрщика. Из операторов он образовал самостоятельную бригаду, подобрав в нее психологически совместимых людей и позволив им назначить из своей среды старшего. Иными словами, консультант сконструировал нечто похожее на японскую общину в ее производственном варианте. Японский консультант внес в отношения между бригадой и управляющими и внутри самой бригады ниндзэ — заботу и любовь, присущие отношениям между матерью и детьми, — в форме проявления доверия менеджеров к операторам и операторов друг к другу. Это породило гири — долг признательности, выражающийся в стремлении членов бригады оправдать оказанное им доверие и в готовности к взаимной помощи. Операторы стали сообща думать над совершенствованием производственного процесса и, если случался брак, не скрывали его, а тут же исправляли.

Широкая четырехрядная дорога у Олимпийского комплекса в токийском парке Ёёги отдается по воскресным дням людям. Здесь же выступают с социальными и политическими протестами, и тогда в парке красный цвет знамен заслоняет зелень листья и над дорогой, до отказа заполненной колоннами демонстрантов, звучат боевые пролетарские песни.

«Такэ-но ко дзоку» — «племя детей бамбука» — тоже выражает в парке Ёёги недовольство лицемерием буржуазного общества, несправедливостью, пренебрежением к интересам молодежи, но делает это по воскресеньям, под паточку блюза или рваный ритм рок-н-ролла, не мешая другим играть в бадминтон, кататься на роликах, гулять в обнимку и петь хором.

«Племя детей бамбука» избрало формой протеста танец. Танцуют ребята и девушки под магнитофон не индивидуально, а группами по 10—20 человек, встав в круг. Они облачены в одежду ярких красок и фантастического покроя, сочиненного самими «детьми бамбука»: помесь древнеримских тог, индийских сари и европейских подвенечных платьев. В центре круга танцует лидер группы. При помощи свистка он командует танцующими. Невольно думаешь: вспыхни в Японии анархистское движение, оно окажется самым организованным движением в мире.

Большинство японских журналистов, с кем я знаком, внутренне богаты, их осведомленностью восхищаешься и ей завидуешь. Любой в состоянии сообщить первополосную сенсацию. Однако однообразны и безлики газеты и телепрограммы. И если сенсация все же выплескивается на печатные полосы и телеэкраны, то одновременно во всех газетах и на всех телевизионных каналах, причем подается повсюду почти одинаково. На пресс-конференциях журналисты из конкурирующих изданий и телекомпаний не стараются перешеголять друг друга интересными и острыми вопросами, а выделяют представителя, который и задает вопросы, общие для всех.

Способствуют обезличиванию прессы так называемые пресс-клубы. Их свыше 400. Они образованы при парламенте, резиденции премьер-министра, министерствах и ведомствах, больших банках и фирмах, руководящих органах политических партий, профсоюзов и других объединений общественности. Получать информацию о деятельности того или иного учреждения или какой-либо организации могут лишь члены соответствующего пресс-клуба. Пресс-клубы превратились в кружки, превосходящие средневековую японскую общину замкнутостью, спайкой и смирением перед лиде-

ром. Его роль воплощает глава учреждения или организации. Он-то и указывает, что, как и когда должны рассказать журналисты из пресс-клуба об учреждении или организации.

По существу, это те же самые танцы в парке Ёёги в исполнении «детей бамбука!» Участники коллективного действия грациозны, некоторые, без сомнения, талантливы, но вместе они безлика, хотя и броская по краскам толпа, подстраивающая свои движения под общую музыку и единые свистки-приказы лидера.

Скандалу со взятками, которые американский концерн «Локхид» выплатил японскому премьер-министру, министрам, виднейшим деятелям правящей либерально-демократической партии, ведущим предпринимателям, газеты и телевидение уделили значительное внимание. Но ни одна газета или телекомпания серьезно не проанализировала причины массового высокопоставленного мздоимства. Свисток, предписывавший сделать это, не прозвучал в пресс-клубах ни при прокуратуре, ни при резиденции премьер-министра, ни, естественно, при штабе либерально-демократической партии.

Общинный коллективизм слеп. Он действует независимо от благородства или низменности цели группы, от чистоты или корысти помыслов лидера. Японец в высшей степени честен и законопослушен, когда дело касается его лично, однако во имя интересов фирмы он способен скрыть факты загрязнения фирмой окружающей среды или помочь фирме уклониться от уплаты налогов.

В длинной цепи скандалов, связанных с коррупцией, разоблачение руководителей Японской корпорации международной телеграфной и телефонной связи, дававших миллионные взятки правительственным чиновникам, явилось не меньшей сенсацией, чем дело «Локхида». В разгар следствия покончил с собой советник корпорации. В предсмертной записке он написал: «Я был обыкновенным человеком без каких-либо способностей. Я многим обязан президенту и генеральному секретарю корпорации. Когда мне исполнилось 58 лет и я должен был уйти со службы по возрасту, они предоставили мне специально созданную должность — так называемого советника канцелярии президента. Я усердно работал, чтобы отплатить за доброту. Я старался наилучшим образом выполнять их приказания. Лишая себя жизни, я хочу уменьшить груз преступления, совершенного ими обоими».

Среди японцев почти не было мучеников, ставивших убеждения выше собственной жизни, но принявших смерть за своего господина известно немало.

Когда американская комиссия по контролю над операциями с ценными бумагами — та самая, что вскрыла дело «Локхида», — дозналась о взятках авиастроительной корпорации «Грумман» японским правительственным чиновникам и токийская прокуратура занялась выяснением, какую роль в этом преступлении сыграла фирма «Ниссё-Иваи» — торговый представитель «Груммана» в Японии, — внезапно покончил самоубийством один из управляющих «Ниссё-Иваи», Мицухиро Симада. Выяснилось, что со смертью Симады прокуратура лишилась самого важного свидетеля выплаты вице-президентом «Ниссё-Иваи» 500 миллионов иен руководителю Управления национальной обороны за согласие купить для военно-воздушных сил Японии самолеты-разведчики «Е-2С», которые выпускал «Грумман». Совершенно не замешанный в мздоимстве Симада предпочел выброситься с седьмого этажа, чтобы не делать мучительный для японца выбор: остаться честным и сообщить правду о нарушении вице-президентом закона или совершить уголовно наказуемый поступок, но продемонстрировать гири по отношению к своему непосредственному начальнику.

Долг признательности к бывшему премьер-министру Какуэю Танаке выполнил его личный шофер, который доставлял в резиденцию главы правительства ящики с деньгами — тайными выплатами за помощь американской авиастроительной корпорации «Локхид» в реализации ее продукции на японском рынке. Шофер отравился выхлопными газами в автомобиле и унес с собой в могилу доказательство о взяточничестве премьер-министра.

Полиция вынуждена считаться с общинным представлением японцев о преданности и долге. Если нити преступления ведут к крупному бизнесмену или высокопоставленному чиновнику, следователи начинают дознание на низших ступенях иерархической лестницы, стараясь не бросить и тени подозрения на ее вершину. В этом случае в распоряжении следователей оказываются живые, а не мертвые свидетели...

Иностранцев неизменно поражает обилие ярлыков и этикеток на товарах в японских магазинах. Иногда кажется, что на изготовление ярлыков и этикеток затрачено больше средств, чем на производство самого товара. Возможно, так это подчас и бы-

вает. Но японец, затрудняющийся, как правило, принять самостоятельное решение, без ярлыков и этикеток товар попросту не приобретает.

Подарки японец покупает обязательно в самых известных универмагах, уплачивая вдвое, а то и втрое дороже, чем в обычных магазинах. ●Отправляясь в путешествие, японец останавливается в знаменитых отелях. Если вещь из Парижа, то в представлении японца она очень хороша. Названия универмага и отеля, происхождение вещи — те же ярлык или этикетка, воздействующие на японца, словно указание лидера.

Далеко не все хайку любимейшего в Японии поэта XVII века Мацуо Басё возможно перевести на иностранный язык. Трехстишия, что рассчитаны на понимание людьми, обладающими общинным сознанием, непонятны и даже смешны тем, кто лишен такого сознания.

О. Мацусима!  
О. Мацусима, о!  
Мацусима, о!

В самом деле, что поэтического в таких стихах? На наш взгляд — ничего. Но почему же приходят в восторг японцы, декламируя это хайку? Стихи обращены к группе. Кто видел Мацусиму — самое, без сомнения, красивое место в Японии, — тому нет необходимости читать его описание. Тот приходит в волнение от одного лишь слова «Мацусима», тем более что сказано оно великим Басё. А не знающий о Мацусиме верит: если уж Басё, признанный лидер в японской поэзии, не смог описать это место, значит, оно воистину волшебной красоты.

Видный японский ученый Хироюки Араки меньше всего думал о принципах менеджмента, когда писал этнографический труд о стиле действий японцев, но его замечание, что «одним из источников появления у них поразительной энергии, позволившей Японии добиться значительных успехов, является механизм групповой логики и подчинения воле лидера», вполне годится в качестве определения самой важной, с точки зрения японского менеджмента, задачи организации производства. В расширенное воспроизводство общинного сознания (то есть в совершенствование механизма групповой логики, механизма подчинения людей труда, или персонала, как предпочитают выражаться менеджеры, воле лидера) и делают щедрые вложения японские предприниматели. Эта идеологическая лоботомия, производящая на свет манкуртов, приносит огромную материальную выгоду. На доллар выплаченной заработной платы японский рабочий создает продукции в среднем на 4 доллара 30 центов, а американский рабочий — на 3 доллара 70 центов. Ясно, что предпринимателям хочется превратить механизм групповой логики и подчинения воле лидера в вечный двигатель.

Японскую фирму-общину иногда сравнивают с контрольной башней в аэропорту, откуда осуществляется полное руководство жизнью, влечениями, помыслами работника. Точнее было бы сравнить ее со сторожевой вышкой в лагере принудительного труда. Под цепким взглядом бдительного лидера-охранника смиренно блюдет японец лагерные порядки, ведь послушнику грозит изгнание за пределы лагеря. В искаженном идеологической лоботомией представлении японца изгнание ведет не к освобождению, а к гибели. За пределами лагеря он избавится от недреманного ока лидера, но лишится поддержки, сочувствия, заботы, любви солагерников.

### ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ

Нет для японца более жестокой кары, чем оказаться выброшенным из общины в чужой мир, простирающийся за ее границами. К высшей мере наказания — изгнанию из общины — приговаривали раньше и приговаривают теперь только за самое тяжкое в глазах общинников преступление. Это не хулиганство, не воровство и даже не поджог, а поступок, который лидеры общины могут выдать за измену ей, за попрание ее интересов.

В концерне «Мацусита дэнки» рабочего уволили за распространение в цехе газеты коммунистов «Акахата». Рабочий обратился в суд. Если бы дело об антиконституционном произволе руководства концерна не привлекло внимания широкой демократической общественности, суд скорее всего удовлетворился бы доводом ответчика, что рабочий действовал во вред общине, противопоставил себя ей, и отверг бы иск. Но в защиту рабочего выступили компартия, профсоюзы. По решению суда концерн вос-

становил рабочего на работе, но подверг его типично общинному наказанию. Оно оказалось страшней, чем любое иное.

У входа на завод подле проходной построили домик — однокомнатную будку. Строптивому рабочему было сказано, что отныне его производственное задание — находиться в будке весь рабочий день и... ничего не делать. В комнате был только стул, на котором и обязали сидеть рабочего. Зарплату он получал исправно наравне с членами его бывшей бригады. Через месяц рабочего отправили в больницу с нервным расстройством.

— Концерн подверг рабочего двойной пытке, — объяснил мне японский специалист по менеджменту. — Во-первых, концерн обрек рабочего на мучение бездельем. Но самым тяжким стало для рабочего насильственное отчуждение от группы, частью которой он себя считал. — Специалист-менеджер задумался, подбирая иллюстрацию, способную помочь мне, иностранцу, глубже понять иезуитское изуверство концерна, и сказал: — В европейских языках в слове «я» заключен смысл «индивидуум», «личность». В японском языке слово «дзибун» — эквивалент европейского «я» — означает «моя доля», «моя часть». То есть японец рассматривает себя частью какой-либо людской общности. Концерн лишил рабочего возможности считать себя такой частью, по существу, отнял у него «я», причем сделал это всенародно, вызвав у рабочего психический шок.

Община изобретательней средневековых монахов-доминиканцев по части форм наказания инакомыслящих и настойчивее и хитрее инквизиции в преследовании еретиков.

— Сначала мне срезали заработную плату. Потом лишили возможности заниматься журналистикой — перевели в редакции на техническую должность. Затем редактор журнала потребовал, чтобы я ушел по собственному желанию.

Тэцудзи Ёкота говорил нервно и торопливо. Боль искажала его лицо, и это, как выяснилось позже, была не только боль обиды.

Взять у Ёкоты интервью для советского телевидения я решил после выхода книги, в которой он разоблачил так называемую мясную мафию, грабящую в прямом смысле слова японских потребителей. И вот в просторном вестибюле токийского отеля «Палас» Ёкота рассказывал перед нашей кинокамерой о книге и о том, что произошло, когда она увидела свет.

Япония производит не много мяса и импортирует мясные продукты из-за границы. На прилавках импортное мясо появляется с ценниками, на которых стоимость указана за сто граммов — торговцы, надо полагать, опасаются, что, обозначив цену за килограмм, вызовут у покупателей инфаркт. И не исключено, что некоторых из них инфаркт действительно хватил, когда из книги Ёкоты они узнали: мясо при ввозе в Японию в 8—10 раз дешевле, чем на прилавке.

Первой наживается на мясном импорте полуправительственная Корпорация содействия развитию животноводства. После того как мясо проходит через нее, цена возрастает вдвое. Далее мясо совершает длинный и извилистый путь по сети оптовиков и в каждой ее ячейке становится дороже, превращаясь к концу путешествия в грозу для сердечно-сосудистой системы потребителя. Часть наживы оседает в сейфах корпорации и оптовиков, а часть оказывается в карманах чиновников министерства сельского хозяйства и политиков из правящей партии. Это плата за их содействие разбоем торговцев и чиновников. «Аферы «мясной мафии» похлеще тех, что проделывали участники дела «Локхида», — заключил Тэцудзи Ёкота в своей книге. — Власть и богатство мафии невероятны».

Эти-то власть и богатство и обрушились на отступника от законов общины. Ведь Ёкота работал в журнале, издававшемся Корпорацией содействия развитию животноводства, иначе говоря — в общинном печатном органе.

— Я отказался подчиниться требованию редактора и уйти из журнала, — продолжил Ёкота рассказ перед кинокамерой. — Тогда по приказу шефа послушные ему работники принялись травить меня и даже избили. — Ёкота осторожно дотронулся до левой руки. — А сегодня меня уволили...

Журналист умолк, и я, повернувшись к кинокамере, захотел подытожить интервью. Однако едва произнес: «В конституции Японии есть статья шестнадцатая...» — как человек в черном костюме встал между мной и кинооператором.

— Здесь нельзя брать интервью! — резко сказал он.

— Неправда. Журналисты часто используют вестибюли гостиниц. Кроме того,

я заручился согласием гостиничного менеджера. Да и снимаем мы в самом дальнем углу, где никому не можем помешать.

— О чем интервью? — не унимался человек в черном, приготовив блокнот и карандаш. — Что за книгу вы держите? Я служащий отеля, — представился наконец он. Вопросы явно выходили за рамки компетенции гостиничного служащего.

— Вы крутились вокруг нас с самого начала съемок и прекрасно слышали, о чем мы говорили, — сказал я и с микрофоном шагнул к человеку в черном. — У меня вопрос теперь к вам. Кто подослал вас помешать господину Ёкоте сделать заявление для телевидения?

Человек в черном отпрянул, засеменял к выходу из отеля и кликнул дежуривших там сотрудников внутренней охраны. Подвести итог интервью пришлось на улице:

— В конституции Японии есть статья шестнадцатая, гарантирующая свободу слова, и статья двадцать первая, провозглашающая свободу печати. «При звоне военной амуниции как презренны все конституции», — говорил Козьма Прутков. Японская конституция презренна и при безмолвных репрессивных действиях мощных экономических и политических общин.

Вероятно, не бывает более острого ощущения одиночества, чем в токийском метро в предзакатный час. Не дающий тени люминесцентный свет ровно заливает желтые кафельные стены подземных переходов и просторные залы, усиливая чувство пустоты и щемящей сиротливости. Жалюзи на окнах и дверях многочисленных магазинов, лавок, кафе, ресторанов, которых под землей не меньше, чем наверху, еще опущены, рекламные витражи с девицами, самозабвенно красящими губы помадой «Сисэйдо», радостно надевающими белье «Вакол» и падающими в обморок от восхищения автомашиной «тоёта-королла», еще мертвы. Жалюзи и решетки со скрипом спрячутся в потолок и витражи вспыхнут разноцветными огнями, когда в метро войдут первые пассажиры.

У лестницы на улицу замечаю длинную картонную коробку с надписью на боках: «Холодильник «Тосиба». Нет, на сей раз это не реклама. В коробке что-то зашуршало, крышка отодвинулась в сторону, и, как в сказках про привидения, появилась человеческая голова. Дзиро Ямакаву, кому коробка из-под холодильника служила домом, я предупредил накануне, что буду снимать его для советского телевидения.

На 20 тысяч иен, которые я подарил Ямакаве, он вымылся в бане, постригся, побрился, купил брюки. Обитатели ночлежки в спектакле «На дне» выглядели бы франтами в сравнении с Ямакавой, каким он был вчера. Лохмотья из мхатовского режиссера воссоздают на театральной сцене колорит мира отверженных, но не вызывают у зрителей чувства гадливости. Лохмотья же Ямакавы заставили бы зрителей, я уверен, выключить телевизор.

Дзиро Ямакава поселился в метро двадцать лет назад. С горькой иронией он назвал себя самым свободным человеком в Токио — свободным от работы, от денег, от семьи, от забот.

— Если бы можно было сделаться еще и свободным от голода, я считал бы себя и самым везучим человеком, — добавил Ямакава.

Его бравата исчезает, однако, когда он думает, что никто не наблюдает за ним.

— Я ничего не делаю, ничем не занимаюсь, — сказал Ямакава, когда кинооператор включил камеру. — И так каждый день. Из месяца в месяц. Из года в год. Я собираю выброшенные пассажирами журналы, газеты. И если они чистые, продаю их, чтобы купить еду. Я не один здесь такой. Выброшенных газет и журналов не хватает на всех, и между нами случаются драки.

Всеведущая японская статистика утверждает, что через эту станцию метро ежедневно проходят около 600 тысяч человек. 18 миллионов в месяц. Но при виде Ямакавы ни у кого не возникало за все двадцать лет желания соотносить жизнь бродяги со статьей 25-й конституции страны. Статья гласит: «Все имеют право на поддержание минимального уровня здоровой и культурной жизни». Такое желание не появилось не только потому, что 70 процентов японцев никогда не держали в руках основной закон страны. Как и для Ямакавы, он бесполезен для них и, следовательно, неинтересен. Безразличие к Ямакаве и ему подобным вызвано прежде всего тем, что отринутому общиной человеку может оказать помощь лишь сама община, если, конечно, простит изгоя, и никто другой.

— Что вы думаете о своем будущем? — спросил я Ямакаву.

— У меня нет будущего. Человек, опустившийся на дно, подняться уже не мо-

жет. Ему не дадут сделать это. Я теперь не живу, а только существую. И думать о будущем мне совсем не хочется. Единственное, что волнует меня, — как прожить сегодня.

— Чувствуете ли вы в себе волю к жизни?

— Нет. Воли у меня нет.

— Нисколько?

— Совсем нет. Я не могу, да и не хочу бороться. Для меня все кончено.

Аристотель афористично заметил, что человек вне общества — либо бог, либо зверь. Места богов давно заняты. Ямакава может рассчитывать лишь на пожизненную конуру, устроенную в картонной коробке у выхода из метро.

Община, с которой Ямакава когда-то связал судьбу, не окажет ему помощи и не примет его опять в свое лоно. Ямакава участвовал в забастовке, что с точки зрения хозяина фирмы, где Ямакава работал, было нарушением интересов общины и попранием чувства гири. Другие рабочие не посмели перечить общинному лидеру, который и уволил Ямакаву. Я не преувеличил, назвав изгнание из общины высшей мерой наказания.

Современному промышленному производству сотрудничество соответствует больше, чем разобщенность. В попытке примирить нынешний уровень производительных сил со вчерашним характером производственных отношений в Японии сделали ставку на культурно-исторический феномен японской нации: на общинное сознание, формирующее примитивный коллективизм. Разумеется, разрешить главное противоречие эпохи общинное сознание не может, но в условиях капиталистического способа производства оно оказалось ближе современным общественным потребностям, чем взращенный капитализмом индивидуализм и его продолжение — человеческий антагонизм. Поэтому всегда колеблющиеся весы капиталистического развития и клонятся сейчас в пользу Японии.

### НЕОПЛАТНЫЙ ДОЛГ

В разговорах о своих фирмах, учреждениях, организациях японцы употребляют обычно слово «ути». Прямое значение этого слова — дом, семья.

— Можно отказаться от прежних взглядов, развестись и жениться снова, можно взять новые фамилию и имя, недопустимо лишь одно — изменить фирме, — услышала я от сотрудника концерна «Мацусита дэнки», ведавшего кадрами.

Высказывание кадровика — образное изложение сути пожизненного найма, одного из элементов японской организации труда. Учитывая все это, заманчиво сказать: связь «до гробовой доски» нанимателя и нанимаемого — плод общинности, пронизывающей сознание, жизнь и поведение японцев. Однако пожизненный найм возник не благодаря общинной философии. Она лишь помогает обосновывать необходимость его, весьма полезного предпринимателям и потому нужного им.

В XV—XVI веках общинное сознание пустило глубокие корни в японском обществе, но никто не считал обязательной для вассала преданность феодалу. Самурай — воинское сословие — легко отворачивались от обедневших князей и переходили на службу к князьям сильным и богатым, которые были в состоянии хорошо платить. И только с укреплением централизованной власти — ее сосредоточил в своих руках клан Токугава — непреложным правилом сделался конфуцианский постулат: «Самурай не может служить двум князьям, как преданная жена не может выйти замуж второй раз».

В период быстрого развития японского капитализма после революции Мэйдзи в 1868 году текучесть рабочей силы на предприятиях превышала 70 процентов, а в некоторых случаях, ставших хрестоматийными в литературе об истории японской промышленности, кадры на заводах и фабриках менялись в течение года полностью. Вряд ли есть нужда объяснять, сколь губительно это для производства и, следовательно, для прибылей предпринимателей. И они задумались над тем, как вернуть на заводы и фабрики, в фирмы общинные порядки.

Начали предприниматели с улучшения условий труда и быта рабочих, справедливо полагая, что расходы на это окупятся сторицей повышением эффективности производства. Со временем неадекватность «отеческой» заботы предпринимателей степени эксплуатации рабочих должна была сделаться очевидной, и потому вслед за мерами экономическими последовали меры идеологические, призванные оправдать корыстные действия предпринимателей. Пожизненный найм был объявлен концентрирован-



ным выражением «японского духа», что является синонимом духа общинного и, значит, делом чуть ли не богоугодным. Пожизненный найм, позволяя предпринимателю «отцу» в рамках фирмы «семьи» вить веревки из рабочих-«детей», не обременял в конце XIX — начале XX века капиталистов особо длительной заботой о каждом «ребенке»: средняя продолжительность жизни японца составляла тогда сорок четыре года.

Освященный традицией пожизненный найм обрел в 1938—1939 годах силу юридического закона: правительство приняло декреты «О всеобщей мобилизации нации» и «О всеобщей регистрации рабочих». Прикрепление трудящихся к месту работы и их вынужденная готовность приносить личные жертвы ради предприятия-«семьи» требовались для быстреего перевода промышленности на военные рельсы.

Для Соединенных Штатов разгром японского милитаризма превратил Японию из поверженного врага военного в потенциального врага торгового. И чтобы не позволить Японии быстро восстановить индустриальную мощь, генерал Макартур наряду с другими мерами распорядился возродить на японских предприятиях систему пожизненного найма, полагая правыми тех американских экономистов, которые утверждали: «Подобная форма найма — исторический анахронизм, нелепый в условиях индустриализирующегося общества и вредный с точки зрения динамичности производства». Я процитировал доклад группы американских экспертов, побывавшей в Японии в первый послевоенный год. Эксперты не ошибались, если исходить из концепций американского менеджмента. Но эксперты не учли способности японских предпринимателей поставить себе на службу общинное сознание.

Японский деловой мир безропотно подчинился приказу оккупационных властей, и сейчас Акио Морита, основатель фирмы «Сони» и председатель ее правления, на беспрепятственно задаваемый ему американскими журналистами вопрос, почему продуктивность в Японии растет быстрее, чем в США, неизменно отвечает: «К счастью, у нас действует система пожизненного найма, которую по иронии судьбы нам навязали Соединенные Штаты в период оккупации Макарура». И каждый раз в голосе Мориты звучит, по замечанию журналистов, изрядное злорадство.

У Мориты есть основания злорадствовать. «Американские рабочие лишены психологической гарантии занятости, которая столь характерна для японского общества. У рабочего в Японии есть глубокая убежденность, что ему не нужно заботиться о получении работы и о своем доходе. Мы же боимся». Это признание принадлежит П. Друкеру, самому, пожалуй, видному американскому ученому в области менеджмента.

П. Друкер не единственный, кто отдает предпочтение японским предприятиям перед американскими с точки зрения психологической атмосферы на них. «По сравнению с США преданность персонала фирме в Японии выше, а усердие в работе — более распространенное явление», — написал профессор социологии и председатель Совета по восточноазиатским исследованиям в Гарвардском университете Э. Фогель.

Цифры статистики подтверждают выводы теоретиков менеджмента. Среднегодовая текучесть рабочей силы в США составляет 26 процентов. Бывают периоды, когда в американских компаниях сменяется в течение короткого времени половина рабочих, в отдельные годы — до 90 процентов. В Японии же текучесть кадров в 6—8 раз ниже, а в концернах «Мацусита дэнки», «Сони», «Тоёта», «Ниссан» она не превышает 1,5—2 процентов.

Окончив двенадцатилетнюю общеобразовательную школу, Хироси Сасаки поступил в техническое училище при автостроительной фирме «Ниссан». Оттуда пошел работать в штамповочный цех автозавода в городе Оппама. «Семья» фирмы «Ниссан» приняла в свое лоно Сасаки, то есть дала ему статус постоянного рабочего. Это означало, что фирма распространила на Сасаки ниндзэ — родительскую любовь и заботу, — а Сасаки, приняв любовь и заботу, согласился оплачивать их выполнением долга признательности. Этот долг ничуть не уменьшается со временем. Когда Сасаки взяла в фирму «Ниссан», в Японии насчитывалось 600 тысяч безработных. В 1984 году их стало свыше 1,5 миллиона. В течение последующих десяти—пятнадцати лет сделаются лишними, как утверждает правительственное Управление экономического планирования, 1 770 тысяч работников одинаковой с Сасаки квалификации. Так что долг признательности Сасаки в той части, которая относится к воздаянию за предоставление ему работы, сейчас даже возрос. Но не ограничилась забота фирмы выделением Сасаки рабочего места.

Сасаки женился на девушке, тоже работавшей в фирме «Ниссан», и переселился из общежития для холостяков в дом, принадлежавший фирме, где с Сасаки брали арендную плату, не превышавшую 6—7 процентов месячного семейного дохода. Для сравнения укажу, что арендная плата за жилье в государственных домах, считающихся в Японии самыми дешевыми, забирает до 30 процентов дохода японской семьи.

После рождения второго ребенка Сасаки решил обзавестись собственным домом. Фирма «Ниссан» через дочернюю компанию, занимавшуюся операциями с недвижимостью, помогла Сасаки купить землю дешевле, чем она обходится обычно, а банк, с которым связана фирма, предоставил Сасаки льготный кредит на строительство.

Со значительной скидкой фирма продала Сасаки легковой автомобиль «ниссан санни». Сасаки пользуется спортивным залом при заводе, его жена посещает курсы икэбаны в культурном центре фирмы. Фирма делает за Сасаки взносы в различные фонды социального страхования, частично берет на себя его расходы на медицинское обслуживание.

В фирмах «Ниссан», «Мацусита дэнки», «Хитати» выплаты на социальные нужды достигают 40—50 процентов фонда заработной платы. Вероятно, Сасаки догадывается: изрядная часть этих расходов — всего лишь компенсация того, что фирма недоплачивает ему в виде зарплаты. В стоимости продукции фирмы «Ниссан» доля заработной платы составляет только 7 процентов, а в стоимости продукции, например, американской автостроительной компании «Форд» — 30 процентов, а хозяев «Форда» никак не заподозрить в филантропии. С другой стороны, трудно, конечно же, Сасаки избавиться от представления о фирме как о заботливой семье. И потому сохраняется преданность Сасаки фирме. Знает он, что, пока верен ей, она его не уволит, даже если производство автомобилей сокротится. Фирма поступит, как надеется Сасаки, подобно, например, металлургическому концерну «Ниппон стил»: из-за падения спроса на сталь концерн закрыл один из своих заводов в городе Кимицу, а рабочих и служащих перевел на созданный в окрестностях завода сельскохозяйственный комплекс. Или подобно концерну «Мацусита дэнки». После первого энергетического кризиса уменьшился сбыт цветных телевизоров — и 10 тысяч рабочих концерна оказались не у дел. Их не уволили. С телевизионных заводов рабочих перевели в сектор сбыта концерна, где они полгода занимались торговлей готовыми телевизорами, пока не продали все, что скопилось на складах.

Знает Сасаки и другое: благополучие его и его семьи будет тем продолжительнее, чем дольше сохранится в фирме высокий уровень производства. Естествен поэтому строй рассуждений Сасаки:

— Я чувствую ответственность за каждый автомобиль, создаваемый фирмой. Если я слышу, что автомашина фирмы «Ниссан» имеет какой-либо недостаток, я испытываю ощущение личной вины.

Забота о Сасаки и его семье обходится фирме в немалые деньги. Но разве не окупаются эти «вложения в персонал» встречной заботой вечного должника Сасаки о количестве и качестве выпускаемой им продукции? Разве «вложения в персонал» для фирмы «Ниссан» не оборачиваются барышами более высокими, чем прибыли многих других японских и зарубежных компаний?

На заводах американской автостроительной компании «Форд» один работник произвел в 1982 году в среднем 13 автомашин, а на каждого работника фирмы «Ниссан» пришлось тогда 46 новых автомобилей. С тех пор разрыв увеличился, надо полагать, еще больше, поскольку производительность труда в «Ниссан» возростала на 10 процентов в год, а в «Форде» застыла на прежнем уровне. В фирме «Ниссан» не только производят больше автомашин, но и делают их лучше. Японский автомобиль ломается в 10 раз реже, чем американский. Что касается прибылей, то «Ниссан» занимал второе место в списке самых преуспевающих японских фирм.

В пятьдесят пять лет Сасаки уйдет с завода по возрасту. Получения государственной пенсии надо ждать еще пять лет. Однако она ничтожна. В Японии бюджетные расходы на пенсии одни из самых низких в мире: менее процента национального дохода. На пенсию семья существовать не может, даже впроголодь. «Ниссан», как и все частные фирмы в Японии, пенсий не выплачивает. Уходящему из фирмы по старости работнику она вручит выходное пособие.

Средняя продолжительность жизни японца превосходит теперь семьдесят четыре года. Покинув работу, Сасаки будет иметь «в запасе» еще лет пятнадцать—двадцать, а то и больше. Да и детям еще предстоит помогать. Если Сасаки и удастся устроиться

на временную работу — на постоянное место **пожилых** не берут, — заработная плата все равно не покроет повседневных семейных расходов. Однако надежда на повторное трудоустройство мала: по прогнозу Управления экономического планирования, вместе с Сасаки станут искать временную работу 900 тысяч его сверстников. Значит, от выходного пособия будет зависеть существование Сасаки и его семьи.

Сознание этого не покидает Сасаки никогда. Вот почему он ежедневно трудится с полной отдачей сил, причем в самом прямом смысле. Бывает, возвращается домой уставшим настолько, что засыпает за обеденным столом с палочками для еды в руках. Сумма выходного пособия определяется исходя прежде всего из финансового состояния фирмы, и Сасаки хочет, чтобы к моменту его увольнения по возрасту фирма оставалась прибыльной.

Сасаки не помышляет о перемене работы — ведь размер выходного пособия исчисляется путем умножения месячной заработной платы на количество проработанных в фирме лет. Сасаки не допускает и малейшего нарушения дисциплины — за уже истекшие двадцать лет пребывания на заводе в Оппама он ни разу не опоздал к началу рабочей смены — и поэтому резонно рассчитывает, что величина выходного пособия отразит его примерное поведение.

Сасаки так прилежен, что из пятнадцати дней положенного ему ежегодного оплачиваемого отпуска использует только неделю, да и то не всю сразу, а прибавляя по одному дню к субботам и воскресеньям. Взять весь отпуск, и вдобавок в один прием, непатриотично по отношению к фирме-«семье». Отказ от сверхурочных работ, часто не оплачиваемых, располагается на шкале общинных моральных ценностей тоже против отметки «пренебрежение интересами фирмы». Непатриотичность и пренебрежение интересами фирмы неблагоприятно сказываются на сумме выходного пособия.

На заводе фирмы «Ниссан» в городе Оппама точечную сварку автомобильных кузовов выполняют роботы. Они и задают темп технологической цепочки, которая продолжается в цехе сборки, где люди насыщают плывущие на конвейере кузова всем, что необходимо иметь автомобилю.

Молодой парень с отверткой в одной руке и тремя шурупами в другой нырнул в открытый багажник. Он лег там плашмя — я видел только локоть, торчавший наружу. Три одинаковых молниеносных движения рукой — и парень пулей вылетел из багажника. Длинными быстрыми скачками, похожими на те, какие в тройном прыжке предшествуют завершающему толчку, парень достиг стеллажа рядом с конвейером, схватил новые три шурупа и, словно спортсмен, рвущийся к рекордному флажку у дальнего края ямы с песком, кинулся в багажник следующего кузова. Три четверти часа — от начала этого беличьего бега в колесе до сигнала на пятнадцатиминутный перерыв — парень ни на миг не сбавил скорости.

Казалось, люди на конвейере походят на роботов. Или это роботы обладают сходством с людьми? Если исходить из японской специфики, оба сравнения правомерны. Ведь и роботы и люди используются на крупных предприятиях в Японии пожизненно: до изнашивания или старения — физического или морального. Разница только в том, что человеку далеко не безразлично, обладает он работой или лишен ее. Поэтому-то парень на конвейере и старался поспеть за роботами.

Когда я вошел в конструкторское бюро телевизионного завода концерна «Мацусита дэнки» повторилось то, чему я уже был свидетелем на сборочном конвейере здесь же, на заводе: никто из двух десятков инженеров, чертежников, операторов счетных машин не оторвался от дела, никто не бросил и взгляда в сторону иностранца.

— В конструкторском бюро захронометрировано время всех операций, — объяснил мне.

И не только операций. Восемь минут за смену позволено потратить сотруднику конструкторского бюро на туалет, на перекуры. Сорок пять минут — продолжительность обеденного перерыва. Отлучаться за пределы завода запрещено. Книгу или справочник из библиотеки в конструкторское бюро приносит курьер. Время, которое ему требуется, захронометрировано тоже. Совещания в рабочее время не проводятся. Плакаткам, легучкам отведено пятнадцать минут до начала смены. Инженеры не делают того, что входит в обязанности чертежников или операторов счетных машин. Даже карандаши точит для них специально приставленный к такой работе человек. Концерн считает: раз он платит инженерам-конструкторам за технические идеи и их разработку, значит, за свои деньги должен получать максимум.

Пожизненный найм работников обходится концерну слишком дорого, чтобы разбрасываться минутами, которые могут принести прибыль. Не допускают напрасной траты времени и сами работники: их долг признательности слишком велик, а жизнь чересчур коротка.

В своеобразных условиях Японии пожизненный найм способствует повышению эффективности капиталистического производства не только потому, что благодаря такой форме организации труда увеличивается продуктивность. Постоянным работникам крупных предприятий — весьма многочисленной и наиболее квалифицированной части рабочего класса — интенсивно внушается уверенность в пожизненной занятости, и они не противятся совершенствованию технологии и автоматизации производства. Здесь одна из причин лидерства Японии в изготовлении и применении автоматизированных гибких производственных систем, промышленных роботов, компьютеров.

Начиная с 1975 года выпуск в Японии автоматизированных гибких производственных систем возрастал ежегодно в среднем на 70 процентов. Подобные темпы приводили американских конкурентов в смятение. В 1982 году в Японии использовались уже 103 500 промышленных роботов, больше, чем во всем остальном капиталистическом мире.

«Двадцать пять лет назад, когда я поступил в фирму «Хитати», — рассказывал инженер этого электронного и электротехнического гиганта корреспонденту французского журнала «Нувель обсерватёр», — мы с помощью провода и отвертки с трудом пытались скопировать старые приборы компании «Радио корпорейшн оф Америка», а теперь мы, японцы, держим в руках 75 процентов мирового рынка полупроводников».

США — родина компьютеров. Но в японском академгородке Цукуба конструируется компьютер, который станет совершать 10 миллиардов операций в секунду — в 100 раз больше, чем самый новый компьютер в Америке. Чтобы доходчиво объяснить мне, сколь не похож будущий японский компьютер на все ныне имеющиеся, инженер-разработчик сказал:

— Если бы мы построили этот компьютер, используя теперешнюю технологию, он оказался бы величиной с тот московский стадион, где вы в восьмидесятом году открывали Олимпийские игры. Наш же новый компьютер будет не больше стиральной машины.

Сонм специалистов по полупроводникам с вызывающей головкружение зарплатой священнодействует на предприятиях в знаменитой Силиконовой долине в Калифорнии. В стерильно чистых комнатах, облаченные в специальные сапоги и перчатки, в белые халаты и шапочки, инженеры копошатся в оранжевом свете, словно сонные рыбы в аквариуме. Специалисты эти делают самые миниатюрные в мире микросхемы. 20 процентов продукции отправляется в брак из-за несовершенства человеческого глаза и недостаточной прворности людских рук.

В Японии те же микросхемы производят роботы, которым неизвестна усталость и чужды ошибки. Небольшое число выпускников университетов с начальной, то есть невысокой, заработной платой через ЭВМ контролируют роботов. В их задачу входит лишь поглядывать на приборы.

О зависимости высокого качества японской продукции от пожизненного найма я спросил у председателя правления фирмы «Сони» Акио Мориты.

— Это широкий комплекс связей, — ответил он. — Назову лишь главную, на мой взгляд, связующую нить. Рабочий бывает виновным в браке только на десять—пятнадцать процентов, — убежденно сказал Морита. — На восемьдесят пять—девяносто процентов ответственность за брак ложится на руководителей производства на бригадном, цеховом, заводском, фирменном и отраслевом уровнях.

Я не посмел усомниться в правоте Мориты, поскольку он сам руководитель производства на фирменном, выражаясь его словами, уровне.

— То есть брак идет там, — приступил к объяснению председатель правления фирмы «Сони», — где руководителями плохо организован труд, где отсталая технология, несовершенные механизмы, где используется низкосортный исходный материал. Проблема качества не решается быстро, — подчеркнул Морита. — Менеджерам подчас требуется для этого продолжительный срок. Им нужна, кроме того, уверенность в стабильности своего положения в фирме, чтобы они могли спокойно разрабатывать и без опаски за свое будущее применить самое радикальное решение проблемы. Почему без опаски? — Морита взглянул на меня, словно желал удостовериться, правильно ли предугадал мой вопрос, и, заметив, что я утвердительно кивнул, сказал: —

Нередко решение проблемы качества заставляет поступиться на время прибылями. В Японии это осуществимо, а вот, к примеру, в Америке нет. Там управляющие стремятся к немедленным прибылям.

Хочу прервать рассказ председателя правления фирмы «Сони» Акио Мориты, чтобы указать, почему японские фирмы меньше, чем американские, заинтересованы в сиюминутной максимальной прибыли. Это вызвано отчасти тем, что деньги акционеров, желающих сразу же получать большие дивиденды, обеспечивают только одну шестую часть капиталов японских фирм, тогда как в США средства пайщиков составляют половину фирменных капиталов. Для банков, кредитами которых живут японские предприниматели, важен долговременный и поступательный рост фирм. Банки, как и сами фирмы, готовы отложить получение сиюминутной прибыли ради совершенствования фирменной деятельности, которая принесет прибыль более высокую, чем сегодня.

— Если американские управляющие не обеспечивают месячную, квартальную, полугодовую, годовую прибыль, их увольняют,— продолжил Морита. Это соответствует действительности. Известны случаи годовой текучести двадцати пяти процентов управляющих американских фирм, причем эти кадровые изменения охватывали даже слои вице-президентов.— Где уж им,— Морита всплеснул руками,— разрабатывать долгосрочную стратегию улучшения качества! В Японии же менеджеры наняты пожизненно, у них есть стимул заботиться о будущем фирмы, о товарах, которые она станет выпускать через пять, десять или пятнадцать лет.

#### «СЕЗОН ОХОТЫ»

Дневное оживление приходит в токийские деловые кварталы Маруноути и Отэматэ позже, чем в другие районы японской столицы: между девятью и десятью часами людские потоки выплескиваются на дотеле пустынные улицы из Токийского вокзала, из метро и растекаются к зданиям банков, фирм, государственных учреждений — из них сплошь состоят Маруноути и Отэматэ. Так происходит круглый год, кроме 1 октября, когда длинные очереди молодых людей выстраиваются на рассвете у еще закрытых стальными жалюзи дверей. В этот день в Японии начинается «сезон охоты».

Рассказывают, что в 1890 году тогдашний министр финансов принц Масаёси Мацуката со шляпой в руке пришел за милостью к Яносукэ Ивасаки, основателю и владельцу торгового дома «Мицубиси сёдзи». Ныне это крупнейшее в Японии торговое предприятие. Японские финансы находились в полном расстройстве, и, чтобы спасти их, принц попросил Ивасаки купить у государства большой пустырь Маруноути. Богатый купец легко отдал за него 1,5 миллиона иен. Сейчас за такие деньги в Маруноути можно купить чуть больше 50 квадратных сантиметров земельной площади. Друзья поинтересовались у Ивасаки, зачем ему пустырь. Ивасаки объяснил: «Я обнесу его забором из бамбука, запущу тигров, и мы станем устраивать там тигровую охоту».

В наши дни вокруг Маруноути протянулся иной, незримый забор — из самых больших в Японии состояний. Непросто проникнуть за него: внутри собрались люди, в сравнении с которыми жестокие и кровожадные тигры выглядят ленивыми домашними котами. Здешние обитатели — владельцы или распорядители капиталов. Состояния притягивают к себе сильнее, чем богатства Востока манили крестоносцев и золото инков — испанских конкистадоров. Потому сохранилась здесь и охота. Она осталась столь же опасной и трудной, хотя теперь охотятся здесь не на тигров, а на рабочие места. Удачливому стрелку откроется проход в заборе, окружающем Маруноути. Для несчастливца охота может оказаться началом жизненного краха.

Охоту открывают 1 октября выпускники высших учебных заведений. Через полгода им предстоит получить дипломы университетов и колледжей — учеба оканчивается в Японии 30 марта. Юноши и девушки имеют право, как определило министерство труда, прийти в первый день октября в частную компанию или в министерство и предложить свои услуги.

Мое внимание привлекает оранжевая туристская палатка на гранитных ступенях терракотового небоскреба между парком, ограничивающим Маруноути со стороны императорского дворца, и Токийским вокзалом — центром квартала. Подхожу ближе и наблюдаю, как юноша, побрившись в палатке механической бритвой, надевает белую

рубашку, строгий галстук, темно-синий костюм-тройку, тщательно приглаживает коротко подстриженные волосы на голове и, уложив палатку в походный мешок, становится у входа в небоскреб первым. Он надеется, что кадровики располагающейся здесь фирмы по достоинству оценят его глущее стремление поступить к ним служащим. Открывается станция метрополитена, и в затылок первому становятся второй, третий, десятый, сотый соискатель рабочего места. К восьми часам утра цепочке темно-синих костюмов-троек не видно конца. 1200 молодых людей претендовали на 154 вакантных места.

Иду вдоль очереди. Спрашиваю о темах дипломных работ, чтобы составить представление о специализации выпускников. «Французская литература XVIII столетия», «Растительность острова Садо» — слышу ответы. Называют темы из истории, математики, химии, даже астрономии.

Что это за фирма, куда рвутся попасть и физики и лирики? Фирма занимается страховыми операциями. В ней высокая заработная плата. Быстрое развитие страхового дела позволяет думать о надежности этого вида бизнеса. Оттого самая длинная в Маруноути очередь и выстраивается 1 октября у подъезда фирмы.

Однако устроят ли фирму в терракотовом небоскребе, действующую в области финансов, биолог, филолог или историк? Кадровик фирмы рассеял мое сомнение:

— Нам не требуются специалисты. Нам нужны чистые листы бумаги. А то, что должно быть написано на них, мы напишем сами.

Начальник управления кадров концерна «Мацусита дэнки» высказался определеннее:

— Нам нужны положительные умы, а не критиканы. Необходимо, чтобы мы почувствовали: нанимаемые способны понять философию концерна.

Опасение ошибиться в кандидатах столь велико — наймто пожизненный! — что фирмы осмеливаются нарушать указание министерства труда и задолго до 1 октября командировать кадровиков в привилегированные университеты на поиски «положительных умов». Студентов тайно приглашают в фирму и ведут с ними переговоры.

В концерне «Мацусита дэнки» при отборе кандидатов не удовлетворяются ознакомлением с метрическим свидетельством и автобиографией. Кадровикам концерна мало посмотреть диплом учебного заведения и список экзаменационных оценок. Кадровики внимательно изучат документ, удостоверяющий право голоса, справку об уплате налогов, акт обследования состава семьи.

В «Мацусита дэнки» нельзя устроиться без рекомендации, причем рекомендующий должен пользоваться доверием концерна. Хорошо получить рекомендацию от человека, в нем работающего, так как поручитель несет ответственность за свою рекомендацию. Ему можно предъявить иск, если нанятый работник совершит проступок, не проявит должного усердия.

Следующий этап — вступительные экзамены. В концерне «Мацусита дэнки», в автостроительной компании «Тоэта» вчерашние школьники, которым предстоит труд на конвейере или за станком, экзаменуются по математике и японскому языку. Студенты, претендующие на место служащего или инженера, экзаменуются еще и по специальности, какой учились в университете. Среди добывающихся места инженера нет, понятно, филологов или историков. Это люди с техническим образованием.

Успешная сдача экзаменов дает право участвовать в собеседовании. Цель его — выяснить личные качества кандидатов, их характер, наклонности, индивидуальные устремления. Кадровиков чрезвычайно заботит, окажутся ли кандидаты психологически совместимыми с уже сложившимися на предприятиях и в конторах коллективами. У кандидатов в рабочие проверяются также физическая выносливость, быстрота реакции, точность глазомера.

Мне рассказывали, что президент одной из фирм готовил для кандидатов в служащие форель. Следя, как они отделяют мякоть от костей, президент пытался определить характер кандидатов. Президент другой фирмы приглядывался к манере кандидатов курить. Если человек держал зажженную сигарету большим и указательным пальцами и ломал окурки в пепельнице, он, как считал президент, неуравновешен, всегда неудовлетворен, бывает агрессивен. Кто поворачивал конец сигареты к ладони, был, по мнению президента, скрытной личностью. У того, кто гасил сигарету, выводя круги в пепельнице, президент усматривал манию величия. Подобные приемы постижения человеческой природы вызывают ироническую улыбку, но несомненно одно: подбор кадров в японских фирмах считается делом первостепеннейшей важности.

Преодолев высокие и многочисленные барьеры, новые работники проникаются дополнительным уважением к фирмам-«семьям», в которые их приняли, еще больше дорожат местом, доставшимся так нелегко.

В большинство крупных компаний новички принимаются условно и зачисляются в штат лишь после прохождения испытательного срока. Он длится от одного до трех лет. В компании «Тоёта» трехгодичный испытательный срок проходят все без исключения, даже простые рабочие. Во время испытательного срока фирма начинает выводить на «чистых листах бумаги» угодные ей письма. Три или четыре месяца, иногда полгода новичков знакомят с той областью бизнеса, к которой относится фирма, скажем электроникой, автостроением, банковским делом, и с перспективами, какие расчитывает открыть для себя фирма в своей отрасли.

Затем новички вникают в организационную структуру фирмы, уясняют выполняемые различными подразделениями функции. Потом их определяют на конкретную работу в контору или в цех и по истечении недели переводят из отдела в отдел или с участка на участок. Везде обучением новичков занимаются лично заведующие отделами или начальники участков. Они же каждый раз пишут на новичков характеристики. В компании тяжелого машиностроения «Мацубиси дзюкогё» испытательный срок кандидата в инженеры завершается подготовкой реферата на избранную новичком тему. Успешная защита реферата означает, что кандидат достоин статуса постоянного работника компании.

Научно-техническая революция усложнила производственные процессы, и фирмам недостает теперь времени и сил самим заполнять полностью «чистые листы бумаги». Дописывают «листы» в особых питомниках, одним из которых является «Школа Дьяволов».

### «ШКОЛА ДЬЯВОЛОВ»

Уже не ночь. Но еще и не утро. На фоне чуть посветлевшего неба можно разглядеть плавно разбегающиеся в стороны бока Фудзиямы, а внизу, в долине, тьма, прерченная светящимися пунктирами уличных фонарей в городе Фудзинюмия. Здесь, на границе нового дня и вчерашней ночи, безмолвие и неподвижность. И, прежде чем проснулись птицы пологий горный склон, на котором расположились два длинных здания с галереями на обоих этажах и похожая на армейский плац площадка с флажтком, вдруг огласилась песней, заставившей меня вздрогнуть — так внезапно и грубо вторглась она в предрассветный покой. Из мощных динамиков грянуло:

Дьявол-фельдфебель требует петь в четыре тридцать утра.  
Мы споем его любимый марш,  
И голос наш, подобно клятве однополчан,  
Пронзит ад до самого дна —  
Дна, где ползаем мы.

Мужчины в одежде, покроем напоминающей солдатскую форму, стремглав выбежали из зданий и построились на площадке в шеренги. Но дьяволу-фельдфебелю показалось, что построение выполнено недостаточно быстро. «Отставить! Назад!» — прогремел приказ, и мужчины побежали обратно в общежития-казармы. «Становись!» Опять толпа понеслась к флажткому. Снова: «Отставить! Назад!» — и чуть погодя: «Становись!» И еще раз: «Отставить! Назад!.. Становись!»... Вспомнился документальный фильм о муштре в старой императорской армии: «Лечь! Встать! Бегом! Лечь! Встать! Бегом! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать!»

Потом в интервью инструктор «Школы дьяволов» Акио Ивата скажет мне:

— Вы правы, обучение у нас похоже на армейскую муштру. Но ведь и бизнес есть война.

А директор школы Ясуо Мотохаси растолкует:

— Общинные условия, воссозданные на предприятиях и в фирмах, заставляют, конечно, персонал добросовестно трудиться. Но этого мало. Надо, чтобы персонал действовал стремительно и безошибочно. Как автоматы.

На верхушку флажтока пополз флаг — на голубом поле распластавший крылья орел. Застывшие в шеренгах люди хором запели гимн «Мы учащиеся «Школы дьяволов», славим пот, который выдубил нашу кожу, и кровь, что впитала опыт, добытый потом. Мы славим тебя, наша школа!»

На плацу 220 человек, очередной поток учащихся. Все служащие среднего звена промышленных и торговых фирм со стажем работы один-два года. Все, как того требуют правила приема в школу, физически здоровы и имеют спортивную подготовку. Фирмы платят тысячу долларов за тринадцатидневное пребывание сотрудника в школе. За год курс одолевают 5 тысяч человек.

У каждого, кто замер в шеренгах, на куртке 17 «лент позора». По числу дисциплин, изучаемых в школе. Сдал зачет — ленточку разрешат снять. Первая дисциплина, какой учащиеся занялись после утреннего построения, зарядки и завтрака, — составление отчета. Отчеты пишутся ежедневно о прошедших сутках учебы. Отчеты вкладываются в конверты и посылаются в фирмы, направившие в школу сотрудников. День ото дня на составление отчета отводится меньше времени, а для его написания выдается все меньший листок, но требования к содержанию делаются выше: отчет должен быть лаконичным, четким и полным, а главное — точным.

Другое занятие: разговор по телефону.

— Впечатление о фирме создается у клиента по первому телефонному звонку в нее, — услышал я от инструктора. — Кроме того, абонентная плата за пользование телефоном зависит в Японии от продолжительности разговоров.

В школе обучают говорить по телефону вежливо, как в храме, информативно, как при закладке данных в компьютер, коротко, как при отдаче команды идти в атаку. За две минуты — ответ на любой поставленный вопрос. Такова цель тренировки по этой дисциплине.

Что может быть привычнее человеку, чем дорога от работы до дома? Но каждый ли в состоянии объяснить ее другому быстро и столь понятно, чтобы тот в одиночку проделал путь, не блуждая и никого не спрашивая? В начале занятий в школе далеко не каждый. В конце почти все. Так учащиеся натаскиваются коротко и предельно доходчиво объяснять подчиненным производственные задачи.

Позитивное мышление — называется одна из 17 дисциплин. Совершенно бессмысленный текст в 600 слов надо выпалить наизусть без единой ошибки. Получается на сотый раз. Слова вылетают изо рта помимо сознания, но громко, четко и уверенно. Для этого отрабатывается дикция. Дисциплина далека от мышления, тем более позитивного, как философский словарь — от устава гарнизонной службы.

— Подобным образом и требуется передавать подчиненным приказы, поступающие от начальства, — сказал инструктор.

«Ситуация номер пять!» — командует инструктор. И учащийся на память декларирует перечень мер, которые необходимо предпринять, если фирма столкнется с трудностями, смоделированными в ситуации номер пять. Таких ситуаций сорок. Учащиеся обязаны вы зубрить рецепты на все сорок случаев. Разразился ли трудовой конфликт или банк отказал фирме в кредите, сократилась ли сумма от продажи или продукция перестала пользоваться спросом — выпускник школы должен в любом из сорока случаев поступать автоматически.

В первый день учебы главный инструктор «Школы дьяволов» Наоёси Фудзимори напутствует новобранцев:

— В школе вы должны вытравить в себе чувство собственного достоинства.

Ясуо Мотохаси об этом же сказал мне так:

— Наиболее частая причина невыполнения приказов — чувство стыда за поступки, которые требует выполнять начальство. Я придумал, — не без самодовольства похвастался Мотохаси, — как изживать подобное чувство среди учащихся школы.

В час пик перед вокзалом в Фудзиномии — самом людном месте города — на середину площади по очереди выходят учащиеся, громко, чтобы слышали прохожие, называют свое имя и место жительства и во все горло принимают петь. Находящийся в пятидесяти метрах инструктор не позволит «солисту» уйти с площади, пока песня не станет перекрывать уличный шум. «Истинный мужчина не опускает глаз! — надрываются «самурай бизнеса», как нарек Ясуо Мотохаси питомцев школы. — Истинный бизнесмен готов не смущаясь работать до испарины, чтобы произвести товар, и торговать им до обильного пота. Не падать духом никогда!» Текст «вокзальной песни» написал сам Мотохаси.

Последняя дисциплина — ночной марш. Сорок километров по горам надо преодолеть втроем или впятером, имея в руках очень условную схему местности, в рюкзаке сухой паек и немного воды, а в кармане 30 иен на группу: денег хватает только на вызов по телефону-автомату машины скорой медицинской помощи или поли-



ции. Задача — пройти весь маршрут, отметившись в контрольных пунктах, и в полном составе вернуться назад. Кто придет раньше, больше отдохнет, ведь в четыре тридцать утра начнется новый учебный день.

— Ночной марш преследует две цели,— сказал мне Мотохаси.— Во-первых, он воспитывает спаянность, умение действовать сообща и, во-вторых, решительность. Успешно проделать ночной марш можно, лишь точно выполняя приказы старшего группы, которому инструктор доверяет схему маршрута.

Мотохаси взял в руки пачку свидетельств об окончании школы, приготовленных для выпускной церемонии, потасовал их, словно игральные карты, разложил на столе веером и гордо произнес:

— Выбирайте любого. Качество гарантирую.

— На чем же основана ваша уверенность в качестве?

— Если к концу курса инструкторы не снимут с куртки учащегося все семнадцать «лент позора», такого учащегося фирма уволит.

### К ФИНИШУ — В ЕДИНОМ СТРОЮ

Типичная американская фирма. Фред продает конторское оборудование. Джим торгует запасными частями. Мэри отвечает за обслуживание проданного оборудования. Каждый несет персональную ответственность за свой участок работы. Вдруг заболел Джим. Конторское оборудование по-прежнему продается. Мэри готова, как и раньше, обслуживать его. Но нет запасных частей. И дело останавливается. Я пересказываю отрывок из американского учебного пособия по промышленному менеджменту...

Японцы Мицуо, Ёсио и Нори вместе занимаются и реализацией конторского оборудования, и торговлей запасными частями, и внефирменным обслуживанием. Все несут равную ответственность за результаты бизнеса. Они знакомы со всем комплексом деятельности фирмы, хотя, может быть, все тонкости продажи оборудования постигли не так глубоко, как Фред торговлю запчастями, не столь досконально, как Джим, и обслуживание — не с той обстоятельностью, как Мэри, но достаточно хорошо, чтобы в случае болезни одного двое других могли легко его заменить.

А вот рассказ служащего японского банка:

— Я позвонил в США, в американский банк по очень важному вопросу. Человечек, который поднял трубку, не смог ответить. Дальше хуже: мой собеседник не знал, кто в его банке ведает интересующей меня проблемой! И я вынужден был отправить на имя президента банка письмо с просьбой передать его соответствующему работнику. Невероятно, но факт: сотрудники американских банков так узко специализированы, что можно провести у телефона целый день и не отыскать нужного человека. Они не представляют даже, кто чем занимается!

В японской фирме служащий в первые десять—двенадцать лет работы переводится из отдела в отдел через каждые два-три года и каждый раз заново приобретает необходимые знания. Производственное обучение организует фирма. Она безропотно идет и на это «вложение в персонал», поскольку стремится избавить работника от так называемого тоннельного видения, то есть хочет дать ему представление о разных областях деятельности фирмы и научить в них действовать.

— Работа служащих концерна — это словно командная гонка велосипедистов.— Объясняли мне в «Мацусита дэнки». — Если к финишу приходит раньше всех только один из команды, а остальные спортсмены заканчивают дистанцию в хвосте, команда проигрывает. Победу одерживают те, кто финиширует вместе, пусть не так быстро, как первый, но не слишком отстав от него.

Можно, вероятно, согласиться со сравнением персонала японской фирмы с велосипедной командой — правда, с такой, какая идет к финишу, выстроившись плечо к плечу поперек дистанции, а не вытянувшись вереницей вдоль ее кромки. Участники команды меняются местами, однако не как в подлинном спортивном состязании, когда велосипедисты по очереди берут на себя роль лидера. В команде «Мацусита дэнки» или «Ниссан» сосед в шеренге слева перемещается на позицию соседа справа или наоборот: тот, кто справа, переходит налево, и команда следует к финишной черте, держа безукоризненное равнение. Лидер же находится за пределами дистанции. В командной рубке, и оттуда руководит движением команды и перестановками внутри ее.

Сэйти Танака, сорок девять лет, получил юридическое образование. Двадцать пять лет назад поступил работать в телевизионную компанию. Ему предоставили должность в юридическом отделе. Потом Танаке, как и всем, кто одновременно с ним был принят в телекомпанию, предложили пройти переподготовку. Танака стал звукорежиссером. Через три года Танака сделался редактором в отделе информации, а еще несколько лет спустя ему поручили постановку телевизионных спектаклей. В конце концов он занял пост руководителя отделом при дирекции. Благодаря разностороннему опыту Танака легко разрешает многие, подчас очень сложные, проблемы административного руководства компаний.

— Честно говоря, — признался, однако, Танака, — я всю жизнь хотел быть юристом, но компания рассудила иначе.

Воспринимаемая как желание общины воля лидера, в данном случае высшего начальства телекомпании, подавила личные устремления рядового общинника.

Бригада Сэйдзо Сакамаки в сборочном цехе завода фирмы «Ниссан» состоит из 18 человек. Через каждые шесть месяцев бригадир проводит «ротацию» членов бригады — переставляет их с одной операции на другую. За двадцать два года Сакамаки поработал на 12 местах, вник в тонкости производственного процесса и всегда сам учит рабочих новому для них делу. От понимания связей между операциями у рабочих увеличивается производительность труда, они с большей готовностью и квалифицированней улучшают методы производства и повышают качество продукции. На этом заводе в основном благодаря предложениям рабочих расход электроэнергии на изготовление одного автомобиля за пять лет сокращен на 26 процентов.

Подобно тому как Сэйдзо Сакамаки «ротировал» членов своей бригады, стоящий над ним менеджер-кадровик тасует состав всех бригад. Этот менеджер ведает межбригадной «ротацией». Ее назначение — образовать психологически совместимые трудовые коллективы. Менеджеру в этом помогают бригадиры, которые обязаны составлять на подчиненных помимо производственных и психологические характеристики. Подобрать бригаду из людей со сходным душевным складом, фирма принимает меры, чтобы сплотить их. Например, в одном из концернов с пятидневной рабочей неделей все работники должны по субботам приходить с женами и детьми на предприятие и заниматься в каком-либо из кружков: повышения квалификации или ритмической гимнастики, кройки и шитья или чайной церемонии. Во время цветения сакуры или листопада, когда горные склоны вспыхивают красным кленовым огнем, концерн вывозит по бригадам весь персонал на пикники. Явка обязательна, словно на работу. Для жен и детей тоже. Устраиваемые за счет концерна бригадные вечеринки с участием жен по случаю дня рождения членов бригады, приемы в связи с памятными для концерна датами — все это в конечном счете превращает бригаду из группы сослуживцев, соприкасающихся друг с другом с восьми утра до пяти вечера, а потом напрочь друг о друге забывающих, в кружок близких друзей, которые знакомы семьями. Председатель судостроительной фирмы «Мицуи дзосэн» Исаму Ямаса был прав, когда сказал: «Мы возродили старую общину на своих промышленных предприятиях». Это обходится, как несложно представить, в колоссальные суммы. И тем не менее подобные «вложения в персонал» оказываются выгодными: они способствуют повышению дисциплины рабочих, с одной стороны, и улучшению качества продукции — с другой.

На заводе фирмы «Ниссан» объяснения мне давал заведующий административным отделом Хидэнори Нагасава. От него я узнал, что на заводе разработали мотор, считающийся пока самым экономичным в мире, — компьютер позволяет достигать максимально эффективного режима работы двигателя при наивысшей экономии топлива, а также добиваться наиболее рационального использования энергии аккумулятора; что в цехах применяются 100 роботов — на сварке и покраске кузовов; что стоимость оборудования на одном рабочем месте составляет примерно 40 тысяч долларов, тогда как на заводах «Дженерал моторс» лишь 12 тысяч долларов...

— Вы говорите о машинах, — перебил я Нагасаву. — Но на заводе пять тысяч шестьсот рабочих. Бывают ли нарушения дисциплины, скажем прогулы?

— Крайне редко. Ведь автомобиль — плод общего труда. Упущение на одном рабочем месте сводит на нет труд всего завода.

— Так уж и думают рабочие об интересах всего предприятия! — усомнился я.

— Может быть, и не думают,— согласился Нагасава.— Но рабочий не захочет подвести бригаду. Ведь рядом с ним работают друзья, отношениями с которыми он очень дорожит.

Судя по общепонской статистике, на тысячу рабочих автостроительных предприятий приходится 25 дней, потерянных за год без уважительных причин. В США — 343 дня, то есть в 14 раз больше.

Японские газеты поведали историю, которую можно было бы отнести к жанру юмористического рассказа, если бы она не приключилась на самом деле. Одна японская фирма построила в США завод. Туда приехал японский директор. В понедельник утром он вышел на работу и отправился в сборочный цех. К своему ужасу, он увидел, что треть рабочих находится в состоянии, какое в Японии именуют «блюз по понедельникам», то есть они были или еще не протрезвевшими, или уже опохмелившимися. Директор-японец был близок к обмороку. Прерывающимся голосом он обратился к рабочему: «Как вы могли это допустить? Фирма никак не ожидала такого от вас!» Американец снял перчатки, бросил их на конвейер, вышел из цеха, с силой хлопнув дверью. За грохотом он не слышал, как за его спиной директор-японец упал с инфарктом.

Во время хорового пения гимна на телевизиорном заводе в «Мацусита Дэнки» я обратил внимание, как опоздавший к построению рабочий шмыгнул из раздевалки в цех и примкнул к шеренге товарищей. Начальник цеха и бровью не повел. Бригадир начально отвернулся в сторону. После окончания утренней церемонии я спросил начальника цеха, почему он сделал вид, что не заметил опоздавшего.

— Внушение, которое сделают нарушителю дисциплины члены его бригады, будет действеннее, чем мое замечание,— сказал начальник цеха.

В самом деле, потому и создаются в цехах психологически совместимые коллективы, что в кругу закадычных друзей трудно прогуливать, опаздывать, работать медленно и плохо.

«Ротируюсь» с одной работы на другую, с места на место, но в рамках фирмы, служащий не только познает на деле, чем она занимается, но и ее людей, у него возникает сеть личных отношений. Они пригодятся ему в будущем, а пока молодой служащий помогает расти тем, кто находится над ним, проявляя предупредительность, послушание и часто холопство. Здесь очень помогает наставник. Это менеджер среднего звена, не являющийся прямым руководителем молодого сотрудника. Он раскрывает подопечному секреты производства и учит взаимоотношениям внутри фирмы: к кому и как высказывать предупредительность, послушание и холопство. Отзвываясь перед начальством наставника, этого «крестного отца», может решить судьбу служащего.

Научиться внутрифирменным взаимоотношениям означает принять в качестве непреложного закона норму: продвижение по службе происходит в зависимости от возраста и стажа, а не от способностей, энергии, трудового вклада. Эти качества имеют, конечно, значение, но только как довесок к возрасту и стажу.

В одной из фирм хорошо знакомый мне сотрудник — назову его Като,— достигнув сорока двух лет, был назначен на должность начальника управления. Ни для кого не составляло секрета, что он не способен к нынешней работе. Знал это и сам Като. Когда бы я ни приходил в фирму, неизменно видел Като в кресле у окна с газетой или журналом в руках. Он искренне радовался мне, получая возможность разговором разноеобразить свое ничегонеделание. Иногда я заставал Като вытянувшим разутые ноги на придвинутый к креслу стул и безмятежно дремлющим.

Всю работу за Като выполнял заместитель, тридцатипятилетний Исии, сообразительный и, без сомнения, деятельный человек. Я набрался решимости и, презрев японский этикет, однажды прямо спросил Като, почему фирма мирится с его откровенным бездельем и не назначит начальником управления Исии. Давняя дружба с Като позволяла мне задать бестактный вопрос, а Като — честно на него ответить.

— Я старше господина Исии, и потому начальник я, а не он. Система продвижения по старшинству экономически оправдана, вероятно, мало,— согласился Като.— Зато фирма компенсирует потери созданием атмосферы гармонии среди персонала,— объяснил Като.— Никто не соперничает, желая обойти коллег на служебной лестнице. В фирме сохраняется стабильность кадров, ибо отсутствие достаточ-

ного стажа работы на новом месте отбросит ушедшего от нас работника на много ступеней вниз. И самое важное, — подчеркнул Като, — заместитель, господин Исии, уверен, что обязательно придет время, когда возраст и стаж позволят ему занять мой пост, и потому работает спокойно.

Удалось мне поговорить и с Исии. Он повторил слова своего начальника, добавив лишь:

— Господин Като знает, что пробудет в этой должности сколько положено, и не боится меня. Он даже старается помочь мне советом, рассказать о работе, чтобы я мог лучше к ней подготовиться.

Иными словами, при всей экономической несообразности японской системы продвижения по службе она имеет психологические плюсы: в фирмах нет подсиживания работниками друг друга, старшие по положению щедро делятся опытом с младшими, начальство не подавляет инициативу подчиненных, хотя бы оно и проигрывало на их фоне. Гармония по вертикали сохраняется нетронутой.

Что же станет с Като, когда ему подойдет срок подняться еще выше? Кто-то из японских социологов ввел остроумный термин, которым называют таких служащих, как Като: «мадогива но дзоку», что по-русски означает «племя сидящих у окна». Като удалят от постов, где принимаются реальные решения, но положат солидную зарплату за выполнение обязанности «советника» или «консультанта», не требуя от него ни советов, ни консультаций.

В Японии принято считать, что Токийский университет создает министров, университет Кэйо — деньги, университет Васэда — друзей. Незыблемая традиция воспитанников японских высших учебных заведений — хранить всю жизнь узы товарищества, перед крепостью которых бледнеют узы сицилийской мафии. Общинную преданность испытывают друг к другу государственные чиновники — выходцы в основном из Токийского университета, вожаки делового мира, возвращенные в Кэйо, ученые и писатели, выпестованные в Васэде.

Сейчас выпускник Токийского университета нередко приходит в промышленную или торговую фирму, а обладатель диплома Кэйо или Васэды — в правительственное ведомство, но характер отношений между бывшими однокашниками не меняется. Поэтому когда «Мацусита дэнки» или «Ниссан» берут на работу отличника из, скажем, Токийского университета, фирма получает не только будущего администратора, но и множество полезных связей: через двадцать лет однокурсники администратора займут ответственные посты в министерстве финансов, в министерстве внешней торговли и промышленности, в ведущих банках, в крупнейших фирмах.

Если, к примеру, министерствам нужно предпринять совместные действия, договориться им труда не составляет, особенно в тех случаях, когда затрагиваются общие интересы правящего класса или возникает угроза позициям бюрократии. Легко сделать это и деловому миру. Несложно скоординировать усилия также государственного аппарата и бизнеса — управляющие среднего и высшего уровней в министерствах и фирмах не просто знакомы между собой — одно это в подобной ситуации весьма существенно, — но и движимы духом солидарности.

Исао Накауты, хозяин разветвленной системы супермаркетов «Дайэй», лично беседует с пополнением фирмы. Каждому новому служащему он предлагает сделать выбор между семьей и фирмой. Если служащий отдает предпочтение семье, президент «Дайэй» хвалит его за верность домашнему очагу и навсегда оставляет на вторых ролях, не ущемляя, правда, в заработной плате.

— Тот, кто хочет руководить, — объясняет президент «Дайэй», — должен принести семью в жертву и рассматривать службу в фирме единственным смыслом своего существования.

Забота о беззаветно приверженных делу душой и телом администраторах понятна: решающую роль в достижении фирмами и государственными учреждениями прибыльности и эффективности играет в Японии среднее звено менеджмента.

Теоретически все одновременно принятые в фирму или в учреждение должны по достижении определенного возраста занять должность катё — заведующего сектором, а затем бутё — заведующего отделом. Однако чем выше должностной этаж, тем тесней площадка. Должностей катё меньше числа поднимающихся на иерархическом эскалаторе претендентов одного года найма. Должностей бутё вообще мало. Вот тут-то

предупредительность, послушание, холопство и начинают приносить дивиденды. Важно не кто ты есть, а кого ты знаешь. И еще принцип, забывать который поистине губительно: заслуги запоминаются, просчеты записываются.

Служащий крупной торговой фирмы вдруг оказался обойденным при очередном повышении в должностях сотрудников одинакового с ним возраста и стажа. Служащий обратился за разъяснением к начальству и услышал: «Три года назад 15 февраля вы опоздали на переговоры с клиентом». Никакой роли не сыграло, что те переговоры служащий провел с блеском и добился для фирмы выгодного контракта.

Большая машиностроительная фирма отремонтировала дом, где жили ее менеджеры среднего звена. Жена одного из заведующих секторами попросила ремонтных рабочих починить дверь в квартиру. Это фирменной сметой не предусматривалось, и женщина предложила деньги лично бригадиру ремонтников. Бригадир взять плату отказался, поскольку надеялся, что впоследствии с помощью заведующего сектором получит от фирмы новый заказ на ремонт. О бесплатной починке двери узнало высшее начальство, и в результате злосчастный заведующий сектором до ухода из фирмы по старости — целых пятнадцать лет — оставался в прежней должности, а его одноклассники продвинулись по службе дальше.

Важность звеньев катэ и бутэ обусловлена тем, что в японских фирмах большая часть власти делегируется высшими менеджерами бутэ (заведующим отделами), а те еще дальше вниз, катэ (заведующим секторами). Во многих фирмах бутэ решают, как следует вести дело, и берут на себя ответственность за его итоги. Высший менеджмент наблюдает, комментирует, сообщает потребную для бутэ информацию, но фактически не вмешивается, если не возникают чрезвычайные обстоятельства. Низший уровень менеджмента знает, что отвечать за свои поступки будет перед катэ, в особых случаях — перед бутэ.

Катэ на основании распоряжений бутэ решают, кто из сотрудников их секторов будет совершать ту или иную работу, определяют очередность ее выполнения в деталях и проверяют результат. В обязанность катэ входит кооперация с другими секторами и предотвращение дублирования. Катэ отвечают за моральный климат в кругу подчиненных им сотрудников. Кроме того, катэ имеют и собственное конкретное производственное задание. В свою очередь бутэ точно таким же образом руководят всеми находящимися у них под началом катэ.

Пятнадцати-двадцатилетняя «ротация» по различным фирменным подразделениям, в ходе которой накапливается производственный опыт, укрепляются персональные связи, прохождение курса в учебных заведениях типа «Школы дьяволов», а то и кратковременная служба в «силах самообороны», как в Японии именуют армию, позволяют бутэ и катэ удачно справляться с их многими и нелегкими обязанностями.

Президент «Дайэй» не случайно отбирает кандидатов в катэ и бутэ, исходя из способности пожертвовать семьей ради фирмы. 75 процентов опрошенных катэ заявили, что начисто лишены личной жизни, 62 процента катэ пожаловались, что зарплата не возмещает потерь, которые они несут, возглавляя секторы.

«Для решения сегодняшних проблем нужны люди, умеющие вносить коренные изменения во всю организацию целиком, вплоть до рабочих с почасовой оплатой труда. Эти проблемы требуют руководителей, которые добились бы выдающихся успехов в налаживании совместной деятельности персонала». Такими мыслят управляющих среднего звена лидеры японского делового мира. И, видно, нарисованный ими образ не слишком отличается от реальных менеджеров, если профессор Станфордской школы бизнеса в США Р. Паскаль счел возможным указать: «Около трех четвертей японских фирм управляются хорошо. В Соединенных Штатах — только четверть. Японцы превосходят нас во многих областях управления, включая способность разумно выбирать менеджеров. Они отбирают людей, знающих, как работать с другими людьми. Их менеджеры — это служащие, которые действовали во многих сферах бизнеса: производстве, финансах, сбыте, — а не лица с односторонним опытом».

Я хочу опять вернуться к словам, которые услышал от японского теоретика менеджмента Рюити Хасимото: «Необходимо, чтобы именно условия, а не управляющие заставляли рабочих эффективно трудиться». Американские менеджеры возносят хвалу японским методам управления потому, что условия на предприятиях в Японии заставляют рабочих и служащих трудиться эффективнее, чем на заводах и в фирмах в США.

## ТРУД — СЕЙЧАС, ДЕНЬГИ — ПОТОМ

«Хороший человек — работающий человек», — испокон веку внушалось японцам. Мысль сама по себе бесспорная, если не уточнять: работающего на кого считать хорошим? В представлении хозяев концерна «Мацусита дэнки», фирмы «Ниссан», корпораций, банков ответ однозначен: хороший человек — тот, кто работает на них. А чтобы человеку всегда хотелось быть хорошим, надо убедить его: работает он на удивительно заботливых «родителей», которые воздают за труд тем щедрей, чем выше становятся потребности хорошего человека, то есть в зависимости от возраста и стажа. Эта система названа в Японии «нэнко сэйдо» — оплата по старшинству.

Юноша, нанимающийся после окончания учебного заведения в фирму, не имеет семьи и живет в общежитии. Отец его еще трудится, и помогать близким необходимости пока нет. Поэтому начальная заработная плата юноши — самая низкая, какую выплачивает фирма этой категории работников. Однако время идет, юноша женится, обзаводится собственным жильем. Фирма учитывает возрастающие потребности юноши и год от года повышает ему зарплату. Появляются дети, им надо дать образование, а оно обходится недешево. В доме, помимо телевизора, холодильника, стиральной машины, хочется иметь микроволновую печь для приготовления пищи, видеомагнитофон, автомобиль. Фирма идет навстречу и продолжает поднимать зарплату — каждый год на определенный процент.

Так длится до тех пор, пока работнику не стукнет пятьдесят. Его дети уже сами работают. Расходы теперь меньше. И фирма несколько снижает зарплату. В пятьдесят пять лет она предлагает уйти с работы и выплачивает выходное пособие. А в это время в двери фирмы входит новый юноша, чья заработная плата будет втрое меньше той, какую получал в конце своего трудового стажа ушедший по возрасту работник. И все повторяется сначала. То есть уже известного читателю Хироси Сасаки фирма «Ниссан» удерживала у себя не только гарантией пожизненной занятости, но и оплатой труда, прямо пропорциональной стажу Сасаки.

Кажется, система «нэнко сэйдо» не лишена справедливости: независимо от личного трудового вклада работник имеет возможность в течение всего срока найма удовлетворять определенный круг своих нужд. Кажется, еще чуть-чуть — и впрямь провозгласить: от каждого — по способности, каждому — по потребности. И японские предприниматели не жалеют стараний, чтобы трудящимся так казалось всегда.

Устраиваясь на работу, рабочий или служащий подписывает с фирмой соглашение, которое сложно назвать трудовым. Президент компании «Менеджмент интернэшнл» Мицуюки Масацугу, чью книгу «Общество современных самураев» я упоминал, довольно точно сказал, что это скорее свидетельство о взаимных отношениях, похожих на семейные. В самом деле, в соглашении перечислено, что собирается делать фирма: какую положит начальную заработную плату, какими темпами будет ее увеличивать, сколько дней оплачиваемого отпуска предоставит, как станет организовывать рабочий день. Иными словами, «семья» очерчивает рамки заботы о новом своем члене. А что войдет в его обязанности? В соглашении очень расплывчато записано: «Посвящать всего себя труду». Фирма рассчитывает на общинное сознание, которое должно принудить работника отдавать ей долг признательности, как возвращает такой долг семье сын.

Иллюзию заботливости фирмы-«семья» усиливает впечатление, что меру трудоотдачи определяет сам работник, поскольку нормы выработки в соглашении не оговорены. На деле же степень эксплуатации негласно устанавливается фирмой, причем на самой, разумеется, высокой точке, далеко превосходящей уровень материальной заботы о работнике. Образ доброго родителя помогает фирме скрывать свое подлинное эксплуататорское обличье. Если соотнести заработную плату рабочих «Мацусита дэнки» с мерой их трудоотдачи, то оказывается, что концерн платит только за два из восьми часов рабочей смены, то есть на каждый час оплаченного труда приходится три часа неоплаченного, иначе говоря — присвоенного концерном труда. Рабочий фирмы «Ниссан» зарабатывает за час на 40 процентов меньше рабочего на заводах «Форда», хотя производительность труда японского автостроителя в 3,5 раза выше, чем американского.

Другой заяц, убиваемый японскими предпринимателями тем же выстрелом из ружья «нэнко сэйдо», это повышение заинтересованности работника в труде на фирму и укрепление его преданности ей. Увеличение заработной платы с возрастом и ста-

жем создает у работника призрачную уверенность в стабильности его материального положения. Стабильность эта связывается в сознании рабочего исключительно с возмещением долга признательности фирме.

«Сыновняя» приверженность фирме усугубляется многочисленными надбавками к базисной ставке, зависящей, как я сказал, от возраста и стажа. Самая большая надбавка — так называемые бонусы, или премиальные. Их величину определяют прибыли предприятия. Работникам как бы указывается: чем выше ваша производительность и, значит, больше прибыли фирмы, тем крупнее бонусы. Премиальные не расплачиваются по месячным или квартальным выплатам. Бонусы выдают в июне и декабре. Психологический эффект этого значителен: солидная сумма (до 20—30 процентов годового дохода) порождает у работника чувство благодарности фирме и заставляет забывать, что бонусы не что иное, как возврат части заработной платы, фактически удержанной у него же в течение предшествовавших шести месяцев.

Противясь улучшению государственного социального обеспечения, японские предприниматели прибавляют значимости своим надбавкам к базисной заработной плате: начислениям на многодетность, на медицинское обслуживание, на социальное страхование. В сочетании с социально-бытовыми мероприятиями — обеспечением льгот при обзаведении жильем и приобретении предметов длительного пользования, предоставлением возможности заниматься спортом, приобщаться к культуре — японская система оплаты труда превращается в важное звено условий, понуждающих работать производительно и с отличным качеством. А если учесть, что высокая производительность труда и безукоризненное качество продукции сами по себе влекут за собой новые добавки к базисному окладу, то условия, создаваемые предпринимателями на заводах, фабриках, в конторах, становятся необыкновенно результативными для производства.

В «Мацусита дэнки» искусный токарь, слесарь или сборщик не получит, скажем, пятый разряд, пока ему не исполнится двадцать один год, и это в случае поступления в концерн в восемнадцатилетнем возрасте. Не раньше чем в двадцать четыре года допустят рабочего к экзамену на шестой разряд. То есть концерн, по существу, откладывает на годы вперед справедливую оплату труда рабочего. Так же поступает концерн с инженерами и служащими.

«Нэнко сэйдо» привязывает работников к фирме надежней, чем цепи, которыми приковывали рабов к галерам. Если рабочий в сорок—пятьдесят лет, обладающий, следовательно, двадцати-тридцатилетним стажем, меняет фирму, ему будут платить на новом месте на 10—15, а то и на 20 процентов меньше по сравнению со сверстниками одинакового с ним образовательного ценза. Сколь квалифицированным этот работник ни был бы, по уровню зарплаты он уже никогда не догонит одноклассников — ведь с момента перехода в другую фирму стаж работы отсчитывается у него с нуля.

Сохраняя таким образом кадры, предприниматели не дают пропасть и своим вложениям в производственное обучение персонала. Я рассказывал, что при «ротации» внутри фирмы работников обучают каждый раз заново.

В соответствии с назиданием Сёдзан Сакумы, чей бюст установлен в концерне «Мацусита дэнки», японские предприниматели внимательно следят за новшествами в оплате труда, в организации производства, появляющимися за рубежом, и овладевают ими, чтобы сделать, как интерпретируют в нынешней Японии слова Сакумы, совершеннее, чем они были раньше. Сделать совершеннее в понимании предпринимателей значит наилучшим способом приладить их для извлечения максимальной прибыли. Вряд ли японские менеджеры держат в голове девиз «вакон ёсай», однако инстинктивно они поступают так, чтобы японцы скорее забыли об иностранных истоках нововведений: в противном случае ёсай (западные знания) грозят сделаться опасными для вакон (японского образа мышления) и, стало быть, для общинного сознания. Перенос в Японию системы оплаты труда в зависимости от выполнения производственного задания — тому пример.

В ряде фирм зарплату выплачивают теперь только после осуществления бригадой с определенным числом рабочих точно отмеренного объема работ в жестко обусловленный период времени. Вознаграждение выдается в пределах фонда зарплаты, который установлен именно для этого объема работ, и согласно разряду каждого участника выполнения производственного задания. Бригады же комплектуются, как и прежде, по принципу психологической совместимости, их члены регулярно «ротуются», а разряды повышаются исходя из возраста и стажа рабочих.

Результаты подобного смещения ёсай с вакон оказались весьма успешными. Об этой оистеме оплаты труда громко заговорили, ею заинтересовалась печать, и никто уже не вспоминал, что опыт пришел из-за рубежа. Повторилось то, что произошло со многими заморскими заимствованиями. Японцы не подозревают, что существующая в Японии школьная форма завезена из Германии, что зубная щетка и семидневная неделя — иностранного происхождения. Некоторые даже пиво и кока-колу считают японскими напитками.

Состоявшаяся недавно в Москве выставка, посвященная передовым починам, могла служить образцом пропагандистского таланта, высокого профессионализма, художественного вкуса и инженерной смекалки создателей экспозиции. На стендах названия десятков городов, предприятий, колхозов, где инициативой масс родились новые методы повышения эффективности производства.

— Кто особенно часто здесь бывает?— спросил я у методиста.

— Японцы,— ответил он.

### ПОДЪЯРЕМНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

В американской кинокомедии «Красотка и пират», снятой лет тридцать назад, актер Боб Хоуп наставил на противника пистолет и нажал на спусковой крючок. Осечка. Комик взвел курок еще раз. Опять осечка. Боб Хоуп поднес пистолет к глазам и сатанински расхохотался: «Да ведь он сделан в Японии!» Реплика Боба Хоупа неизменно вызывала дружный одобрительный смех в американских кинотеатрах.

В начале 80-х годов в Японию приехала группа менеджеров и инженеров отделения «Бьюик» американской автостроительной фирмы «Дженерал моторс». Гости посетили японскую торговую компанию, которая ввозила «бьюики» и продавала их в Японии. Огромный ремонтный, как решили американцы, завод, воздвигнутый торговой фирмой, удивил делегацию. Удивление сменилось стыдом, когда американцы узнали, что завод предназначен не для ремонта, а для полного демонтажа «бьюиков» и их сборки заново, поскольку в Японии невозможно продать автомашины, столь небрежно собранные на заводе в США.

В сборочном цехе телевизорного завода концерна «Мацусита дэнки» я спросил главного инженера:

— Бывает ли в цехе брак?

— Что?— переспросил главный инженер.

— Брак,— повторил я.

— А что это такое?— удивился главный инженер.

— Неужели вы не знаете, что такое брак?— Я не верил в искренность главного инженера.

— Что вы имеете в виду под браком?— в свою очередь спросил главный инженер.

— Предположим, с конвейера сходит собранный телевизионный приемник,— принялся объяснять я.— Вы включаете его в электросеть, а он не работает. Или начинает работать и через некоторое время гаснет.

— Ну почему же собранный у нас телевизор не должен работать?— Главный инженер даже обиделся.— Землетрясения на заводе не было, в цехе не вспыхивал пожар, наводнение конвейер не заливало

Я понял, что брак ассоциируется у главного инженера со стихийным бедствием.

— Уж не хотите ли вы сказать, что ваша продукция сплошь отличного качества?— Я почувствовал безотчетное раздражение.

— К сожалению, не сплошь,— сокрушенно сказал главный инженер.— Дефекты случаются.

— Много?— спросил я. Сознаю, в это мгновение я испытал, к стыду своему, удовлетворение.

— Много,— убито ответил главный инженер.— Пять тысячных дефекта на телевизионный приемник

Один дефект на 200 телевизоров, подсчитал я.

— Что же это за дефекты?

— Например, винт, которым крепится задняя крышка к корпусу телевизора, не совсем точно идет по резьбе...

О том, что автомобильная фирма «Ниссан» отзывает из-за дефекта в бензонасосе партию своих машин, я узнал сначала из газет. Первые рекламации пришли, как



указывалось в сообщении, из США. А на следующий день получил по почте пакет с эмблемой «Ниссан». В пакете находился сложенный вдвое лист плотной бумаги, на которой в Японии пишут обычно поздравления с памятными датами или приглашения на высокопоставленные приемы. На сей раз это было покаянное письмо.

Левая половина страницы напечатанного типографским способом текста представляла собой одно длинное извинение — японский язык позволяет облечь в многочисленные и разнообразные слова самые мучительные угрызения совести. Фирма «Ниссан», уведомив, что в ее автомобилях с двигателями от такого-то порядкового номера до такого-то имеется дефект в бензонасосе, испрашивала затем у меня (если я являюсь владельцем автомобиля с этим изъяном) прощения прежде всего за сам изъян, потом за то, что продала мне машину с изъяном, и, наконец, за неудобства, которые я, вероятно, уже испытал из-за неполадок в бензонасосе. На правой половине страницы в выражениях столь же почтительных, как и те, в каких была исписана левая половина листа, фирма просила известить ее по телефону, когда именно мне удобно принять автомеханика, который отгонит автомобиль в ремонтную мастерскую.

Автомобиль корпункта, купленный у фирмы «Ниссан», действительно оказался в числе машин, отзываемых фирмой. Сопоставив номера двигателей, я понял, что фирма отзывает 20 тысяч машин. Я тут же заглянул в справочник и выяснил, что производство достигло в «Ниссан» в том году 2 844 647 автомобилей. Следовательно, дефектная продукция составила 0,7 процента.

По указанному в письме телефону я сообщил, когда фирма может забрать машину. И точно в срок прибыл человек в синем фирменном комбинезоне с красной латинской надписью «Ниссан» на груди. Я отдал ему ключи от автомобиля. Вечером механик вернул отремонтированный автомобиль на стоянку подле дома, где располагался корпункт, а мне принес ключи и вместе с ними подарок: зажигалку в оклеенной бархатом коробочке с вензелем «Ниссан» на крышке. Фирма, чувствуя себя виноватой, хотела как-то сгладить плохое впечатление о себе, опасаясь потерять в моем лице клиента, который когда-нибудь, возможно, снова решит купить ее автомашину.

В концерне «Мацусита дэнки» всякий раз, когда я заводил разговор о качестве продукции, собеседники, кем бы они ни являлись: инженерами, кадровиками или работниками сектора сбыта, — пересказывали мне сентенцию Масахару Мацуситы, принявшего от тестя Коносукэ Мацуситы бразды правления концерном.

— Даже если брак составляет сотую долю процента от общего количества продукции концерна, — говорил Масахару Мацусита, — то для отдельного покупателя, который приобрел наш дефектный телевизор или видеомаягнитофон, процент брака, выпускаемого «Мацусита дэнки», составит сто процентов.

Масахару Мацусите, как и хозяевам фирмы «Ниссан», в высшей степени безразличны, однако, интересы покупателя, иначе они не наживались бы за его счет, сбывая продукцию по цене, в десятки раз превышающей себестоимость. Но покупатель безразличен предпринимателям лишь до тех пор, пока он не отказывается быть их клиентом. На первую покупку товара, произведенного в «Мацусита дэнки» или в «Ниссан», покупатель может соблазниться под воздействием рекламы. Максимальная же прибыль зависит от того, остановит ли покупатель свой выбор на их товарах во второй, третий, пятый раз. Это произойдет только при высоком качестве товара. Вот почему, прежде чем пустить изделие в серию, в концерне «Мацусита дэнки», например, его истязают в особой лаборатории 33 инженера-инспектора по качеству.

Инженеры-инспекторы свирепствуют вдохновенней Торквемады. Они заставляют стереопроекторы проигрывать пластинки 10 тысяч часов кряду. Телевизоры морозят на арктическом холоде и поджаривают в тропическом пекле, радиоприемники топят в спирте, пропускают через камеры с высоким давлением, кидают на пол с большой высоты.

Японские поговорки осмеивают тех, кто покупает трость после падения и зовет доктора, похоронив больного. Выявлять брак, когда изделие уже создано, очень важно, конечно, но целесообразней не допускать появления брака.

250 поставщиков, пользующихся услугами 15 тысяч субпоставщиков, производят комплектующие части для сборочных заводов автомобильной фирмы «Тоёта». Если оценить ее автомобиль, скажем, в миллион иен, то поставщиками и субпоставщиками вложено в машину материалов, деталей, узлов и труда на 700 тысяч иен. Ясна, следовательно, высокая зависимость от смежников качества готового изделия — автомобиля. Проверять кондиционность продукции смежников при ее поступлении на сбороч-

ный завод физически невозможно, да и времени на это нет: договариваясь о поставке комплектующих частей, стороны определяют не только день, но и час их подвоза на конвейер. Поэтому 250 поставщиков вошли в «семью» «Тоёты» только после полной и тщательной «диспансеризации», которой подвергла их фирма.

Роль докторов, к услугам которых поговорука учит пригегать задолго до похорон, выполнили специальные фирменные контролеры. Они выяснили, как у поставщиков проверяется качество исходного материала, какое производственное оборудование они используют, достаточна ли квалификация персонала и даже насколько тщательно упаковывается ими продукция. Президент одного из смежных со сборочными заводами «Тоёты» предприятий говорил мне, что после экзамена, учиненного контролерами фирмы, он на неделю слег в постель — не выдержали нервы.

Повсюду в цехах телевизорного завода «Мацусита Дэнки» я видел стенды с почетными грамотами, переходящими кубками и вымпелами.

— Это награды нашим кружкам контроля качества, — объяснили мне.

Как и очень многое в японском менеджменте, идея кружков контроля качества пришла в Японию из-за границы. Менеджеры обратили внимание на идею, вероятно, потому, что кружки контроля качества легко вписываются в японское понятие общинных отношений, в которых главное — это групповое мышление, стимулирующее групповые действия. Подобно тому как любое общинное дело — прокладка ли общей для всей деревни оросительной системы, сооружение ли омикоси для коллективного праздничного шествия, починка ли объединенными усилиями крыши у односельчанина — может быть выполнено, лишь если каждый внесет свой вклад и приложит все свои усилия, так и повышение качества делается реальным в случае совместных стараний. Эта мысль была положена в основу японских кружков контроля качества.

Форма их работы тоже заимствована за рубежом. Руководителем кружка (он состоит из 10—12 участников, как правило, членов одной бригады) избирается рядовой рабочий. Собрания проводятся еженедельно или раз в полмесяца. Собрание образует президиум во главе с председателем. Выступить обязаны все. Ведется протокол. Пишется резолюция и утверждается путем голосования. Вот только повестка дня включает не разнообразные вопросы, а один и тот же. На собраниях кружка контроля качества в сборочном цехе телевизорного завода «Мацусита Дэнки», которые снимали мы, на протяжении нескольких месяцев обсуждалось улучшение качества продукции за счет повышения точности работы механизмов на конвейере. Когда кружок сочтет, что достаточно повысил точность работы механизмов, он выработает другую повестку дня. Возможно, ее подскажет администрация. Собрания кружков — единственный вид производственной деятельности, разрешенный в рабочее время.

Кружок считается официально признанным после регистрации в Японском союзе ученых и инженеров и оповещения об этом в журнале «Мастер и контроль качества». Регулярно проводятся цеховые и заводские конференции кружков. Дважды в году конференции устраивает фирма. А дальше всеяпонские съезды. В стране более миллиона кружков. Каждый пятый, работающий по найму, состоит их членом.

Кружок контроля качества, с членами которого я познакомился, расположился в комнате — я назвал бы ее красным уголком, имея в виду слово «красный» в его прямом смысле: стены были увешаны красными вымпелами. Они перемежались лозунгами: «Качество определяет судьбу предприятия!», «Что сегодня кажется прекрасным, завтра устареет. Думай о качестве ежеминутно!». До открытия собрания я успел задать руководителю кружка несколько вопросов. Первый касался вымпелов, почетных грамот и кубков, поощряющих деятельность кружков.

— Знаков отличия так много, — сказал я, — что возникает мысль об огромных премиях, получаемых кружками.

— Премии? — удивился руководитель кружка. — Какие премии? Мы ничего не получаем. Разве не должны мы отдавать долг признательности концерну, который заботится о нас?

У этого руководителя кружка при поступлении в «Мацусита Дэнки» в голове был наверняка самый белоснежный лист бумаги, и живописцы концерна всю поработали на нем кистями, подумал я. Когда же узнал потом, что за улучшение технологии пайки печатных плат члены кружка контроля качества этого же цеха получили по 13 долларов (в целом рабочие завода вознаграждаются 60 центами за предложение), то понял: самым большим вымпелом следовало бы отметить тех сотрудников концерна «Мацусита Дэнки», которые занимаются идеологической обработкой сознания рабочих

Японские предприниматели на каждом предложении кружков контроля качества зарабатывают в среднем 5 тысяч долларов в год. Таких предложений набирается в Японии в расчете на одного рабочего до 60, а в «Мацусита дэнки» до 99 ежегодно.

— Каковы цели, общие для всех кружков в цехе? — был следующий мой вопрос.

— Их три, — сказал рабочий. — Первая: максимально выявлять и развивать способности каждого члена кружка. Вторая: создавать благоприятную, светлую атмосферу на рабочих местах. И третья, самая главная цель — в процессе реализации двух предыдущих добиваться высокой производительности и отличного качества.

Все цели как нельзя лучше соответствуют интересам предпринимателей. В первое десятилетие периода пожизненного найма рабочие учатся за счет фирм в общей сложности пятьсот дней. Поскольку станки, механизмы на крупных японских предприятиях обновляются через пять — семь лет, нужна постоянная учеба. Но предпринимателям она обходится дорого. Так почему бы не переложить повышение квалификации рабочих на кружки контроля качества? Участие в кружках расширяет их технический кругозор.

Что касается создания «благоприятной, светлой атмосферы» на рабочих местах, второй цели кружков, то и здесь предприниматели извлекают изрядную выгоду. Иллюзия, что члены кружка наряду с менеджерами решают вопросы производства и вместе с высшим руководством способствуют усилению позиций фирмы на рынке, прославлению ее имени, значительно улучшает моральный климат в бригаде, в цехе, на заводе и повышает производственную активность рабочих.

«Каждый занятый на заводе — управляющий!» — лозунг, который вывешивается в «Мацусита дэнки», в «Ниссан», в других крупных фирмах столь же часто, как и призывы поднимать качество.

Исключительная важность для предпринимателей третьей цели кружков контроля качества очевидна. На телевизиорном заводе «Мацусита дэнки» я спросил у главного инженера, сколько времени нужно предприятию для внедрения в производственный процесс принципиально новой технологии. Из ответа явствовало, что на внедрение, например, полностью роботизированной поточной линии по сборке телевизиорных шасси со всей смонтированной на них электроникой потребовался год. Если бы я собственными глазами не видел эту линию и не познакомился с доской показателей соревнования бригад наладчиков, я не поверил бы главному инженеру. Диаграммы соревнования подтверждали, что монтаж линии длился ровно год.

— От начала разработки до выпуска в продажу телевизора с абсолютно новой электронной схемой, смонтированной на более совершенном, ранее не применявшемся шасси, проходит обычно год. На освоение очередной модели телевизора, разнящейся от прежней внешним видом и ограниченными конструктивными изменениями, мы тратим примерно три месяца, — сказал главный инженер.

И это тоже было правдой.

В ряду главных причин высокой производительности и отличного качества продукции главный инженер назвал поголовный охват рабочих кружками контроля качества, то есть он засвидетельствовал достижение цели, ради которой предприниматели пошли на создание кружков и постепенно расширили диапазон их деятельности. В «Мацусита дэнки» половина тем, взятых кружками для разработки, относится к обеспечению качества, а 40 процентов — к повышению производительности труда. В других фирмах кружки берутся за снижение издержек производства, за усовершенствование инструмента и оборудования, за улучшение технологического процесса. То есть кружки контроля качества стали средством развития и использования творческой энергии и инициативы рабочих. Собрание кружка на телевизиорном заводе «Мацусита дэнки» подтвердило это.

Первым выступил руководитель кружка. Он напомнил, в каком состоянии находится разработка темы «Улучшение качества продукции за счет повышения точности работы механизмов на конвейере», что сдерживает продвижение вперед. Затем слово взяли один за другим члены кружка. Видно было, что все готовились к собранию — у многих я заметил в руках выписки, схемы, листочки с вереницами цифр. Судя по обсуждению, некоторые предложения оказались неудачными, но никто не подверг насмешкам лично авторов — замечания касались только выдвинутых ими идей. И эта уважительность несомненно способствовала творческому настрою участников собрания.

Собрание получилось продуктивным: в общих чертах найден путь улучшения качества за счет повышения точности работы механизмов. Осталось конкретизировать

его в технической документации. Итог как общую, групповую идею записали в резолюции собрания. В нее отдельным пунктом включили просьбу к администрации помочь с расчетами на ЭВМ и с чертежными работами. Администрация в таком содействии никогда кружкам не отказывает.

Увлеченно, я сказал бы азартно, говорили рабочие на собрании. Я далек от мысли, что только озабоченность улучшением качества продукции вызвала в них душевный подъем. Уверен, что современные иезуиты с менеджерскими дипломами блестяще использовали в интересах бизнеса и такую специфически японскую черту, как почти полное отсутствие у японцев общественной жизни и внеслужебного общения друг с другом. На крупных предприятиях запрещена деятельность любых политических партий. Нет и общественных организаций. Профсоюзы в концернах и фирмах типа «Мацусита дэнки» и «Ниссан» не в счет. Их недаром называют хозяйскими профсоюзами. У японцев не принято ходить в гости. Но людей тянет к общению, тем более что волею кадровиков и их усилиями в бригадах собраны сходные по характеру люди. Вот менеджеры и предоставили им возможность человеческого общения, неформального контакта друг с другом в кружках контроля качества.

Другая японская национальная особенность, которая превращает кружки в мощное средство выявления способностей и вдохновения рабочих, это необыкновенная забота японцев о собственной репутации, о производимом на окружающих впечатлениях. Стыд в Японии ест глаза, однако не в любой ситуации. Мнением случайных попутчиков пренебречь не страшно. Но оценки членом своей общины — совсем иное дело. Чувство принадлежности к группе, отрицательное суждение которой ужасней, чем гнев далеких и, по японскому поверью, не слишком строгих богов, и заставляет рабочего с жаром участвовать в деятельности кружка контроля качества. А чтобы пыл не ослабевал, предприниматели учитывают кружковую активность персонала при начислении, скажем, бонусов, или при сдаче экзамена на разряд, или при выплате выходного пособия.

Коносукэ Мацусита в своих философских трактатах наставляет: «Если хочешь получать многое, нужно и отдавать многое». Судя по годовому финансовому отчету, концерн «Мацусита дэнки» немало получил благодаря творческой энергии и инициативе рабочих, реализованных, в частности, через кружки контроля качества. По объему сбыта концерн занял в Японии второе место, а в списке самых прибыльных электронных и электротехнических фирм мира уступил чемпионский титул лишь американской «Дженерал электрик», обойдя, однако, главного конкурента по вырученной от реализации продукции сумме, если разделить ее на число работников.

Самая тщательно охраняемая тайна концерна — издержки производства. Тайну эту берегут, как атомные секреты в военных министерствах. Очень уж хочется концерну, чтобы никто не знал, сколь интенсивно использует он творческую энергию и инициативу рабочих, как много недоплачивает и как обкрадывает покупателей. Но однажды данные об издержках производимых в «Мацусита дэнки» телевизоров просочились в японскую печать. Рабочие концерна, потребители и конкуренты ахнули: себестоимость цветного телевизора с экраном 19 дюймов составляла 48 тысяч иен, продавался же он за 200 тысяч. «Участие в кружке контроля качества — патриотический вклад в процветание концерна и в технический прогресс всего общества!» — один из лозунгов в цехах «Мацусита дэнки». Его истинный смысл обнажается в свете этих цифр.

Получая от рабочих и служащих так много, что же отдает им концерн, как того требуют философские поучения Коносукэ Мацуситы?

Газета коммунистов «Акахата» как-то привела высказывание рабочего радиозавода концерна: «У меня был сильный насморк, но из-за высокой скорости конвейера я не мог даже высморкаться. Я страдал от удушья, головной боли. Стоило огромных усилий ни разу не пропустить возложенную на меня операцию». Девушки на конвейере микросхем должны за минуту 6 раз посмотреть в микроскоп с двадцатичетырехкратным увеличением. И так все восемь часов рабочей смены. Не мудрено, что после нескольких месяцев труда они становятся пациентами врача-окулиста. На заводе электроосветительных приборов 75 процентов сборщиц флюоресцентных ламп регулярно обращаются за помощью к врачу: бешеный темп движения конвейера и ослепляющий свет приводят к тяжелым заболеваниям. «Могу с определенностью утверждать, что треть работающих японцев находится на грани неврастения», — заявил известный в Японии психиатр Масакацу Сёсаки. Считают, что почти 40 процентов рабочих концер-

на «Мацусита Дэнки» спасаются от неврастения с помощью сильнодействующих лекарств.

Такова цена, уплачиваемая постоянными работниками за экономические и социальные привилегии, которые предоставляет им концерн.

Ежегодно 1,5 тысячи американских и западноевропейских делегаций менеджеров возвращаются из Японии не только с ощущением страха перед конкурентами, делающимися все более грозными, и чувством зависти к их прибылям — увозят делегации из Японии и полезные знания. Кружки контроля качества получают распространение в американской и западноевропейской космической, ракетной и авиационной промышленности, где особенно требуются точность и аккуратность в работе. В компании «Локхид» за первые два года существования кружков их деятельность принесла экономию в 3 миллиона долларов и позволила снизить количество дефектов на сборочных операциях в 4—6 раз. В английской компании «Ролл-Ройс» внедрение за тот же период предложений кружков в одном лишь отделении авиационных двигателей сберегло 525 тысяч фунтов стерлингов.

### ИЗНАНКА ПАРАДНОГО ПЛАТЬЯ

Американский журнал «Тайм» окрестил японскую экономику шизофренической. И подкрепил свою характеристику цифрами: 1100 японских заводов производят половину всей промышленной продукции страны. Другую половину выпускают... 5 миллионов предприятий. Это означает, что гиганты индустрии вроде завода «Ниссан» в городе Оппама, где 5600 рабочих ежемесячно собирают 35 тысяч легковых автомобилей, соседствуют с мастерскими под дырявыми крышами и с прогнившими стенами, в которых механизмы приводятся в движение ремнями, протянувшимися от динамо-машин, и где «персонал», состоящий из двух, трех или пяти человек, делает колпаки для автомобильных колес, тумблеры переключателей для телевизоров, стрелки для часов.

«Наслаждение пожизненным наймом, ежегодным повышением зарплаты, предоставлением льготных банковских ссуд на собственный дом и бесплатными уроками икэбаны в заводском культурном центре доступно только 30 процентам японских рабочих, занятых на заводах «Мацусита Дэнки», «Ниссан» или «Сэйко», — возмутился журнал «Тайм». — Остальные 70 процентов трудятся на мануфактурах, словно сошедших с иллюстраций из учебника истории XVIII века».

Негодование американского журнала вызвано отнюдь не бедственным положением работников нынешних «мануфактур», хотя японские предприниматели в немалой степени именно благодаря низкой заработной плате этой категории трудящихся и отсутствию у них элементарных социальных прав добиваются высокой конкурентоспособности товаров. Журнал разъярен тем, что с мировых рынков американские товары вытесняются японскими. Но журнал подметил правильно: пожизненный найм и все, что связано с ним в положении рабочих и служащих, распространяется лишь на треть японских трудящихся.

В их число входит, однако, не каждый, кто занят в «Мацусита Дэнки», «Ниссан» или «Сэйко». Родительской заботой фирмы «семьи» охвачены только постоянные работники, поступившие в нее сразу после окончания учебного заведения. «Бумажная белизна» их сознания полностью удовлетворила кадровиков, и намалевать на ней удобный фирме рисунок оказалось несложно. Кому не удалось при устройстве на работу потратить требованиям фирмы, предъявляемым к уровню образования, свойствам характера нанимаемых, кому уже пришлось поменять место работы, постоянными работниками уже не стать. А временные, внештатные, поденные работники — так именуют нижний слой фирменного персонала — лишены привилегий, полагающихся постоянно-му штату.

Сокращение производства, внедрение автоматизации, совершенствование технологии при капитализме неизбежно ведут к увольнениям. В Японии в том числе. Отличие Японии от других капиталистических стран лишь одно: увольнения мало касаются постоянных работников, но временные, внештатные, поденные избежать их не могут. Изгоев поглощают мелкие и средние мастерские и фабрички — в статистике они значатся в разделе «Предприятия с числом занятых до 30 человек». Их-то журнал «Тайм» и назвал мануфактурами.

Мацубара — рабочая окраина промышленного города Осака. Здесь сплошь мелкие и мельчайшие мастерские. Они прижались друг к другу по сторонам узеньких улочек, и их трудно различить, как братьев-близнецов. Вошел в первую попавшуюся дверь.

Тусклая лампочка еле освещала тесное помещение, занятое странной, на мой взгляд, машиной. У нее множество колес, соединенных приводными ремнями, и если бы не эти ремни, машина очень походила бы на ту, что пропустила через себя Чарли Чаплина в «Новых временах». Самое большое колесо — с фигурными толстыми спицами. Они придавали мастерской музейный вид. Большая медная пластина, приваренная к корпусу машины, усиливала такое впечатление. На пластине выбито: «Сделано в Швеции, 1901 год». Машина изготавливала металлическую сетку для промышленных вентиляторов.

Грохот, заполнявший мастерскую, не вязался с музейной умиротворенностью, а тем более не позволял взять у хозяина мастерской интервью. Я попросил хозяина выйти наружу.

— Как строятся ваши отношения с крупной фирмой-заказчиком?

Хозяин потер ветошью черные от машинного масла руки. Чище они не сделались. Потом аккуратно положил ветошь на ящик у входа в мастерскую, достал из кармана промасленные, как и ветошь, штанов застиранную махровую салфетку и провел ею по рукам и лицу. Грязи на нем стало меньше, и я смог приблизительно определить возраст хозяина: лет пятьдесят.

— Так об отношениях с фирмой-заказчиком, пожалуйста, — напомнил я вопрос.

— Отношения простые: фирма мне — заказ, я ей — сетку для вентиляторов. Фирма назначает цену. Я соглашаюсь, хотя цена очень низкая. Приходится побольше да побыстрее работать. Ничего не поделаешь, заказами кормимся я и мои домашние.

— Сколько человек работают у вас?

— Я и два сына.

— А рабочий день какой?

— Начинаем часов в семь утра. Если заказ большой, то не уходим из мастерской до девяти или десяти вечера.

— Вы член профсоюза?

— У нас нет профсоюза.

— Пользуетесь ли вы системой социального обеспечения?

— У меня нет страховки ни на случай безработицы, ни на случай болезни или увечья на работе.

Я предполагал, что следующий вопрос вызовет у собеседника или раздражение, или насмешку. И все же задал его: хотел еще одного подтверждения известных мне фактов. Реакция хозяина мастерской оказалась резче и злее, чем я ожидал. Услышав от меня: «Ходят ли ваши внуки в детский сад, занимается ли ваша жена в каком-нибудь кружке, плаваете ли вы в бассейне или, может быть, играете в волейбол?» — хозяин подобрал с ящика ветошь, повернулся, шагнул в мастерскую и плотно прикрыл за собой дверь, ясно дав понять, что издевательства терпеть не намерен. Сопровождавший меня в Мацубару представитель Ассоциации мелких и средних предпринимателей укоризненно сказал:

— Ну где вы видели здесь детский сад или спортивный зал?

За сетку для вентилятора фирма платила хозяину мастерской 350 иен. Эту же сетку в готовом вентиляторе, шедшем на продажу, фирма оценивала уже в 900 иен. Часть разницы — она составляла 550 иен — шла на «вложения в персонал» внутри фирмы. Собака выбивается из сил, а пища достается соколу. Будто об источнике финансирования относительного благополучия работников крупных фирм сочинена эта японская поговорка. Пожизненный найм, которым пользуется треть работающих японцев, сохраняется за счет вечного страха остаться без средств к существованию у остальных двух третей.

Энергетический кризис ударил и по мотоциклетной промышленности. Она обладает мощностями для производства 8,6 миллиона машин в год, а выпускает половину этого количества. В фирме «Ямаха» резко сократили сборку мотоциклов, а освободившихся рабочих перевели в сектор бытовой электроники и электромusзыкальных инструментов, которыми «Ямаха» известна не меньше, чем мотоциклами. Но на сборочном заводе «Ямахи» создается только четверть стоимости мотоцикла. Три четверти стоимости — плод труда рабочих мелких и средних предприятий. Их-то страданиями и было оплачено спасение в фирме «Ямаха» пожизненного найма.

В золотую пору высоких темпов роста экономики Японии на город Хамамацу — центр японской мотоциклетной промышленности — пролился золотой дождь заказов не одной «Ямахи», а мотоциклетных фирм «Хонда», «Сузуки», «Кавасаки». Золотой

блеск был, однако, не самой чистой пробы. Заработная плата в мастерских и на мелких фабриках Хамамацу, каждая из которых специализировалась на какой-либо одной комплектующей части мотоцикла, все равно не превышала 80 процентов того, что зарабатывали сборщики на конвейере в «Ямахе». Но заказы сыпались бесперебойно, и предприниматели Хамамацу уверовали, что сладкое слово «пожизненный» относится не только к найму персонала в крупных фирмах, но и к прибытку, который хозяйчики города черпали с золотого дна мотоциклетного производства. Они не слишком роптали, даже когда «Ямаха» требовала снижать цены на их продукцию. Один за другим здешние мелкие и средние предприятия обзаводились промышленными роботами и уменьшали себестоимость своего товара.

Золотосный дождь сменился ушатом ледяной воды, когда энергетический кризис вверх мотоциклетную промышленность Японии в депрессию, и в Хамамацу перестали поступать заказы. Возникла парадоксальная ситуация, порожденная научно-технической революцией: чем современнее оснащено предприятие, тем ближе оказывалось оно к банкротству. В торгово-промышленной палате города Хамамацу мне дали адреса нескольких таких предприятий, и я отправился туда.

С хозяином «Исихара когё» встретиться не удалось. Соседи наглухо заколоченной мастерской, которой уже коснулось заустение, сказали, что Исихару, хозяина, ищут не один я. Его разыскивают бывшие рабочие мастерской, кредиторы и полиция. Исихара сбежал, не расплатившись с рабочими и не погасив задолженность кредиторам. Полиция пыталась напасть на его след по заявлению тех и других.

В мастерскую «Итикава банкин» я успел. Жизнь в ней еще тлела. В темном, старом и грязном сарае на земляном полу валялись куски железа, мотки провода. Станки тоже выглядели старыми и грязными и казались частьюхлама, заполнявшего мастерскую. На одном станке работал хозяин — «предприниматель», как его характеризует статистика, Мамото Итикава. На трех других станках медленно, будто нехотя, трудились пожилые женщины. «Итикава банкин» изготавливала выхлопные трубы для мотоциклов.

Тягостную картину заброшенности делал еще более гнетущей омертвевший робот, высившийся у стены сарая. Ярко-красная рука-манипулятор застыла вопросительным знаком, словно робот недоумевал: какой же смысл работать людям, если есть он, всегда бодрый, неизменно расторопный и не допускающий промашки? Примерно такой вопрос я и задал хозяину «Итикава банкин» Мамото Итикаве.

— У меня работали пятеро, — ответил он. — Заказов было невпроворот, и потребовались еще люди. Им полагалось платить самое маленькое по двести тысяч иен в месяц, да еще бонусы — словом, за год на зарплату одному уходило бы три с половиной миллиона иен.

Итикава выключил станок. Его примеру последовали женщины. Теперь им незачем было торопиться, и они подошли послушать наш разговор. Итикава продолжил:

— Прикинув расходы на найм новых работников, я решил, что купить в расрочку робот выгоднее. Ведь за него следовало выплатить в течение года два миллиона четыреста тысяч иен. Так я и поступил. А тут депрессия. — Итикава безнадежно махнул рукой в сторону робота. — Была б работа, так и крутился бы он круглые сутки. Теперь вот стоит... — Голос Итикавы ненавидяще зазвенел. — За работа-то я еще не расплатился!..

Трагикомическая подробность: чтобы оплатить стоимость робота, Итикава отправил в Токио на заработки двух своих племянников, которые нанялись на стройку разнорабочими. Другая подробность оказалась трагической, без малейшего намека на комизм. Виновато глядя на женщин, Итикава сказал:

— Отгрузим вот последние пятьдесят выхлопных труб — и конец. Работы больше не будет. Поделит то, что «Ямаха» заплатит за эти трубы, и я повешу на вход, — Итикава кивнул в сторону грубо сколоченных покосившихся дверных створок, — замком. Ничего другого, кроме мотоциклетных выхлопных труб, делать мы ведь не можем...

Бывает, что из-за сокращения производства крупные фирмы встают перед настоятельной необходимостью уменьшить численность постоянных рабочих, кому обещан пожизненный найм. Кстати, перед такой необходимостью оказалась и «Ямаха». Безрадостно, конечно, но не погребально, как в «Итикава банкин», выглядели там увольнения. Они были «добровольными». К сумме выходного пособия полагалась сорокапроцентная надбавка. В первые шесть месяцев после прекращения работы в «Ямахе»

фирма выплачивала 80 процентов базисной ставки, в следующие полгода — 60 процентов. Если бывший работник «Ямахи» принимался овладевать новой профессией, фирма предлагала дотацию в 10 тысяч иен (около 25 долларов) в месяц до полного овладения квалификацией. А Макото Итикава мог только опуститься перед женщинами на колени и, склонив голову до земли, нижайше просить об отпущении ему вины за то, что нечем ему возместить работницам потерю источника к существованию.

В «Итикава банкн» рядом с роботом я вдруг заметил вспышки электросварки. Заглянул за металлическую коробку с электронным мозгом робота. И столкнулся с бедой еще горшей, чем та, с которой сейчас познакомился. У сварочного станка стоял мальчик. В широких, не по размеру брезентовых штанах, в длиннополной куртке, тоже брезентовой, в огромных грубых ботинках, он вызывал смех и жалость одновременно. Штаны и куртка пестрели дырами с порыжелыми краями — их прожгли искры. Без перчаток, голыми руками мальчик зажимал на станке деталь, надавливал на кнопку пуска и отворачивался: защитных очков у мальчика не было. Когда светившиеся синим огнем искры переставали бить в спину, мальчик поворачивался к станку и ставил следующую деталь. Ему было двенадцать лет. По японским законам его еще запрещалось ставить за станок.

— А тебе платят? — спросил я мальчика.

— Нет, ничего не платят, — ответил он.

— Так чего ж ты работаешь?

— Господину Итикаве не дают теперь заказов, и ему нечем платить. Он обещал мне игрушку — маленького заводного робота.

Промышленный робот, бесчувственно наблюдавший пустыми глазницами индикаторов, как, пряча незащищенное лицо от злых искр, трудится в надежде получить игрушечного робота мальчик, которому до совершеннолетия по японским законам осталось еще долгих восемь лет, — это ли не символ капитализма в его японском варианте?

В это же самое время отказавшимся от «добровольного увольнения» рабочим и служащим «Ямахи» начислялась, как и раньше, зарплата с учетом возраста и стажа. Бонусы вышли, правда, меньше, чем до депрессии. Продолжалась «ротация» — в рамках производства электромузыкальных инструментов и кассетных магнитофонов. Персонал фирмы готовился к семейному выезду в горы. По субботам по-прежнему работали спортивные секции.

\* \* \*

Что и говорить, данные о высоких темпах роста производительности труда, о ничтожной доле брака в массе готовой продукции, о низкой текучести кадров в монополистическом секторе экономики придают блеск лицевой стороне японской медали. Было бы неправильно не интересоваться способами, как японцы достигают этих показателей. Ведь написал же Владимир Ильич Ленин, что «осуществимость социализма определится именно нашими успехами в сочетании Советской власти и советской организации управления с новейшим прогрессом капитализма». С некоторыми элементами новейших методов менеджмента, как мне кажется, в том числе,

Апологетика в адрес Японии в США и Западной Европе доказывает, что ненависть к сметливому, изворотливому и удачливому торговому конкуренту, страх перед ним отеснены осознанием классовой важности временного японского отклонения от универсального закона капиталистического развития. Бога, как известно, нет, но существует необходимость его выдумывать. Из-за отсутствия в нынешней Японии острых классовых конфликтов сияние японской медали кажется буржуазным политикам и социологам еще ярче. В этом они узрели возможность незаметно для неискушенных умов перевернуть идеологические карты и назвать Японию «послемарксистским государством, чуждым серьезных экономических неурядиц и сколько-нибудь значительных социальных потрясений». Я процитировал мнящего себя специалистом в проблемах коммунизма американского политолога Роберта Скалапино Потсму-то и обязаны мы вернуть японскую медаль к свету и оборотной ее стороной.

Если Япония — «послемарксистское государство», то почему же в нем в избытке реалии «государств домарксистских»? Честно ответить японские буржуазные идеологи, разумеется, не желают. Но обмануть пытаются, как и те, кто выдумывал богов.

Формально процент безработицы в Японии самый низкий среди развитых капиталистических государств. Он действительно ниже, чем в США и в некоторых странах



«Общего рынка», однако не настолько, чтобы безудержно восславлять систему пожизненного найма как одно из «священных сокровищ», ниспославших Японии высокую занятость.

Японская статистика склонна считать безработными только тех, кто активно ищет работу. Этот критерий, которым пользуются власти, в действительности лишен смысла. Дело в том, что многие японцы ищут работу не через официальные биржи труда, а прибегая к помощи друзей и родственников или обращаясь за содействием к своей прежней фирме. Другие слишком горды, чтобы признаться окружающим: я безработный. Помните постулат общинного сознания: хороший человек — работающий человек? Похвальное при других обстоятельствах самолюбие в данном случае приводит к тому, что такие японцы трудятся по несколько часов то тут, то там, это и позволяет статистике фальсифицировать истинное положение вещей: работающей считается в Японии даже домохозяйка, которая раз в неделю дает шестидесятиминутный урок музыки.

Очевидная ущербность оценок безработицы приводит в смущение некоторые правительственные органы. Сквозь зубы они указывают на четырехпроцентный уровень безработицы вместо официального, выводимого канцелярией премьер-министра 2,8-процентного. В то же время независимые научно-исследовательские экономические институты называют цифру гораздо более внушительную и более точную: 8 процентов.

Японцы среднего возраста, работающие по найму, отдают себе отчет, что им придется непременно искать работу после выхода на пенсию. Только 12 процентов из них полагают, что смогут прожить на выходное пособие и пенсию. Менее 20 процентов надеются, что будут в состоянии оплачивать медицинскую помощь, если заболели в старости.

Сет Голдсмит, профессор Массачусетского университета, вернулся из Японии в ужасе. «Это Дикий Запад медицины!» — начал профессор у себя в университете рассказ о знакомстве с японским медицинским обслуживанием.

Профессор не преувеличивал. 40 процентов из 163 тысяч японских врачей — терапевты. Они не имеют связей ни с крупными клиниками, ни с медицинскими научными учреждениями. Методы, применяемые некоторыми из них, соотносятся с современной медицинской практикой так же, как выкрикивание имени больного в колодезь (обычный способ лечения в пору японского средневековья) с облучением кобальтовой пушкой.

Пациент является к врачу с легким растяжением связок в лодыжке. Советом воздержаться некоторое время от ходьбы и рекомендацией принять две-три таблетки аспирина ограничился бы, наверное, любой врач. Японский же эскулап прописывает лекарство, успокаивающее мускулы, противовоспалительное лекарство, желудочные порошки, снимающие побочный эффект противовоспалительного лекарства, и наконец ножной пластырь. В результате счет за лечение способен повергнуть в шока не то что человека с большой лодыжкой, а и олимпийского чемпиона по боксу, находящегося в прекрасной спортивной форме. В Японии практикующий врач — это одновременно и фармацевт. Проверить качество лечения некому. Потому нередко и случаются скандалы, когда вдруг врач, проводящий сложные хирургические операции, оказывается обладателем диплома гуманитарного факультета.

Из 9224 японских больниц 80 процентов имеют дотопочное оборудование. В остальных есть, например, даже компьютеризированные аппараты для рентгеноскопии тела в поперечном сечении. Но на этих аппаратах некому работать. На 2500 таких «сканнеров» приходится всего 1,5 тысячи специалистов, хотя подобным количеством аппаратуры могли бы пользоваться по меньшей мере 10 тысяч рентгенологов.

Прогресс не скоро придет на «Дикий Запад медицины». 5 процентов валового национального продукта, расходуемые в Японии на медицинское обслуживание, — слишком мало, чтобы ликвидировать дикость. В США, где здравоохранение народа, по признанию самих же властей, находится на грани катастрофы, и то на него расходуется 10 процентов ВНП. Результат не замедлил сказаться. 60 процентов японцев старше пятнадцати лет чувствуют себя недостаточно здоровыми. Среди молодежи пятнадцати—девятнадцати лет и среди пожилых, кому перевалило за семьдесят, участились случаи заболевания туберкулезом.

Подводя итоги 1984 года, министерство здравоохранения и социального обеспечения отнесло к своим самым значимым успехам сокращение числа людей, обращавшихся за помощью к врачам. Но не оздоровительные и профилактические мероприя-

тия были причиной этого сокращения, как утверждало министерство. В 1984 году визит в поликлинику сделался на 10—20 процентов дороже, чем раньше.

Счастливицков вроде рабочего автомобильного завода «Ниссан» Хироси Сасаки, кому фирма предоставила жилье в своих домах с низкой квартплатой, всего 7 процентов от общего числа японцев, занятых по найму. Остальные вынуждены арендовать жилье у частных владельцев или покупать

Я показал в одном из телерепортажей квартиру сравнительно недалеко от центра Токио — тридцать минут езды на машине. Чтобы телезрители наглядно представили себе величину арендной платы, я положил в квартире на пол журнал формата «Огонька» и спросил домовладельца, сколько он берет в месяц за площадь, что занял журнал. Домовладелец быстро прикинул на калькуляторе и сказал:

— Примерно пять тысяч иен.

5 тысяч иен — это 2 процента средней заработной платы японца. 2 процента зарплаты за пространство, на котором не уместиться, даже сев по-японски: ноги под себя. А платить-то надо еще и за электричество, и за газ, и за воду, и за отопление.

В популярном ежемесячнике «Тюо корон» я натолкнулся на статью, озаглавленную без излишней скромности: «Япония — единственная в мире сверхдержава благосостояния». Чиновник государственного Управления по науке и технике Ядзиро Накагава написал в журнале: «Япония — ведущая в мире держава в смысле мер, которые она предпринимает для благосостояния своих граждан, и в смысле богатства и изобилия, которыми ее граждане наслаждаются в повседневной жизни».

Мне захотелось расспросить о необыкновенном японском благосостоянии самого начальника управления. В частности, я намеревался спросить, как решается судьба 4 миллионов семей, которые, судя по официальной статистике, вынуждены жить в неприемлемых для человека условиях. Был у меня вопрос и о том, как долго две трети домов в Японии все еще будут лишены канализации.

Прежде чем отправиться брать интервью, я решил снять общий вид здания, где располагалось Управление по науке и технике, и вместе с кинооператором забрался на крышу соседнего с управлением дома. У входа в дом я обратил внимание на рекламный плакат. Он приглашал купить здесь квартиру. За самую дешевую — однокомнатную — просили сумму, равную всей, до иены, средней заработной плате японца за 240 месяцев непрерывного труда. Цена самой дорогой — трехкомнатной — соответствовала зарплате рядового японца за 1200 месяцев, или за сто лет.

Начальник управления, познакомившись с моими вопросами, от интервью отказался, сославшись на большую занятость и порекомендовав обратиться к чиновнику его управления... Ядзиро Накагаве. Но точку зрения Накагавы я уже знал.

Благодаря поручительству фирмы Хироси Сасаки получил от банка льготную ссуду на приобретение домика. Подавляющее большинство японцев подобной милости не удостоиваются. Многие годы копят они деньги, чтобы вернуть банку займ и проценты на него. Растущая дороговизна не позволяет регулярно откладывать деньги, нужные для расплаты, и долг увеличивается. В 1983 году сбережения японцев возросли в среднем на 3,3 процента, а сумма их долгов, возникших из-за покупки жилья, подскочила на 19,3 процента.

«Независимо даже от собственной воли мы немножечко увеличиваем валовой национальный продукт и... немножечко себя убиваем». Без сомнения, японский писатель Такэси Кайко имел в виду не труд сам по себе. Созидание способно лишь возвышать человека. Писатель говорил об условиях, в которых японцам приходится трудиться. Да, эти условия способствуют достижению высоких экономических показателей. Но с другой стороны, только в Японии мог появиться балаганчик «Отведи душу», описанный Такэси Кайко. Заплатив мелочь, посетитель входил в темное помещение, отгороженное от улицы занавеской. Ему давали несколько простых тарелок. Он бил их по одной оземь и удалялся.

Постоянное сдерживание себя в тесных общинных оковах, необходимость подавлять собственное «я» делают японцев завсегдагатаями балаганчиков «Отведи душу». Хитрый Коносукэ Мацусита давал рабочим отводить душу, не выходя из цеха: похожие на Мацуситу манекены и палки, чтобы колотить по ним, имелись на заводах концерна во всех курительных комнатах.

Групповое согласие, групповая гармония требуют лицемерия. В японских фирмах только очень близкие друзья знают, когда они действительно согласны с остальными сотрудниками или друг с другом, а когда лицемерят. Лояльность преду-

смачивает слепое, значит, механическое подчинение распоряжениям начальства, что не оставляет, естественно, места творчеству. Должностная «ротация», производимая сверху и подчас не соответствующая желанию самого работника, превращает его в пешку и рождает у него чувство беспомощности и зависимости от фирмы. Это чувство совсем не обязательно перерастает в лояльность. Оно может обернуться озлобленностью и безразличием. «Японцы живут в гнетущей, удушающей атмосфере», — сделал вывод Юдзи Анда, профессор Киотского университета, большой знаток духовного склада японцев.

В 1983 году лишили себя жизни 25 202 японца — рекорд за все послевоенное время. Разные причины толкнули самоубийц на отчаянный шаг: и долги, и безработица, и болезни. Но чаще всего виной был психический стресс.

В цехе, в конторе японцы сдерживают себя. Эмоциональные срывы случаются обычно дома. Телевидение, газеты почти ежедневно сообщают о насилиях и убийствах, совершаемых в семьях. Начинаются трагедии, как правило, с пустячной ссоры — например, из-за громко звучащего телевизора.

В феврале 1983 года группа подростков ходила поздним вечером по паркам и подземным переходам Икогамы и жестоко избивала попадавшихся им бродяг. Из 16 жертв трое от побоев умерли. В городе Кисарадзу 10 семиклассников три часа подряд били палкой четырнадцатилетнюю девочку из их же группы. Убийцы из Икогамы и садисты из Кисарадзу воспитывались во вполне уважаемых семьях, не имели приводов в полицию.

По свидетельству министерства просвещения, число школьников, покончивших с собой в 1983 году, на 60 процентов превысило соответствующую цифру предыдущего года.

Ответственность за рост насилия среди молодежи несут, без сомнения, японские кинофильмы, телепередачи, комиксы. В американской кино- и телепродукции крови льется, надо полагать, больше, но вряд ли где-либо еще, кроме Японии, показывают столько бессмысленных, ничем не оправданных убийств. Однако только ли кинематограф, телевидение и низкопробная литература должны держать ответ за неблагополучие японской молодежи? Министерство просвещения предприняло попытку разобрататься, что склоняет школьников на немотивированное насилие, на самоубийства, что отвращает их от школы, и выяснило следующее: душу японских детей коверкает иступленная и безжалостная погоня за рабочим местом и за деньгами, в которую они включаются с самой ранней поры. Психические нагрузки в этой гонке детям не по силам. Провал на экзаменах — а их невообразимо много на жизненном пути молодого японца — превращается в личную и семейную трагедию. Чтобы сбросить вызываемый ею стресс, школьники берутся за палки, велосипедные цепи, обрезки труб и выходят вечером на улицу. У кого не хватает на это духу, вскрывают себе вены. И все вместе они ненавидят школу.

Нет в мире языка, в котором имелось бы слово, эквивалентное по смыслу японскому слову «саби». Оно образовано от прилагательного «сабийси» (грустный) и в буквальном переводе означает уединенная печаль. Суть же саби гораздо богаче. Один из японских исследователей объяснил ее так: «Саби создает атмосферу одиночества, но это не одиночество человека, потерявшего любимое существо. Это одиночество дождя, шуршащего ночью по широким листьям дерева, или одиночество цикады, которая стрекочет где-нибудь на голых белесых камнях».

В 1979 году в горной префектуре Нагано отыскались считавшиеся безвозвратно утраченными 10 хайку непревзойденного мастера этого жанра поэзии Кобаяси Иссы, творившего в конце XVIII — начале XIX века. В его стихах саби выражено с предельной, по-моему, простотой и яркостью:

На этом кладбище  
Среди могил  
Цветет один петуший гребень.

Или:

Если патринии цветы  
Меня возненавидят,  
Я сделаю луну подругою своей.

Иначе говоря, саби — это эмоциональное состояние человека, нашедшего уединение от окружающих и покоя от повседневных забот.

Мне довелось прочесть исповедь одного менеджера. Он написал:

«У себя в фирме я обязан правильно решать самые разные и очень сложные проблемы, связанные с персоналом, с производством, с реализацией готовой продукции. Я не обладаю правом на ошибку. Нет никого, кто помог бы мне или взял на себя вину в случае моего неправильного шага. Однажды я потратил несколько дней на решение особо трудной проблемы. А когда все же нашел выход, то почувствовал себя полностью опустошенным.

Не берусь гадать, что случилось бы со мной, если бы я не очутился в маленьком загородном домике. Неся в себе заботы и тревогу, я вошел в восьмиметровую комнату, устланную циновками и безо всякой мебели, закрыл за собою дверь и приказал не беспокоить меня. Перед домиком разрослось несколько деревьев, и я залобовался ими. С тех пор я прихожу в эту комнату с террасой каждый раз, когда мне трудно. А покидаю ее спокойным, уверенным и сильным и еще энергичней берусь за работу».

Я не собираюсь ставить под сомнение эстетичность японцев. Но наблюдая за тем, как долго и пристально, отключившись не только от шума и толпы, но, кажется, и от самой эпохи, смотрят они на ключ, бьющий из расщелины между выбеленными водой и временем камнями, на веточку распустившейся сливы, вздрагивающую под порывами холодного, оставшегося от зимы ветра, я начинал думать: а не бегство ли это от действительности, стиснутой тяжелыми цепями общинных порядков и нравов и омраченной неустроенностью и страхом перед завтрашним днем? не оборотная ли это сторона немотивированного насилия или самоубийств, вызванных эмоциональными срывами?

Для манкурта из легенды, которую пересказал в романе «И дольше века длится день» Чингиз Айтматов, хуже любой казни был страх, что отпарят приросшую к его черепу верблюжью шкуру. Как дикая лошадь, бился манкурт, но прикоснуться к голове не позволял: жуаньжуаны уверяли, что отпаривать шкуру еще мучительнее, чем терпеть усыхающую под палящим солнцем сырмятную шкуру. А если бы нашелся манкурт, кто презрел бы внушенный жуаньжуанами ужас? Кто знает, может, вернулась бы к манкурту память, а с ней и осмысление себя человеком.

Ликвидация идеологической шири — операция тоже болезненная. Но отваживаются на нее все более широкие слои японского трудового населения. Сколь ни интенсивна пропаганда «гармонии» между персоналом и менеджментом, логика общественного движения вперед сильнее. Воззрения нынешней молодежи позволяют судить, насколько интенсивна хирургия идеологической шири. 49,5 процента молодых людей убеждены, что в японском обществе нет справедливости». 32,5 процента опрошенных юношей и девушек досадают, что «добросовестные люди не вознаграждаются». 21,4 процента недовольны «слишком большой разницей между бедными и богатыми». В этом опросе разрешалось называть по несколько причин неудовлетворенности обществом.

Материальный фундамент общинного сознания подтачивается изменением ценностных ориентаций японской молодежи. Среди начавших работать в апреле 1984 года юношей — выпускников высших учебных заведений 72 процента считали семью важнее, чем работу, то есть отдавали предпочтение семье, а не фирме. Годом раньше таких юношей было 66 процентов. Что касается девушек, то называли главным в своей жизни дом, семью, но не работу 87 процентов из них. «Я хочу жить для себя, а не для завода, где тружусь», — откровенно призналась одна из участниц опроса. На заводе «Ниссан» я услышал от высшего менеджера:

— Еще одно-два поколения будут преданными фирме, как мы. Потом Япония лишится своего богатства...

Не исключено, что это произойдет значительно раньше. Январское 1984 года обследование, проведенное Японским центром по трудоустройству, выявило: 54 процента молодых инженеров считают, что их зарплата не соответствует объему и качеству работы, которую они выполняют, 55 процентов считают нынешнюю систему менеджмента тормозом для их профессионального роста и продвижения по служебной лестнице.

Предприниматели вынуждены отдавать себе отчет в этой реальности. Одни реагируют бранью. «Геперешняя молодежь потеряла представление об истинных моральных ценностях», — злобно сетовал журнал «Дух Мацуситы», который издается концерном «Мацусита дэнки» для своих работников. «Старшее поколение воспитывалось в доброе старое время. — Тоска прямо-таки сочилась из каждой журнальной строч-

ки.— В те годы умели прививать преданность фирме, желание работать на благо общества, сознание, что труд есть добродетель». Об обществе капиталистов и о труде во имя их прибылей вел речь журнал.

Другие предприниматели пытаются приспособиться к новой реальности. В некоторых фирмах приступили к так называемой модификации системы заработной платы, зависящей от возраста и стажа работника. Отказываться окончательно от традиционной формы вознаграждения за труд предприниматели не хотят, так как, привязывая системой нэнко работника к предприятию, они до известной степени сглаживают остроту классовых противоречий, которые справедливо считают угрозой своему существованию. Однако новшество в виде, скажем, увеличения в общем объеме заработка доли оплаты за количество и качество продукции, произведенной в заданный промежуток времени, за профессиональное мастерство, за выполнение должностных обязанностей серьезно изменяют суть нэнко.

Лояльность требует подкормки. У самых крупных фирм она еще есть. Эти фирмы еще могут не увольнять значительную часть постоянных рабочих в периоды экономического спада. Она еще способна мириться с повышением по службе в зависимости не от способностей и трудового вклада, а от возраста. И наконец, для них еще не стала чрезмерным бременем забота о быте, отдыхе и социальном обеспечении персонала. Но закономерности капиталистического развития неизбежно приведут к ослаблению, а может быть, и к развалу вслед за системой нэнко и этого фундамента лояльности.

Отмирание нынешней системы менеджмента чревато для Японии социальным кризисом. Закваска для будущего социального брожения есть. В 1970 году 30,4 процента японских юношей и девушек назвали работу местом, где они «чувствуют, что жизнь их проходит не напрасно». Десять лет спустя молодых людей, удовлетворенных жизнью в условиях менеджмента, который основан на принципах средневековой деревенской общины, осталось только 16,5 процента. Сколько их окажется в 1990 году? В свете подобной тенденции приобретают особую значимость итоги опроса, в ходе которого 80 процентов японских рабочих заявили, что «для улучшения жизни необходимо помимо собственных усилий изменить политику».

Начиная повествование, я оговорился, что опишу свои четырнадцать камней, какими увиделись они мне в Философском саду — этой метафоре японской жизни. Конечно же, что-то укрылось от меня — ведь в саду пятнадцатый камень ускользает от взгляда. Весьма вероятно, окажись я несколькими шагами дальше или ближе того места, откуда смотрел на сад, положение камней в поле моего зрения было бы совсем иным и мой рассказ получился бы другим.

Наши знания о Японии станут тем полнее и справедливее, чем больше отобразим мы комбинаций из четырнадцати камней. Наверное, не каждое из ваших голкований внесет до конца ясность в японское Зазеркалье, однако все они будут содержать зерна истины. Надо только не бежать по галерее монастыря Рёандзи, как спринтер на стометровке, а застыть на длинных ступенях, спускающихся к камням, но не затем, чтобы пересчитать камни. Рассказывают, что перед чтением творений великих литераторов Ганской эпохи люди мыли руки розовой водой. Постичь суть каменного хаоса, сотворенного человеческим разумом, возможно, лишь очистившись от привычных стереотипов, предвзятости и высокомерной уверенности, будто нет вопросов, на которые еще не найден ответ.

Токио — Москва, 1983—1984.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЛА МАРЧЕНКО



## ОБЕЩАЕТ ВСТРЕЧУ ВПЕРЕДИ

**П**ришелец из «вековой тишины», из таинственных самородных глубин. Есенин явился на русский поэтический Олимп не просителем — красным гостем и, не остановившись перед парадным подъездом, поднялся по великолепным лестницам как был — в валенках, в лазоревой косоворотке. На расстоянии «явление» выглядит именно так — легенда стерла детали, но, если их восстановить, окажется: блистательному дебюту предшествовала отнюдь не блистательная репетиция — Москва чуть было не вернула «вербного отрока» в его рязани, не заметив в не слишком старательном корректоре сытинской типографии будущего «знаменитого русского поэта». Иногда, правда, печатали, но как бы Христа ради — из уважения к «папушескому» происхождению. Петербург на первый взгляд был крепостью еще более неприступной, но она сдалась почти без боя. Вспоминая начало, Есенин писал незадолго до смерти:

Россия... Царщина...  
Тоска...  
И снисходительность дворянства.  
.....  
И вот в стихах монах  
Забил  
В салонный вылощенный  
Сброд  
Мочой рязанская кобыла.

Признание кажется модернизацией: в стихах Есенина 1913—1916 годов нет вроде бы ничего, наводящего на мысль, что народный златоцвет и златоуст носит «нож за голенищем», что его тихость притворно-обманчива, что за вкрадчивым обаянием готовность к прыжку; современники запомнили скромного голубоглазого мальчика. Однако письма его к Александру Ширяевцу подтверждают, что Есенин если и преувеличивает, то не так уж сильно. Вот

что он писал летом 1917 года своему другу-брату «по музе, по судьбам»: «Бог с ними, этими питерскими литераторами... мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы... Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина. Тут о «нравится» говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это — ты. Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову...»

И когда пробил его час, потряхнул с себя тихость, взбаламутил литературный пруд — до сих пор расходятся круги.

Однако успех Есенина в Петербурге, почти необъяснимый после московского прозябания, не был ни улыбок случая, ни счастливым выигрышем на балу удачи. Б. Пастернак писал: «В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захоlustья... С наступлением нового века... мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству — искусству большого города, молодому, современному, свежему».

Петербург не просто отстал — произошло перераспределение интересов. Процесс был сложным. Содрав с русского искусства коросту провинциализма, он возродил, казалось бы, из небытия старый конфликт за-

падников и славянофилов, причем славянофильским центром благодаря монаршему покровительству становится Петербург. Москва ориентирует на Запад, Петербург вводит в моду стиль ля русс. Шуккин покупает Матисса и Пикассо, Художественный театр ставит Метерлинка, Петербург увлекается частушками, Клюевым, аплодирует Плевницкой. Руссомания захватила и столичную интеллигенцию. С. Городецкий вспоминал: «Стык наших питерских литературных мечтаний с голосом, рожденным деревней, казался нам оправданием всей нашей работы и праздником какого-то нового народничества».

Неудивительно, что в этой экзальтированной обстановке появление Есенина было воспринято как русское чудо, как пришествие отрока Пантелеймона. О нем заговорили, он стал модным, вокруг него завязалась борьба. Наибольшую активность проявил, видимо, Клюев: сразу понял, что подоспела «помочь». Блок, только что переживший «Поле Куликово» и мучившийся поздней и трудной любовью к «нищей» России, принял Есенина как ее полномочного посла, но довольно быстро охладел. Даже «на башне» у Вяч. Иванова к Есенину отнеслись благосклонно — весьма сочувственно, как свидетельствует тот же Городецкий, не лично к Есенину, конечно, и не к его стихам, а к факту «пришествия», увидев в нем подтверждение своих философических предположений. Есенин же, со свойственной ему сверхчуткостью, мигом понял, что на этом Парнасе духа, несмотря на расточаемые ласки, он чужак, лазутчик. Потому и ухо держал востро, отмечая для памяти все проявления снисходительности; снисходительности он не простил не только «даме с лорнетом» — мадам Гиппиус, но и самому Блоку.

Вынужденный проходить университеты культуры по ускоренной и урезанной программе, да еще и с «голоса чужого», он поступил как варвар: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Сгодилось многое, но ассимиляции не произошло: Есенин остался Есениным. Он писал в «Ключах Марии» (1918): «Этот пастух только и сделал, что срезал... тростинку, и уж не он, а она сама поведала миру через него свою волшебную тайну». «Пастух» — это и о себе: был у Есенина сверхъестественный дар слышать «разумную плоть», и когда писал в тех же «Ключах...»: «...глазам нужно сделать какой-то надрез, чтобы они видели, что небо не оправа для алмазных звезд, — а необъятное, неисчерпаемое море, в котором эти звезды живут, как

многочисленные стаи рыб», — это не было насильственным воскрешением мифологического сознания. Ему-то не нужно было делать никакого надреза, ибо родился с наивной мудрой верой: в мире нет ничего неживого.

Есенин остался бы в литературе, если бы даже не написал ничего, кроме «Радуницы» и «Голубени», уже в этих книгах, просторных и ничьих, как березовые рощи, пахло Русью. Именно пахло: знаменитая пушкинская метафора в случае с Есениным утрачивает свою условность, он научился «запрягать» не только слова, но и краски, не только предметы, но и запахи и при этом, предельно оконкретив лирическое чувствование, обобщил его почти до поэтической сентенции. Страсть Есенина к образотворчеству поразительна, об этом своем таланте он никогда не забывал, помнил; в самом заветном ларце хранятся инструменты для тонкой вышивки блистательных имажей, но в «Радунице» и отчасти в «Голубени» поэт как бы «таит тропу», скрытничает, выжидает, бережет самые крупные козыри, твердо веруя — придет его время.

Февральскую революцию Есенин принял восторженно, как знак того, что в тяжбе со столичными литераторами выиграл он, как сигнал к действию: кончай маскарад, начинай мутить воду и пусть они выкусят! Рюрик Ивнев вспоминает, что в первые ее дни Есенин ходил сам не свой, точно опьяненный. Да и не только Есенин. «Смотрю, — продолжает Ивнев, — Клюев, Клычков, Орешин... Все какие-то новые — широкогрудые, взлохмаченные, все в расстегнутых пальто... «Наше время пришло!» — шипит елейный Клюев».

Октябрь поначалу показался простым продолжением Февраля, в социал-демократических тонкостях Есенин не разбирался, понимая все по-своему — «с крестьянским уклоном». Поначалу выделялся только вихрь, «бреющий бороду старому миру», ведь вихрь этот выносил его из нежных отроков в пророки, с заросших резедой и кашкой рязанских перелесков на почти библейские высоты Инонии — утопического мужицкого рая, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», чтобы он, «пророк Есенин Сергей», сбросил со сказочных высот «золотое яйцо» новой правды.

В. Полонский вспоминает: «Ему было тесно и не по себе, он исходил песенной силой, кружась в творческом неугомоне. В нем развязались какие-то скрепы, спадали какие-то обручи — он уже тогда говорил о Пугачеве, из него ключом била

мужичья стихия, разбойная удаль.. Надо было слышать его в те годы: с обезумевшим взглядом, с разметавшимся золотом волос, широко взмахивая руками, в беспмятстве восторга декламировал он свою замечательную „Инонию“.

«Инония» была только фрагментом; в течение двух с небольшим лет Есенин написал целую книгу поэм: «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик», «Пантократор». Он затеял нечто небывалое — не то храм мужичьему чудотворцу, не то памятник коровьему крестьянскому богу, не то языческие игрища в честь телицы — Руси. Нечто торжественное, грандиозное, исполненное истовой веры в спасительную силу искусства, в право поэта преобразовать мир посредством образа.

Уникальный «вавилон» устарел раньше, чем началось строительство.. Поэт словно бы перестал чувствовать время — токовал и слушал лишь самого себя. Даже замечательная «Инония», даже удивительный «Пантократор», не говоря уже о «Сельском часослове», не получили никакого отклика. За «Инонией» утвердилась репутация малоудачного произведения, на «Небесном барабанщике» крупный редакционный работник той поры написал: «Нескладная чепуха».

Тщательно подготовленный выход был выходом перед почти пустым зрительным залом — Есенин наконец понял это и растерялся, впервые в жизни растерялся. До сих пор он был так прочно связан со своей крестьянской купницей, чувствовал себя защищенным этой общностью, верил, что «плаг бури» расчистит для крестьянского искусства луга заповедные. А оказалось, что повелевают бурей не его знакомые эсеры во главе с Ивановым-Разумником, а малопонятные серьезные люди — большевики, что не только он, Есенин, но и Клюев, не только Клюев, но и Иванов-Разумник отодвинуты «американской», материалистической — так кажется Есенину — реальностью на периферию, задворки жизни.

К тому же он стал догадываться, что и их купница — объединение не слишком прочное, что и Клюев и Разумник Васильевич не столько болеют за народ, сколько шаманят. Подобное с ним приключалось и раньше: за очарованием вдруг — безочарование, за безочарованием — разочарование. Но тут, с Клюевым, разочарование давалось не легко. Да, он начал подозревать в Клюеве ряженого, а благодарность оста-

лась. Есенин был из тех, кто не забывает ни одной оказанной ему услуги. Он посылал Клюеву посылки, официально именовал учителем, в письмах был неизменно почтителен и сдержан, но знакомым жаловался: «Ей-богу, пырну ножом Клюева». Клюев не давался, Клюев ускользал, обманывал, сбивал с толку, Клюева Есенин не понимал. То жаловался: Клюев оболгал русского мужика, то завидовал: «Олонецкий знахарь хорошо знает деревню». И то и другое было правдой. Но Есенин разглядел в затейливой образности песнопевца искусственность, стилизаторство, сусальность и тяжело признавался Иванову-Разумнику: «То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся.. Он весь в резьбе молвы (то есть в пересказе уже сказанного.— А. М.)... Только изграф, но не открыватель. А я «сшибаю камнем месяц...» Кроме того, Есенин чувствовал: лирический поток вырвался из-под контроля, вот-вот сметет-смоет и Радонеж, и Китеж, и песенно-голубую Русь, и ее балакиря, чувствовал и предвидел: бесконтрольного «половодья чувств» в купнице не поймут и не примут. И предупредил раскол — оторвался. Я от бабки ушел, я от дедки ушел, а от тебя, лиса, и подавно уйду..

Впрочем, желание отделаться, выселиться на отруба родилось давно, он не желал быть младшим братом, не хотел, чтобы тыкали Клюевым, не любил вторых ролей: народный златоцвет номер два? И все-таки то, что Есенин внезапно, словно актер, переманенный из народного в коммерческий театр, пересел из увитой колосьями маскарадной телеги клюевской группы в щегольской экипаж имажинизма, выглядело и неожиданным и необъяснимым. Легкость, с какой Есенин сменил идеалы, возмутила не одного Клюева. Однако между этими событиями — издаелека для нас почти одновременно — пролегла целая эпоха.

Дезертировав из армии Керенского, Есенин некоторое время провел в Константинове, потом перебрался в Москву. На жительство. Печататься, правда, продолжал в Петербурге, теперь уже Петрограде, в левозсеровских изданиях.

Г. Устинов вспоминает: «Это был 1918 год.. На одном из литературных собраний в помещении издательства ВЦИК, на углу Тверской и Моховой.. появился среднего роста желтоволосый, слегка курчавый мальчик, в поддевке, в «гамбургских» сапогах, голенища бутылочками, в сереньком, довольно длинном шарфе.. Желтоволосый мальчик приветливо улыбался решительно всем».



Появление Есенина в издательстве ВЦИК Устинова объясняет тем, что после того, как левые эсеры ушли в подполье и их орган — «Знамя труда» — закрылся, Есенин «повернулся лицом к большевистским Советам». Вряд ли это следует понимать так буквально. Ведь тот же мемуарист свидетельствует, что именно на этом собрании мальчик в сереньком шарфе выступил со странным заявлением: «Революция... это ворон... которого мы выпускаем из своей головы на разведку... Будущее больше». Его никто не понял. Однако в этой спотыкающейся и маловразумительной фразе — Есенин не умел говорить публично — вполне определенная позиция, получившая обоснование в уже упоминавшемся эссе «Ключи Марии»: «То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: «Ной выпускает ворона». Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его, мы знаем, что он не вернется, знаем, что масляная ветвь будет принесена только голубем — образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обитающего его храма вечности». К деятельности Пролеткульта Есенин вообще относился с внимательной настороженностью. Кстати, он имел возможность наблюдать пролеткультистов в быту и крупным планом. По приезде в Москву (1918) Есенин жил вместе с С. Клычковым в помещении Пролеткульта, в бывшей ванной комнате купцов Морозовых. От этого территориально-пролеткультовского периода связи Есенина с пролетарскими поэтами Полетаевым, Кирилловым, Герасимовым. И дружеские и творческие... Но в целом атмосфера пролеткультовских сборищ, их фанатизм не могли не оттолкнуть Есенина. Поэтому даже Блок, так и не преодолевший, по убеждению Есенина, «голландского романтизма», Блок, «по недоразумению русский», был ближе.

Воспоминания Г. Устинова дают основание предполагать, что и «Ключи Марии» и выдержка из этого трактата, произнесенная на собрании в издательстве ВЦИК, были чем-то вроде манифеста — сводом условий, на которых Есенин соглашался сотрудничать. То есть сотрудничать в качестве попутчика. От него отмахнулись. Здесь, в Москве, он, в сущности, был никем. Постановление о работе с известными писателями, доставшимися новой власти от старого мира, его вроде бы и не касалось. Есенин обиделся, но не настолько, чтобы

уйти в душевное подполье и жить константиновским балакирем. А обидевшись, решил, что обиделся вместе с русским мужиком и за него тоже. Драматичность положения усугублялась тем, что при этом он не желал ни быть, ни слыть ходоком по рязанским делам. Его эгоцентризм даже со стороны казался преувеличенным — в одной из автобиографий поэт так и написал: «Крайне индивидуален».

Свою «крайнюю индивидуальность» Есенин носил подчеркнуто элегантно, так же, как знаменитую — пушкинскую — крылатку, и она была ему к лицу, но за ней не было трех веков тоски и наследственной привычки к одиночеству. В глубине души он, верно, и не знал, что с этим одиночеством делать... Вот и прятался от крайности, от самого себя в кушницы, грушпы. Он и ходить-то одя не любил, по «московским изогнутым улицам» его всегда сопровождали то ли телохранители, то ли собутельники, то ли просто почитатели — люди свиты. И жить не умел один...

Все это, вместе взятое, потребовало более сильных и острых средств выразительности, и вот он уже замазывает черной краской золотые орнаменты, богохульствует и плачется в им же самим возведенном храме вечности...

«Левой! Левой! Левой!.. — командовал Маяковский. — Кто там шагает правой?» Правой шагал Есенин, ломая строй. Он ерничал и показывал кукиш: «Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем». Он обличал и грозил: «Веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего». И сам понимал бессмысленность своего бунта — «любю ль, не люблю ль — знай бери». Резко изменилась эмоциональная настроенность его поэзии. Она стала нервной, напряженной, трагической. Есенин разучился казаться улыбочивым и простым. Он еле сдерживает крик, становится суеверным и мнительным, всюду видит зловещие приметы, знамения, знаки, предвещающие «беду над полем». «Погибельный рог», «черная гибель» — вот лейтмотив его лирики 1920—1921 годов. А вчуже, даже относительно благожелательным левовцам, кажется: Есенин опять хрипит раньше других сообразив: биография, поставленная наперекор волнам времени, — мощный источник поэтической энергии. Высказывались мнения и еще более категоричные: хулиганство Есенина — вшедшая в кабак контрреволюция. И все-таки Маяковский почувствовал верно: Есенин по-своему завладел пролетарским поэтам. видевшим перед собой ясный и опти-

мистический путь,— и уже после смерти «звонкого подмастерья» извинился за своего соратника Николая Асеева, написавшего в 1922 году: «С. Есенин, зная правильный путь поэта современья, считает его... по каким-то причинам неудобным... Есенин хочет отпихнуться во что бы то ни стало от классового самоопределения... Как хитрый деревенский парень, он чувствует, что борьба еще не кончена. И, не желая терять в своей поэтической дороге ни пяди, он пытается пройти... мимо тягот и черной работы поэтов нашего поколения»

В этой ситуации вступление в орден имажинистов могло показаться и, видимо, оказалось чем-то вроде выхода из тупика. Однако и в новой купнице Есенин остался сам по себе, со своей никому не нужной здесь органической «фигуральностью». Впрочем, он всегда спешил — и жить и чувствовать...

Все условия договора, заключенного магистрами великого ордена, на людях долгое время соблюдались почти исправно, но на первый план в качестве объединяющего принципа выдвинулись не творческие соображения, а коммерческие: кафе, отношения с издательствами, заботы о рекламе и т. д. и т. п.

После возвращения из-за границы в августе 1923 года Есенин практически вышел и из этой купницы. Разрыв был почти болезненным. Даже с Мариенгофом. «Мильй Голя» стал благополучным кондитером, как съезвил Рюрик Ивнев. Из кондитерского благополучия так уютно было жалеть Есенина: вот-де сгорает криво, с одной стороны, как неудачно закуренная папироса. Впрочем, мнение, что Есенину помочь нельзя, кажется, стало чем-то безоговорочным, как заключение судебной экспертизы, которому почему-то подчинились все — от Маяковского до Клюева. Все, кроме «большой заботницы» Галины Бениславской: она пыталась убедить Есенина, что приговор не окончательный, но делала это так неумело, что, пожалуй, только убедилась в обратном.

При всей видимой удачливости была в Есенине какая-то трагическая обреченность, в которую он сам верил убеждая друзей, повторяя: «Я ведь божья дудка. Это когда человек гратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополняет ему нечем и не интересно». Верил и не сопротивлялся, наоборот, с тихой печалью и непонятым окружающими упорством потворствовал, подогревая в себе провоцируя о-акции конфликта (как сказали бы медики) эксплуатирную предрасположенность к боли. И еще бы-

ла странность, и тоже фатальная: не вынося одиночества, панически боясь его, в то же время всерьез ни в ком не нуждался. Его недаром любили чужие дети и чужие собаки. Он был легкий, как птица, и, как птица, ничей. Этим охранял свое. Да, чувствовал себя существом с другой планеты, из другого, иного мира, стеснялся этого и хотел быть как все: определять литературную полтику, редактировать журнал. Даже уезжая в Ленинград — умирать, мечтал «по-мальчишески — в дым»: «В Ленинграде, он, наверное... устроит свой двухнедельный журнал, будет редактировать, будет работать. А по весне, пожалуй, следует съездить за границу к Горькому».

Это та его половина, которая хотела быть как все, строила трезвые, разумные планы. А другой Есенин — отмеченный «особой метой», чувствующий себя «божьей дудкой» — знал: ни жить, ни работать там не сможет, слишком чужим, «заграничным» представлялся ему этот город...

Имажинизм был для Есенина возвращением не только с высот Ионины на грешную землю, но и к самому себе. Увлечшись ролью Нового Сеятеля, он как бы забыл, что, кроме «пророка Есенина Сергея», есть еще и просто Есенин. Но отказавшись от богостригельных претензий, от мистического изографства, поэт не отказался от сложившейся в орнаментальных поэмах поэтики, он лишь решительно освободил ее от символической многозначительности. «Суровый мастер» демонстрировал «изобретательность до остервененья» (есенинское выражение), а худенький и слегка курчавый мальчик, глядя застывшими, как молоко, глазами, испуганно шептал: «Мне страшно,— ведь душа проходит, как молодость и как любовь» — и, чтобы избавиться от детского страха, чудачил, повесничал, хулиганил — лечил душу среди отверженных и провацих, утишал свою боль и свою неприютность чужой неприютностью и чужим горем. «Играй, играй, пастушок. Вылей звуками мою злую грусть». А грусть и в самом деле была злая: «Сыпь, гармоника. Скука... Скука... Гармонист пальцы льет волной. Пей со мною, паршивая сука, пей со мной».

Приступам тоски Есенин был, кажется, с детства подвержен. Тоска подбиралась неожиданно, нападала врасплох, и тогда все теряло и цвет и вкус и он писал странные сейчас воспринимающиеся как пророческие стихи: «В зеленый вечер под окном на рукевое своем повешусь».

Но «в стихах про кабацкую Русь» тоска стала, как выразился один из критиков той

поры, «душераздирающим тоскованием»: «„Тоска“, — плачется Есенин и роняет слова необычайной нежности. „Тоска!“ — кричит и бросается площадной бранью, от которой шарахается испуганный прохожий. Русская лирика не знала, может быть, такого пронзительного, душераздирающего тоскования».

«Москва кабацкая» положила начало широкой известности Есенина. До сих пор он был все-таки поэтом для избранных, для узкого круга, стихи про кабацкую Русь попали в фокус всеобщего внимания. Если литераторы уже после выхода «Греховницы» перестали относиться к Есенину как к вербному отроку, то читательским вниманием он овладел, в три с небольшим года выбросив на книжный рынок «Исповедь хулигана» (1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москву кабацкую» (1924). И дело не в рекламном скандале, подогревающим спрос. Конечно, запретный плод сладок, однако нецензурность «Москвы кабацкой» (в широком смысле) сильно преувеличена. Да и могут ли несколько нецензурных строчек придать такую притягательность имени поэта?

И «Избранные стихи», изданные в Москве, и сборник, вышедший в Берлине, строились как обычные собрания сочинений, представляли Есенина широко, во всем объеме, однако читатели схватывали, ловили, заучивали наизусть, растаскивали на цитаты именно те стихи, где «боль перестроения великого» сочилась из каждой строчки.

Есенин наконец-то отпустил тормоза. Вышел к юпитерам без маски и без грима, словно бросил вызов городу и миру. И к нему потянулись. Не только потому, что человек, сбросивший маску, разжигает любопытство. Но и потому, что почувствовали (если воспользоваться словами Цветаевой), что это уже не искусство, а нечто большее, чем искусство. «Примета таких вещей, — писала Марина Цветаева, — их действенность при недостаточности средств, недостаточности, которую мы... не променяли бы ни на какие достоинства и избытки... Судить их, как литературное произведение, просто малость — настолько все это за порогом этой великой (как земная любовь) малости искусства». В безыскусной искренности подобных стихов было нечто жуткое. Такие стихи и требовали многого. Их нельзя написать, их надо прожить — «жизнь моя за песню продана».

После смерти Есенина говорили: растратил-де, разбазарил свой талант. А он жил как великий скупой, не позволяя себе бес-

цельных удовольствий. Даже любовь была лишь каторгой, на которой его удел «вертеть жернова поэм».

То, что Есенин внимательно присматривается к Руси советской, было немедленно замечено. «Комсомолия» писала в 1925 году: «Признаниями советской действительности в 1924 году никого не удивишь — и все же есенинское «признание» имеет свое социальное значение: ведь Есенин — поэт того поколения крестьянской середняцкой молодежи, которое врасплох было захвачено революцией, было выбито из колеи, колебалось между зелеными и красными, между махновщиной и большевизмом, металось между кулачеством и беднотой, выявляя свою неустойчивую, двуликую природу, а теперь, вступив в зрелый возраст и увидав, что «бушующий разлив» страны вправлен в «бетонное» советское русло, успокоилось, поодумалось, стало на путь попутчества и сотрудничества, с рвением окончательно прозревшего». Однако в случае с Есениным все было не так-то просто: «Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам».

Слишком честный для того, чтобы, оставив душу себе, отдать новой власти и новому строю только лиру — лиру без души — в услуженье, он, по сути, выбирает не выход — тупик: отдать душу и не отдать лиру — значит, перестать быть поэтом. Новая жизнь все еще не поддавалась преобразению посредством образа, казалась чужой, как парижские улицы, силуэты Петербурга... И он стал ревновать Россию — к Маяковскому. Н. Полетаев вспоминает, что на новогоднем вечере в Доме искусств пьяный Есенин приставал к Маяковскому: «Россия моя, ты понимаешь, — моя, а ты... ты американец!» Американец в устах Есенина — ругательство. Урбанизм Маяковского, его умение извлекать музыку из пения водосточных труб поражали Есенина больше, чем слитность автора «150 000 000» с классом. «Ляжет в литературе бревном, и многие об него споткнутся», — жаловался Есенин друзьям. Казалось бы, обойди, но Есенин знал: не обойдешь, не объедешь. Рождались новый мир и новая красота, которую он не мог ни схватить, ни «прокусить» и к которой не хотел, по его собственному выражению, «присосаться налимом».

Именно в Маяковском Есенин чувствовал главного соперника. Пастернак в счет не шел. Пастернак не претендовал на широкую известность, на славу, на внимание массовой аудитории. Есенин не хотел прожить в искусстве Пастернаком. Пробовал

устоять: «Удержи меня, мое презрение, я всегда отмечен был тобой». Презрение не помогало. Ничто не помогало: ни вера в себя, в свой талант, ни даже самоуверенность. А может, эта показная самоуверенность была лишь защитной реакцией — хорошей миной при плохой игре? Но Есенин не только ерничал, злословил и хулиганил. Новой этике, оптимистической и экспансивной, пытался противопоставить свою: «Все познать, ничего не взяты пришел в этот мир поэт».

Ранняя усталость, как ранняя седина при молодом лице, со стороны и вчуже воспринималась как кокетство всеобщего баловня и любимца. Но Есенин не кокетничал — из одной крайности его бросало в другую. Н. Никитин вспоминает: «Как-то после одной истории я сказал ему: «Сережа! Оставим дебоши... Чего тебе? Чтобы издевались... или какая-нибудь сволочь раскроит тебе череп бутылкой... Как ты не боишься?» Он улыбнулся мне белокурой улыбочкой, мигнув по-рязански: „Нет! Я зажмуриваю глаза!“».

И то, что он предпочитал, инстинктивно охраняя себя и свое, водиться лишь с поклонниками своего таланта, в чем его нередко и справедливо упрекали, так и это оттого, что «зажмуривался»...

Словом, Есенин отступил, и отступил на те вечные позиции, которым пока не грозили радикальные перемены: запел про любовь, про женщину... Отступая же, втайне от всех, даже от самых близких, разрабатывал план нового наступления: «Не говорите мне необдуманных слов, что я перестал отделять стихи. Вовсе нет. Наоборот, я сейчас к форме стал еще более требователен. Только я пришел к простоте и спокойно говорю: «К чему же? Ведь и так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы». Путь мой, конечно, сейчас очень извилист. Но это прорыв». Эти знаменательные строки написаны в декабре 1924 года в Батуме.

Есенин приехал в Грузию, в Тифлис, еще в сентябре. На первый взгляд и эта поездка была отступлением, почти бегством.

1923—1925 годы — период острой борьбы между А. Воронским и так называемым пролеткультовским лагерем. Пролеткульт был распушен, но пролеткультовский дух оказался живучим: его унаследовали печальной памяти и МАПП и РАПП. В борьбу оказались втянутыми даже олимпийски настроенные формалисты. В. Наседкин вспоминает, что Есенин, обычно старавшийся не обнаруживать своих литературных симпатий, попав как-то на литературный вечер,

где выступали главным образом мапповцы (его и пригласила туда знакомая мапповка), ушел, не дослушав чтения прославленного поэта Х., — нервно, решительно, молча, даже не попрощавшись со своей спутницей. Словом, вопреки мнению молвы, убежденной, что Есенин был равнодушен к перипетиям литературной борьбы, поэт явно чувствовал себя между молотом и наковальней, вот и убежал «вон из Москвы», так объясняя близким свою московскую боязнь: «Вот в Грузии поэтам хорошо; Совнарком грузинский заботится о них, гочно о детях своих. Приедешь туда — как домой к себе».

На Кавказе ему было действительно хорошо. Всегда окруженный множеством знакомцев, приятелей, почитателей, завистников, прихлебателей, Есенин с юношеских лет мечтал о Друге. О великодушной, щедрой, не разьедаемой ржавчиной зависти дружбе, и здесь, в Тифлисе, нашел то, чего так не хватало всю жизнь: необременительное дружество...

Тициан Табидзе приводит в своих воспоминаниях о Есенине фрагмент из его письма к Е. Лившиц, написанного в поездке Кисловодск — Баку в августе 1920 года: «Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и все прочее. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня... По намекам это известно все гораздо раньше и богаче».

А в 1925-м Есенин признается Тициану: «Грузия меня очаровала...» Так что же изменилось за пять лет? Кавказские пейзажи? Или путешествия для Есенина утратили вредность? Конечно, ни путешественником, одержимым страстью к перемене мест, ни туристом, «потребляющим» пейзажи и виды, Есенин так и не стал. И все-таки Грузия очаровала, ибо очеловечилась... «Земля далекая» перестала быть «чужой стороной», и теперь, думая о Грузии, поэт вспоминает не столько «грузинские кремнистые дороги», сколько лица друзей, «глаза глубокие, как голубые роги».

В «Ключах Марии» есть такое соображение: «Да, мы едем, едем потому, что земля уже выдышала воздух, она зарисовала это небо, и рисункам ее уже нет места. Она к новому тянется небу, лица нового незапи-

санного места, чтобы через новые рисунки, через новые средства протянуться еще дальше».

Тот же образ — в письме к Табидзе (сразу же после признания в том, что Грузия очаровала): «Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере — тут же качу обратно к Вам, увидеть и обнять Вас».

Но главное, наиважнейшее: «Приедешь... как домой к себе». Это и было самым, самым, самым... Ему, бездомнику, судьба пусть ненадолго, но подарила, даровала дом, полный друзей. Дом, в котором можно спрятаться от необходимости что-то решать окончательно, бесповоротно, от неуверенности, от женщин, слишком настойчивых и требовательных, от долгов и обязанностей, от самого себя, от неизбежной очной ставки с черным человеком, от ставшего горьким «меда воспоминаний»...

И Пушкин, и Лермонтов, и Толстой ехали на Кавказ за волей, вольностью: из дома — в бездомность, «в тот чудный мир тревог и битв». Есенин искал уюта, уюта и обороны от зол и бед.

Николай Вержбицкий, бывший в ту пору выпускающим тифлисской русской газете «Заря Востока», затащил как-то Есенина в только что открывшийся в Тифлисе коллектор для беспризорников. Вержбицкого поразило, как естественно держался Есенин, как умело употреблял жаргонные босяцкие слова и обороты и как правдиво прозвучал его выдуманный от начала до конца рассказ о том, как и он был беспризорником, голодал и как потом, найдя в себе силы расстаться с бродяжничеством, подыскал работу, выучился грамоте, начал писать и печатать стихи.

Но только ли благодаря природному артистизму Есенин так хорошо и точно сыграл роль бывшего беспризорника? И выдуманный ли это рассказ про бесприютную, беспризорную жизнь? И почему его вообще потянуло в коллектор для беспризорников?

Нет, идеалии не было! И здесь, в Тифлисе, Есенина на первом же публичном выступлении чуть было ни освидали, публика была настроена революционно, хорошо, что «дядя Коля» (Н. Вержбицкий) вовремя подсказал, что нужно читать, чтобы вернуть расположение зала: о революции, о Ленине — «Гуляй-поле».

И все-таки было у Есенина в Тифлисе чувство дома, была забота друзей, и как-то само собой улаживалось многое, даже то, на что в московском бесприютстве приходилось тратить слишком много душевных

сил. Почему-то многие считали Есенина расчетливым, несмотря на то, что попавшие к нему в руки деньги моментально улетучивались, несмотря на то, что никогда не отказывал, если просили, — после смерти на сберкнижке остался один рубль. Но даже в нарочитом на фоне тогдашней бедности франтовстве («Я их не даю в стирку, я их выбрасываю») было что-то детское. Знай, мол, наших! Его иногда за глаза, а то и в глаза звали милым другом. Мариненгоф раздражался: знает-де, чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу... Обычно любят за любовь, Есенин же никого не любил, и все любили Есенина... Однако это легенда. Да, казался самоуверенным, повторял: я — Есенин, стихи, талант. «Я о своем таланте много знаю...» А вот настоящей цены ни себе, ни стихам своим не знал. Потому и был настороже. Потому и казался удачником. Даже проницательному и тонкому А. Воронскому. Вот что писал редактор «Красной нови» в знаменитой статье «Об отошедшем»: «Его поэтический взлет был головокружителен... у него не было полосы, когда наступают перебои... паузы, когда поэт оставляют в тени либо развенчивают. Пусть его был победен, удача не покидала его, ему все давалось легко. Неудивительно, что он так легко, безрассудно, как мот, отнесся к своему удивительному таланту».

Увы, и Воронский поддался гипнозу молвы о счастливчике, об Иване-царевиче русской поэзии. Но и это не было, а небыль; Галина Бениславская видела иное: «Удача у него так тесно переплелась с неудачей, что сразу не разберешь, насколько он неудачлив». Разобраться и в самом деле было трудно, для этого надо было подойти поближе. Издали был **виден** только сияющий и светящийся, как реклама, нимб почти легендарной — с привкусом скандала — известности. И это слепило, сбивало с резкости

Юрий Олеша вспоминает: «Когда я приехал в Москву, чтобы жить в ней... слава Есенина была в расцвете. В литературных кругах, в которых вращался и я, все время говорили о нем — о его стихах, о его красоте, о том, как вчера был одет, с кем теперь его видят, о его скандалах, даже о его славе».

И Олеша передает легенду. На самом-то деле Есенин не был сказочно красив. Вот как описывает наружность поэта один из тех, кто чудом остался нечувствительным к гипнозу бежавшей впереди поэта молвы: «Когда Есенин читал, я смотрел на его

лицо. Не знаю, почему принято писать о «красоте и стройности поэтов»... Есенин был некрасив. Он был такой, как на рисунке Альтмана. Славянское лицо с легкой примесью мордвы в скулах. Лицо было неправильное, с небольшим лбом и мелкими чертами. Такие лица бывают хороши в отчужденности.

Грузию не обманули ни английские костюмы, ни французские шарфы «северного брата», здесь умели глядеть сквозь легенду и сразу догадались, что в быту он беспомощен, как двухлетний ребенок, что он органически не умеет, не может создать нужной для жизни и работы обстановки, просто, по-человечески устроить свою жизнь. Ника Табидзе, жена Тициана Табидзе, пишет в воспоминаниях о Есенине: «В одно утро я захожу к нему, он еще лежал в постели и смотрел в потолок, а на глазах застыли слезы. Я взволновалась, спросила, в чем дело... Сережа ответил мне, что он видел во сне сестру, которая очень нуждалась в деньгах и плакала. Я начала его успокаивать и сказала, что этому легко помочь «Пойдите в «Зарю Востока» к Вирапу (редактор газеты.— А. М.) и он даст вам деньги за стихи» Он обрадовался, вскочил, оделся и убежал. Прошло несколько часов... «...открылась дверь, вбежал Есенин с громадным букетом белых и желтых хризантем, обсыпал ими меня и, страшно обрадованный, сказал: «Вирап дал мне деньги, я перевел сестре, и я счастлив!»

Столь же теплый прием был оказан ему и в доме номер 15 по Коджорской улице в семье «дяди Коли», и это так трогало Есенина, что он охотно, с удовольствием помогал своим «заботникам» по хозяйству. То же самое произошло, кстати, и в Баку. Гастролировавший там В. Качалов с удивлением обнаружил: «Ему здесь все позволено. Ему все прощают».

В грузинском быту, точнее, укладе Есенина не мог не очаровать и еще один момент — театральность, не в узком, расхожем, а в том всеобщем, универсальном смысле, какой, к примеру, вкладывал в это понятие Вл. Одоевский: «Театр есть тот же мир, но мир поэтический». В России бытовой эстетизм Есенина, болезненная реакция поэта на неблагообразие тогдашнего интеллигентского бытования воспринимались как чудачество. А в Грузии он мог позволить себе осматривать Нику Табидзе белыми и желтыми хризантемами, не вызвав у присутствующих при этой сцене ни недоумения, ни снисходительной улыбки... Пастернак удивлялся: Есенин к жизни сво-

ей относился как к сказке. Не знаю, выдерживает ли сравнение со сказкой трагическая жизнь поэта, но то, что порой он как бы утрачивал чувство реальности, что розовый конь воображения иногда словно бы переносил его в иную действительность, несомненно. Вот что писал Есенин своей приятельнице Анне Берзинь вскоре по приезде в Тифлис: «Я Вас настоятельно прошу приехать. Было бы очень хорошо, а на неделю могли бы поехать в Константинополь или Тегеран. Погода там изумительная, и такие замечательные шали, каких Вы никогда в Москве не увидите».

Анна Берзинь, как и следовало ожидать, настоятельной просьбе поэта не вняла, но в Москве все-таки увидели замечательные шали. Возвращаясь из «страны чудес» «в Русь», Есенин прихватил с собой не вещи, нет,— пропуск в сказку.

С. Виноградская, соседка поэта по московской квартире, рассказывает: «Есенин нуждался в уюте... страдал невыносимо от его отсутствия... Это на нем сильно отражалось. Большой эстет по натуре... он не мог работать в этих условиях. И чтобы хоть немного скрасить холод голых... стен и зияющих окон, он драпировал двери, убогую кушетку, кровать восточными и другими тканями... завешивал яркой шалью висячую, без абажура лампу... Он и голову свою иногда повязывал цветной шалью и ходил по комнате, неизвестно на кого похожий».

Удивлялись соседи, недоумевали домашние, но поэт знал, что делает: благодаря столь малой малости преобразалась убогая комната, все преобразалось, сдвигалось в сторону вымысла и красоты: «Ну, а этой за движенья стана, что лицом похожа на зарю, подарю я шаль из Хороссана и ковер ширазский подарю».

В настоящую Персию Есенин, разумеется, не попал, но «синие цветы Тегерана» не выдумал, ему подарил их Тифлис. Борис Пастернак в очерке о Н. Бараташвили, имея в виду русских современников грузинского поэта, писал: «Сверх пестрой восточной чужеземщины, какую встречал их Тифлис, они где-то сталкивались с каким-то могучим и родственным бродилом, которое вызывало в них к жизни и поднимало на поверхность самое родное, самое дремлющее, самое затаенное».

Из «пестрой восточной чужеземщины», которой встретил Есенина Тифлис, и возникли «Персидские мотивы». Неожиданно. Вдруг. Случайно. Почти ради шутки, ибо он уезжал на Кавказ не за этим. Сказка написана сама собой. Тициан Табидзе

свидетельствует: «В первый же день приезда в Тифлис он прочел мне и Шалве Аппаидзе свое „Возвращение на родину“». И, думается, не случайно: Есенин затеял «прекраснейшую поэму» — «Анну Снегину». Замысел возник еще летом, после поездки на родину, в Константиново. «Возвращение...» было эскизом к будущей картине. Второй эскиз — «Русь уходящая» — написан уже в Тифлисе осенью 1924 года. Вот что сообщает об истории его создания уже известный нам Н. Вержбицкий: «Четырнадцатого сентября (1924 г.—А. М.) в Тифлисе состоялась... демонстрация в честь... Международного юношеского дня. Мы с Есениным стояли на ступеньках бывшего дворца наместника, а перед нами по проспекту шли, шеренга за шеренгой, загорелые, мускулистые ребята в трусиках и майках... Я не удержался и воскликнул, схватив Есенина за рукав: «Эх, Сережа, если бы и нам с тобой задрать штаны и прошагать вместе с этими ребятами!» Есенин... внимательно посмотрел мне в глаза. По-видимому, эта моя взволнованная фраза задержалась в его сознании. И спустя полтора месяца я прочел в поэме «Русь уходящая»:

Я знаю — грусть не утопить в вине,  
Не вылечить души  
Пустыней и отколом.  
Знать, оттого так хочется и мне.  
Здрав штаны,  
Бежать за комсомолом.

«Вспоминаешь?» — спросил у меня поэт, когда эти строки появились в „Заре Востока“».

Когда сопоставляешь, сводишь все это вместе — свидетельства грузинских друзей поэта, стихи, написанные в Грузии, письма, отправленные из Тифлиса и Батума, — возникает твердая уверенность: Есенин убеждал на Кавказ не для того только, чтобы рассеяться, отвлечься, отдохнуть, освежить душу кавказским солнцем и кавказским гостеприимством. Он уезжал с надеждой, что там, за хребтом Кавказа, совладеет с большой эпической темой, то есть не просто «как домой к себе», но еще и словно бы в дом творчества: «Чтоб воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой».

Стихи эти — «На Кавказе» — написаны сразу же по приезде в Грузию, не позже 13 сентября 1924 года.

Конечно, и этот есенинский план, как и многие другие, мог так и остаться благим намерением. К счастью, не остался. Горный шум Грузии если и не совсем ис-

целил, то дал силы и возможность преодолеть сопротивление необычайно трудного материала. Есенин, по его собственному слову, ломал себя. Он решился-таки впустить в свой затейливо-романтический мир и «некрасивого» рязанского мужика и незнатную деревенскую «жисть». А для этого надо было не просто перестроить, но и сломать прежнюю поэтику, а главное, овладеть живым разговорным языком. Тот же Вержбицкий рассказывает: Есенин «часами мог слушать живописные рассказы Рыженко (тифлисский художник, приятель мецената.— А. М.) о первых днях октябрьского переворота, о разгроме помещиков, о комбедах, о шаткой позиции буржуазной интеллигенции. У меня нет... сомнения в том, что эти рассказы подтолкнули Есенина к работе над уже задуманной поэмой «Анна Снегина»... он и сам намекал на это». Очень интересное свидетельство, хотя, видимо, «дядя Коля» несколько сместил акценты. Не воспоминания Рыженко о первых днях октябрьского переворота подтолкнули Есенина к работе, а, наоборот, не прекращающаяся ни на минуту работа над ней заставляла его часами слушать Рыженко: и то, что тот говорил, и то, как говорил. Не только чередование любопытнейших фактов интересовало поэта, «одновременно он прислушивался к языку Рыженко — сочному, выпуклому, многоцветному и живому».

Наблюдение Вержбицкого подтверждается свидетельством В. Наседкина: «Есенин говорил о том, что для поэта живой разговорный язык может быть даже важнее, чем для писателя-прозаика. Поэт должен чутко прислушиваться к случайным разговорам крестьян, рабочих и интеллигенции, особенно к разговорам, эмоционально сильно окрашенным. Тут поэту открывается целый клад. Новая интонация или новое интересное выражение к писателю идут из живого разговорного языка».

И вот что, по-моему, важно отметить. Очувтившись по приезде в Грузию в иноязычной среде, Есенин на расстоянии яснее, отчетливее расслышал тот речевой гул, из которого родилась интонация и даже тембр «Анны Снегиной», а рассказы Рыженко, по всей вероятности, служили чем-то вроде камертона: поэт выверял непривычное, новое звучание стиха, настраивал его.

Тифлисские знакомые Есенина не без удивления вспоминают, что он, не в пример прочим «кавказским пленникам», не оценил достоинств грузинской кухни. Заскучав на восточных разносолах, упросил тещу Тициана Табидзе сварить борщ и

гречневую кашу. А уж своей тоской по черному хлебу даже и поднадоел. Вряд ли, впрочем, это был лишь гастрономический каприз. Восточная шаль в московской убогой коммуналке помогала Есенину и думать и писать про персидское. Отсутствие черного хлеба мешало работе над русской поэмой. Наверное, мешало не только это, мешали и пиры и разговоры, и тем не менее так много и напряженно, как в Грузии и в Баку, под крылышком у Чагина (в то время второго секретаря ЦК КП Азербайджана), Есенину давно не работалось. Пожалуй, с тех самых пор, когда он на гребне первой революционной волны писал свои крестьянские поэмы.

Т. Табидзе в своих воспоминаниях «Есенин в Грузии» писал: «...он чувствовал неиссякаемый творческий голод. Из уже достаточно собранных материалов для биографии поэта можно уследить, что грузинский период творчества С. Есенина был одним из самых плодотворных: за этот период он написал чуть не треть всех стихов последнего времени, не говоря уже о качественном их превосходстве».

Вначале, правда, поэт, судя по первым, осенним, письмам из Тифлиса (1924), не очень-то надеялся на вдохновение, хотел было даже после крупного билиардного проигрыша вернуться в Москву к морозу и снегу, хотя, уезжая, уверял: года на два, не меньше. К счастью, настроение переменялось, и очень скоро.

Зима 1924/25 года на черноморском побережье Кавказа выдалась на редкость холодной. «Выпал снег. Ужасно большой занос. Потом было землетрясение». В Батуме было не только холодно, но и скучно, особенно после тифлисского многолюдства и разнообразия... И все равно работалось: «Я скоро завалю Вас материалами. Так много и легко пишется в жизни очень редко».

Есенин по неделям не выходил из батумской квартирки Льва Повицкого, куда перебрался из слишком буржуазной гостиницы, и море было совсем не синим, цвета индиго, а зимним, суровым («Я думал, что мы погибнем под волнами прыгающего на нас моря»), и в комнате — холодина («...я даже карандаш не в состоянии держать»), субтропический Батум был явно не приспособлен к столь неожиданным отступлениям от климатической нормы. И тем не менее поэтический запой продолжался: «Стихи пишу... в голове».

Расстояние усилило остроту зрения — еще недавно он опасался, что впечатлений, какие вынес «из сонма бурь», не хватит на эпическую поэму. И воспоминаний хвати-

ло, не такими уж бедными оказались («Вихрь нарядил мою судьбу в золототканое цветенье»), и воли хватило, и власти над материалом. Все, подсобляло — и тифлисское веселье и батумская скука; «могучее и родственное бродило», с которым Есенин столкнулся в Грузии, пробудило, подняло на поверхность самое затаенное, дремлющее... И не только в переносном, общепозитическом, но и в прямом, событийном плане. Гражданская война, отбужевавшая в России, здесь, в Грузии, еще продолжалась, по каменистым дорогам «страны чудес» гулял бунт. Есенин, как и герой «Анны Снегиной», увидел его лицом к лицу.

Один из тифлисских знакомых поэта вспоминает: «Однажды в Тифлисе, осенью 1924 года, во время «восстания» меньшевиков мы ехали ночью по шоссе. За городом нас остановил конный разъезд — три всадника на белых лошадях. Спустя полтора месяца Есенин, даря одному товарищу свою книжечку, написал: «На память о белых лошадях». В ту ночь у нас было множество происшествий, но Есенину ярче всего врезались в память три белые лошади, внезапно появившиеся из-за скалы при свете фазонных фонарей».

Есенин сам определил предел «батумского плена», сам назначил себе срок, к которому прекраснейшая поэма о России и революции должна была быть завершена: весна 1925-го, до мая. Но творческое напряжение было столь сильным, что автор неожиданно для себя «перевыполнил план»: судя по письмам, «Анна Снегина» была закончена уже к 20 января 1925 года, и можно было, не боясь сглазить везение, закинуть удочку на предмет публикации: «Скажите Вардину, может ли он купить у меня поэму 1000 строк. Лиро-эпическая. Очень хорошая».

С готовой, почти готовой поэмой, дававшей ему право на звание первого поэта новой, революционной России, Есенин не мог усидеть ни в скучном Батуме, ни в веселом Тифлисе, ни в так похожем на настоящую Персию Баку. Поэму надо было немедленно, не мешкая везти «в Русь». Но это был черновик — и переписывал и доводил текст Есенин уже в Москве. И то и другое делалось в спешке, в невероятном напряжении «последней ставки, и самой глубокой». В черновиках лежал и «Черный человек» И давно — больше года. Но поэт к нему не притрагивался. Необходимую тоску необходимо было забыть, от тоски нужно было отделаться революционной, катарсической поэмой, необходимо бы-



ло доказать и городу, и миру, и самому себе, что он может отдать и Октябрю и Маю не только душу, но и лиру.

В мае 1925 года «Анну Снегиную» полностью напечатал «Бакинский рабочий», еще раньше в отрывках — тонкий московский журнал «Город и деревня». Не дожидаясь окончания публикации, Есенин решился проверить текст на резонанс.

Первое публичное чтение «Анны Снегиной» состоялось весной 1925 года в Доме Герцена. В. Наседкин, поэт, муж старшей сестры Есенина Екатерины, вспоминает:

«В 1925 году это было его первое выступление в Москве. Для храбрости (трезвым он был очень не храбр и, читая стихи, всегда сильно нервничал) перед приходом в «Перевал» он с кем-то немного выпил. Поместительная комната Союза писателей на третьем этаже была набита битком. Кроме перевальцев, «на Есенина» зашло немало мапповцев, «кузнецов» и др. Но случилось так, что прекрасная лирическая поэма не имела большого успеха. Спрошенные Есениным рядом с ним сидящие за столом о зачитанной вещи отозвались с холодком. Кто-то предложил «обсудить». Есенин от обсуждения наотрез отказался. — Вам меня учить нечему. Вы сами все учите у меня. Потом читал «Персидские мотивы». Эти стихи произвели огромное впечатление... Все же с собрания Есенин ушел немного расстроенный, маскируя свое недовольство обычным бесшабашным видом. Перед уходом спросил тов. Воронского, нравится ли ему поэма. — Да, поэма мне нравится, — ответил Воронский... Перевальская неудача кажется мне как бы тоном на весь 1925 г. В этом литературном году у Есенина было немало таких неудач и, наверное, больше, чем в любом из прошлых лет».

Реакция зала, судя по всему, была для Есенина неожиданной: уж от кого-кого, а от перевальцев он ждал иного приема, сдержанное «нравится» Воронского было обиднее открытого, резкого неприятия. Ожидал сенсации, праздника, триумфа — обернулось литературным быгом. Успех «Персидских мотивов» не компенсировал обиды, наоборот, усугублял ее.

Ситуация, сложившаяся при первом публичном чтении, оказалась отнюдь не случайной. Тот же В. Наседкин свидетельствует: «Через бюро вырезок Есенин знал все, что писалось о нем в газетах. О книге стихов «Персидские мотивы»... в провинциальных газетах печатались такие рецензии, что без смеха их нельзя было читать. Заслуживающей внимания была одна вы-

резка со статьей тов. Осинского из «Правды». Но и она была обзорной: о Есенине лишь упоминалось. О поэме «Анна Снегина», насколько помнится, не было за полгода ни одного отзыва. Она не избежала судьбы всех больших поэм Есенина».

Один из тифлиссских знакомых Есенина вспоминает, что поэт говорил с нескрываемой горечью: «Критики у меня не было и нет. Вот вы что поймите!.. Я уже восемь лет печатаюсь и до сих пор не прочел о себе ни одной серьезной заметки!.. А мне надоело ходить в коротких штанишках и в вундеркиндах. Надоело! Очевидно, нужно умереть, чтобы про тебя написали что-нибудь пугное!»

После провала надежд на всероссийский триумфальный успех «Анны Снегиной» Есенину представилось, что молчание критики — не обычное небрежение, а свидетельство того, что его поэзия не нужна новой, индустриальной России:

По ночам, прижавшись к изголовью,  
Вижу я, как сильного врага,  
Как чужая юность брызжет новью  
На мои поляны и луга.

Как многие последние вещи Есенина, эти стихи тоже написаны и опубликованы на Кавказе — летом 1925 года поэт предпринял еще одну попытку убедить, «чтоб еще сделать что-нибудь»... И убежал и сделал, но избавиться от тоски, от мучительного чувства своей ненужности уже не смог. «Милый друг, мой Коля! Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом».

Ставил я на пиковую даму,  
А сыграл бубнового туза.

Сегодня нам легко хвалить Есенина за то, что он хотел видеть Россию именно Россией, а не какой-то национально безликой страной, и даже противопоставлять тем его современникам, которые, как конструктивисты, были заражены национальным нигилизмом. Сегодня это видно всем, понятно всем. Но в 1925 году Есенин со своим старомодным национализмом, со своей «золотой избой» не мог не чувствовать себя «саженью без чети»: «Предназначенное расставанье обещает встречу впереди».

Не один В. Эрлих, которому Есенин за день до смерти подарил эти стихи, многие были уверены, что самоубийство — случайность. Пастернак, например, тоже считал: Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая: как знать, может быть, это еще не конец. И тут, в смерти, не все и не сразу повери-

ли в серьезность той личной драмы, которая пришла к своему логическому концу в ленинградской гостинице «Англетер». Отзвук этой версии заметен и у Маяковского: «Может, окажись чернила в «Англетере», вены резать не было б причины».

Было, впрочем, многое. И почти мальчишеская обида, и неурядицы личной жизни, и слишком пестрое окружение, и тяжелое недоумение при виде «стальной конницы», наступающей на «живых коней», на «милого, смешного дуралея» из деревни...

А кроме всего прочего Есенин был очень болен. Многие годы его преследовала бессонница. Врачи подозревали туберкулез горла, болезнь, которой Есенин после смерти друга детства Гриши Панфилова панически боялся. Начались галлюцинации, обострилась мания преследования. Помножьте все это на бесприютность, на невезение. Словом, образовался такой тугой узел, что распутать его казалось невозможным, легче было оборвать.

И все-таки, думается, в этом страшном акте Есенин не только лицо страдательное — загнанный, как шар в лузу, в бесприютный номер «Англетера» стечением

обстоятельств. И не жертва случайности: поиграл-де да зайгрался. Человек, у которого, как он сам говорил близким, ничего в жизни не осталось, кроме стихов, потому что он «все отдал им», должен был, во всяком случае, мог принести им и эту, последнюю, жертву. Смертью выиграть победу, как выиграл проигранный Амундсену Южный полюс капитан Скотт.

Посмертно опубликованный «Черный человек» (январь 1926 года) прозвучал довольно промко — как самому себе заказанный режвием, поэтическое завещание. В действительности же Есенин не шел к «Черному человеку», а уходил от него — к поэме прорыва, к «Анне Снегиной», к Руси советской, «чтоб каждому, как гордость и пример, был настоящим, а не сводным сыном — в великих штатах СССР».

23 декабря 1925 года из Москвы в Ленинград вечерним поездом уезжал один из известных современных писателей — «с небольшой, но ухватистой силою». А через несколько дней в потрясенной Москве над Домом печати, где был установлен гроб, развевался плакат: «Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь».

---

---

## КАК В КИНО ГОВОРЯТ

**Актуальный  
вопрос**

**В** кинотеатры ходят все. И смотрят всё. Но вот что знаменательно и, конечно, не случайно: иные не могут вразумительно ответить на вопрос, о чем фильм. После просмотра остается подчас в памяти нечто расплывчатое, аморфное, размытое. «Ну, о стройке», «О любви», «Про шпионов!». И, заметьте, порой даже попытки нет вспомнить, о чем же полтора часа говорили и герои. О том, что делали,— пожалуйста; об одежде... «А слова-то были? — спрашиваю. — Или немой фильм?» В ответ: «Скажешь тоже — немой! Пошел бы я на немой, как же! Там такое говорили — обохочешься! Жалко, не запомнил...»

Чтобы запомнить, возьмем альманах «Киносценарии» (1984, выпуск второй), потому что именно сценарий — основа любого фильма. Откроем. Б. Метальников, «Большие надежды». Зрители хорошо знают поставленные по сценариям Б. Метальникова фильмы «Простая история», «Алешкина любовь», «Трижды о любви», «Молчание доктора Ивенса», «Надежда и опора» (совместно с Ю. Черниченко) и другие — всего около 20. «Большие надежды» ставит на киностудии «Мосфильм» С. Никоненко.

Но говорить об этом произведении мы будем не потому, что оно стоит в начале альманаха, и не потому, что автор его известнейший сценарист. Прочитав вслед за «Большими надеждами» еще несколько пьес и киносценариев о деревне (а Б. Метальников избрал именно эту ответственную и сложную тему), понимаешь, что данное произведение отражает многие характерные черты нынешних «деревенских» фильмов, в том числе и язык, которым объясняются друг с другом герои.

Тема хорошая, нужная — борьба за коллективный подряд, передовую организацию труда. Но кое-что в разговорах героев кажется весьма странным. Да и не только в разговорах — за словом ведь стоит дело, позиция, отношение к жизни.

О том, как будут развиваться события в фильме, зритель узнает в первые же минуты, потому что «вместо музыки на вступительных титрах прозвучит текст письма»

сельского механизатора к сыну-солдату. Из письма становится ясно, что, во-первых, «башка у тебя для науки не затесана» (то есть главный герой большим ученым не станет); во-вторых, «механизаторам все льготы... только что сопли им не вытирают!» (значит, главному герою, Лешке, самое время ехать домой и становиться механизатором, что он, естественно, и делает); в-третьих, «затял сколотить безнарядное тракторное звено... потому как о бригадном подряде давно уже не только в газетах пишут, но и все птички чирикают... одно место для тебя держим» (ясно, что не в отсталую, захудалую деревеньку вернется Лешка, и ясно также, что не миновать конфликта, борьбы старого и нового); в-четвертых, «Галька твоя налилась, как кавун, того и гляди треснет. И говорят, под нее какой-то экспедитор шары подкатывает, так что не проморгай девку!» (само собой разумеется, любовной темы после этих вещей слов не избежать).

Действительно, письмецо играет роль краткого конспекта. Добавлю только, что Лешка возвращается в деревню не один, а вместе с девушкой Люсей, которая его «захомутала»; работая в звене механизаторов, он мужает, закаляется морально; Галька проходу ему не дает, из-за чего Люся, ставшая уже женой Лешки, уезжает восвосяи; происходит много событий производственного плана, вплоть до трагических; заканчивается все тем, что вернувшаяся в семью Люся «полет морковь на грядках», а главный герой фильма, Лешка, избранный звеньевым, лежит под кустом смородины и мечтает об агрономическом образовании...

Как и в других «деревенских» сценариях, герои говорят о многом. О любви, например. О семейных отношениях.

Только что прибывшую в чужой дом Люсю спрашивают:

«—...как вам стелить — вместе или порознь?..»

— Я не знаю...

— Ну тогда я знаю, — посуровела вдруг Марья. — Врозь! И чтоб до свадьбы — ни-ни! Ясно?

Люся испуганно кивнула».

А что же ей, бедняжке-то, делать оставалось? Однако, как читатель помнит, в деревне есть и Галка, которая «налилась, как кавун, того и гляди треснет». Галка эта, как мы понимаем, вовсе не в восторге от Лешкиной свадьбы. Поэтому она со злостью кричит:

«—Я ему покажу!

— Чего ты ему покажешь? — вздохнула мать. — Все уж он у тебя видел! Может, оттого и неинтересно ему стало».

Видимо, с точки зрения автора, это обычный, непринужденный, заурядный разговор дочки и матери в деревне. При этом мать, как и положено старшей, дает совет: «Мужиков-то, их, как телят, пасти надо, а то заблудятся». Галина берет совет на вооружение. И вскоре уже приваливается к Лешке, «который испуганно старался спихнуть ее»: «Не волокнешь? Или поглупел, как обженился?» Как тут не поглупеть — и пасти тебя обещают, и «волочь» заставляют. И вот услышав от друга, что Галя и к тому «клеится... вроде... Но... не до конца», Лешка дает понять бывшей возлюбленной, что «дело ее не безнадежно».

Обсуждает он эту проблему и с отцом.

«—Да ведь с Галкой-то... тоже интересно,— хихикнул Лешка.

Отец невольно усмехнулся:

— Ишь ты! Бабы, они, конечно, предмет занимательный...»

Читателю что-то показалось знакомым (кроме пошлости, конечно,— она здесь частая гостья)? Ну да, это, так сказать, мужской (в отличие от женского: Галя — мать Гали) диалог все о том же — о любви. Впрочем, такие разговоры никого не смущают, потому что с понятием «любовь» (по крайней мере по отношению к Галине) все ясно: «Какая там любовь? — скривился Лешка.— Так, шевеление кустов!»

...Перечитывая «деревенские» сценарии, я тщетно пытался отыскать такой, в котором не пили бы по поводу и без всякого повода. Бутылка из гостя превратилась в заведомая экранна. «Большие надежды» в этом плане тоже не исключение. Застолье появляется с первых же страниц: «Федор Михалыч! Ну хоть помаленьку! По граммулечке, а?» — канючит один. «Помаленечку-то мы не умеем. Нам только начать, а там и загудели», — трезво останавливает его другой герой.

Действительно, что это за деревня и что это за праздник без выпивки? Засеяли поле? Сабантуйчик по этому поводу! У Федора прихватило сердце? Так он много не

будет: «Я — капельку. Чтоб вам компании не портить».

«Опрокинул стакан» тракторист, «выпил последним» Матвей, и дальше о том же. Только теперь с участием агронома. Нет, агроном не возмущен тем, что пьют прямо в поле. Он «застенчиво оглядел всех.

— Уж и не знаю, стоит ли мне наливать?»

Хмелеете, читатель? Крепитесь, ведь через несколько строк вы попадете на другое застолье. И это — весной в деревне! «Пономарев (председатель.— И. П.) угощал двух каких-то деятелей районного масштаба. Скатертью и тут служил разорванный бумажный мешок, но зато закуска была солидней — кроме зелени, была жареная утка, мясо и большой графин с компотом, для заправки... как говорится, сидели хорошо!»

Чувствуете, как обстоятельно, прочно, фундаментально все, несмотря на этакую «пикниковость»? И не следует при этом думать, что председателю легче, чем агроному. «Все же на личных контактах! Это какую печень надо иметь?» — жалуется он секретарю райкома партии. И в ответ получает... совет завести заместителя по личным контактам!

Между тем герои — передовики. Выпивают, правда, как мы только что убедились (в посевную), — так не каждый же день! Любят, правда, крепкое словцо — так колорит же зато!

Как бы вы, читатель, назвали своего взрослого сына в порыве гнева? Не знаете, не задумывались? На всякий случай вот рецепт из «Больших надежд»: «Сукин ты сын!. Дура ты осиновая! Суслик безмозглый!»

А как бы вы, читатель, похвалили товарища? Это уж точно знаете? Ошибаетесь — можно и по-другому: «Ты, Федя, то, что надо! Стало быть, тебе и рогом шевелить...» Вот как надо! «Разницу шурупишь?» — как любит спрашивать один из героев.

В смысле моветона сценарий может служить настольной книгой. Допустим, если вы хотите, чтобы ваш коллега прекратил неприятный разговор, надо всего лишь «громко и властно» сказать ему: «Засохни!» Можете быть уверены — засохнет на корню. Особенно если он человек воспитанный.

Но если хотите выразить недовольство оплатой вашего труда, то по примеру Юрки лучше не говорите: «Сейчас самый раз котти рвать, а то так на аванс и утремся...» На это вам, вожака, могут ответить, как опытный механизатор Федор: «Думал?

Чем? У тебя две задницы — одна сверху, другая снизу!»

Словом, не переводимые на другие языки выражения, после которых решительно не понимаешь, почему наш русский язык великий и могучий. И не потому ли в нем прорастают слова и выражения — сорняки, что сеют их миллионами оттиражированные фильмы, книги, пьесы? Ясна ли такая опасность сценаристам? Любовь и уважение к родной культуре, народу, языку предполагают борьбу за чистоту этой культуры, этого языка. А иначе это не любовь, а так... шевеление кустов.

Между прочим, тираж альманаха — 50 тысяч экземпляров!..

В этом выпуске 12 сценариев. Интересная, добротная работа Е. Оноприенко «Уходим дорогою чести...», сценарий В. Железникова «Последний парад», «Нужна Рыжая Фея» Г. Рудягина, исторический сценарий Я. Голованова о Магеллане «Мы идем за солнцем»... В некоторых тоже встречаются неестественные диалоги, даже пустословие, но это явление редкое. Вероятно, потому оно и заметно.

Скажем, у Г. Рудягина ситуация, когда учительница, идя на свидание, берет с собой ученика, чтобы «разделаться с одним человеком», к которому она неравнодушна, должна, видимо, восприниматься как юмор. Впрочем, судите сами.

«— Вот он! — сказала она... — Этот тип купил билеты в театр, а сам опять не явился!

— Обманщик, значит... решил Минька...

— Не-ет! — сказала она.— Он, видишь ли, светило, которому все можно! Святые мощи! Наверно, опять ничего не ел!

— Привередничает?

— Если бы! Он, понимаешь ли, все деньги тратит на свою Анюту! Он, представьте себе, любит, когда она ему улыбается!

— Любимая девчонка?

— О, это было бы величайшим счастьем! В том-то и дело, что старая крыса! Смотреть и то противно!

— Что ли, бабушка его? — растерялся Минька...

— Ты посмотри на него повнимательнее,— сказала она.— Разве у таких дистрофиков бывают бабушки? Те, у кого есть бабушки, всегда опрятны, круглолицы. А у таких только крысы и могут быть. Обыкновенные белые крысы!

— Анюта — белая крыса?! — поразился Минька.

— Вот именно! Крыса, которая хотела тихо-мирно себе умереть, потому что время, отпущенное ей, все прожила. А этот,

с позволения сказать, товарищ еще целый год после этого кормит ее ананасами! Продолжает, видишь ли, жизнь какой-то крысы, а свою и мою губит!»

Прошу простить за столь большую цитату, но она необходима, чтобы читатель сам смог решить, возможен ли такой диалог между влюбленной учительницей и учеником.

Фильм по сценарию «Нужна Рыжая Фея», думается, оценят и дети и взрослые. Дети увидят то лучшее, что есть в них, но что они скрывают, боясь быть осмеянными,— доброту. Взрослые же задумаются о том, что дети — это прежде всего люди, которым необходимо понимание. Но как проигрывает «юмор» учительницы рядом с простыми, безыскусными разговорами деревенских детей о том, что надо спасти пропавшую лосиху Рыжую Фею! Будто искусственный цветок перед живым полевым...

В первом номере «Киносценариев» нынешнего года в числе прочих помещен сценарий В. Черных и А. Малюкова «Договор с судьбой», посвященный боям с фашизмом в 30-е годы на испанской земле. А начинается сценарий с такого вот разговора в купе вагона:

«— Ты, фендрик,— весело сказал Солон-тай.— Вобла спасла советскую власть. Ее уважать надо.

— Шандор,— вмешался Дорофей Петрович.— ну что ты говоришь при младших командирах? Как можно?

— А ты что ж, забыл, как на одной вобле жили?

— При чем тут вобла? Не воблой воевали.

— Я понимаю,— не сдавался Шандор,— и марксистская теория, и наши доблестные кавалерийские войска... Но и воблу тоже нельзя сбрасывать со счетов. Без нее сил не было бы.

— Ой,— сказал комбриг,— говоришь ты всегда чуть-чуть лишку. Чувство меры должно быть. Нельзя смешивать божий дар с яичницей. Революцию и воблу...»

Совершенно прав в этом случае комбриг!

А вот монолог одного из героев этого произведения, Ежи Ярецкого, в гданьском публичном доме:

«Рабочие Варшавы,— начал Ежи,— собрали пять тысяч золотых и послали меня как представителя польского народа в Испанию, где, все вы хорошо знаете, идет война в защиту республики. Туда сейчас собираются лучшие представители всех

стран и народов. Я, мадам, эти пять тысяч золотых оставил вчера в вашем заведении. Я честный человек и понимаю, что мужчина должен платить, и я не требую этих денег обратно. Но у меня положение безвыходное. Так получилось, что, кроме вас, у меня нет больше знакомых в Гданьске. Сегодня в Испании идет вооруженная схватка с фашизмом, люди гибнут за правое дело, а поляки всегда были там, где льется кровь за правое дело. Дорогие соотечественницы, польки, помогите поляку, потому что если фашизм не задушить на испанской земле, то он придет сюда. Если хотите знать, на всех немецких картах наш свободный Гданьск они уже назвали Данцигом, как будто он уже германский порт. Если я вернусь, я отдам пять тысяч золотых, могу дать и расписку. Если я погибну, то погибну, защищая и вас тоже».

Я вновь вынужден извиниться перед читателем за столь длинную цитату, но, право же, сократить ее было бы грешно. Только дослушав эту проникновенную речь до конца, понимаешь, почему герою не только вернули деньги, не только накормили его, но и всем, так сказать, личным составом заведения вышли на причал провожать.

Видимо, оживление в зале должны вызвать и следующие два эпизода, один из которых построен на жесте, второй — на обыгрывании слова.

Капитан Чумаков, услышав возмутительное для него предложение бывшего белогвардейского офицера («...возможно, вы будете воевать под моим командованием»), реагирует, как, видимо, и полагается, по мнению авторов, советскому офицеру:

«— А вот тебе! — сказал Чумаков и, выбросив руку, хлопнул по сгибу локтя ладонью.

Лаптев повернулся к Солонтаю:

— Объясни ты ему.

— Классовая борьба, — развел руками Солонтай».

Разведем руками и мы. Потому что очень уж своеобразно эта «классовая борьба» иллюстрируется.

Или:

«— Помогай, твою мать!.. — крикнул Чумаков...»

— Вы русские? — спросила она. — Я сразу поняла, когда вы кричали про маму...»

Итак, выявили еще одну отличительную черту русского человека...

В мою задачу не входит оценивать весь сценарий. В целом он мне кажется интересным. Непонятно, правда, зачем авторам нужен этот давно скомпрометировавший себя «оживляж». Обращение к нему, впрочем, совсем не уникально: по сгибу локтя хлопают, и чью-то мать вспоминают, и пускают божий дар с яичницей не только в киноэпопее В. Черных и А. Малюкова.

Недавно в восьмом номере «Нового мира» о некоторых важных аспектах борьбы за культуру слова в исторической прозе сказал Л. Беловинский. Я попытался остановить ваше внимание на слове современном, слове из кино, которое, как известно, самое массовое наше искусство. Дорога к этому искусству лежит через сценарий. Поэтому ясно, разумеется, что альманах «Киносценарии» — издание нужное. Доказывать это не стоит: он не задерживается в киосках более нескольких дней, его читают. Именно потому, что его читают, и необходимо в первую очередь, чтобы уровень его был высоким, чтобы в слово, произносимое героем, читатель (а затем и зритель) верил.

Если в 1984 году это издание называлось просто альманахом, то год нынешний внес свои поправки и добавления. Теперь перед словом «альманах» появилось ко многому обязывающее «литературно-художественный». Редакция объявила, что он будет выходить не два раза в год, как прежде, а четыре. Со следующего года на альманах будет объявлена подписка. Есть, как видим, мощные стимулы сделать издание лучше, а уровень его выше.

Чудесно, что от «живой фотографии» кино дошло до цветного, широкоформатного, панорамного, стерео... И как всем нам повезло, что оно обрело дар слова. В частности, русского слова, принадлежащего языку, о котором еще Гоголь говорил: «Дивисься драгоценности нашего языка; что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценней самой вещи».

Вдумаясь в эти слова — и рука-то не поднимается написать нечто вроде «шевеления кустов». «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено — тем оно победоносней» — так считал Горький. И это совершенно справедливо.

Иван ПАНКЕЕВ.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Игорь Волгин. «Только дух скрепляет мирозданье...» — А. Лебедев. Движение души.— Г. А. Соловьев. Книга о Твардовском.— Андрей Василевский. Залог долговечности.— Евгений Симонов. Так любите театр...— А. Парин. Дар письма и вечных превращений.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Леонид Шинкарев. «Я бы аннексировал планеты...»

## Литература и искусство

### «ТОЛЬКО ДУХ СКРЕПЛЯЕТ МИРОЗДАНИЕ...»

Евгений Винокуров. Собрание сочинений в трех томах. Том. 1. Стихотворения. 1944—1969. 1983. 526 стр. Том 2. Стихотворения. 1970—1983. 1984. 591 стр. Том 3. Переводы. Проза. 1984. 495 стр. М. «Художественная литература».

Евгений Винокуров. Ипостась. Стихи. М. «Советский писатель». 1984. 96 стр.

Некто заметил, что основной причиной, подвигающей пишущего о стихах отваяться на сей труд, является тайное желание лишний раз эти стихи процитировать. Это замечание справедливо, когда речь идет о настоящей поэзии. Хотя об авторе «Сережки с Малой Бронной...» писалось уже немало (в том числе и автором этих строк, в нынешних своих заметках использующим некоторые прежние наблюдения), «феномен Винокурова» продолжает волновать критику. Мы сначала процитируем прозу. «Смысл поэзии,— говорит Винокуров,— тот же, что и у жизни: если у жизни есть смысл, то он есть и у поэзии». Отсюда, пожалуй, следует, что поэзия служит не только средством для постижения сущего, но сама является жизненной правдой. Познавая добро и зло, она тем самым познает самое себя: открывает собственный, очевидно, совпадающий с мировым смысл.

Есть художники, которые привносят поэзию в мир действительный, а есть — верящие в то, что она присутствует там изначально. И вся сила их воображения направлена на то, чтобы обнаружить это присутствие.

Муза Евгения Винокурова никогда не витала в облаках — может быть, потому, что

крылья ее опалены жестоким военным пламенем:

Я дневника не вел. Я фактов не копил.  
Я частность презирал. Подробность  
ненавидел.  
Огромный свет глаза мой слепил.  
Я ничего вокруг себя не видел.

Но как раз этот «огромный свет», озаривший собой молодость того поколения, к которому принадлежит Винокуров, обострил его поэтическое зрение. Именно этот свет позволил разглядеть не только «трагическую подоснову мира», но и все другие его ипостаси, не дав ему рассыпаться на ряд случайных подробностей:

Когда я пришел из армии,  
Первое, чем я был поражен,  
Это было — разнообразие...

Поэт принял это разнообразие, и оно плотно населило его стихи. Мир Винокурова жизнеобилен и труднообозрим — черта горизонта все время отдалается. Но постепенно начинаешь замечать, что художественные идеи движутся здесь вовсе не по прямой, а все время возвращаются в некие исходные точки и что само это движение, если можно так выразиться, поступательно-круговое. Для автора важно не просто обозначить предмет, а еще и еще раз вер-

нуться к нему, чтобы рассмотреть его с новой, неведомой стороны. Ибо главное — «мысль разрешить».

Винокуров любит возвращения:

Я эти песни написал не сразу.  
Я с ними по осенней мерзлоте.  
С неначатыми,  
по-пластунски лазал  
Сквозь черные поля на животе.

Это написано в 1945 году. Через много лет Винокуров скажет о том же, но совсем по-иному:

Мне грозный ангел лиры не вручал,  
Рукоположен не был я в пророки,  
Я робок был и из других начал  
Моей подспудной музыки истоки.

. . . . .  
Рыдание, прошедшее ко мне.—  
Вот первый повод к появлению слова.  
. . . . .

И был тогда, признаюсь, ни при чем,  
Когда, больной, дышал я еле-еле,  
Тот страшный ангел с огненным мечом,  
Десницей указующий на цели.

Ахматова однажды заметила, что строчка «не гулял с кистенем я в дремучем лесу», несмотря на очевидное отрицание, немедленно вызывает соответствующий образ: так и видишь разбойника. Винокуровский «грозный ангел», хотя и отстраняемый от участия в деле, незримо осеняет собой поле боя. Он, этот ангел, тем достовернее и неизгладимей, что в его сугубо библейском облике вдруг обнаруживаются профессиональные приметы артиллерийского коррективщика («...десницей указующий на цели!»). Этого персонажа нет, но он есть, он имеет место, он вмешивается в события. И это его вмешательство придает всей картине иные, чем в том, раннем стихотворении, объем и глубину.

Продираясь сквозь поразившее его некогда разнообразие, Винокуров с поистине железным постоянством выходит на свои кровные темы. Война и мир, добро и зло, молодость и старость, свобода и долг, любовь и верность, семья и одиночество и, наконец, жизнь и смерть — вот понятия, не безразличные для каждого, но существующие в нашем сознании как бы в свернутом виде. Поэт разворачивает их, пробуждает их дремлющее значение, дает им зримый и осязаемый образ.

Как же совмещается провозглашенная Винокуровым любовь к индивидуальному («Я единичность полюбил с тех пор: вот дом. Вот сад. Вот человек на лавке») с его тягой к глобальным обобщениям? Не противоречит ли он собственным поэтическим принципам? Однако все дело в том, что

сквозь эти глобальные формулы брезжит, просвечивает не голая рассудочная абстракция, а все та же «единичность» — конкретные дом и сад, живой, теплый, реальный, а отнюдь не среднестатистический «человек на лавке».

Именно потому, что Винокуров говорит о главном, к нему нельзя не прислушаться. Именно потому, что он говорит о главном так, а не иначе, он всегда интересен.

Его узнаешь сразу — по двум строчкам, по строфе. Его невозможно спутать ни с предшественниками, ни с современниками. У него есть ученики, но нет эпигонов: он не породил ни одного поэта, хотя бы отдаленно его напоминающего. Можно копировать что угодно — походку, манеру, голос, даже синтаксис. Нельзя повторить одного — характера.

Характер определяет точку зрения.

«Мне б подсесть к этим старым ребятам», — говорит Винокуров о предающихся дворовой страсти уже немолодых доминошниках, и мы мгновенно ощущаем точность психологического попадания. «...работают угрюмо акробаты с отсутствующим якобы лицом» — и снова поражаешься безошибочности взгляда.

Но возможно ли, чтобы настоящий, живой (а не дистиллированный) характер устаривал всех? У Винокурова можно встретить сюжеты («Фантазмагория одежды», «Поэма о холостяке и об отце семейства» и т. д.), когда обилие изобразительных подробностей и виртуозное проигрывание всех мыслимых вариантов невольно наводят на мысль о желании автора «закрыть тему». Информационная избыточность этих стихотворений способна иногда вызвать читательский упрек. Однако попробуйте лишить лирического героя Винокурова его дотошности, его мощной аналитической страсти (пусть даже с некоторой дозой «затрудства») — и вы убедитесь, как много утратит этот исключительно цельный поэтический организм.

В нем уживаются черты на первый взгляд несоединимые.

Поэт, дебютировавший в качестве «бытовика», со знанием дела учивший, как нужно «скручивать плотные скатки», или великолепно, вкусно, смачно живописавший обед в далеком гарнизоне, — этот самый поэт вдруг становится философом, мыслителем, интеллектуалом. Но так ли неожиданно это «вдруг»?

Моя любимая стирала.  
Ходили плечи у нее.  
Худые руки простирала,  
Сырое вешая белье.



Только ли чистый быт торжествует в этих ныне уже хрестоматийных строчках? Или же здесь присутствует нечто, сообщающее всей сцене какой-то дополнительный смысл? «Худые руки простирала...» Одно-единственное слово взрывает весь поэтический контекст. Это лексика высокой драмы, это эпос (нарастающий по ходу повествования: «...заката Древние красоты стояли в глубине окна»), это признание непреходящего и вечного в случайном и преходящем.

Обыденное сознание может стать сознанием поэтическим.

«Застигнуть мгновение врасплох — вот все, что надо художнику», — говорит Винокуров. Но это застигнутое врасплох мгновение выводится им на высокие подмостки. Оно остановлено и поэтому продолжает длиться в большом историческом времени.

Правда, может произойти и обратное.

Винокуров любит писать об Элладе. Он постоянно обращается к «чистым сказкам античного быта», словно пытаясь различить в прасюжетах мифологической жизни зачатки будущих мировых образов и положений. При этом античные персонажи утрачивают свою мраморную статичность, вечность «теплеет» и даже сами олимпийские боги становятся если и не вполне домашними, то, во всяком случае, житейски представимыми:

В людские не вменяясь сроки,  
У них не чаша, а ушат!  
Все пьют гомеровские боги,  
Все жрут, горланят и грешат.

Края одежд, пируя, мочат  
И, жертвенный вдыхая чад,  
До неприличия хохочут,  
Воруют, тискают девчат.

Тут уж действующие лица сводятся к мировым подмосткам: они отправляются обратно в быт — туда, где амуры запросто именуются босыми ребятами и где высокая историческая жизнь не имеет никаких отличных от жизни неисторической преимуществ<sup>1</sup>.

Если быт у Винокурова эпичен, то эпос «обытовлен»: и то и другое свидетельствует о сокровенном единстве бытия.

<sup>1</sup> Замечательно, что демифологизированная Винокуровым классическая древность не утрачивает при этом своего эстетического обаяния, чего нельзя сказать о случаях, когда затрагиваются мифы современной массовой культуры:

Вот бьется мужик,  
Рядом корчится баба,  
И все это вместе —  
Великая АББА...

Нужды нет, что, ступая на наш порог, поэт (может быть, для нашего блага) оставляет за дверью «котомку, посох и багряный плащ». Мы-то знаем, что багряный плащ пророка и выдавшая виды солдатская скатка имеют у Винокурова равновеликую ценность. Можно даже сказать, что тот самый реальнейший армейский борщ, с которого «снял пробу врач и командир полка», самым естественным образом продолжает дымиться в высоком мире винокуровской лирики.

Дух воспаряет, причем свободно воспаряет, в горние выси, будучи обременен столь многочисленными житейскими подробностями, и его восхождение столь неотделимо от его нисхождения...

И когда поэт, именующий небеса высокой библейщиной (что звучит почти как смысловая «рифма» к излюбленной Винокуровым «смачной бытовщине»), говорит: «Только дух скрепляет мирозданье, словно бы известка кирпичи», то тут он, кажется, дает ключ к собственной эстетической системе. Приоритет духовного утверждается с помощью образа, в составе которого наличествуют строительные материалы: трудно подобрать более вещественную метафору!

Лев Толстой однажды восхитился, когда Фет прислал ему тончайшие лирические стихи о звездах, написанные на обороте листка, где речь шла о ценах на керосин. «Это побочный, но верный признак поэта», — заметил Толстой.

Винокуров пошел по этому пути до конца: он уничтожил различие между «лицом» и «оборотом». Для этого потребовалось мощное духовное напряжение. Лирический эпос Винокурова пронизан им. Это напряжение связано еще и с тем обстоятельством, что его герой не претендует на абсолютную истину и не настаивает на той точке зрения, которая, положим, кажется ему предпочтительной. Он, этот герой, чувствует внутреннюю полярность бытия. Мир Винокурова — это мир антиномий.

Говорили на рынке  
среди яблок дородных и дичи,  
на ночных маскарадах  
и за стаканом вина,  
что у мрачного Данте,  
тоскующего по Беатриче,  
есть простая, однако ж,  
заботливая  
жена,  
та, что мясо варила  
и пуговицы пришивала,  
кружевные рубахи, крахтя,  
опускала в крахмал...  
Странно думать, что Данте,  
спагетти поев до отвала,  
развалившийся в кресле дремал.

Этот мотив уже возникал в русской поэзии. Например, у Заболоцкого. Но Винокуров поворачивает сюжет по-своему. Конечно, изображенная им подруга «мрачного Данте» не чета той, которая восседает «выше нашего мира и с богом самим наравне»: они существуют в разных жизненных измерениях. Однако здесь обнаруживается соперничество более высокого, быть может, мирового порядка:

Нет, не зря Беатриче  
над ним своим нимбом сияла,  
с неземною улыбкой своей  
на прекрасном лице!  
Но жена ему ноги  
укутала в одеяло  
и пошла потихоньку к себе  
со свечой и в чепце...

Беатриче не отрицает жены, но если последняя легко обойдется без первой, то еще большой вопрос, может ли случиться обратное. Поэзия, не поддерживаемая прозой.— это чистый кислород, сжигающий легкие: им можно спастись, но нельзя дышать.

Казалось бы, Винокурова, этого певца семьи, взыскующего не только семейной, но и мировой гармонии («...чтоб чашу воспринять с ладони домочадца, чтоб головой кивать жужжащей прялке в лад!..»), должно отворачивать всякое ослабление родственных и социальных уз. Но...

Но Одиссей домой не хочет  
возвращаться —  
давно простор морской надежней  
во сто крат.

И еще горше, еще определеннее:

Но все-таки скажите:  
— Я покину,  
коль будет надо, эту вот — одну!

Привязанность страшна и к коканну,  
и к женщине, и к славе, и к вину...

Ни обретение покоя, ни бегство от него сами по себе еще не даруют счастья (надежность морского простора тоже весьма относительна — стоит вспомнить пушкинское: «Так море, древний душегубец...»). Человек должен сам делать свой выбор — и поэт не навязывает ему готовых решений. Но что же выбирает сам автор?

У Винокурова есть стихотворение, в котором повествуется о танце пчел: этот безмолвный танец указывает пчелиному рою направление полета. И поэта, который верит, что природа (человеческая в том числе) всегда мудрее и глубже того, что мы о ней думаем, не оставляет надежда: быть может, «жизни смысл откроется без слова, как в этом танце у пчорских пчел». Это не недоверие к слову (Винокуров знает

его силу), это доверие к жизни, к ее, несмотря на кажущийся алогизм, творческой полноте:

Что ж, дави, бытие, колесницей своей,  
я хочу  
приподняться на локте средь поднятой  
пыли;  
с перебитым хребтом я хвалу тебе вновь  
прокричу,  
победитель, промчавшийся в славе и силе.  
Я же был твоим подданным верным,—  
дави.  
Я умру на дороге,— уж воронов  
кружится стая,—  
руку вскинув высоко средь злой и  
липуцей крови,  
боевую квадригу благословляя.

Тут нет и тени самоуничужения («Поэт, который считает себя незначительным и ничтожным явлением,— говорит Винокуров,— не может быть для себя лирическим героем...»), и то, что благословляется, лишись оно этой милости, не имело бы в наших глазах такого высокого значения. Бытие прекрасно, и все-таки для того, чтобы оно осознало себя таковым, оно должно удостоиться благословения поэта.

И даже рок, к которому Винокуров относится с должным уважением («Это как сценарий для кино, принятый и утвержденный свыше, изменить который не дано!..»),— даже он не волен над тем, что принадлежит только поэзии:

Видно, рок обвел нас смертным кругом  
и велит нам из пустых обид  
распроститься навсегда друг с другом,  
но рыдать он нам не запретит.

Вспомним: «Рыдание, пришедшее ко мне,— вот первый повод к появлению слова». Этот повод остался. Пусть герой не в силах временами переломить обстоятельства, но и сама судьба не может отнять у него этой последней малости — рвущегося прямо из сердца звука, который, к слову сказать, все более ощутим в длинной музыкальной рыдающей строке позднего Винокурова, весьма отличающейся, скажем, от его короткой, рубленой фразы начала 60-х годов.

Судьба остается главным внесценическим персонажем винокуровской лирики.

Еще она зовется мойра...  
Береговая полоса,  
где вдоль масличного приморья  
подняли греки паруса.

И низко молятся когорты...  
Она вступает на порог,—  
гремят тяжелые ботфорты.  
И тут она зовется: рок...

Типичный винокуровский переброс — от голубой дымки юного мира уж не в русское ли XIX столетие с его «тяжелыми ботфортами», чей ночной стук возвещает о близкой беде? Стих Винокурова свободно пронизывает не только разные уровни жизни, но и отдаленные друг от друга времена. Его герой чувствует свою уместность и на крутых переломах истории, и, положим, у квасного ларька. Поэтому его можно было бы назвать — разумеется, применительно к нашему веку — homo naturales, то есть человек естественный.

Этот естественный человек соединяет в себе трезвый житейский расчет и вечную тоску по идеалу, «жену» и «Беатриче»,

небо и землю. В нем не только неистребимое желание жить, но и — пожалуй, не меньшее — «мыслить и страдать».

«Трагедия пишущего о стихах», — замечает Винокуров, — состоит в том, что он не может говорить об алмазе, не превратив его сначала в уголь, — и все, что он говорит, относится, в сущности, к углю, хотя пишущий и подразумевает в своих рассуждениях алмаз. По-своему это относится и к тому, с чего мы начали — к «феномену Винокурова».

Утешение же пишущего о стихах состоит в том, что сам алмаз все-таки существует и каждый волен убедиться в его твердости и чистоте.

Игорь ВОЛГИН.



## ДВИЖЕНИЕ ДУШИ

Я н к а Б р ы л ь. Поиски слова. Миниатюры и лирические записи. Авторизованный перевод с белорусского Д. Ковалева и Г. Попова. Минск. «Мастацкая літаратура». 1984. 509 стр.

Э то путешествие в путешествии, образ в образе. «Биография души», хроника движения общественного самосознания авторского «я» в жанре дневниковых записей и путевых миниатюр. Фрагменты из истории внутреннего развития героя, о котором автор говорит от первого лица и с которым находится в своеобразных отношениях, как бы сосуществуя в одном образе. «Жутковато порою. подумаю: а как же я выгляжу со стороны, в глазах других людей?.. И жутковатость эта в том, что я здесь сам подключаюсь, сам смотрю на себя со стороны — и с внешней, и с внутренней. Что я такое? Откуда? И куда?.. а вот схватить и на бумаге закрепить эти ощущения — не удастся. По крайней мере теперь не удалось». С этого и начнем. Удалось, думаю, иное. Но это иное открывается не вдруг.

Сразу, с первых страниц открывается нечто памятное по бесчисленным путевым заметкам и дневникам, хлынувшим некогда на страницы периодики. Города, пейзажи, страны. И кто-то спрашивает у встречной абхазской старушки: «А далеко ли еще до Царьграда?» Но «уже стреляет в небо готика костела» над Видзами. Страница. две — Париж. Между тем, оказывается, «вчера солнце взошло над пустынными, голыми горами Греции... Завтра Стамбул». И чуть не сразу — «летим над океаном... канадская сторона Ниагары... переехали мост, оказались в США... и снова поехали». Биробиджан, Михайловское, «позавчера был Горький». А теперь

«из окна троллейбуса Симферополь — Ялта видны лежачие верблюды низких гор», верблюды отстали от мест, где водятся. Впечатления беглы, и дело, кажется, даже не в них. «Священные камни», техно-электронная экзотика индустриальной культуры и вообще все «чудеса света» почти не успевают остановить внимание автора — дело гут прежде всего в особом состоянии его собственной души, в том чувстве безграничности, которое вдруг переполнило ее, захлестнуло и понесло... «В дни моей юности, — замечает между прочим автор, — некоторые новобранцы не спали в вагоне, записывая названия всех без исключения железнодорожных станций и полустанков на своем пути, а потом писали домой, сколько их было». У читателя возникает мысль об авторской самоиронии, но — рано!

«Мать сказала бы: „Господи, и чего тебя носит по свету!“» Эта мысль придет потом и автору, но пока ее нет. «...люблю это, — говорит он, — что-то в этом есть, какая-то естественная тяга к путешествиям, к перемене мест». Есть такая тяга в природе человека. Пушкинская мечта: «Отчета не давать... Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; по прихоти своей скитаться здесь и там». И все это в одном ряду.

Следует учесть немаловажное обстоятельство: в пору, к которой относятся начальные страницы книги, ее заповедь, ситуация была особенная. Словно открылись какие-то шлюзы. Изжаждавшиеся читатели спешили узнать: «Ладно ль за морем

иль худо? И какое в свете чудо?..» Да, конечно, вся та атмосфера нетерпеливого оживления и быстрых радостей дорожной суеты, столь узнаваемые знаки которой хранят беглые записи автора, была прямо связана с облегчающими душу общественными переменами и теми сдвигами, которые получили столь непривычное название разрядка. Потом все приутихло. Пришло, видно, время «остановиться, оглядеться». Правда суровые реалии нарастания новой напряженности, связанные с истинным проклятием века — феноменом «разделенного мира», почти и не оставляли места ни для чего иного.

Впрочем, всякий путник время от времени испытывает, известно, потребность оказаться в том состоянии духа, о котором некогда было сказано: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Пожалуй, в той критической ситуации, которую переживает сейчас человечество, эти знаменитые слова обретают куда большую остроту и куда более широкий смысл, нежели двести лет назад. Немало авторов ныне испытывают потребность «взглянуть окрест» и чувствуют при этом некую «уязвленность души». В силу яркой типологичности своей литературной судьбы и особенностей личной участи Янка Брыль занимает тут все-таки несколько особое место. Не в первый раз переживает он внутреннюю потребность «остановиться, оглядеться». Вся его жизнь в известном смысле оказалась «годами странствий», имевших подчас вынужденно драматический характер.

Родился в Одессе, пяти лет увезен в 1922 году родителями на их родину — в западнобелорусскую деревню. Из подстрочной справки к книге: «Как солдат бывшей польской армии... в сентябре 1939 года очутился в немецком плену. Бежал из плена осенью 1941 года». Партизанил. Все дальнейшее стало восприниматься им как «жизнь после плена». Ощущение простора захватило, открылся «большой мир». Наконец он «взглянул окрест». Нет, не «уязвленностью души» был вызван этот взгляд — он взглянул на мир «очарованным странником». Мир был прекрасен. Лишь у самого горизонта что-то вроде бы темнело. Но и там, «куда отправилась еще не все отдавшая темно-синяя туча, ликует — увиделось ему, — красуется радуга. Под огромную арку ее идет... улица, а по улице, будто в страну сказочной радости, идет его герой. И все это было «так весело, так неповторимо юно, — вспоминает ав-

тор свое тогдашнее состояние, — что я не выдержал и... проснулся».

В критике отмечалось, что в прошлом Янка Брыль испытал, как принято иной раз суммарно говорить, «влияние теории бесконфликтности». Однако, если иметь в виду феномен той «очарованности», след которой теперь так бьет в глаза в старых записях писателя, то суть тут была, думается, не в теории, пусть и влиятельной. Ведь ясно же, что в основном своем социально-психологическом содержании упомянутая теория была совсем не простодушна, беспечальность ее была заданной. Исповедальная литература — тоже своего рода документалистика, «документалистика души». Сохранив в книге ряд идеализированных зарисовок, Янка Брыль не захотел исправлять биографию своего авторского «я». И надо сказать, что в идеализме мировосприятия этого его героя более всего заметна сейчас не искусственность, а безыскусность. Само жизнеутверждение его имеет тот онтологический по преимуществу характер, какой имела, к примеру, и знаменитая формула красоты, автора которой уж менее всего можно заподозрить в ликовании по поводу окружавшей действительности: «Прекрасное есть жизнь». И тут же: «ближайшим» образом такая жизнь, какую хотелось бы... вести... потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем не жить». В последней части формулы наивного антропологизма, как показало время, не больше, нежели того гуманизма, который ныне все менее кажется «слишком общечеловеческим». Но, бесспорно, этот онтологический, если можно так выразиться, оптимизм обнаруживает всю свою недостаточность в искусстве, когда забывают о «субъективной» стороне бытия — личности и ее брэнном уделе в этом прекраснейшем, без сомнения, из миров. Тогда-то, как читаем у Брыля, «даже писать не хочется», а лишь «петь, как тот, что на ослике едет да едет по ровной безлюдной пустыне» И тут уже слово «идиллия» попадает в кавычки, выделяя их из себя как некий стилистический вирус, против которого у автора еще нет необходимого иммунитета. В книге Янки Брыля это слово, щедро употребляемое сначала с почти трогательной непосредственностью в буквальном смысле, затем и впрямь все чаще помечается кавычками — знаком опознания литературной условности, — будто автор действительно «не выдержал и... проснулся». И вновь испытал потребность «взглянуть окрест»; на этот раз «душа его уязвлена

стала». Он сказал: «Ехал и я по грязи прошлого, тащил свой тяжелый, чего-то стоящий воз и брызгал из-под колес «публицистикой», за которую теперь стыдно». И уравнивал эту «публицистику» с «идиллией» кавычками. И не так уж прытко захотелось ему теперь отсчитывать километры, едва успевая оглянуться по сторонам. «...незачем,— сказал он себе,— все куда-то спешить... и зачем? Чтоб потом оглянуться и заплакать? Что бежал, да не добежал, а многое упустил». Было произнесено слово «разочарование». Так называлось одно из его новых произведений. Название пришлось снять. В книгу он это слово вернул, подтвердив тем его неслучайность.

Нет, не надо приписывать мне плоскую схему — я не хочу прочертить здесь пунктир, соединяющий «очарование» и «разочарование», не хочу «дать понять», что «очарованный странник» обратился в «разочарованного». Биография авторского «я» не укладывается в плоскость этого маятника, хотя есть, конечно, известная закономерность в том, что идиллический период сменяется тут постидиллическим, отмеченным своеобразным стоицизмом. Но есть правда и в том, что автор не отменил в книге своего исходного «надличностного» оптимизма, исполненного завроженностью жизнью как таковой. Однако автор и не захотел отстаивать непреложность такого оптимизма в наше время, когда человеку приходит в голову: «Неужели и на других планетах процесс жизни идет также кроваво?»

В послесловии к сборнику Янки Брыля, вышедшему в приложениях к «Дружбе народов» в 1981 году, Ю. Канэ пишет: «Брыль последних рассказов, книг эссе, последних повестей... это новый Брыль. Трудно даже сформулировать, в чем эта новизна. Можно сказать, что писатель стал жестче, сдержаннее, глубже, ироничнее, оставаясь все тем же искренним лириком. Все это будет правдой, но она не схватывает и не передает сути того нового, что появилось в нем. В общем, это Брыль после работы над документальной книгой «Я из огненной деревни» — трагическим памятником девяти тысячам сожженных фашистами деревень Белоруссии, книги которую он делал вместе с Алесем Адамовичем и Владимиром Колесником». Да. «Стал жестче». И человечнее. Остался лириком. Но не тем же. Лиризм его стал встревоженным. И все-таки еще мало, мне кажется, сказать, что «новый Брыль» — Брыль после прикосновения к теме минувшей войны. Не рискну с такой определен-

ностью датировать возникновение того, употребляя выражение Адамовича, состояния «излечивающего шока» или, быть может, шокового катарсиса, которое пережил Брыль. И не он один в сегодняшней литературе. Уместнее, пожалуй, сказать здесь о внутреннем процессе, который был вызван совокупностью глубоких общественных перемен, побудивших писателя по-новому взглянуть «окрест себя». Вполне поддерживая наблюдение Ю. Канэ относительно самого факта возникновения феномена «нового Брыля», приходится все-таки добавить кое-что и относительно закономерности и правомерности подобного рода нравственно-эстетического явления как такового. Не то поразительно, следует здесь сказать, что мы обрели «нового Брыля», — поразителен и противоестествен был бы как раз феномен «старого Брыля», «неизменного Брыля» в нашей стремительной действительности. «Новый Брыль» не изменил себе прежнему. Лишь по логике косного мышления, которое и мышлением-то не назовешь, одеревенелость души можно считать знаком духовной доблести, а движение души — самоотречением. Позиция неколебимого сидения «все на том же камне» — классическая поза «духовного запора», сколько ни аттестуй сей камень краеугольным или даже того лучше.

Движение души «покорно общему, — согласно Пушкину, — закону» движенья бытия. Жизнь меняется нами и в нас. Новая книга Брыля соприкасается с целой эпохой важнейших жизненных перемен на самых разных уровнях общественного бытия. Естественны изменения и в природе самих гуманистических начал творчества писателя. Капля за каплей изживались пасторальность и отвлеченный идеализм, наращивались трезвость и зоркость необходимой встревоженности. «Бояться за других — не трусость. Это называется немножко иначе». Работа над упомянутой Ю. Канэ книгой не была «прикосновением к теме», «моментом истины» — она была этапом и итогом органичного для писателя пути «В моих записях... — замечал Брыль еще раньше, — не хватает связи с ужасами времени». И надо еще вдуматься в то, что тема войны для нас сегодня — кардинальнейшая общемировоззренческая тема жизни и смерти человечества, вопрос всех вопросов, смысла всего нашего существования или бессмысленности его. В этом повороте к теме «ужасов времени» во всем доступном для него их объеме ключ к феномену «нового Брыля» — характерному знаку того самого нового мышле-

ния атомного века, выработка которого является ныне с марксистской точки зрения неотложной идеологической задачей глобального значения. Пришла, если можно так выразиться, всемирно-историческая пора подумать о душе.

«Слова *memento mori* впервые произвели на меня,— читаем у Брыля,— впечатление, кажется, еще в школе. Помнится подпись под рисунком, где старый человек копает яму». Заставка... Все больше людей на свете копают себе яму. Мир обошли фотографии толп с лопатами под дулами фашистских автоматов. Теперь возник образ человечества, деловито помахивающего лопатой. «Когда-то и наша Земля полетит в бездну, а на какой-нибудь другой планете влюбленные будут гадать, чья это звездочка там упала». Элегизм уже внегалактический. «Не спрашивай, по ком звонит колокол». Смысл и нравственный вывод этого произведения близко приняты к сердцу Брылем. Не спрашивай, «чья это звездочка там упала»,— своего рода нынешний адекват формулы гуманизма, которую Хемингуэй прочитал как эпитафию ко всему предатомному времени.

В «хронике души» Янки Брыля тема фехерии жизни — «кругосветки» — переходит в тему непрерывной страды «круговорота бытия». «Читаю историю, думаю о сменах формаций, столетий... И вдруг ярко, внезапно увидел бабку Прузыну или Агату — как она дробно, мелькая черными, потресканными пятками, идет, торопится в поле или с поля, где только работа да работа... Дая куса все еще не очень щедро хлеба. Бабка прошла, следом за многими. Земля все вертится. Идут другие бабки. Идут бабки — земля вертится под потресканными пятками. Такой вот вечный двигатель. Пока бабки идут. И новый ответ ложится в книгу на «тему бабок». Не идеалличен он.

Из цикла заметок 1946—1979 годов:

«Уполномоченный:

— Кричим, кричим насчет плана, а вечером сяду ужинать и... масла есть не могу. Кажется, все оно нашим матом пропитано».

Из другого цикла (1952—1980): «Опустив в машине занавески, включив радио, можно и подумать, что «слово «бедность», — цитирует Брыль какого-то литератора, — надо наконец выгнать из нашего лексикона как устаревшее»... Может, — добавляет Брыль, — он и не думает так, однако — пишет». И новый — антиидеаллический ответ падает на сквозную, если можно так выразиться, тему души авторского «я» — литературную.

В одной из своих неистовых антивоенных статей Алесь Адамович воззвал: «Создавайте свехлитературу!» — против растлевающей души идеи дозволенности «свехлюбства» — убийства человечества. И тут же автор резко снимает интонационно-эмоциональную экстремальность: «Свехлитература? Нет, пожалуй, это чересчур сказано, ничего свех минимума не предполагается» — нравственно обязательного минимума честного отношения к тому, что совершается на нашей земле в сфере «ужасов времени». Иными словами, призыв предполагает истолкование: «Не допускайте «сублитературы» — того, что за пределами нравственно-эстетического минимума», того, что позволяет нам самим или вынуждает нас терпеть лишь именуемое литературой и литературу замещающее. Вот этой-то стороной общего дела, общей задачи, решаемой на фундаментальном уровне минимально необходимого, и болеет всерьез «новый Брыль». И здесь уж он нелюбезен — вот в чем соль и некоторое очевидное «неудобство» его подхода. Но недовольные таким именно его подходом к общей теме как-то не замечают, что ли, того, что начинает он в этом случае характерным образом с себя, мало оставляя в этом отношении своим критикам. Все самое едкое, горькое, ироничное, язвительное и «ставящее на место», что действительно можно было бы, если бы так уж захотелось сказать о Янке Брыле, уже сказано Янкой Брылем. Нечто в этом духе у нас был уже случай привести. Но порой он бывает — а хотел бы, кажется, быть всегда — просто безжалостен, крут и по особому беспощаден к себе. Он пишет, скажем, о тех своих произведениях, которые уже «не выжили», он доходит до своеобразного самосарказма: «Кабы не потешился, так повесился б». И тут же обрывает себя, дабы незаметно не соскользнуть в нечто сходное с самоуничижением: «И графоманы плачут над собственными страницами!.. Стоит об этом помнить, особенно тогда, когда уже слезинка подкатывает». Тут надо еще учесть то существенное обстоятельство, что жанр Брыля — «жанр искренности» — зачастую сокращает лишь до нравственно обязательного и неминуемого предела расстояние между личностью автора и его авторским «я». И тогда обнаруживается душевная незащищенность писателя, открывающего душу читательской аудитории.

«Вас когда-нибудь били по обнаженному сердцу?.. То ли слышал это где, то ли чи-

тал,— снижает автор пафос «личной боли»,— не знаю, не помню. Но это... очень мое... Вот что такое,— замечает Брыль,— «лирическая проза...» Вот что такое — стоический лиризм «нового Брыля». Есть, считает Брыль, «два высоких звания — писатель и человек. Одного мне хочется достичь, другого — еще больше — не утратить». Конечно, такое смирение паще и ной гордости. Сказав так о себе, можно, видимо, позволить себе сказать нечто в том же духе и о других. Даже следует, иначе подобное заявление оказалось бы не заявочной вехой в общей нравственно-эстетической позиции, а просто своего рода каким-то самодельным критическим громоотводом. Прежде всего — о тех, кто определяет верхнюю точку отсчета на шкале наших эстетических ценностей, о тех, по ком судят об иных и кого иные почти никогда не судят. «Голстой — великий для нас,— подчеркивает Брыль,— а для самого себя, чтобы жить, работать по-настоящему, ему необходима была скромность... С меньшими по рангу писателями, получившими признание читателя и официальную похвалу,— продолжает Брыль,— с некоторыми из этих меньших случаются вещи... не очень приятно пахнущие». Когда Брылю случается говорить о таких вещах, он не обнаруживает особого мастерства в исполнении «фигуры умолчания». Он поглощен тем, что «следит мысль», как говорили встарь

«Служенье муз не терпит суеты». Кстати, когда Пушкин сформулировал этот закон, в его формуле звучало отнюдь не олимпийство, не отрешенная безмятежность и надмирность, а острая полемичность. Оставляя в стороне ближайшие адресаты, стоит вспомнить, что в те времена была еще очень устойчива традиция, согласно которой художник предстал «престижиратором» — устройтелем собственного успеха и престижа в глазах «изумленной публики». Формула Пушкина отрицает эту традицию. Формула незыблема и ныне Речь, по существу, идет о такой материи, как природа творческого побуждения, которое тогда истинно, когда самодостаточно. Хотя — вот странность! — и у самого Брыля возникает порой вроде бы нота какой-то ущемленности и недооцененности. Инерция «прежнего Брыля»? Не в этом, думается, суть. Обратившись к энциклопедиям, разного рода пособиям, курсам, очеркам и аннотационным справкам. Убеждаешься что отсутствием знаков признанности этот автор отнюдь не отмечен. Но вот: «Такая уж, видно, планета —

работай, не ожидая доброго слова». И даже: «Ты выстрадал, вынырнул новую книгу, с муками издал ее, а они, рецензенты.— молчат, как будто ты сделал что-то непристойное, они же... делают вид, что в их присутствии ничего не случилось... Ну разве это легко?..» Какие же еще нужны «рецензенты»? Да сам же Брыль, поминая тех, кто и о нем печатал «многословные похвалы», говорит, что они «зануды», что если бы «каким-то чудом» мог загодя прочесть, что о нем напишут, так «не захотелось бы и писать»! О каких еще «добрых словах» тоскует теперь он? И какова, если уж на то пошло, доля самообличения в строках: «Тщеславие — похуже похоти: оно остается и в немочи, до самой смерти, чем дальше, тем более капризное, слепое, отвратительное»? И все-таки суть тут не в тщеславии: у «нового Брыля» нарастает тоска по неформальному признанию — это «не слава поэта или космонавта, а только простое «спасибо» от человека, которого ты уважаешь». Такая тоска и не могла миновать его душу в той мере, в какой росла в нем сама способность к неформальному, то есть собственно-творческому видению мира в его неформальном, то есть собственном виде. В сущности, это был единый процесс, объединивший причины и следствия.

Янка Брыль рад, когда слышит, что по его книгам «чувствуется: это — не все, на что я способен». Но нет у него счастливого чувства: свершилось, найдено слово — и отпустило на время душу. А позади немалый уже путь. Путник, который вышел когда-то в дорогу, зачарованный открывшимся ему миром, не мог знать, что вдали, у самого горизонта, где что-то такое темнело, его ждет некто, «знакомый незнакомец». Второе авторское «я» — «новый Брыль». И взгляд, обращенный к нему из этого далека, окажется столь нелюбезен. Но путнику обязательно надо было пережить тогдашнее свое состояние неодолимой тяги «туда, туда!», чтобы встретиться с этим взглядом, чтобы нить протянулась — свершилось это «маленькое чудо» запечатления произвольного движения души.

Так все-таки свершилось?.. Как бывает легко и как бывает трудно в жизни ответить на этот вопрос... Нить протянулась. Произошло самосоздание нового авторского «я». Слово открылось какое-то второе дыхание души. Но только «ты сам свой высший суд». Ибо «всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли?...». И не иначе. Другое дело, что не

всякому это дано. А иному и нужно иное. Для Янки Брыля этот суд теперь, пожалуй, уже неизбежен и продлится — на счастье его и на муку — до конца его дней.

Впрочем, тут — на фоне многого множества иных литературных свершений — может возникнуть вопрос: ну и что же, собственно, из всего этого следует? Но только пусть тот, кто так спросит, вначале сам попробует испытать только одну лишь потребность исповедаться в жизни своей души. Потом пусть еще он попробует отыскать слова для этой исповеди. Потом сделать так, чтобы его услышали: нарушит «тайну жанра», не нарушив «жанр тайны». А потом, после всего этого,

пусть он найдет еще силы глубоко усомниться в том, что все это следовало делать, что это вообще возможно. И напишет: «Что за польза людям от моей правдивости, если она не на всю глубину?..» Это и будет «маленькое чудо». Хотя он сам может и не заметить этого или не согласится с этим, ибо движение души-самоушки не знает своего предела. А мир — он, как всегда, прекрасен, и «за окном, — скажем, — чудесная зима, которая мне не помогает». И неизвестно, поможет ли. А все равно — живет душа, и ее «самописец» чертит непрерывную зубчатую линию ее среза на новых страницах.

А. ЛЕБЕДЕВ.



## КНИГА О ТВАРДОВСКОМ

Алексей Кондратович. «Ровесник любому поколению». М. «Современник». 1984. 383 стр.

У книги Алексея Кондратовича «Ровесник любому поколению» подзаголовок: «Документальная повесть».

Обозначение жанра?

Сам автор приводит слова С. С. Смирнова. «Документальная повесть! Ну что это за жанр? Если документальная, то я должен верить каждой фразе, любому слову. А повесть? Значит, что-то сочинено? Что? Я уже ничему не могу верить. Зачем авторы так обкрадывают себя? Слово «очерк» — прекрасное слово...»

Тогда, может быть, очерк о Твардовском? Нет, не подходит это слово.

Перед нами единственная в своем роде книга. В ней есть и воспоминания, приведены и записи, сделанные по горячим следам, и документы, и цитаты из произведений и черновики. В ней размышления автора, его суждения, его восприятие и понимание и людей, и времени, и жизни. Трудно сказать, чего нет в этом свободном рассказе (не жанре рассказа, а рассказывании), объединенном одним именем — Твардовский. Это проникновенный рассказ-размышление о Твардовском, именно о нем и его мире, его времени, его народе. и он не умещается в рамки обычного жанра.

Когда-то секретарь Гёте Эккерман решил записывать свои разговоры с Олимпийцем, даже нарочно вызывал его на беседы, ставил ему вопросы, выпытывал его мнения, затем показывал ему свои записи. Получилась классическая, известная всему миру книга.

Ничего подобного по своему типу не представляет книга Алексея Кондратовича. Это не результаты специальных бесед и за-

писей секретаря, а вдумчивый итог-воспоминание, итог — осмысление живой совместной работы в журнале, когда день за днем раскрываются самые различные стороны характера, всего духовного склада человека, мелькают его суждения и оценки, устанавливаются его отношения с разными людьми. И человек этот, характер этот — Твардовский.

Алексей Иванович Кондратович был не то что влюблен в Твардовского, не то что глубоко уважал его и преклонялся перед ним — он был поглощен Твардовским. Многие годы всматривался в него не отрываясь, вдумывался в его суждения, чувствовался в его поэзию — и все это не после, не спустя много лет, а сразу же, в текучке журнального повседневья, потому что знать и понимать Твардовского значило самостоятельно и дружно с ним работать, а именно этого и добивался от себя Кондратович.

Он не ставил перед собой задачу собирать материалы для будущих воспоминаний. Он просто ощущал себя с о р е д а к т о р о м Твардовского в журнале, с о р а т н и к о м его в нашей литературе, учился у него жить живой жизнью.

«Святым он не был. А вот Человеком и Поэтом был. И не есть ли это истинная человеческая святость?» — так кончается одна из последних глав книги, и в этих очень просто звучащих высоких словах ее автора нет ложного пафоса, а есть правда понимания Твардовского.

Эта книга только часть того, что не могло не вылиться на бумагу после смерти поэта. Обратите внимание на даты в конце книги: 1972—1983. Но в этот промежуток времени



вышла еще одна книга А. Кондратовича о Твардовском — в 1978 году в издательстве «Художественная литература» (сейчас переиздана). Эта книга несколько напоминает литературоведческую монографию, но, в сущности, очень далека от ученого жанра. Написана она тем же авторским тоном свободной беседы с читателем, голос которого, соображения и возражения которого автор слышит и тут же учитывает или отклоняет. Только материал книги здесь — преимущественно творчество поэта, тогда как новая книга посвящена больше его личности.

Одна новая, а другая старая? Вряд ли! Твардовский владел всеми творческими мыслями Алексея Ивановича неотступно. Не писать о нем Кондратович не мог, и из отдельных статей о нем и его творчестве мало-помалу составила рукопись более полусотни листов. Конечно, это была еще сырая работа, но главное в ней было собрано и сохранено — записи суждений Твардовского, факты, документы. И пришлось автору — по тесным издательским условиям — разделить рукопись, выделить из нее две книги: одну о поэте в жизни, другую о поэте в творчестве. Так вывели эти книги. Не удивлюсь, если в архиве критика обнаружатся и материалы к третьей книге о Твардовском. Во всяком случае, он собирался ее дописать и подготовить к изданию. И уж конечно, как ни насыщены эти две книги, не зная которых уже трудно представить себе облик Твардовского, они не закрывают новых книг о поэте, а, наоборот, открывают простор правдивым воспоминаниям о нем и точным суждениям о его творчестве.

Все же хочется подчеркнуть две особенности лежащей перед нами книги. Одна — разнообразие. Как будто автор подходит к своему объекту с разных сторон и то приближается, то удаляется, всматриваясь в него, видит его разговаривающим то с одним, то с другим, живущим и творящим то в одних условиях, то в других.. Пробежим взглядом оглавление книги: сначала один из дней Твардовского дома и в журнале, потом

страницы о Смоленщине, об ИФЛИ, годах войны, послевоенного времени. Затем новый поворот: белорусская поэзия и поэзия вообще в жизни поэта. Наконец заочные и очные встречи Твардовского с Буниным, Цветаевой, Ахматовой, Исаковским, Соколовым-Микитовым, Овечкиным, С. С. Смирновым, Верейским, Пановой, со стариком Бартовым. Собирался, но не успел написать Алексей Иванович о трудных отношениях Твардовского с Маяковским и Есениным. Три главки заканчивают духовный портрет. Твардовский освещен объемно, со всех сторон.

Но другая особенность: во всех разнообразных освещениях везде он сам, Твардовский, воссоздано единство многогранной и непростой личности, богатство души Человека и Поэта. Этот духовный портрет можно дополнить, уточнить, дорисовать в деталях. Но его невозможно оспорить, хотя споры, конечно, будут.

Со страниц этой книги встает облик и ее автора.

Литературно-критический (как известно, вообще очень редкий) талант Кондратовича обрел голос, силу и самостоятельность в последние двенадцать лет. Он писал и писал — прежде всего о Твардовском, но вместе с тем и о текущей советской литературе, которую знал прекрасно. К нему обращались газеты, журналы, издательства с просьбами дать статью, предисловие, рецензию, книгу для зарубежного читателя... Тяжело больной и уже обреченный, он держал перо, пока мог, и выходило у него все лучше и лучше... И писал он обо всем, только не о себе, отстаивал свои очень определенные убеждения — для него наше литературное дело и правда нашей жизни были и оставались превыше всего.

И вот теперь перед нами выношенная, выверенная, правдивая книга. Не сочиненная повесть, не беллетризация биографии, а документальное повествование о Твардовском.

Книга-документ.

Г. А. СОЛОВЬЕВ.



## ЗАЛОГ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Воспоминания об И. С. Соколове-Микитове. М. «Советский писатель», 1984. 544 стр.

Творчество И. С. Соколова-Микитова. Л. «Наука», 1983. 296 стр.

**К**ак образно и точно пишет один из мемуаристов. Соколов-Микитов «пережил» большинство своих современников и высился где-то в стороне от шумных проезжих

дорог как одинокое, дулистое и кряжистое дерево, овеваемое всеми ветрами нового столетия» И вот уже десять лет как Ивана Сергеевича нет с нами.

Посвященный ему сборник исследований и публикаций, подготовленный Институтом русской литературы АН СССР, примыкает к аналогичным сборникам о К. Федине, Л. Леонове, М. Шолохове, Н. Тихонове. Тем самым наследие Соколова-Микитова недвусмысленно (и справедливо) причисляется не просто к ряду примечательных явлений отечественной культуры, но к русской советской культуре, заслуживающей пристального изучения, и таким вниманием к идейно-художественной самобытности Соколова-Микитова отмечены многие статьи сборника (например, работа «Своеобразие личности — своеобразие творчества» М. М. Дунаева и другие). Выделяется исследование «И. С. Соколов-Микитов и М. М. Пришвин» (Т. А. Гринфельда) — работа неординарная по свежести взгляда и тонкости анализа. Автор убедительно объясняет «сосуществование» одобрительных и резко критических отзывов Соколова-Микитова о произведениях Пришвина, выявляя существенное различие мировосприятий этих талантливых современников, утверждает, что оба писателя-реалиста («Соколов-Микитов — в лаконичном объективном повествовании рисуя преимущественно материальные формы бытия. Пришвин — выявляя в первую очередь духовное соответствие мира и лирического „я“») существенно приблизили человека к природе и природу к человеку.

Хочется отметить, что глубокое уважение авторов к замечательному писателю не переходит в ненужный пиетет. убивающий дух исследования. Тем не менее есть и такие моменты в сборнике, которые демонстрируют другую крайность. Скажем, трудно согласиться с Л. И. Емельяновым, что повесть «Елень» — «вполне заурядное произведение». Литературовед может резко разойтись с предшественниками в оценке того или иного произведения, но его позиция должна быть доказательной (в нашем случае это тем важнее, что на страницах того же сборника В. А. Смирнов называет повесть «одним из значительных произведений молодой советской литературы» и подробно анализирует ее).

Немалое место в академическом сборнике занимают архивные публикации (три автобиографии, «беседы с молодыми», переписка с В. В. Бианки, письмо С. А. Писахова, письма В. П. Полонскому и т. д.). Трудно переоценить, например, письма к М. М. Шкапской — литературная и нравственная позиция писателя в 20-е годы сформулирована в этих письмах с афористической точностью («Ложь — замытинская насмешка: ибо смеяться не страда я —

мерзость», «...Бунин в Париже... к России подлинной ближе на десять тысяч верст, чем коломенский Пильняк...») и т. п.).

Сердцевину творчества Соколова-Микитова составляют произведения у русской деревне («Детство», «Елень», «Пыль» и др.) — об этом напоминает П. П. Ширмаков, участник обоих сборников. Он справедливо считает, что сложившееся за многие годы предствление о Соколове-Микитове как об очеркисте-путешественнике нуждается в решительном пересмотре. Существенно и мнение самого Ивана Сергеевича: «путешественник по призванию юности и скиталец по обстоятельствам нелегкой жизненной судьбы» (выражение А. Т. Твардовского), он не согласился с автором предисловия к его четырехтомному собранию сочинений, считавшим, что основной мотив писателя — романтика странствий. Соколов-Микитов отмечает на гранках статьи: «А Россия? а деревня?» И еще раз: «Основной мотив — это Россия, Родина. Понятия «Россия» и «деревня» у Соколова-Микитова как бы уравниены. Но исследователи и мемуаристы убедительно показывают, что писатель при этом никогда не идеализировал крестьянство, «не был плакальщиком по прошлому», его взгляд был направлен преимущественно на здоровые, положительные начала сельской жизни.

За долгую творческую жизнь Соколов-Микитов написал не так уж много. И хорошо, что исследователи и мемуаристы не просто констатируют этот факт, а пробуют его объяснить (статья М. М. Дунаева и воспоминания В. Лакшина). Конечно, и тяжелые жизненные удары (смерть трех дочерей) и подорванное здоровье (потеря зрения) сделали свое дело. Но в то же время это был человек, который «до последних дней своих и в письменном и изустном слове с мудростью старости и простодушием детства ставил жизнь» (Ф. Абрамов). И тут нам мало поможет расхожее «певец природы» или справедливое, но недостаточное «мастер русского слова». Глубинный источник творческой силы Соколова-Микитова и художественной «прочности», залог долговечности его книг — в выстраданном убеждении, что жизнь, несмотря ни на что, есть благо и высшая ценность.

«В учителя жизни не гождусь», — заявил писатель. Он и в самом деле не проповедовал, но его уроки сохраняют силу и ныне. Поэтому его и вспоминают: «великий жизнелюб», «сердце, открытое людям», «строгий и вдохновенный учитель».

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



## ТАК ЛЮБИТЕ ТЕАТР...

М. М. Морозов. Театр Шекспира. М. Издательство ВТО. 1984. 319 стр.

**И**мя Михаила Михайловича Морозова я слышал с детских лет: оно всегда проносилось в нашем доме с каким-то особым чувством благоговения. Мой отец Рубен Николаевич Симонов, до самозабвения любивший Шекспира, много рассказывал мне о своих встречах с талантливейшим человеком, крупнейшим ученым, всемирно известным шекспироведом М. М. Морозовым. Именно Морозов раскрыл перед Рубеном Симоновым тайны характера короля Клавдия в «Гамлете», поставленном на вахтанговской сцене Николаем Акимовым. Михаил Михайлович Морозов не был поклонником этого спектакля, но именно его критические замечания и иногда резкое осуждение режиссерского плана помогли Рубену Симонову как бы заново осмыслить гений Шекспира. О том спектакле, поставленном в далеком 1932 году, много спорили и писали. Само распределение ролей уже вызвало бурю толков — достаточно сказать, что по дерзновенной мысли Акимова, человека несомненно чрезвычайно одаренного, роль принца Датского была поручена острокомедийному артисту Анатолию Горюнову. Я не буду сегодня вдаваться в сущность споров, но знаю, что образ короля, созданный Рубеном Симоновым, был оценен Морозовым как интересное явление театрального искусства. И несомненно, что именно соображения Морозова, тонко понимавшего индивидуальность молодого тогда артиста, диктовали Рубену Симонову определенную манеру игры.

Все театры Советского Союза, в разные годы ставившие Шекспира, прислушивались к голосу Морозова как к голосу верховного судьи. Его мнение и оценка были решающими, его признание спектакля радовало исполнителей, неприятие огорчало. Он писал свои блистательные статьи о Шекспире, ни на секунду не забывая о современном советском театре, он раскрывал образ великого английского драматурга перед глазами своих учеников. И конечно же едва ли не самой важной целью научных работ Морозова было раскрытие сути шекспировских трагедий и комедий перед современными советскими актерами, пожелавшими сыграть Шекспира. Есть редко употребляемое теперь у нас слово **толкование**, и вот Михаил Михайлович был мудрейшим толкователем Шекспира, и Уильям Шекспир, рожденный в недрах английско-го театра, в книгах Морозова выглядит

именно драматургом и артистом Уильямом Шекспиром, рожденным в Стратфорде на реке Эйвон, в графстве Уорикшир 23 апреля 1564 года. Влюбленность Морозова в конкретно существовавшего Шекспира властно опрокидывала псевдонаучные схоластические теории тех ученых, которые ставили под сомнение авторство Шекспира. И сегодня, читая книги Морозова, нельзя не почувствовать, с каким ожесточением и яростью нападает он на создателей тех теорий, которые приписывали сочинение шекспировских пьес иногда целым конспиративным кружкам вольнодумцев во главе с философом Фрэнсисом Бэконом или доказывали, что автором бессмертных комедий и трагедий был мореплаватель и историк Уолтер Рэли. С веселым полемическим задором опрокидывал Морозов так называемую рэтлендовскую теорию, когда перед глазами всего человечества на престол первого драматурга мира хотели возвести лорда Рэтленда. Много было претендентов на это самое почетное в мировой драматургии место — и лорд Дерби, и лорд Оксфорд, и другие. Призвав к себе на помощь высказывания современников, друзей и врагов Шекспира, и в первую очередь Бена Джонсона, назвавшего Шекспира душой своего века, Морозов как бы заново утверждает имя Шекспира в его неприкосновенности и чистоте.

На одной из страниц книги помещена фотография 1938 года, на ней режиссер Иосиф Рапопорт сфотографирован с Михаилом Михайловичем. Я долго вглядываюсь в их лица и думаю о том, что в триумфальном шествии спектакля «Много шума из ничего», поставленного Рапопортом и выдержавшего редкое для нашего театра количество представлений (869), есть немалая доля труда М. М. Морозова, который раскрыл перед вахтанговцами немеркнущие веселость, озорство и одухотворенность шекспировской комедии. Сегодня можно с уверенностью сказать, что именно этот спектакль, в котором вдохновенно играли Рубен Симонов (Бенедикт) и Цецилия Мансурова (Беатриче), наследовал и развивал живую театральную традицию, идущую от гениальной вахтанговской постановки «Принцессы Турандот».

Мне хочется повторить, что все режиссеры и актеры советского театра, причастные к постановке шекспировских сочинений, хранят в своем сердце **благодарность**

Морозову. А молодые режиссеры и артисты новых поколений, которым предстоит встреча с Шекспиром, услышат в книгах Морозова его живой голос и будут черпать из этих книг столь необходимое для нашего искусства вдохновение.

Мне посчастливилось познакомиться с Михаилом Михайловичем в самом начале 50-х годов. Тогда я только начинал свою режиссерскую деятельность. И мне предстояло выбрать пьесу, которая отвечала бы творческим устремлениям молодых вахтанговцев. Внимательно перечитывая Шекспира, я был очарован комедией «Два веронца». Сочинение это, словно лучами утреннего солнца, было пронизано любовью, молодостью и поэзией.

Помню, как поздним вечером, когда дома уже все спали, я прошел со своим отцом в его кабинет. Рубен Николаевич сел в кресло, зажег неяркую настольную лампу и властно приказал мне: «Прошу тебя, прочти мне вслух комедию Шекспира «Два веронца», только не торопись и постарайся донести до меня смысл». Я волновался, читал нервно и, закончив чтение, с надеждой посмотрел на отца. Наступила небольшая пауза. Рубен Николаевич встал и на секунду вышел из комнаты. Он вернулся с большой записной книжкой и сказал мне: «Вот телефон Михаила Михайловича Морозова. Непременно позвони ему завтра утром, представься, скажи ему, что ты мой сын, и расскажи ему об идее нашей молодежи поставить «Двух веронцев». Попроси Михаила Михайловича как можно быстрее встретиться с составом исполнителей. Идеально, чтобы он встретился с вами несколько раз и рассказал бы вам и о самом Шекспире, и о смысле такой сложной пьесы, как «Два веронца». Без Морозова вы, молодые вахтанговцы, провалитесь. Слушайте его как бога. Я уверен, что эта встреча будет впоследствии неоднократно вспоминаться вами. А теперь расскажи мне, как ты думаешь распределить роли».

Буквально через несколько дней большая группа молодых вахтанговцев ждала приезда Морозова на актерском подъезде. Я позволю себе вспомнить, что в «Двух веронцах» в роли Турлио впервые появился на сцене вахтанговского театра только что окончивший наше училище молодой артист Юрий Яковлев. Сложнейшая роль Лаунса была поручена тоже совсем молодому артисту Владимиру Этушу. Да, мы были тогда зеленой молодежью — и Николай Тимофеев, и Антонина Гунченко, и Лариса Пашкова, и Евгений Федоров, и Максим Греков. Мы нервно расхаживали по актерской разде-

валке, и каждый держал в руке по гвоздикке, которую в те времена было совсем не так просто купить. И вот секунда в секунду, в точно условленный час — без пяти одиннадцать — дверь резко распахнулась и молодой походкой, сбрасывая на ходу пальто, вошел в театр удивительно красивый седой человек, обликом и изяществом живо напомилавший и Станиславского и Пастернака. Я думаю, что строчка А. Ахматовой «он награжден каким-то вечным детством» идеально выявляла духовную сущность Морозова. Он поочередно пожал всем нам руки, прошел в гардероб, и я обратил внимание, что, вместо того чтобы развязывать шарф, он, наоборот, обматывал его вокруг шеи то ли от застенчивости, то ли от сосредоточенности перед предстоящей встречей. Мы еще не дошли до репетиционного помещения, мы еще не расселись чинно вокруг накрытого зеленой скатертью режиссерского столика, за который собирались посадить Михаила Михайловича, мы еще шли по сложным лабиринтам нашего здания на Арбате, шли узким коридором под сценой, коридором, который мы поныне называем подводной лодкой, а Морозов уже говорил о Шекспире, жестикулировал, как дирижер, смеялся, останавливался, обращаясь к кому-нибудь из нас, интересуясь, кто кого играет. Короче говоря, лекция началась без вводной части.

Сегодня, перечитывая книгу Михаила Михайловича Морозова, я заново погрузился в его блистательные рассуждения о «Двух веронцах», где он тончайшим образом проводит параллель и устанавливает кровное родство между темой сонетов Шекспира и сюжетом этой комедии. Я помню, как Морозов сразу же посоветовал нам, чтобы в кульминационном месте комедии герой произведения Валентин прочел бы 66-й сонет Шекспира как своего рода исповедь и центрального персонажа, и автора, и актера.

Нам, молодым вахтанговцам, в следующей нашей работе посчастливилось встретиться с Самуилом Яковлевичем Маршаком, написавшим специально для вахтанговцев свою замечательную сказку-комедию «Горя бояться — счастья не видать». Маршак в то время переводил сонеты Шекспира, принимал непосредственное участие в репетициях, часто приглашал нас к себе домой на улицу Чкалова, и, удивительное дело, мысли Самуила Яковлевича живо перекликались с лекцией Морозова. Говоря о сонетах Шекспира, Маршак тоже устанавливал связь между личной драмой Шекспира, ярко выраженной в сонетах, и нравственной идеей «Двух веронцев».

Два человека влюбляются в одну женщину, и один из них уступает свою возлюбленную другому. «Дружба выше любви!» — восклицает Шекспир и в сонетах и в комедии. Морозов пишет в книге: «Основная мысль сонетов нашла в творчестве Шекспира и драматическое воплощение — например, в «Двух веронцах»...»

Мне пришлось слушать в своей жизни немало лекций весьма квалифицированных профессоров, но в искусстве вести живой диалог с аудиторией никто не может сравниться с Морозовым. Он не был археологом, он любил Шекспира, «но живого, а не мумию», и вся его фантазия была устремлена в будущее, он как бы хотел объединить две эпохи и раскрыть перед молодыми людьми середины XX века бессмертный образ гениального драматурга, родившегося в далеком и бурном XVI веке.

С юношеским задором говорил Михаил Михайлович о том, как должны влюбляться герои Шекспира: «Ведь они же (влюбленные.— Е. С.) не ели, не пили, ходили небритые, нечесаные, в одеждах обнаруживалась заметная небрежность, и за сто шагов можно было определить — это идет влюбленный». Я помню, как Михаил Михайлович приводил в пример стихотворение семнадцатилетнего Пушкина, явно подтверждавшего его правоту:

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной  
Певца любви, певца своей печали?  
Следы ли слез, улыбку ль замечали  
Иль тихий взор, исполненный тоской,  
Встречали вы?

Большую часть лекции Морозов посвятил любви Ромео и Джульетты, Отелло и Дездемона, Антония и Клеопатры, Бенедикта и Беатриче и, наконец, Протея и Джулии из «Двух веронцев». Морозов долго и настойчиво убеждал нас, что именно через серьезное высокое чувство любви актеры могут пробудить в себе подлинное вдохновение, без которого немислимо играть Шекспира. Михаил Михайлович сетовал, что сегодня в театральных школах не преподают искусство красноречия, которому так много уделялось внимания в эпоху Возрождения. Он так живо и увлекательно рассказывал нам о турнирах средневековых поэтов, что казалось, будто мы присутствуем на этих удивительных состязаниях. И далее совершенно ошеломил нас, прочитав наизусть фрагменты из сочинений поэтов той поры. Вдохновенно и озорно, естественно, по памяти читал Морозов отрывки из сочинений молодого Шекспира, Кристофера Марло, Роберта Грина, Джона Лили, Бена Джонсона. Задыхаясь от восторга, раскрас-

невшись, нервно расхаживая по репетиционному помещению, Морозов импровизировал наподобие итальянца из «Египетских ночей» Пушкина. «Да, да! — восклицал Морозов.— Все эти современники Шекспира наверняка собирались вместе, вот как мы сегодня собрались с вами. И они, конечно, не только читали свои произведения, они страстно спорили, отстаивая свою правоту. Говоря современным языком, между поэтами далекого шестнадцатого века завязывалась творческая дискуссия. Но как тут обойдешься без законов красноречия!» «Вахтанговцы умеют импровизировать, — робко возразил Юрий Яковлев.— И красноречия у них хоть отбавляй». «Тем лучше», — засмеялся Михаил Михайлович.

Раскрыв в первый раз книгу «Театр Шекспира», я сразу же обратил внимание, что фамилия составителя напечатана мелким шрифтом, в самом незаметном месте. Если бы на то моя воля, я выделил бы имя Е. М. Буромокой-Морозовой крупным шрифтом, потому что именно ей мы обязаны посмертными изданиями работ М. М. Морозова. Его вдова Евгения Михайловна — выдающийся театровед, двадцать пять лет она работала помощником главного режиссера по репертуару Театра имени Моссовета. Книга прекрасно составлена, читается с возрастающим интересом, и мне хочется особенно отметить композиционный дар ее составителя.

В последней части книги Е. М. Буромская-Морозова поместила фрагменты из переписки М. М. Морозова с Б. Л. Пастернаком. Я не знал этих писем, но уверен, что отныне ими будут зачитываться целые поколения любителей поэзии и театра, находя в них высокий образец творческих взаимоотношений двух крупнейших художников. В переписке чувствуется полемический задор, поражает критическая резкость суждений и в то же время ощущается нескрываемая взаимная влюбленность и беспредельное уважение друг к другу. Это тоже своего рода турнир, тоже своего рода битва, целью которой было дать советскому читателю и советским артистам высочайшую ступень перевода шекспировских трагедий.

Однажды Пастернак читал свой перевод «Фауста» в маленьком душном помещении ВТО, я стоял в последнем ряду и видел лицо Бориса Леонидовича. В правом углу у окна в профиль к зрителям в низком кресле сидел Морозов. Во время чтения в особо поразительных местах зрители слышали восторженные выкрики Морозова: «Восхитительно!», «Божественно!», «Неслыханно!». Не останавливая чтения, Пастернак кивал

в сторону Михаила Михайловича и, словно вдохновленный его оценкой, читал с еще большим упоением и еще большей одухотворенностью.

Совсем незадолго до смерти Михаил Михайлович обедал у нас дома. Они с Рубеном Николаевичем с печалью вспоминали минувшие дни. Я, естественно, молчал и слушал, не отводя глаз от прекрасного лица Морозова, лица пятидесятипятiletнего человека, в котором жили и светились черты знаменитого, написанного с него в детстве портрета Серова «Мика Морозов».

Эта встреча происходила в 1952 году, незадолго до премьеры «Двух веронцев». Вскоре мы узнали, что Михаил Михайлович скончался. Мы с отцом и все вахтанговцы переживали утрату. По вечерам, садясь за стол, Рубен Николаевич часто вспоминал, что напротив него совсем недавно сидел, говорил, смеялся, вспоминал прошлое, мечтал о будущем поразительный по глубине и гармонии человек — Михаил Михайлович Морозов.

**Евгений СИМОНОВ,**  
народный артист СССР, главный  
режиссер Театра имени Вахтангова.



## ДАР ПИСЬМА И ВЕЧНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

**Ален Боске. Избранные стихотворения. Переводы с французского. Составитель М. Ваксмахер. Предисловие Е. Винокурова. М. «Радуга». 1984. 184 стр.**

Пожалуй, во все времена французский поэт не столько пророк и учитель жизни, сколько мэтр, мастер литературного цеха. Еще десять веков назад один из трубадуров сказал: «Гну я слово и строгаю», как бы положив начало школе шлифовки и оттачивания французского литературного языка. Строго нормативный и в письме и в произношении, язык этот склонен к афористичности и внешнему блеску, к точности и меткости, филигранной отделке синтаксических построений. Для поэтов Франции привычно, что в лирике предметом является не только образ, подсказанный жизнью, что тема может вырастать непосредственно из слов, их игры, их сочленений. Французская поэзия трудна для перевода, но переводима; за счет существенного отличия от русской ей не грозит опасность раствориться в переводе, потерять собственные приметы, и это немаловажно: конечно, хорошо, когда перевод становится «фактом русской поэзии», спору нет, но только желательно, чтобы это происходило не за счет откровенной русификации. Сохранение «чуждости» в переводе важно для культуры в целом, так как позволяет творить расширяющуюся вселенную литературы и искусств.

Ален Боске — поэт истинно французский, существующий в стихии французской речи. «Для меня глубокие истины, — пишет он в одном из своих эссе, — заключены в моих словах: мне, пожалуй, надо признаться в том, что я, мельчайшая истина плоти, нахожу свое место в огромном мире языка»

Биография поэта — одна из многих биографий людей XX века. Дитя Версальского мирного договора, как назвал себя сам поэт, он родился волею случая в Одессе. Отец

его, бельгиец Александр Биск, много и успешно переводил на русский стихи Рильке. Первой родиной стала для Боске Бельгия, там он учился до 1940 года. Потом начались фронтовые будни, ириведшие его в качестве «профессионального победителя» (по выражению Боске) в Берлин в 1945 году, где он провел около пяти лет. И уже после этого пришла пора литературных будней, которые в 50—60-е годы шли на фоне преподавательской деятельности в университетах разных стран Европы и в США. Эссе, романы, стихотворные сборники следовали один за другим и продолжают выходить из-под пера признанного мастера большого цеха французских поэтов.

Вышедшая на русском языке книга объединила основные стихотворные издания Боске, собрала все самое интересное, созданное им в лирике. Она открывается стихами из сборника «Жизнь происходит в подполье» (1945) и завершается разделом «Из неизданного», куда вошли новые стихи, по-французски еще и не вышедшие (тем самым Боске оказал особую честь этой книге). Первое стихотворение «Паразитист» вводит в событийную гущу времени: «Будет мой хлеб отдавать синеватым дымком перестрелки» (перевел М. Ваксмахер). Образ войны строится из примет явных и неявных, растет и ширится в обобщенных периодах-реестрах; на этом фоне Боске рисует собственный портрет — человека, непосредственно вовлеченного в дела земли. Укрупненность взгляда, возвышенность душевного строя заставляют его говорить зачастую с уитменовскими интонациями (привившимися на французской почве) — неторопливыми, с подчеркнутым пафосом. Нельзя не вспомнить признание, сде-

данное Боске много позже, в 1980 году: «Я пытаюсь сочетать фантазию и беспощадную ясность — это занятие суровое, которому я предаюсь в Париже, небольшой деревушке на том небольшом полуострове азиатского континента, что именуется Европой». Об измученной непостижимыми бедствиями земле Боске говорит с интонациями мягкими, утешительными: «...кокос пшеницы прорастает уже из глазниц тех, кто умер от голода, и девочки скачут с веревочкой под сенью тех, кто казнен» (перевел М. Ваксмахер).

На следующем витке творчества поэтом, видевшим воочию разрушенные города Европы, овладевает отчаяние, ужас перед самоуничтожением человечества. «Моим единственным крещением было, в интеллектуальном смысле, крещение Хиросимой», — как-то проговорился Боске. Это важное признание: оно позволяет понять смысловые корни таких сборников, как «Мертвый язык» (1951), «Первое завещание» — «Четвертое завещание» (1957—1965). В них ощущение гибели человечества накладывается у поэта на ожидание собственной смерти, что имело в ту пору вполне материалистическое обоснование: он был тяжело болен.

Однако между «Мертвым языком», получившим премию, и «Первым завещанием» располагается сборник, в котором, по мнению французских критиков, окончательно сформировался зрелый стиль Алена Боске: в нем «поэзия превращается в мудрость». Книга «Какое забыто царство?» (1955) дает художественное воплощение путевых впечатлений начала 40-х годов, когда поэту довелось побывать в Мексике и увидеть своими глазами остатки великих культур ацтеков и майя. В каждой миниатюре строгий, филигранно очерченный лирический образ несет в себе ту или иную черточку мира, близкого к распаду, мира, который не может решить загадку своего бытия и ждет из всех углов вселенной вестника гибели.

С самого начала творчества Боске пишет и верлибром и рифмованным стихом, включая такую «окаменелость», как александрийский стих. Любопытно, как сам поэт обосновывает это: «Бывает пора, когда мне достаточно исповедоваться — в такие моменты я пишу в рифму, пользуясь помощью моих закадычных друзей — Ронсара, Мюссе, Верлена и Арагона — товарищества ретроградов, которые взаимно обеспечивают выживание языка. Напротив, в наиболее свободные мгновения жизни я пишу без этих подпорок и тогда принужден изобретать соб-

ственную манеру письма; получается куда как менее красиво и более мучительно».

Но виток отчаянья в творчестве Боске проходит, начинается гармонизация внутреннего мира, верх берет утверждение положительных начал: «зачем вязать отчаянье на спицах как свитер для пропавшего матроса? час жалости пробил» (перевел Г. Русаков). В 70-х годах Боске внимательно вглядывается в окружающую жизнь; если пользоваться терминами столь любимой Боске живописи, теперь в его творчестве встречаются не только натюрморты, портреты и нефигуративные полотна, но и тщательно выписанные жанровые сцены.

До сих пор реальная жизнь выступала полноправной хозяйкой лишь на страницах многочисленных романов Боске (хотя он, по собственному признанию, не считает себя настоящим прозаиком); в поэтическом сборнике «Слово народ» (1974) будничная жизнь, повседневность — главные персонажи. «Я отрезал изнеженные пальцы, слишком белые пальцы мечтателя, пусть другая рука, что во многом трезвей и практичней, расскажет тебе обо всем...» (перевел Р. Дубровкин). Впервые в стихах Боске звучат разговорные интонации, впервые звучит монолог, вложенный в уста человека не только психологически реального, но и определенного социально (стихотворение «Иностранный рабочий»). Впервые, кажется, после прямо говоривших о войне, о дорогой цене победы стихов послевоенного времени входят в лексикон поэта слова политического, антифашистского памфлета («Листовка генералу Пиночету»).

В «Книге сомнения и благодати» (1977) поэт обращается к космогоническим мотивам — словно по закону диалектики вдохновение ведет его от тонкого штриха к обобщенности крупного мазка. Величественность ритмов, широкое дыхание стиха передают широкозахватность взгляда, неторопливые повторы отсылают нас к библейским песнопениям, к эпосам.

В «Сонетах для конца века» (1980) Боске осваивает новую для него форму, ставшую популярной в 70-х годах в жанровом арсенале европейских и американских поэтов (упомянем Роберта Лоуэлла и Хорхе Луиса Борхеса): нерифмованный сонет. Форма оказалась удивительно емкой для лирического раздумья, в котором эмоциональная взволнованность органично уживается с глубиной мысли.

«Сонетам...», отмеченным пластичностью и духовной неуспокоенностью, сопровождают свободные стихи последнего раздела книги — «Из неизданного». Это действ-





звезд, сияющих над нами ночью в небе! Я бы аннексировал планеты, если бы смог; я часто думаю об этом. Мне грустно видеть их такими ясными и вместе с тем такими далекими». Родс не часто бывал лиричен, как в минуты, когда писал эти строки...

Дни и ночи шли волонтеры по Африке, и надо было, как Р. Киплинг, верить в Родса, в его амбициозную шовинистическую идею поднять британский флаг над пространствами от Кейптауна до Каира, чтобы опозитизировать колониальные войны: пулеметы против копий — это все-таки было убийство. В рядах захватчиков шли ремесленники и отпрыски аристократических семей, шулеры и беглые преступники. Все они рассчитывали получить на новом месте обширные участки для поисков золота. Это был кратковременный, начальный стимул; в качестве долгосрочного стимула стратеги колониализма предусматривали фермерские хозяйства с использованием труда темнокожего населения. Освоение новых территорий, сопряженное с порабощением племен, с грубым вмешательством в среду их обитания, оставило в судьбах африканских народов такой глубокий след, что сегодня без учета этого фактора нельзя понять психологию многих этнических групп материка.

А разве бесследно канула та эпоха для души европейца? Разве не она укрепила в нем вспыхивающий время от времени надменный шовинизм? Полистайте популярные на Западе бестселлеры, посмотрите экзотические телефильмы, почитайте газеты — и вы заметите, как выпячиваются «героические» страницы колониальной истории, «положительные стороны» той эпохи, «мудрость» организаторов захватнических войн: идет их навязчивая реабилитация. И вот уже слышишь от молодого европейца, потомка порабощенных, что зря его деды ушли из Африки. Указывая на трудности, существующие в ряде молодых африканских государств, на их действительные или мнимые противоречия, внуки волонтеров тешат свое самолюбие мыслью, что беды сегодняшнего дня явились следствием деколонизации. Эта мысль помогает им избавиться от чувства вины перед народами Африки. Одна из сильных сторон книги А. Давидсона как раз и состоит в том, что она убедительно показывает ущерб, нанесенный колониализмом не только порабощенным народам, но и народам-завоевателям Африка многому научилась.

Я попал в Республику Зимбабве (бывшая Южная Родезия) на четвертый год после того, как на столичном стадионе «Руфара»

при ликовании многих тысяч людей в свете ночных прожекторов был поднят флаг пятидесятого по счету независимого африканского государства. Бросалась в глаза пестрота населения: черные, белые, метисы... Парламент, правительственные учреждения, предприятия — все здесь имеет неоднородный состав. И все же с колониальных времен сохраняется напряженность в отношениях между черными и белыми, так же как до сих пор тлеют раздувавшиеся прежними властями распри между коренными народами шона (77 процентов населения) и ндебеле (19 процентов). Премьер-министр Р. Мутабе призвал зимбабвийцев забыть и простить прошлое во имя будущего. Это альтернатива племенной вражде, на которую все еще рассчитывают неокolonизаторы, надеясь вернуть утраченные привилегии.

Пока рано утверждать, что стратегия экономического закабаления африканских народов, предложенная Родсом, вместе с колониализмом ушла в прошлое. До сих пор процветает созданная им больше ста лет назад компания «Де Бирс» со штаб-квартирой в Йоханнесбурге — крупнейшая монополистическая корпорация по добыче золота и алмазов, определяющая ситуацию на мировых рынках. Семейство Опенгеймеров перевооружило предприятия, оснастило их современным оборудованием. Компания проникает в новые районы, в том числе открытые на территории независимых государств, но время заставило акционеров изменить тактику. На земле народа ботсвана (бечуана), с которой были связаны первые захваты родовосских волонтеров, уже в наши времена открыли уникальные месторождения алмазов. Теперь эти земли принадлежат Республике Ботсвана, и компании «Де Бирс» пришлось пойти на создание совместной с молодым государством компании «Дебсвана».

Особенно широко пользуются старыми методами Родса в Южно-Африканской Республике, правители которой осуществляют доктрину раздельного развития, или апартеида. Черты апартеида восходят к «Закону об Африке», родовосскому законопроекту 90-х годов XIX века, по которому темнокожее население округа Глен-Грей на востоке Капской колонии (куда не допускались белые) имело местные органы власти и лишалось права выбирать в капский парламент. Эту расовую сегрегацию «усовершенствовала» пришедшая в 1948 году к власти в ЮАР Националистическая партия, которая запретила межрасовые браки и узаконила раздельные школы, оте-

ли, автобусы и поезда и даже... садовые скамейки. Прикрываясь правом наций самим решать свою судьбу, быть верными собственным институтам правления, своим истории, культуре, языку и т. д., идеологи апартеида заключили африканцев по этническому признаку в строго ограниченные зоны, так называемые бантустаны или хоумленды («отечества») с разными уровнями формального самоуправления. Четыре из десяти бантустанов (Транскей, Бопутатсвана, Венда, Сискей) уже объявлены самостоятельными «государствами». Миллионы людей насильственно изгнаны из своих домов на бесплодные земли этих резерваций.

«Африканский Наполеон», как называли Родса, мало считался с общественным мнением, он был уверен в своей безнаказанности. Но времена изменились. Его последователи, проводящие политику апартеида, сталкиваются не только с осуждением, но и с экономическими санкциями, принятыми многими странами по отношению к расистскому режиму. В надежде прорвать международную изоляцию стратеги апартеида объявляют о «реформах», соглашаются на мелкие уступки, на деле стремясь закрепить существование белого государства и обслуживающих его зависимых бантустанов.

Осуждая создание бантустанов мировая общественность решительно настаивает на предоставлении народам этого региона права распоряжаться ресурсами своих территорий, использовать эти ресурсы для повышения своего благосостояния, получать справедливую компенсацию за их эксплуатацию. Особую озабоченность вызывают людские ресурсы. Не развивая бантустаны и рассматривая их как резервуар дешевых рабочих рук, поддерживая в них нищету и безработицу, последователи Родса превзошли своего учителя в изобретательности. Они имеют колонии не за морями, а в десятках или сотнях километров от метрополии (Кейптауна, Йоханнесбурга, Дурбана и других урбанизированных зон ЮАР), колонии, тщательно спрятанные от посторонних глаз и за сто лет почти не изменившиеся.

История южноафриканских народов, их воззрения, традиции, общественные структуры нам известны очень мало. Попробуйте вспомнить африканского лидера XIX века, кого-нибудь из тех, кто мужественно вел за собой народ в неравный бой с волонтерами Родса,— вряд ли придет на память имя. Громадный труд пришлось затратить А. Давидсону, чтобы по крупинкам из разных источников воссоздать, например, жи-

вой характер Лобенгулы, вождя племени ндебелов. Автор обстоятельно исследует нравы африканцев, характерные черты их мышления, неистребимое чувство собственного достоинства. Ему присущи открытая симпатия к африканским народам, стремление понять их нужды. Все это не мешает, однако, А. Давидсону заметить существующее кое-где в Африке (и порожденное преступлениями колонизаторов) недоверие к ценностям европейской культуры, насаждение афроцентризма как одной из крайних форм национализма. Идеализируя доколониальное прошлое, некоторые африканские идеологи поднимают на щит «расизм наоборот», организуют движение «черного самосознания», привлекающее преимущественно темнокожую молодежь. Рассказывая о диктаторе Иди Амине, за годы правления которого в Уганде были уничтожены десятки тысяч местных жителей, автор книги приводит справедливые слова Д. Ньерере, имеющие отношение не только к этому случаю: «Если бы Амин был белым, свободная Африка приняла бы множество резолюций, осуждающих его. Черная кожа теперь становится индульгенцией на убийство братьев-африканцев».

Оказавшись у руин колониальной системы, империализм пытается так или иначе сохранить зависимость и подчиненность бывших колоний. Орудием принуждения в его руках выступают транснациональные корпорации, стремящиеся экономически привязать молодые освободившиеся государства к мировым империалистическим центрам. На смену пулеметам в войне за ресурсы пришло «оружие богатства». Одной стране теперь не под силу быть владыкой обширной империи — эту миссию пытается взять на себя мировой капитал.

Молодые государства предпринимают коллективные меры по защите национальных интересов от засилья монополий, от колебаний мирового капиталистического рынка, стараются повысить свой внутренний финансово-экономический потенциал. Стремясь к устойчивому развитию на базе собственных ресурсов, африканские страны, в особенности страны социалистической ориентации, опираются на поддержку государств социалистического содружества. Народы, к которым еще недавно метрополии относились с пренебрежением или в лучшем случае снисходительно, играют все более важную роль в жизни мирового общества.

Леонид ШИНКАРЕВ.



Сюжетный стержень повести — всего восемь дней многодневного этапа Пуцина, конвоируемого из Шлиссельбурга в Сибирь. В эти восемь дней укладываются воспоминания Пуцина о его прежней жизни: о лицее, службе, участии в тайном обществе, героической попытке поднять восстание против царского самодержавия, аресте, допросах, суде, казни друзей... В эти же восемь дней перед «государственным преступником» Пуциным разворачивается картина огромной николаевской России — ее городов, сел, ее помещиков и крепостных, генералов и солдат, героев и палачей.

Удивительно, но повесть, где рассказывается о неимоверно тяжелых, трагических судьбах, пронизана оптимизмом, она радостна по своей интонации! Ни Пуцин, ни его товарищи Поджио и Муханов не обманывались в том, что их ждет там, в кагоржной Сибири. И все равно: «Закованный в цепи, затерянный для всех где-то на не ведомом никому глухом починке, среди векового бора... он верил, что не умирать едет, он ехал навстречу... новой жизни». Нет у героя повести и его друзей по несчастью чувства поражения — есть гордость за сделанное, есть вера в будущее, вера, что не пропадет их дело. Ибо невозможно лишить человека тех внутренних качеств, которые и заставляют его сделать осознанный нравственный выбор. Почему Пуцин ушел из гвардии? Почему образованный и обеспеченный человек Радишев написал книгу, которая грозила ему гибелью? Не желание добиться власти двигало Пуциным и его товарищами, а желание хотя бы ценой собственной жизни улучшить жизнь угнетенных.

Пуцин, Муханов, Поджио, Якушкин — каждый постоянно формировал себя, нравственно рос, духовно мучал. Это был процесс, вовсе не закончившийся днем восстания. Не меньшее (если не большее) значение для декабристов имели тяжкие годы каторги и ссылки. И автор внимательно прослеживает динамику незаурядных характеров, диалектику их душ.

В истории русской литературы, русской культуры имя Пуцина теснейшим образом связано с именем его гениального друга Пушкина. И естественно, что повесть о Пуцине является одновременно и повестью о Пушкине, который постоянно присутствует в воспоминаниях и размышлениях Ивана Пуцина. Бесценным другом назвал его поэт в своих стихах.

Вообще эта повесть буквально наполнена поэзией. Стихи Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, народные и солдатские песни, народные пословицы и поговорки. Но значение стихов в повести «Друг бесценный...» отнюдь не иллюстративное. Они естественно входят в размышления автора о назначении поэта, о великом свойстве поэзии будить сердца и открывать глаза людей — «отверзлись веющие зеницы...».

Литературный такт автора позволил ему избежать той облегченной популяризации, которая является всегдашней угрозой для исторического писателя. Так, В. Порудоминский не пытается конкурировать со знаменитым рассказом Пуцина о его свидании с Пушкиным 25 января 1825 года — он просто целиком приводит отрывок из воспоминаний Пуцина. Такое художествен-

ное решение, думаю, производят более сильное впечатление, нежели беллетризованный пересказ этого важного эпизода в жизни двух замечательных людей.

Новая книга В. Порудоминского удачно сочетает документ и художественный текст. В результате возникает живая картина времени, живые портреты людей, принадлежащих этому времени и истории.

Лев Разгов.



**А. ЗОНИНА.** Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60—70 гг.). М. «Художественная литература». 1984. 263 стр.

Перед нами первая книга автора, много лет проработавшего в литературе. В переводах А. Зониной мы читали романы и новеллы А. Арагона, Симоны де Бовуар, Р. Мерля, Натали Саррот, Ж. П. Сартра — переченя можно продолжать. А. Зонина, чья безвременная кончина стала поистине невозполнимой утратой, принадлежала к той категории переводчиков, для которых работа над художественными текстами не ремесло, а искусство. И к той категории критиков, которые рассматривают отдельное произведение на фоне широкого литературного процесса.

Автор предупреждает: нам предлагается не обзор, не панорама французской литературы. Из богатейшего материала А. Зонина отобрала книги, отражающие существенные тенденции французской прозы 60—70-х годов и отмеченные печатью идейно-художественного поиска, книги, представляющие попытки отозваться на новые явления жизни в неканонической, нетрадиционной форме. Сопоставление книг по сходству и несходству позволяет А. Зониной уловить характерное в литературном процессе. В главе «Мемуары, антимемуары, роман» есть наблюдение общего характера. Именно в наши дни у писателей часто возникает потребность осмыслить небывало острые конфликты времени, обращаясь к собственной судьбе, «проникнуть через свой личный опыт во внутренний мир своего современника — человека, прошедшего через тот же опыт и исторически и». Так появляются гибридные формы — повествования, синтезирующие элементы автобиографии и романа. (Тяготение к таким гибридным формам, замечу попутно, — особенность прозы не только французской, оно по-своему, по-иному сказывается и в литературе других стран, например в антифашистском романе ГДР.)

А. Зонина ни о чем не судит с порога. Легче легкого свести кратковременный взлет «нового романа» к преходящей литературной моде. Так не раз у нас и делаи. А. Зонина подходит к писателям этой группы дифференцированно. Она находит рациональное зерно в трудной прозе М. Бютора и К. Симона; показывает закономерность движения А. Роб-Грийе от самодовлеющего эксперимента к антигуманному эстетизму и, по сути дела, к примирению с буржуазной действительностью, внимательно анализирует творчество Н. Саррот, отмечая, что лучшее в ее книгах — не надуманные до-

яски тропизм» (то есть неосознанных, ускользающих от разума душевных движений), а ответы живой реальности, особенно заметные в недавней книге «Детство». О Соллерсе, Рикарду и других пророках «нового нового романа» Л. Зонина говорит в тоне сарказма; ее итоговое суждение тем более весомо, что дано на солидной основе фактов: «Что же до «нового нового романа», то он уже сегодня выглядит не более чем экспонатом «кунсткамеры», куда он определил себя сам и своим отрицанием действительности, и своим отрицанием искусства».

Л. Зонина затрагивает проблемы, имеющие значение не только для Франции. Именно там, где господствующий строй обращается с людьми как с роботами, «возникает потребность показать в самих формах романа механизм социального процесса, который обезличивает человека. Отсюда гротеск, гиперболизация, заостренность».

В 1977 году вышло подряд три романа французских писателей («Джон Ад» Д. Декуэна, «История картины» П. Флетто, «Предместье Америки» Ж. Вальтера), действие которых развертывается в США. Во всех имеются описания нью-йоркских окраин с их развалинами и трущобами, они совпадают почти дословно. Нью-Йорк выступает здесь как эпицентр катастроф, грозящих человечеству.

«Гиперболизация и заострение ситуации до «логического предела», которую продельвает со своей моделью ТНК Р.-В. Пий, как бы уже преднаходима в жизни: Нью-Йорк — «реализованная метафора». В увеличительном зеркале Нью-Йорка американизирующаяся Франция 70-х годов рассматривает изъяды собственной кожи — безрадостный прогноз надвигающегося одряхления»; здесь «олицетворение тупика, в котором ощущает себя Европа, долго свято верившая в прогресс и сейчас в некоторой растерянности озирающаяся вокруг в поисках если не столбового пути, то хотя бы проходного двора, через который можно из этого тупика выбраться». Приведенные строки дают представление об актуальной проблематике книги Л. Зониной, работы, привлекающей не только богатством материала, живым и точным стилем изложения, но и политической остротой.

Т. Мотылева.



**А. ЗАКУШНЯК. Вечера рассказа. М. «Искусство». 1984. 343 стр.**

Александр Закушняк еще при жизни стал театральной легендой. «Сегодня — Закушняк» — этой простой афиши было достаточно, чтобы билеты раскупались с боем. Прославленный актер и директор Александринского театра Ю. М. Юрьев с искренним волнением отмечал, что Закушняк «возвращает времена обожания актера».

Изданная спустя более пятидесяти лет после смерти артиста книга «Вечера рассказа» повествует о том, как шло на советской эстраде освоение жанра литературного чтения, которое Закушняк, основываясь на опыте М. С. Щепкина, П. М. Саловского, И. Ф. Горбунова, В. Н. Андреева-Бурлака и других, уже в новых исторических условиях

поднял до уровня профессионального искусства.

Это мы сейчас без всякого сомнения направляемся на литературный концерт, заранее зная, что час, два или того больше артист будет рассказывать, а мы будем слушать. Но в то время, когда начинал Закушняк, приходилось пробивать стену недоверия: может ли быть интересно литературное чтение в течение целого вечера? И вообще нужны ли нам рассказчики?

Александр Яковлевич не вступал в спор, не ссылаясь на авторитет предшественников. Он просто вставал и начинал читать. А вернее — рассказывать. После этого оппоненты становились единомышленниками.

Некоторые оценивали метод чтения Закушняка как озвучивание литературных произведений. Но такое понимание сводило все к простому техницизму. Находились критики, которые вообще ставили под сомнение творческое начало того, что делал Закушняк. «Искусство ли рассказывание?» — вопрошали они.

Между тем Закушняк утверждал на эстраде искусство чтеца. Он читал Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, Франса, Мопассана, Твена, Лондона. Как свидетельствует автор предисловия к книге Иракий Андроников, «естественна, почти скороговорочна была эта экспрессивная речь, эта непосредственность общения, этот характер непринужденной беседы, личная заинтересованность рассказчика, спешащего поделиться переполюявшими его впечатлениями».

Артист проникал в существо авторских мыслей, чувств и настроений с такой глубиной, что они становились мыслями, чувствами, настроениями слушателей. Закушняк настойчиво повторял, что его «вечера рассказов» утверждают литературу на эстраде. При этом актеру-рассказчику необходимо не изображать персонажей, а именно рассказывать о них, сделавшись как бы вторым автором. Все это определяло работу чтеца над ритмом чтения, жестом, мимикой.

А. Закушняк строил свой репертуар главным образом на классических произведениях, но обращает внимание острое чувство современности, которым он обладал. «Артист, — утверждал А. Закушняк, — должен быть прежде всего современным... человеком сегодняшнего дня». Выступая перед рабочей аудиторией, молодежью, он демонстрировал искусство художественного слова — яркого, точного, образного.

Когда артист умер, в одном из некрологов было сказано: «Заменить Закушняка не кем». Это так и не так. Конечно, каждый талант неповторим, но он может быть импульсом для тех, кто идет следом. В этом смысле у А. Закушняка остались наследники и последователи. Такие, как В. Яхонтов, А. Шварц, Д. Журавлев. Сегодня уже не одиночки, а десятки профессиональных актеров-чтецов выходят на эстраду, и в их искусстве оживает самобытное русское слово. В этом есть большой вклад и заслуга замечательного артиста Александра Яковлевича Закушняка.

Ам. Брудный,  
кандидат искусствоведения.



**АЛЕКСАНДР ЦМАКОВ. Азиат. Документальная повесть. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 1984. 284 стр.**

Начинается документальная повесть с приезда Герасима Михайловича Мишенева в Киев. Получив на явочной квартире инструкции, Мишенев нелегально пересечет границу, и дальнейший его маршрут пройдет через Германию, Швейцарию, Францию, Люксембург... Он будет добираться на подводах и поездах, узнает, что такое качка и мертвая зыбь на море. Куда влечет этого человека? Какая сила движет им, помогая преодолевать постоянное напряжение и тревогу? Какова его цель?

30 июля 1903 года в Брюсселе начал свою работу Второй съезд РСДРП. Из разных мест России, избегая арестов и скрываясь от царской охраны, собирались сюда делегаты. Герасим Михайлович — псевдоним Муравьев, партийная кличка Азиат — был делегатом от Уфимского комитета РСДРП.

«Революционная борьба — не тротуар на Невском проспекте». Эта мысль Чернышевского стала принципом жизни Азиата. Для профессионального революционера мало мечтать о справедливости на земле — надо уметь прокладывать к этой мечте дорогу. Для профессионального революционера мало одних только отваги и решимости — необходимы глубокие знания, твердые идейные позиции, умение подчинять себя строгой партийной дисциплине, готовность принести собственную жизнь в жертву революционной борьбе... Вот неполный перечень качеств, которые делают из простого сочувствующего настоящего революционера. Именно эти положения отстаивал Владимир Ильич Ленин на Втором съезде РСДРП, когда разгорелась полемика по поводу формулировки о членстве в партии, выдвинутой Мартовым.

Слушая Ленина, Мишенев понимал, что формулировка Мартова открывает двери в партию кому угодно. Мартов защищался, говорил, что строгие требования отпугнут рабочих. Но ведь это же нелепость, абсурд! Кому как не ему, Мишеневу, знать настроения народных масс. Окончив учительскую семинарию, он получил назначение в поселок рудокопов. Еще во время учебы он вошел в революционный кружок и стал изучать нелегальную марксистскую литературу, но только здесь смог по-настоящему понять нужды пролетариата, увидеть дремлющие в нем силы, сумел развернуть пропаганду революционных идей, стараясь открыть рабочим перспективы исторического развития, завоевал доверие простых людей. Потом — Казань, Мензелинск, Уфа... И везде легальная и подпольная работа, собрания и митинги, встречи с людьми.

«Он не мыслил себе рабочей партии без строжайшей дисциплины, устранивающей организационную неразбериху и нелепость. И сказал об этом с тем убеждением правоты, какую не могло уже ничто поколебать. Он сказал и бросил взгляд на Ленина. Владимир Ильич был доволен. Ему понравилась речь — незамысловатая, краткая, но убеждающая».

На Втором съезде произошел раскол партии. Герасим Михайлович безоговорочно примкнул к большевикам, которых возглавил Ленин.

Предстоял путь домой, в Россию, где с нетерпением ждали жена с дочкой, ждали соратники по революционной борьбе — хотели узнать правду о съезде, услышать рассказы о встречах с Лениным и Крупской...

Перебираясь через границу, Азиат простудился и несколько дней пролежал в горячке. Полное выздоровление так и не наступило — перенесенная простуда вскоре станет причиной неизлечимой болезни, а затем смерти. Герасим Михайлович уйдет из жизни в разгар первой русской революции, в возрасте тридцати лет, до конца не прекращая революционной работы. «Смерть придет, не выгонишь, а сейчас давай о другом. Выкладывай, с чем пришел, как дышится парткомитетчикам... Трудновато вам теперь», — скажет он в последний день жизни своему товарищу. А до этого будут еще и разъезды по Уралу, и поездка в Саратов по поручению партии, распространение нелегальной литературы, сотрудничество в газете «Пролетарий».

Выстраивая книгу на достоверном материале, впервые раскрывая перед читателями этапы жизни и борьбы беззаветного революционера-ленинца, автор немало внимания уделяет портретам его сподвижников, среди которых были Плеханов, Засудич, Эссен, подробно рассказывает об исторических событиях тех лет.

И. Белоус.



**В. КРАЙНИН, З. КРАЙНИНА. Человек не слышит. М. «Знание». 1984. 144 стр.**

«Человек не слышит». Какие горькие слова вынесены в заголовке этой небольшой книги! Шопенгауэр полушутя заметил: трагедия человечества в том, что люди чувствуют себя несчастными, когда у них болят зубы, но нормальное состояние — отсутствие зубной боли — не делает их счастливыми. Зрение, слух — высочайшие дары природы. Мы привыкаем к ним как к должному. Тем более страшным ударом является их потеря.

Авторы заявляют: недут тяжел, но преодолим. В книге раскрываются физические, социальные и морально-психологические аспекты частичной или полной потери слуха, рассказывается об электронно-слуховых аппаратах, пришедших на помощь потерявшим слух, о методах обучения глухих, о том, как наше общество способствует приобщению их к полноценной и радостной жизни.

Новеллы о жизни глухих, включенные в книгу, — это всякий раз индивидуально окрашенный рассказ о болезни, об отношении к ней самого пострадавшего и окружающих его людей, о том, как в дальнейшем складывалась судьба больного. Отказавшись от роли пересказчиков, З. и В. Крайнины привлекли к работе над книгой самих неслышащих (слово, обычно применяемое здесь вместо слова «глухие»)

и их близких. Переменяя такими новеллами специальный текст, авторы, видимо, хотели дать читателям отдохнуть после изучения медицинских, технических и педагогических глав. Но эмоциональное воздействие пересказанных человеческих трагедий таково, что читатели, думается, отдыхают после них, возвращаясь к общим вопросам. И это несмотря на то, что судьбы четырех героев книги сложились, в общем, благополучно: горе их не сломило, а преданные своему делу сурдопедагоги помогли им стать полноценными членами общества. Вероятно, не повредили бы книге и примеры «несложившихся» судеб, чтобы преодоление недуга не казалось никому, и в первую очередь самому больному, простым делом.

Научно-популярные главы книги очень информативны. Каковы истоки человеческой речи? Когда заговорили наши предки? Насколько совершенен и богат звуками был их язык? На эти вопросы современная наука дает довольно определенные ответы. Изучение черепа неандертальца позволяет утверждать, что ему было доступно всего 9 гласных и согласных звуков. Череп новорожденного ребенка очень похож на череп взрослого неандертальца. Но уже в первые недели жизни в нем (в частности, в костях, формирующих полость рта) происходят быстрые изменения, подготавливающие ребенка к овладению речью. А вот череп человекообразных обезьян устроен так, что они просто физически не могут звукоподражать нам. Зато их можно научить разговаривать друг с другом и с людьми языком глухих — жестами. Читатели книги с интересом узнают, что шимпанзе и даже гориллы способны усвоить более 200 знаков такого языка — этого числа достаточно людям для бытового разговора (образованные неслышащие владеют двумя-тремя тысячами жестов).

Снова и снова авторы настойчиво приводят мысль: дар речи не только чудо природы, но и результат тренировки. Терпение, специальные упражнения и техника позволяют глухонемым овладеть речью с характерной для нее тембровой окраской и понимать чужую речь, читая по губам. Последняя способность, к стати говоря, позволила «расшифровать» текст нескольких выступлений В. И. Ленина, когда вождь революции был заснят на киноплёнку, а звукозапись отсутствовала.

Не будем перечислять другие интересные сведения, сообщаемые авторами. Всего важнее, пожалуй, нравственное начало, человеческий заряд книги, которая поможет больным поверить в себя, даст им добрый совет, а здоровых заставит с пониманием относиться к слабослышащим и глухим. Вот как передают авторы впечатление от праздничного вечера, в котором принимали участие глухие: «Отсутствие слуха воспринималось не как несчастье, а скорее как некое явление, требующее иного способа общения».

На одной из страниц книги приведен международный жестовый символ — ладонь руки с согнутыми средним и безымянным пальцами и разведенными остальными, который означает «мы вас любим». Как-то, наблюдая безмолвный разговор глухоне-

мых в метро и перехватив их взгляд, я решился приветствовать их этим жестом. Как оживились лица, как их украсили улыбки!

В. Фрейнкель.



**А. А. ФОРМОЗОВ. Историк Москвы И. Е. Забелин. М. «Московский рабочий», 1984. 239 стр.**

До выхода книги А. А. Формозова мы могли узнать об этом человеке, сыгравшем важнейшую роль в развитии отечественной науки и культуры, лишь из нескольких статей, опубликованных к тому же десятилетиям назад. Замечательный историк, археолог, археограф, этнограф, специалист по древнерусскому искусству, краевед, коллекционер, один из основателей и первый руководитель Российского Исторического музея, И. Е. Забелин был выдающейся фигурой в России XIX — начала XX столетий.

В 1832 году, когда Ивану Забелину, сыну коллежского регистратора (низшая степень петровской табели о рангах), исполнилось двенадцать лет, он был отдан в Преображенское сиротское училище в Москве («Матросскую богадельню»). Сам Забелин впоследствии писал: «Воспоминания о моем пребывании в Матросском училище полны... страха и ужаса». В семнадцатилетнем возрасте он зачислен канцелярским служащим второго разряда в Оружейную палату Московского Кремля. С этого времени начинается научная деятельность будущего историка. Получая грошовое жалованье, голодая, юноша все свободное время проводит над изучением кремлевских древностей. Исключительное упорство, любовь к своему предмету, огромные способности позволили Забелину вскоре завоевать всеобщее признание.

Ученый-самоучка обладал замечательными человеческими качествами. Обаяние его личности привлекало к нему многих людей. Среди знакомых и друзей Забелина известные ученые, писатели, актеры, общественные деятели: М. С. Щепкин, М. П. Погодин, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Н. Г. Чернышевский, Л. Н. Толстой... Книга знакомит нас с неизвестными ранее дневниковыми записями и воспоминаниями ученого об этих людях.

Зимой 1841/42 года он познакомился с профессором общей истории Московского университета Т. Н. Грановским. Спустя двадцать лет Забелин напишет: «Грановский толковал, что ничего хорошего не сделал. Целый вечер я с ним провел. Скорбел, что люди ушли, а было бы можно сделать, указывал на декабристов».

В начале 50-х годов состоялась первая встреча с И. С. Тургеневым. Тургенев взялся издать книгу Забелина о быте русских царей и писал ему: «Я убежден, что Ваша книга будет истинным подарком для всякого русского (а потому можете себе представить, как мне приятно доставить Вам возможность издать ее), а собствен-

но к Вам чувствую такое влечение, что готов на всякую услугу».

В 1904 году Софья Андреевна Толстая обратилась к ученому с просьбой взять на себя хранение части архива Льва Николаевича. Из Ясной Поляны в Исторический музей к Забелину доставили 9 ящиков с черновиками и беловыми рукописями писателя.

В книге А. А. Формозова содержится подробный анализ трудов историка, опубликованного около 200 работ, в том числе более 10 фундаментальных монографий. Главные из них — «Домашний быт русского народа в XVI—XVII столетиях» (два тома), «Кунцево и древний Сетунский стан», «Историческое описание Московского ставропигиального Донского монастыря», «История города Москвы». Неоценимый вклад внес Забелин в археологию и музейное строительство.

Политические воззрения Забелина не отличались постоянством и определенностью. Хотелось бы уяснить, например, почему он, будучи в 40-х годах передовым человеком, вхожим в круг Грановского (и даже, по мнению А. В. Арциховского, являясь его учеником), в конце XIX и особенно в начале XX века стал откровенным монархистом. К сожалению, на этот вопрос книга А. А. Формозова исчерпывающего ответа не дает. Неубедительно выглядит попытка автора объяснить значительное пополнение коллекций Историче-

ского музея в начале XX столетия тем, что такие выдающиеся дарители, как П. И. Щукин и А. П. Бахрушин, боялись первой русской революции. Неполон научный аппарат книги — в нем отсутствуют ссылки на исследования о Забелине Н. Л. Рубинштейна, А. В. Арциховского, А. М. Разгона и некоторые другие материалы.

Частные недостатки не затмевают, однако, заслуг автора первой книги о видном русском историке. А. А. Формозов изучил печатное наследие самого Забелина и все, что о нем было написано. Среди источников особенно важен фонд Забелина, хранящийся в Государственном Историческом музее и насчитывающий 1293 единицы хранения, дневники, которые историк вел с 1837 года до конца жизни, письма, рукописи, воспоминания. Несмотря на серьезный исследовательский характер книги, она написана интересно, читается с увлечением и по своему жанру примыкает к произведениям серии «Жизнь замечательных людей».

Издательство «Московский рабочий» проявило чрезвычайно полезную инициативу, издав хорошую книгу о Забелине. Думается, что следующим шагом по распространению исторических знаний мог бы стать выпуск хотя бы некоторых сочинений И. Е. Забелина, не издававшихся более шестидесяти лет.

**А. В. Ушаков,**  
доктор исторических наук.

#### В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

*В очерке «Эксперимент», напечатанном в восьмом номере журнала, по моей непростительной небрежности допущена бестактность в отношении бывшего первого заместителя председателя Госплана СССР А. А. Горегляда. Выдающийся организатор отечественной индустрии А. А. Горегляда (ныне пенсионер) удостоен недавно высокой правительственной награды.*

*Настоящим приношу искренние извинения Алексею Агамовичу Горегляду, редакции журнала и читателям.*

**В. Селюнин.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**Ф. Энгельс.** Происхождение семьи, частной собственности и государства. 366 стр. Цена 1 р. 80 к.

**В. И. Ленин.** Материализм и эмпириокритицизм. 471 стр. Цена 2 р. 20 к.

**В. Ларичев.** Древо познания. («Беседы о мире и человеке») 112 стр. Цена 15 к.

**Т. Павлова.** Закон свободы. Повесть о Джерарде Уинстэнли. («Пламенные революционеры») 367 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Д. Ахуба.** Пристань. Роман, повесть, рассказы. Перевод с абхазского. 286 стр. Цена 1 р.

**В. Гастелло.** Служить — не тужить. Повесть. 111 стр. Цена 40 к.

**Б. Лапин.** Первый шаг. Фантастические рассказы, повести. 221 стр. Цена 65 к.

**Ф. Унгарсынова.** Ожидание солнца. Стихотворения. Перевод с казахского. 127 стр. Цена 55 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**И. Виноградов.** Жизнь продленная. Роман в повестях. 368 стр. Цена 1 р. 80 к.

**А. Марченко.** Избранное. В 2-х тт. Т. 2. Звездочки. Роман. 382 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Б. Чопич.** Партизаны в Вихаче. Роман. Перевод с сербскохорватского. 183 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Э. Казакевич.** Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. 815 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Э. Мендоса.** Правда о деле Савольты. Роман. Перевод с испанского. 336 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Поэзия Франци.** Век XIX. Перевод с французского. 486 стр. Цена 2 р. 10 к.

**М. Рыльский.** Избранное. Стихотворения, поэмы. Перевод с украинского. 391 стр. Цена 2 р. 30 к.

## «РАДУГА»

**С. Кармиггел.** Нескольцо бесполезных соображений. Короткие рассказы. Перевод с нидерландского. 383 стр. Цена 2 р. 60 к.

**А. Кертес.** Стеклопанная клетка. Повести, рассказы. Перевод с венгерского. 222 стр. Цена 1 р. 20 к.

**А. Лану.** Пчелиный пластырь. Роман. Перевод с французского. 367 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Х. Торбадо.** Кит. Роман. Перевод с испанского. 310 стр. Цена 1 р. 80 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**К. Ваншенкин.** Понски себя. Воспоминания, заметки, записи. 416 стр. Цена 1 р. 80 к.

**А. Кафанов.** Книга Полдня. Стихи. 166 стр. Цена 70 к.

**В. Кондратьев.** Седжаровский тракт. Повести, рассказы. 367 стр. Цена 1 р. 50 к.

**А. Явич.** Книга жизни. Рассказы о былом. 286 стр. Цена 1 р. 20 к.

## «НАУКА»

**Восток — Запад.** Исследования. Переводы. Публикации. Историко-культурный альманах. Вып. 2. 272 стр. Цена 1 р. 40 к.

**М. Громыко.** Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского 1850—1854 гг. 168 стр. Цена 65 к.

**Современная литературная критика.** 70-е гг. 239 стр. Цена 1 р. 80 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Е. Богат.** Семейная реликвия. Очерки. 240 стр. Цена 85 к.

**Ю. Левитанский.** Попытка оправдания. Стихотворения. 158 стр. Цена 70 к.

**А. Лиханов.** Смысл сущего. Публицистика. 336 стр. Цена 95 к.

## «ИСКУССТВО»

**Зримое слово.** Кино и литература: диалектика взаимодействия. 168 стр. Цена 85 к.

**М. Туровская.** На границе искусств. Врехт и кино. 255 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Шкловский.** За 60 лет. Работы о кино. 573 стр. Цена 2 р. 90 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Вечный огонь.** Стихи горьковских и кирзовских поэтов о Великой Отечественной войне. Составитель Л. Лолухова. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 256 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Е. Носов.** Травой не порастет... Повесть, рассказы. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 480 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Север срывается.** Стихи поэтов Карельского фронта и карельских поэтов-фронтовиков. Петрозаводск. «Карелия». 127 стр. Цена 1 р. 80 к.

**С. Славич.** Повести и рассказы. Киев. «Днипро». 461 стр. Цена 2 р.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор В. В. Карпов

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора), Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь), А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 19.07.85 г. Подписано к печати 20.08.85 г. А 11196.

Формат бумаги 70×108 $\frac{1}{4}$ . Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.) 27,01 уч.-изд. л.

Тираж 422.000 экз. (1-й завод 1 — 200 000 экз.). Зак. 2786.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл. 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1985, № 10, 1—272.